ISSN 0130 – 6545

7. 1989

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Официальная церемония: посадка Древа Свободы в присутствии мэра и национальных гвардейцев.

На 1-й и 4-й страницах обложки —
«Так будет всегда». Танец вокруг Древа Свободы. Эстамп XVIII века. Национальная библиотека. Париж.
Свобода печати (объявлена пунктами 10 и 11 Декларации прав человека). Музей Карнавале. Париж.

Цветные иллюстрации номера~ гравюры времен Великой французской революции

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

«...весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционеры буржуазии...» — эта ленинская мысль не только сохранила живое историческое содержание, но и наполнилась новым смыслом.

Взлеты и провалы духа, величественные озарения и грозные катастрофы истекающего столетия, его интеллектуальные поиски удерживают глубинную связь с Великой французской революцией.

Естественно поэтому, что не просто магия круглых цифр заставляет сегодня человечество напряженно обдумывать политические и моральные итоги событий двухсотлетней давности. Им посвящаются многочисленные философские, исторические, публицистические работы, выходящие на разных языках и написанные с разных, порой непримиримо противоположных позиций.

Эта журнальная книжка задумывалась как скромный вклад в общую работу мысли. Некоторые ее материалы соотнесены с французской революцией непосредственно («Ямбы» А. Шенье, полемические заметки М. Галло, статьи Ю. Каграманова и В. Сергеева). Другие, пожалуй большинство, прямой связи с историей не обнаруживают. Но смущать это, думается, не должно. Ибо томление духа и культуры, трагические судьбы гуманизма — а это и составляет подлинное содержание прозы Сартра, поэзии Сен-Жон Перса, философской эссеистики Ж. Кокто — неотделимы от тех коренных проблем бытия, что столь резко были обострены на крутом переломе человеческой жизни — в годы Великой французской революции.

Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная коллегия

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
Е. В. СТОЯНОВСКАЯ
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного редактора

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

7

июль 1989

СОДЕРЖАНИЕ

ЖАН-ПОЛЬ САРТР — Тошнота *(Роман. Перевод с французского Ю. Яхниной. Послесловие Л. Андреева)* 5

СЕН-ЖОН ПЕРС — Из трех поэм *(Перевод с французского Георгия Адамовича, Георгия Иванова, Натальи Стрижевской, Мориса Баксмахера)* 134

Литературное наследие

АНДРЕ ШЕНЬЕ — Ямбы *(Вступление А. Д. Михайлова. Перевод с французского Геннадия Русакова)* 145

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Улисс *(Роман. Продолжение. Перевод с английского В. Хинкиса и С. Хоружего)* 154

Е. Гениева — Комментарии 181

Антирубрика

ЖАН ЖИРОДУ — На волоске *(Рассказ. Перевод с французского И. В. Радченко)* 187

Публицистика

МАКС ГАЛЛО—Открытое письмо Максимилиану Робеспьеру о новых щёголях *(Фрагменты книги. Перевод с французского Л. Токарева)* 189
Ю. КАГРАМАНОВ — «Минуты роковые» и 200 лет 202

Критика

Мир темных пророчеств и добрых напутствий

МОРИС ВАКСМАХЕР — Путешествие в глубь души 213
РОЖЕ ГАРОДИ — Сен-Жон Перс *(Глава из книги «О реализме без берегов»)* 215

К 100-летию со дня рождения Жана Кокто

Н. МАВЛЕВИЧ — Разрушитель хороводов 222
ЖАН КОКТО — О порядке в обличье хаоса *(Перевод с французского Н. Мавлевич)* 224

Резонанс

Тема для дискуссии: свобода и революция

М. В. ТОЛМАЧЕВ — Великая французская революция и свобода печати 230
В. М. СЕРГЕЕВ — Деспотизм свободы 236

На анкету «ИЛ» отвечают зарубежные русисты

К. С. Кароль (Франция), Саймон Карлински (США), Фридрих Хитцер (ФРГ), Анджей Дравич (Польша), Жорж Нива (Шьейцария) 240

Курьер «ИЛ» 250

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1989

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.**
Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 26.04.89. Подписано в печать 26.06.89. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,36.

Тираж 420 000 экз. (1-й завод: 1 — 350 000 экз.). Зак. 1675.

Ордена Трудового Красного Знамени типография
«Известий Советов народных депутатов СССР» имени
И. Скворцова-Степанова, 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

ЖАН-ПОЛЬ САРТР

Тошнота

РОМАН

Перевод с французского Ю. ЯХНИНОЙ

Это человек, не имеющий никакой значимости в коллективе, это всего-навсего индивид.

Л.-Ф. Селин. «Церковь»

Посвящается Бобру[1]

От издателей

Эти тетради были обнаружены в бумагах Антуана Рокантена. Мы публикуем их, ничего в них не меняя.

Первая страница не датирована, но у нас есть веские основания полагать, что запись сделана за несколько недель до того, как начат сам дневник. Стало быть, она, вероятно, относится самое позднее к первым числам января 1932 года.

В эту пору Антуан Рокантен, объездивший Центральную Европу, Северную Африку и Дальний Восток, уже три года как обосновался в Бувиле, чтобы завершить свои исторические разыскания, посвященные маркизу де Рольбону.

Листок без даты

Пожалуй, лучше всего делать записи изо дня в день. Вести дневник, чтобы докопаться до сути. Не упускать оттенков, мелких фактов, даже если кажется, что они несущественны, и, главное, привести их в систему. Описывать, как я вижу этот стол, улицу, людей, мой кисет, потому что *это-то* и изменилось. Надо точно определить масштаб и характер этой перемены.

Взять хотя бы вот этот картонный футляр, в котором я держу пузырек с чернилами. Надо попытаться определить, как я видел его до и как я теперь [2]. Ну так вот, это прямоугольный параллелепипед, который выделяется на фоне... Чепуха, тут не о чем говорить. Вот этого как раз и надо остерегаться — изображать странным то, в чем ни малейшей странности нет. Дневник, по-моему, тем и опасен: ты все время начеку, все преувеличиваешь и непрерывно насилуешь правду. С другой стороны, совершенно очевидно, что у меня в любую минуту — по отношению хотя бы к этому футляру или к любому другому предмету — может снова возникнуть позавчерашнее ощущение. Я должен всегда быть к нему готовым, иначе оно снова ускользнет у меня между пальцев. Не надо ничего [3]. , а просто тщательно и в мельчайших подробностях записывать все, что происходит.

---

[1] Бобр — дружеское прозвище Симоны де Бовуар.

[2] Одно слово пропущено. *(Прим. издателей.)*

[3] Одно слово зачеркнуто (не то «искажать», не то «измышлять»), другое, надписанное сверху, совершенно неразборчиво. *(Прим. издателей.)*

Само собой, теперь я уже не могу точно описать все то, что случилось в субботу и позавчера,— прошло уже слишком много времени. Могу сказать только, что ни в том, ни в другом случае не было того, что обыкновенно называют «событием». В субботу мальчишки бросали в море гальку — «пекли блины»,— мне захотелось тоже по их примеру бросить гальку в море. И вдруг я замер, выронил камень и ушел. Вид у меня, наверно, был странный, потому что мальчишки смеялись мне вслед.

Такова сторона внешняя. То, что произошло во мне самом, четких следов не оставило. Я увидел нечто, от чего мне стало противно, но теперь я уже не знаю, смотрел ли я на море или на камень. Камень был гладкий, с одной стороны сухой, с другой — влажный и грязный. Я держал его за края, растопырив пальцы, чтобы не испачкаться.

Позавчерашнее было много сложнее. И к нему еще добавилась цепочка совпадений и недоразумений, для меня необъяснимых. Но не стану развлекаться их описанием. В общем-то ясно: я почувствовал страх или что-то в этом роде. Если я пойму хотя бы, чего я испугался, это уже будет шаг вперед.

Занятно, что мне и в голову не приходит, что я сошел с ума, наоборот, я отчетливо сознаю, что я в полном рассудке: перемены касаются окружающего мира. Но мне хотелось бы в этом убедиться.

10 часов 30 минут[1]

В конце концов, может, это и впрямь был легкий приступ безумия. От него не осталось и следа. Сегодня странные ощущения прошлой недели кажутся мне просто смешными, я не в состоянии их понять. Нынче вечером я прекрасно вписываюсь в окружающий мир, не хуже любого добропорядочного буржуа. Вот мой номер в отеле, окнами на северо-восток. Внизу — улица Инвалидов Войны и стройплощадка нового вокзала. Из окна мне видны красные и белые рекламные огни кафе «Приют путейцев» на углу бульвара Виктора Нуара. Только что прибыл парижский поезд. Из старого здания вокзала выходят пассажиры, разбредаясь по улицам. Я слышу шаги и голоса. Многие ждут последнего трамвая. Должно быть, они сбились унылой кучкой у газового фонаря под самым моим окном. Придется им постоять еще несколько минут — трамвай придет не раньше чем в десять сорок пять. Лишь бы только этой ночью не приехали коммивояжеры: мне так хочется спать, я уже так давно недосыпаю. Одну бы спокойную ночь, одну-единственную, и все снимет как рукой.

Одиннадцать сорок пять, бояться больше нечего — коммивояжеры были бы уже здесь. Разве что появится господин из Руана. Он является каждую неделю, ему оставляют второй номер на втором этаже — тот, в котором биде. Он еще может притащиться, он частенько перед сном пропускает стаканчик в «Приюте путейцев». Впрочем, он не из шумных. Маленький, опрятный, с черными нафабренными усами и в парике. А вот и он.

Когда я услышал, как он поднимается по лестнице, меня даже что-то кольнуло в сердце — так успокоительно звучали его шаги: чего бояться в мире, где все идет заведенным порядком? По-моему, я выздоровел.

А вот и трамвай, семерка. Маршрут: Бойня — Большие доки. Он возвещает о своем прибытии громким лязгом железа. Потом отходит. До отказа набитый чемоданами и спящими детьми, он удаляется в сторону доков, к заводам, во мрак восточной части города. Это предпоследний трамвай, последний пройдет через час.

---

[1] Речь несомненно идет о вечере. Абзац, который за этим следует, написан гораздо позже предыдущих. Мы полагаем, что запись сделана не раньше чем на другой день.

Сейчас я лягу. Я выздоровел, не стану, как маленькая девочка, изо дня в день записывать свои впечатления в красивую новенькую тетрадь.

Вести дневник стоит только в одном случае — если[1]

Дневник

Понедельник, 29 января 1932 года

Со мной что-то случилось, сомнений больше нет. Эта штука выявилась как болезнь, а не так, как выявляется нечто бесспорное, очевидное. Она проникла в меня исподтишка, капля по капле: мне было как-то не по себе, как-то неуютно — вот и все. А угнездившись во мне, она затаилась, присмирела, и мне удалось убедить себя, что ничего у меня нет, что тревога ложная. И вот теперь это расцвело пышным цветом.

Не думаю, что ремесло историка располагает к психологическому анализу. В нашей сфере мы имеем дело только с нерасчлененными чувствами, им даются родовые наименования — например, Честолюбие или Корысть. Между тем, если бы я хоть немного знал самого себя, воспользоваться этим знанием мне следовало бы именно теперь.

Например, что-то новое появилось в моих руках — в том, как я, скажем, беру трубку или держу вилку. А может, кто его знает, сама вилка теперь как-то иначе дается в руки. Вот недавно я собирался войти в свой номер и вдруг замер — я почувствовал в руке холодный предмет, он приковал мое внимание какой-то своей необычностью, что ли. Я разжал руку, посмотрел — я держал всего-навсего дверную ручку. Или утром в библиотеке, ко мне подошел поздороваться Самоучка[2], а я не сразу его узнал. Передо мной было незнакомое лицо и даже не в полном смысле слова лицо. И потом, кисть его руки, словно белый червяк в моей ладони. Я тотчас разжал пальцы, и его рука вяло повисла вдоль тела.

То же самое на улицах — там множество непрестанных подозрительных звуков.

Стало быть, за последние недели произошла перемена. Но в чем? Это некая абстрактная перемена, ни с чем конкретным не связанная. Может, это изменился я? А если не я, то, стало быть, эта комната, этот город, природа; надо выбирать.

Думаю, что изменился я,— это самое простое решение. И самое неприятное. Но все же я должен признать, что мне свойственны такого рода внезапные превращения. Дело в том, что размышляю я редко и во мне накапливается множество мелких изменений, которых я не замечаю, а потом в один прекрасный день совершается настоящая революция. Вот почему людям представляется, что я веду себя в жизни непоследовательно и противоречиво. К примеру, когда я уехал из Франции, многие считали мой поступок блажью. С таким же успехом они могли бы толковать о блажи, когда после шестилетних скитаний я внезапно вернулся во Францию. Я, как сейчас, вижу себя вместе с Мерсье в кабинете этого французского чиновника, который в прошлом году вышел в отставку в связи с делом Петру. А тогда Мерсье собирался в Бенгалию с какими-то археологическими планами. Мне всегда хотелось побывать в Бенгалии, и он стал уговаривать меня поехать с ним. С какой целью, я теперь и сам не пойму. Может, он не доверял Порталю и надеялся, что я буду за ним присматривать. У ме-

[1] На этом недатированный текст обрывается.

[2] Ожье П....., о котором часто упоминается в дневнике. Он был канцелярским служащим. Рокантен познакомился с ним в 1930 году в бувильской библиотеке.

ня не было причин для отказа. Даже если бы в ту пору я догадался об этой маленькой хитрости насчет Порталя, тем больше оснований у меня было с восторгом принять предложение. А меня точно разбил паралич, я не мог вымолвить ни слова. Я впился взглядом в маленькую кхмерскую статуэтку на зеленом коврике рядом с телефонным аппаратом. И мне казалось, что я весь до краев налился то ли лимфой, то ли теплым молоком. Мерсье с ангельским терпением, маскировавшим некоторое раздражение, втолковывал мне:

— Вы же понимаете, мне надо все официально оформить. Я уверен, что в конце концов вы скажете «да», так лучше уж соглашайтесь сразу.

У него была черная с рыжеватым отливом сильно надушенная борода. При каждом движении его головы меня обдавало волной духов. И я вдруг очнулся от шестилетней спячки.

Статуэтка показалась мне противной и глупой, я почувствовал страшную скуку. Я никак не мог взять в толк, зачем меня занесло в Индонезию. Что я тут делаю? Зачем говорю с этими людьми? Почему я одет в этот дурацкий костюм? Страсть моя умерла. Она заполняла и морочила меня много лет подряд — теперь я был опустошен. Но это еще не самое худшее: передо мной, раскинувшись с этакой небрежностью, маячила некая мысль — обширная и тусклая. Трудно сказать, в чем она заключалась, но я не мог на нее глядеть: так она была мне омерзительна. И все это слилось для меня с запахом, который шел от бороды Мерсье.

Я встряхнулся, преисполненный злобы на Мерсье, и сухо ответил:

— Спасибо, но я уже слишком давно разъезжаю, пора возвращаться во Францию.

И через два дня сел на пароход, идущий в Марсель.

Если я не ошибаюсь, если все накапливающиеся симптомы предвещают новый переворот в моей жизни, скажу прямо — я боюсь. И не потому, что жизнь моя так уж богата, насыщена, драгоценна. Я боюсь того, что готово народиться, что завладеет мной и увлечет меня — куда? Неужели мне опять придется уехать, бросить, не закончив, все, что я начал — исследования, книгу? И потом через несколько месяцев, через несколько лет вновь очнуться изнуренным, разочарованным среди новых руин? Я должен разобраться в себе, пока не поздно.

Вторник, 30 января

Ничего нового.

С девяти до часа работал в библиотеке. Привел в порядок XII главу и все, что касается пребывания Рольбона в России до смерти Павла I. Эта часть работы закончена — к ней нужно будет вернуться только при переписке набело.

Сейчас половина второго. Сижу в кафе «Мабли», ем сандвич, все почти в порядке. Впрочем, в любом кафе все всегда в порядке, и в особенности в кафе «Мабли» благодаря хозяину мсье Фаскелю, на лице которого с успокоительной определенностью написано: «прохвост». Близится час, когда он уходит поспать, глаза у него уже покраснели, но повадка все такая же живая и решительная. Он прохаживается между столиками, доверительно наклоняясь к клиентам:

— Все хорошо, мсье?

Я с улыбкой наблюдаю его оживление — в часы, когда его заведение пусто, пустеет и его голова. С двух до четырех в кафе никого не остается, тогда мсье Фаскель сонно делает несколько шагов, официанты гасят свет, и сознание его выключается — наедине с собой этот человек всегда спит.

Но пока в кафе еще остается десятка два клиентов — это холостяки, невысокого ранга инженеры, служащие. Обычно они наспех обедают в семейных пансионах, которые зовут своей столовкой, и по-

скольку всем им хочется позволить себе шикнуть, они, пообедав, приходят сюда выпить по чашечке кофе и поиграть в кости. Они шумят негромко и нестройно,— такой шум мне не мешает. Им тоже, чтобы существовать, надо держаться кучно.

А я живу один, совершенно один. Не разговариваю ни с кем и никогда; ничего не беру, ничего не даю. Самоучка не в счет. Есть, конечно, Франсуаза, хозяйка «Приюта путейцев». Но разве я с ней разговариваю? Иногда после ужина, когда она подает мне кружку пива, я спрашиваю:

— У вас сегодня вечером найдется минутка?

Она никогда не говорит «нет», и я иду за ней следом в одну из больших комнат на втором этаже, которые она сдает за почасовую или поденную плату. Я ей не плачу — мы занимаемся любовью на равных. Она получает от этого удовольствие (мужчина ей нужен каждый день, и кроме меня у нее есть еще много других), а я освобождаюсь от приступов меланхолии, причины которой мне слишком хорошо известны. Но мы почти не разговариваем. Да и к чему? Каждый занят собой, впрочем, для нее я прежде всего клиент ее кафе.

— Скажите,— говорит она, стягивая с себя платье,— вы пробовали аперитив «Брико»? На этой неделе его заказали двое клиентов. Официантка не знала, пришла и спрашивает у меня. А это коммивояжеры, они, наверно, пили его в Париже. Но я, когда чего не знаю, покупать не люблю. Если вы не против, я останусь в чулках.

В прежнее время, бывало, она уйдет, а я еще долго думаю об Анни. Теперь я не думаю ни о ком; я даже не ищу слов. Это перетекает во мне то быстрее, то медленнее, я не стараюсь ничего закреплять, течет, ну и пусть себе. Оттого что мысли мои не облекаются в слова, чаще всего они остаются хлопьями тумана. Они принимают смутные, причудливые формы, набегают одна на другую, и я тотчас их забываю.

Эти парни меня восхищают: прихлебывая свой кофе, они рассказывают друг другу истории, четкие и правдоподобные. Спросите их, что они делали вчера,— они ничуть не смутятся, в двух словах они вам все объяснят. Я бы на их месте начал мямлить. Правда и то, что уже давным-давно ни одна душа не интересуется, как я провожу время. Когда живешь один, вообще забываешь, что значит рассказывать: правдоподобные истории исчезают вместе с друзьями. События тоже текут мимо: откуда ни возьмись появляются люди, что-то говорят, потом уходят, и ты барахтаешься в историях без начала и конца — свидетель из тебя был бы никудышный. Зато все неправдоподобное, все то, во что не поверят ни в одном кафе,— этого хоть пруд пруди. Вот, к примеру, в субботу, часа в четыре пополудни, по краю деревянного настила возле площадки, где строят новый вокзал, бежала, пятясь, маленькая женщина в голубом и смеялась, махая платком. В это же самое время за угол этой улицы, насвистывая, сворачивал негр в плаще кремового цвета и зеленой шляпе. Женщина, все так же пятясь, налетела на него под фонарем, который подвешен к дощатому забору и который зажигают по вечерам. Таким образом здесь оказались сразу: резко пахнущий сырым деревом забор, фонарь, славная белокурая малютка в голубом в объятьях негра под пламенеющим небом. Будь нас четверо или пятеро, мы, наверно, отметили бы это столкновение, эти нежные краски, красивое голубое пальто, похожее на пуховую перинку, светлый плащ, красные стекла фонаря, мы посмеялись бы над растерянным выражением двух детских лиц.

Но одинокого человека редко тянет засмеяться — группа приобрела для меня на миг острый, даже свирепый, хотя и чистый смысл. Потом она распалась, остался только фонарь, забор и небо — это тоже было все еще довольно красиво. Час спустя зажгли фонарь, поднялся ветер, небо почернело — и все исчезло.

Все это не ново; я никогда не чурался этих безобидных ощущений — наоборот. Чтобы к ним приобщиться, довольно почувствовать себя хоть капельку одиноким — ровно настолько, чтобы на некоторое время освободиться от правдоподобия. Но я всегда оставался среди людей, на поверхности одиночества, в твердой решимости при малейшей тревоге укрыться среди себе подобных — по сути дела, до сих пор я был просто любителем.

А теперь меня повсюду окружают вещи — к примеру, вот эта пивная кружка на столе. Когда я ее вижу, мне хочется крикнуть: «Чур, не играю». Мне совершенно ясно, что я зашел слишком далеко. Наверно, с одиночеством нельзя играть «по маленькой». Это вовсе не значит, что теперь перед сном я заглядываю под кровать или боюсь, что посреди ночи моя дверь вдруг распахнется настежь. И все-таки я встревожен: вот уже полчаса я избегаю *смотреть* на эту пивную кружку. Я смотрю поверх нее, ниже нее, правее, левее — но *ее* стараюсь не видеть. И прекрасно знаю, что холостяки, которые сидят вокруг, ничем мне помочь не могут: поздно, я уже не могу укрыться среди них. Они хлопнут меня по плечу, скажут: «Ну и что, что в ней такого, в этой пивной кружке? Кружка как кружка. Граненая, с ручкой, с маленькой эмблемой — герб, в нем лопата и надпись «Шпатенброй».

Я все это знаю, но знаю, что в ней есть и кое-что другое. Ничего особенного. Но я не могу объяснить, что я вижу. Никому не могу объяснить. В этом все и дело — я тихо погружаюсь на дно, туда, где страх.

Среди этих веселых и здравых голосов я один. Парни вокруг меня все время говорят друг с другом, с ликованьем обнаруживая, что их взгляды совпадают. Господи, как они дорожат тем, что все думают одно и то же. Стоит только посмотреть на выражение их лиц, когда среди них появляется вдруг человек с взглядом, как у вытащенной из воды рыбы, устремленным внутрь себя, человек, с которым ну никак невозможно сойтись во мнениях. Когда мне было восемь лет и я играл в Люксембургском саду, был один такой человек — он усаживался под навесом у решетки, выходящей на улицу Огюста Конта. Он не говорил ни слова, но время от времени вытягивал ногу и с испугом на нее смотрел. Эта нога была в ботинке, но другая в шлепанце. Сторож объяснил моему дяде, что этот человек — бывший классный надзиратель. Его уволили в отставку, потому что он явился в классы зачитывать отметки за четверть в зеленом фраке академика. Он внушал нам невыразимый ужас, потому что мы чувствовали, что он одинок. Однажды он улыбнулся Роберу, издали протянув к нему руки,— Робер едва не лишился чувств. Этот тип внушал нам ужас не жалким своим видом и не потому, что на шее у него был нарост, который терся о край пристежного воротничка, а потому, что мы чувствовали: в его голове шевелятся мысли краба или лангуста. И нас приводило в ужас, что мысли лангуста могут вращаться вокруг навеса, вокруг наших обручей, вокруг садовых кустов.

Неужели мне уготована такая участь? В первый раз в жизни мне тяжело быть одному. Пока еще не поздно, пока я еще не навожу страх на детей, я хотел бы с кем-нибудь поговорить о том, что со мной происходит.

Странно, я исписал десять страниц, а правды так и не сказал — во всяком случае, всей правды. Когда сразу после даты я написал: «Ничего нового», я был неискренен — в действительности маленькое происшествие, в котором нет ничего постыдного или необычного, не хотело ложиться на бумагу. «Ничего нового». Просто диву даешься, как можно лгать, прикрываясь здравым смыслом. Если угодно, и в самом деле ничего нового не произошло, когда сегодня утром, выйдя из

гостиницы «Прентания», по пути в библиотеку, я захотел и не смог подобрать валявшийся на земле клочок бумаги. Только и всего, это даже нельзя назвать происшествием. Но если говорить честно, меня оно глубоко взволновало — я подумал: отныне я не свободен. В библиотеке я тщетно старался отделаться от этой мысли. Решил убежать от нее в кафе «Мабли». Надеялся, что она рассеется при свете огней. Но она осталась сидеть во мне, гнетущая, мучительная. Это она продиктовала мне предшествующие страницы.

Почему же я о ней не упомянул? Наверно, из гордости, а может, отчасти по неуменью. У меня нет привычки рассказывать самому себе о том, что со мной происходит, поэтому я не могу воспроизвести события в их последовательности, не умею выделить главное. Но теперь кончено — я перечел то, что записал в кафе «Мабли», и мне стало стыдно: довольно утаек, душевных переливов, неизъяснимого, я не девица и не священник, чтобы забавляться игрой в душевные переживания.

Рассуждать тут особенно не о чем: я не смог подобрать клочок бумаги, только и всего.

Вообще я очень люблю подбирать каштаны, старые лоскутки и в особенности бумажки. Мне приятно брать их в руки, стискивать в ладони, еще немного — и я совал бы их в рот, как дети. Анни просто из себя выходила, когда я за уголок тянул к себе роскошный, плотный лист бумаги, весьма вероятно выпачканный в дерьме. Летом и в начале осени в садах валяются обрывки выжженных солнцем газет, сухие и ломкие, как опавшие листья, и такие желтые, словно их обработали пикриновой кислотой. А зимой одни бумажки распластаны, растоптаны, испачканы, они возвращаются в землю. А другие, новенькие, даже глянцевитые, белоснежные и трепещущие, похожи на лебедей, хотя земля уже облепила их снизу. Они извиваются, вырываются из грязи, но в нескольких шагах распластываются на земле — и уже навсегда. И все это приятно подбирать. Иногда я просто ощупываю бумажку, поднося совсем близко к глазам, иногда просто рву, чтобы услышать ее долгий хруст, а если бумага совсем мокрая, поджигаю ее, что вовсе не так просто, и потом вытираю грязные ладони о какую-нибудь стену или ствол.

И вот сегодня я загляделся на рыжеватые сапоги кавалерийского офицера, который вышел из казармы. Проследив за ними глазами, я заметил на краю лужи клочок бумаги. Я подумал: сейчас офицер втопчет бумажку сапогом в грязь — ан нет, он разом перешагнул и бумажку и лужу. Я подошел ближе — это оказалась страница линованной бумаги, судя по всему, вырванная из школьной тетради. Намокшая под дождем, она вся измялась, вздулась и покрылась волдырями, как обожженная рука. Красная полоска полей слиняла розоватыми подтеками, местами чернила расплылись. Нижнюю часть страницы скрывала засохшая корка грязи. Я наклонился, уже предвкушая, как дотронусь до этого нежного сырого теста и мои пальцы скатают его в серые комочки... И не смог.

Секунду я стоял нагнувшись, прочел слова: «Диктант. Белая сова» — и распрямился с пустыми руками. Я утратил свободу, я больше не властен делать то, что хочу.

Предметы не должны нас *беспокоить:* ведь они не живые существа. Ими пользуются, их кладут на место, среди них живут, они полезны — вот и все. А меня они беспокоят, и это невыносимо. Я боюсь вступать с ними в контакт, как если бы они были живыми существами!

Теперь я понял — теперь мне точнее помнится то, что я почувствовал однажды на берегу моря, когда держал в руках гальку. Это было какое-то сладковатое омерзение. До чего же это было гнусно! И исходило это ощущение от камня, я уверен, это передавалось от

камня моим рукам. Вот именно, совершенно точно: руки словно бы тошнило.

Четверг утром, в библиотеке

Только что, спускаясь по лестнице отеля, я слышал, как Люси в сотый раз плакалась хозяйке, продолжая вощить ступени. Хозяйка отвечала с натугой, короткими фразами — она еще не успела вставить зубной протез; она была полуголая, в розовом халате и в домашних туфлях. Люси, по своему обыкновению, ходила замарашкой; время от времени переставая натирать ступени, она выпрямлялась на коленях, чтобы взглянуть на хозяйку. Говорила она без передышки, рассудительным тоном.

— По мне, в сто раз лучше, если бы он бабником был,— говорила она.— Я бы на это рукой махнула, лишь бы ему вреда не было.

Речь шла о ее муже. Эта чернявая коротышка в сорок лет, скопив деньжат, приобрела себе восхитительного парня, слесаря-монтажника с заводов Лекуэнт. Брак оказался несчастливым. Муж не бьет Люси, не обманывает, но он пьет, каждый вечер он приходит домой пьяным. Дела его плохи — за три месяца он на моих глазах пожелтел и истаял. Люси думает, что это от пьянства. По-моему, скорее от туберкулеза.

— Надо крепиться,— говорит Люси.

Я уверен, это ее гложет, но исподволь, неторопливо: она крепится, она не в состоянии ни утешиться, ни отдаться своему горю. Она думает о своем горе понемножку, именно понемножку, капельку сегодня, капельку завтра, она извлекает из него барыш. В особенности на людях, потому что ее жалеют, да к тому же ей отчасти приятно рассуждать о своей беде благоразумным тоном, словно давая советы. Я часто слышу, как, оставшись в номерах одна, она тихонько мурлычет, чтобы не думать. Но целыми днями она ходит угрюмая, чуть что никнет и дуется.

— Это сидит вот здесь,— говорит она, прикладывая руку к груди.— И не отпускает.

Она расходует свое горе, как скупец. Должно быть, она так же скупа и в радостях. Интересно, не хочется ли ей порой избавиться от этой однообразной муки, от этого брюзжанья, которое возобновляется, едва она перестает напевать, не хочется ли ей однажды испытать страдание полной мерой, с головой уйти в отчаяние. Впрочем, для нее это невозможно — она зажата.

Четверг, после полудня

«Маркиз де Рольбон внешне был безобразен. Королева Мария-Антуанетта часто называла его своей «милой обезьянкой». И однако, он одерживал победы над всеми придворными дамами, и не фиглярствуя, как урод Вуазенон, а посредством магнетизма, который внушал красавицам страсть, толкавшую их на совершенные безумства. Он интригует, играет довольно двусмысленную роль в деле с ожерельем и после длительных сношений с Мирабо-Тонно и Нерсиа в 1790 году исчезает со сцены. Он появляется вновь уже в России, где прилагает руку к убийству Павла I, а потом отправляется путешествовать в еще более дальние края — Индию, Китай и Туркестан. Он обделывает сомнительные коммерческие дела, составляет заговоры, шпионит. В 1813 году он возвращается в Париж и в 1816-м становится всемогущим: он — единственный наперсник герцогини Ангулемской. Эта капризная старуха, одержимая зловещими воспоминаниями детства, завидев маркиза, расплывается в умиротворенной улыбке. Покровительствуемый ею Рольбон делает погоду при дворе. В марте 1820 года он женится на восемнадцатилетней красавице мадемуазель де Роклор. Маркизу де Рольбону в эту пору исполнилось семьдесят, он на

вершине почестей, жизнь его достигла апогея. Семь месяцев спустя по обвинению в измене он арестован, брошен в темницу, где умирает, пробыв в заключении пять лет и так и не дождавшись расследования своего дела».

Я с грустью перечитал эту заметку Жермена Берже[1]. С этих нескольких строк и началось мое знакомство с маркизом де Рольбоном. Как он меня обворожил, как я влюбился в него по прочтении этих скупых слов! Из-за него, из-за этого маленького человечка, я и оказался здесь. Возвратившись из своих странствий, я с таким же успехом мог обосноваться в Париже или в Марселе. Но бóльшая часть документов, связанных с длительными периодами жизни маркиза во Франции, сосредоточена в муниципальной библиотеке Бувиля. Рольбон владел родовым поместьем в Маромме. До войны в этом местечке еще жил один из его потомков, архитектор Рольбон-Кампуире, который умер в 1912 году, завещав бувильской библиотеке богатейший архив: письма маркиза, часть его дневника, разного рода документы. Я до сих пор еще не все разобрал.

Я рад, что нашел свои заметки. Я не перечитывал их десять лет. Мне кажется, мой почерк изменился: раньше он был более убористым. Как я любил в тот год маркиза де Рольбона! Помню, однажды вечером (это было во вторник) я целый день проработал в библиотеке Мазарини. По переписке маркиза 1789—1790 годов я угадал, как ловко он провел Нерсиа. Было темно, я шел по авеню Мен и на углу улицы Гэте купил себе жареных каштанов. Ох, и счастлив же я был! Я смеялся про себя, воображая, какую физиономию скорчил Нерсиа, вернувшись из Германии. Образ маркиза вроде этих чернил — с тех пор как я начал им заниматься, он заметно выцвел.

Прежде всего я не могу понять его поведения начиная с 1801 года. И дело не в том, что не хватает документов — сохранились письма, обрывки воспоминаний, секретные донесения, архивы полиции. Документов, наоборот, едва ли не слишком много. Но этим свидетельствам недостает определенности, основательности. Они не противоречат друг другу, нет, но и не согласуются друг с другом. Словно речь в них идет не об одном и том же человеке. И однако, другие историки работают с материалами такого рода. Как же поступают в подобных случаях они? Что я, более дотошен или менее проницателен? Впрочем, такая постановка вопроса меня совершенно не волнует. Чего я, собственно говоря, ищу? Не знаю. В течение долгого времени Рольбон-человек интересовал меня куда больше, чем книга, которую я должен написать. А теперь этот человек... человек начал мне надоедать. Теперь мне важна книга, я чувствую все большую потребность ее написать — пожалуй, тем большую, чем старше становлюсь сам.

И впрямь можно допустить, что Рольбон принял деятельное участие в убийстве Павла I, что потом он согласился стать царским шпионом на Востоке, но все время предавал Александра в пользу Наполеона. Он вполне мог в эту же пору поддерживать переписку с графом д'Артуа, посылая тому не имеющие никакой ценности донесения, чтобы уверить графа в своей преданности,— все это вполне правдоподобно. Фуше в это же время играл комедию куда более сложную и опасную. Возможно также, что маркиз ради собственной выгоды продавал ружья азиатским государствам.

Да, бесспорно, все это он мог делать. Но это не доказано; я начинаю думать, что доказать вообще никогда ничего нельзя. Все это частные гипотезы, опирающиеся на факты,— но я чувствую, что исходят они от меня, это просто способ обобщить мои сведения. Однако сам Рольбон ни гугу. Вялые, ленивые, угрюмые факты группируются в том порядке, какой им придал я, но этот порядок навязан им извне.

---

[1] Жермен Берже. Мирабо-Тонно и его друзья. Шампьон, 1906, с. 406, прим. 2. *(Прим. издателей.)*

У меня такое чувство, будто в процессе работы я просто отдавался игре собственного воображения. И при этом, я уверен, пиши я роман, его персонажи были бы более правдивыми или во всяком случае более забавными.

Пятница

Три часа. Три часа — это всегда слишком поздно или слишком рано для всего, что ты собираешься делать. Странное время дня. А сегодня просто невыносимое.

Холодное солнце выбелило пыль на оконных стеклах. Бледное, белесоватое небо. Утром подморозило ручейки.

Я сижу у калорифера, вяло переваривая пищу. Я знаю заранее — сегодняшний день потерян. Ничего путного мне не сделать, разве когда стемнеет. И все из-за солнца: оно подернуло позолотой грязную белую мглу, висящую над стройкой, оно струится в мою комнату, желтоватое, бледное, ложась на мой стол четырьмя тусклыми, обманчивыми бликами.

На моей трубке мазок золотистого лака, вначале он привлекает взор своей иллюзорной праздничностью, но вот ты глядишь на трубку, и лак плавится, и не остается ничего, кроме куска дерева, и на нем большое блеклое пятно. И так со всем, решительно со всем, даже с моими руками. Когда бывает такое солнце, лучше всего лечь спать. Но этой ночью я спал как убитый — сна у меня ни в одном глазу.

Мне так нравилось вчерашнее небо — стиснутое, черное от дождя, которое прижималось к стеклам, словно смешное и трогательное лицо. А нынче солнце не смешное, куда там... На все, что я люблю: на ржавое железо стройки, на подгнившие доски забора — падает скупой и трезвый свет, точь-в-точь взгляд, которым после бессонной ночи оцениваешь решения, с подъемом принятые накануне, страницы, написанные на одном дыхании, без помарок. Четыре кафе на бульваре Виктора Нуара, которые ночью искрятся огнями по соседству друг с другом,— ночью они не просто кафе, это аквариумы, корабли, звезды, а не то огромные белые глазницы — утратили свое двусмысленное очарование.

Отличный день, чтобы критически оценить самого себя: холодные лучи, которые солнце бросает на все живое, словно подвергая его беспощадному суду, в меня проникают через глаза: мое нутро освещено обесценивающим светом. Я знаю, мне хватит четверти часа, чтобы дойти до крайней степени отвращения к самому себе. Дудки. Мне это ни к чему. Не стану я также перечитывать то, что написал накануне о пребывании Рольбона в Санкт-Петербурге. Я сижу, уронив руки, или пишу какие-то жалкие слова, зеваю и жду, чтобы настал вечер. Когда стемнеет, я вместе со всеми окружающими предметами вырвусь из этой мути.

Принимал Рольбон или нет участие в убийстве Павла I?

На сегодня это главный вопрос: я уперся в него и, пока его не решу, не могу двинуться дальше.

Если верить Черкову, маркиза купил граф Пален. Большая часть заговорщиков, утверждает Черков, хотела только низложить царя и заточить в тюрьму. (Кажется, Александр и в самом деле был сторонником такого решения.) Но Пален стремился покончить с Павлом раз и навсегда. Маркизу Рольбону поручено было, переговорив с каждым из заговорщиков по отдельности, склонить их всех к убийству.

«Он каждому из них нанес визит и с необыкновенной выразительностью представил в лицах сцену, которая должна разыграться. Таким образом он пробудил, а может быть усилил, в них жажду убийства».

Но Черкову я не доверяю. Это не трезвый свидетель, а полусумасшедший знахарь-садист: он всегда все сводит к демонизму. Я совершенно не представляю маркиза де Рольбона в этой мелодраматиче-

ской роли. Он в лицах изобразил сцену убийства? Полноте! Маркиз — человек холодный, ему не свойственно увлекать, он не живописует, он внушает, и этот способ воздействия, бесцветный и невыразительный, может найти отклик только у людей его пошиба — рассудочных интриганов, политиков.

«Адемар де Рольбон,— писала мадам де Шарьер,— рассказывая, не рисовал картин, не жестикулировал, не разнообразил интонации. Он говорил, полузакрыв глаза так, что сквозь сомкнутые ресницы едва просвечивал ободок его серых зрачков. Всего несколько лет назад я решилась наконец признаться самой себе, что он наводит на меня невыносимую скуку. Его разговоры напоминают сочинения аббата Мабли».

И этот человек своим мимическим даром способен был... Хотя в таком случае как ему удавалось соблазнять женщин? К тому же Сегюр описывает забавный случай, который кажется мне правдоподобным:

«В 1787 году неподалеку от Мулена на постоялом дворе умирал старик, друг Дидро, воспитанный на сочинениях философов. Окрестные священники выбились из сил: старик не желал принять соборование — он был пантеистом. Проезжавший мимо маркиз де Рольбон, который не верил ни в Бога, ни в черта, побился об заклад с муленским кюре, что ему не понадобится и двух часов, чтобы вернуть больного в лоно христианской церкви. Кюре принял пари и проиграл: больной, за которого маркиз взялся в три часа ночи, в пять утра исповедался и в семь утра умер. «Неужели вы так сильны в диспуте? — спросил кюре.— Вы заткнули за пояс всех нас!» — «А я вовсе не затевал диспута,— ответил маркиз.— Я просто запугал его адом».

Так вот, верно ли, что он принимал деятельное участие в заговоре? В тот вечер, около восьми, офицер из числа друзей маркиза проводил Рольбона до дверей его дома. Если Рольбон снова вышел, как он мог пройти по улицам Санкт-Петербурга и не попасть под арест? Полубезумный Павел отдал приказ после девяти вечера задерживать всех прохожих, кроме повитух и врачей. Неужто поверить нелепой легенде, будто Рольбон, чтобы добраться до дворца, переоделся повитухой? Впрочем, маркиз был на это способен. Так или иначе, по-видимому, доказано, что в ночь убийства дома его не было. Судя по всему, Александр всерьез подозревал Рольбона, потому что после воцарения поспешил удалить маркиза под предлогом какого-то невнятного поручения на Дальний Восток.

Маркиз де Рольбон мне смертельно надоел. Я встаю. Передвигаюсь в худосочном освещении и вижу, как оно меняется на моих руках, на рукавах моей рубашки,— не могу выразить, до чего оно мне противно. Зеваю. Зажигаю настольную лампу — может, ее свет заглушит дневной. Нет, лампа образует только жалкую лужицу вокруг своей подставки. Гашу лампу, снова встаю. На стене зияет белая дыра — зеркало. Это ловушка. И я знаю, что попадусь в нее. Так и есть. В зеркале появилось нечто серое. Подхожу, гляжу и отойти уже не могу.

Это отражение моего лица. В такие гиблые дни я часто его рассматриваю. Ничего я не понимаю в этом лице. Лица других людей наделены смыслом. Мое — нет. Я даже не знаю, красивое оно или уродливое. Думаю, что уродливое — поскольку мне это говорили. Но меня это не волнует. По сути меня возмущает, что лицу вообще можно приписывать такого рода свойства — это все равно что назвать красавцем или уродом горсть земли или кусок скалы.

Впрочем, есть одна вещь, которая радует глаз: повыше вялого пространства щек, повыше лба мой череп золотит прекрасное рыжее пламя — мои волосы. Вот на них смотреть приятно. По крайней мере, это совершенно определенный цвет, и я доволен, что я рыжий. В зеркале это особенно бросается в глаза — волосы лучатся. Все-таки

мне повезло: если бы мой лоб украшала тусклая шевелюра, из тех, что никак не могут решиться, пристать им к блондинам или к шатенам, лицо мое расплылось бы мутным пятном, и меня воротило бы от него.

Мой взгляд медленно и неохотно скользит вниз — на лоб, на щеки: ничего устойчивого, все зыбко. Само собой, нос, глаза и рот на месте, но все это лишено смысла, лишено даже человеческого выражения. Однако Анни и Велин находили, что у меня живая физиономия,— может, я к ней просто слишком привык. В детстве моя тетка Бижуа говорила мне: «Будешь слишком долго глядеться в зеркало, увидишь в нем обезьяну». Но должно быть, я гляделся еще дольше — то, что я вижу в зеркале, куда ниже обезьяны, это нечто на грани растительного мира, на уровне полипов. Я не отрицаю, это нечто живое, но не об этой жизни говорила Анни; я вижу какие-то легкие подергивания, вижу, как трепещет обильная, блеклая плоть. С такого близкого расстояния в особенности отвратительны глаза. Нечто стеклянистое, податливое, слепое, обведенное красным — ну в точности рыбья чешуя.

Всей тяжестью навалившись на фаянсовую раму, я приближаю свое лицо к стеклу, пока оно не упирается в него вплотную. Глаза, нос, рот исчезают — не остается ничего человеческого. Коричневатые морщины по обе стороны горячечно вспухших губ, трещины, бугорки. Широкие покатости щек покрыты светлым шелковистым пушком, из ноздрей торчат два волоска: ну прямо рельефная карта горных пород. И несмотря ни на что, этот призрачный мир мне знаком. Я не то чтобы *узнаю* его подробности. Но все вместе вызывает у меня ощущение «уже виденного», от этого я тупею и меня потихоньку клонит в сон.

Мне хочется встряхнуться — живое, резкое ощущение помогло бы мне. Я прижимаю левую ладонь к щеке и оттягиваю кожу — в зеркале гримаса. Половина моего лица съехала в сторону, левая часть рта скривилась, вздулась, обнажив зуб: в расселине показалась белая выпуклость и розовая кровоточащая плоть. Не к этому я стремился — опять ничего нового, ничего твердого, все мягкое, податливое, уже виденное! Засыпаю с открытыми глазами, и вот уже мое лицо в зеркале растет, растет, это огромный бледный, плавающий в солнечном свете ореол...

Просыпаюсь я оттого, что едва не потерял равновесия. Я сижу верхом на стуле, все еще одурелый. Неужели другие тоже так мучаются, изучая свое лицо? Мне кажется, я воспринимаю свое лицо так же, как ощущаю свое тело,— каким-то подспудным органическим чувством. Ну, а другие как? Маркиз де Рольбон, например? Неужели его тоже клонило в сон, когда он видел в зеркалах то, о чем мадам Жанлис говорит: «Его опрятное морщинистое личико, все изрытое оспинами, на котором было написано выражение какого-то особенного плутовства, бросавшееся в глаза, несмотря на все старания маркиза его скрыть. Он очень заботился о своей прическе,— добавляет мадам Жанлис.— Я ни разу не видела его без парика. Но щеки у него были сизые, едва ли не с черным отливом, потому что у маркиза была густая борода, а он желал бриться сам и делал это очень неумело. Он имел обыкновение, по примеру Гримма, мазаться свинцовыми белилами. Мсье Данжевиль говаривал, что эта смесь синего с белым придает Рольбону сходство с рокфором».

Думаю, что маркиз был занятной личностью. Однако глазам мадам Шарьер он все-таки представлялся совсем иным. Насколько я понимаю, она считала его скорее бесцветным. Может, собственное лицо понять невозможно. А может, это оттого, что я один? Люди, общающиеся с другими людьми, привыкают видеть себя в зеркале глазами своих друзей. У меня нет друзей — может быть, поэтому моя плоть так оголена? Ни дать ни взять — ну да, ни дать ни взять, природа без человека.

Нет охоты работать, все валится из рук — подожду, пока стемнеет.

Половина шестого

Дело плохо! дело просто дрянь: гадина, Тошнота, все-таки настигла меня. На этот раз нечто новое — это случилось в кафе. До сих пор бувильские кафе были моим единственным прибежищем — там всегда людно и много света; теперь не осталось и их; а если меня прихватит в моем номере, я и вовсе не буду знать, куда скрыться.

Я пришел, чтобы переспать с хозяйкой, но не успел открыть дверь, как Мадлена, официантка, крикнула:

— А хозяйки нет, она в город ушла, за покупками.

Я ощутил резкое, неприятное чувство внизу живота — долгий зуд разочарования. И в то же время почувствовал, как рубашка трется о мои соски, и меня вдруг взяла в кольцо, подхватила медленная разноцветная карусель; закружила мгла, закружили огни в табачном дыму и в зеркале, а с ними поблескивающие в глубине зала сиденья, и я не мог понять, откуда все это и почему. Я застыл на пороге, потом что-то сместилось, по потолку скользнула тень, меня подтолкнуло вперед. Все плыло, я был оглушен этой сверкающей мглой, которая вливалась в меня сразу со всех сторон. Подплыла Мадлена, чтобы помочь мне снять пальто; она зачесала волосы назад и надела серьги — я ее не узнавал. Я уставился на ее громадные щеки, которым не было конца и которые убегали к ушам. На щеках, во впадине под выступом скул особняком розовели два пятна, и, казалось, они изнывают от скуки на этой убогой плоти. А щеки все убегали и убегали к ушам, а Мадлена улыбалась.

— Что будете пить, мсье Антуан?

И вот тут меня охватила Тошнота, я рухнул на стул, я даже не понимал, где я; вокруг меня медленно кружили все цвета радуги, к горлу подступила рвота. С тех пор Тошнота меня не отпускает, я в ее власти.

Я расплатился, Мадлена унесла блюдечко. Моя кружка плющит на мраморной столешнице лужицу желтого пива, на которой вздулся пузырь. Сиденье подо мной продавлено: чтобы с него не свалиться, я плотно прижимаю к полу подошвы; холодно. Справа от меня на столике, покрытом суконной салфеткой, идет карточная игра. Войдя, я не разглядел игроков, я только почувствовал, что частью на стульях, частью на столике в глубине шевелится какая-то теплая масса, мельтешат несколько пар рук. Потом Мадлена принесла им карты, сукно и в деревянной плошке жетоны. Игроков не то трое, не то пятеро, не знаю, у меня не хватает мужества на них посмотреть. Во мне лопнула какая-то пружина — я могу двигать глазами, но не головой. Голова размякла, стала какой-то резиновой, она словно бы еле-еле удерживается на моей шее — если я ее поверну, она свалится. И все же я слышу одышливое дыхание и время от времени краем глаза вижу багрово-красный в белых волосках промельк. Это рука.

Когда хозяйка ходит за покупками, за стойкой ее заменяет кузен. Зовут его Адольф. Я начал его рассматривать, еще усаживаясь на стул, и теперь продолжаю рассматривать, потому что не могу повернуть головы. Он без пиджака, в рубашке и фиолетовых подтяжках. Рукава Адольф засучил выше локтей. Подтяжки почти не видны на голубой рубахе, они затерты голубым, утонули в нем — но это ложное самоуничижение, они не дают забыть о себе, они раздражают меня своим ослиным упрямством, кажется, будто они, вознамерившись стать фиолетовыми, застряли на полпути, но от планов своих не отказались. Так и хочется им сказать: «Ну, решайтесь же, *станьте*, наконец, фиолетовыми, и покончим с этим». Так нет же, они — ни туда, ни сюда, они запнулись в своем незавершенном усилии. Иногда голубизна наплывает на них и полностью их накрыва-

ет — несколько мгновений я их не вижу. Но это лишь набежавшая волна, вскоре голубизна местами вянет и появляются робкие островки фиолетового цвета, они ширятся, сливаются и вновь образуют подтяжки. Глаз у кузена Адольфа нет, под набухшими приподнятыми веками едва виднеются белки. Адольф сонно улыбается; время от времени он фыркает, повизгивает и вяло отмахивается, как пес, которому что-то снится.

Его голубая ситцевая рубаха радостным пятном выделяется на фоне шоколадной стены. Но от этого тоже тошнит. Или, вернее, *это и есть* Тошнота. Тошнота не во мне: я чувствую ее там, на этой стене, на этих подтяжках, повсюду вокруг меня. Она составляет одно целое с этим кафе, а я внутри.

Справа теплая масса зашумела, руки мельтешат сильнее.

«Вот тебе козырь».— «Какой еще козырь?» Длинный черный хребет склонился над картами: «Ха-ха-ха!» — «В чем дело? Это козырь, он с него пошел».— «Не знаю, не видел...» — «Как это не видел, я пошел с козыря».— «Ладно, стало быть, козыри черви». Напевает: «Козыри черви, козыри черви-червяки». Говорит: «Это что еще за штуки, мсье? Это что еще за штуки? Беру!»

И снова молчание — в глотке привкус сладковатого воздуха. Запахи. Подтяжки.

Кузен встает, сделал несколько шагов, заложил руки за спину, улыбается, поднял голову, откинулся назад, опираясь на пятки. И в этой позе заснул. Вот он стоит, покачивается. С лица не сходит улыбка, щеки трясутся. Сейчас он упадет. Он отклоняется назад, все круче, круче, лицо его задрано к потолку, но в ту минуту, когда он уже готов упасть, он ловко хватается за край стойки, восстанавливая равновесие. И все начинается снова. С меня хватит, я подзываю официантку.

— Мадлена, будьте добры, поставьте пластинку. Ту, которую я люблю, вы знаете: «Some of these days»[1].

— Сейчас, только, может, эти господа будут против. Когда они играют, музыка им мешает. А впрочем, ладно, я их спрошу.

Сделав над собой чудовищное усилие, поворачиваю голову. Их четверо. Мадлена наклоняется к багровому старику, у которого на кончике носа пенсне с черным ободком. Прижимая карты к груди, старик смотрит на меня из-под стекол.

— Пожалуйста, мсье.

Улыбки. Зубы у него гнилые. Красная рука принадлежит не ему, а его соседу, молодчику с черными усами. У этого усача громадные ноздри, таких хватило бы накачать воздуха для целой семьи, они занимают пол-лица, а дышит он ртом, при этом слегка отдуваясь. Еще с ними сидит молодой парень с песьей головой. Четвертого игрока я разглядеть не могу.

Карты падают на сукно по кругу. Руки с кольцами на пальцах подбирают их, царапая коврик ногтями. Руки ложатся на сукно белыми пятнами, на вид они одутловатые и пыльные. На столик падают все новые карты, руки снуют взад и вперед. Странное занятие — оно не похоже ни на игру, ни на ритуал, ни на нервный тик. Наверно, они это делают, просто чтобы заполнить время. Но время слишком емкое, его не заполнишь. Что в него ни опустишь, все размягчается и растягивается. Взять хотя бы движение этой красной руки, которая, спотыкаясь, подбирает карты: оно какое-то дряблое. Его бы вспороть и укрепить изнутри.

Мадлена крутит ручку патефона. Только бы она не ошиблась и не поставила, как случилось однажды, арию из «Cavalleria Rusticana»[2]. Нет, все правильно, я узнаю мотив первых тактов. Это старый *рэг-*

---

[1] «Придет день» *(англ.)*.

[2] «Сельская честь» *(итал.)*.

тайм, с припевом для голоса. В 1917 году на улицах Ла-Рошели я слышал, как его насвистывали американские солдаты. Мелодия, должно быть, еще довоенная. Но запись сделана позже. И все же это самая старая пластинка в здешней коллекции — пластинка фирмы Пате для сапфировой иглы.

Сейчас зазвучит припев — он-то и нравится мне больше всего, нравится, как он круто выдается вперед, точно скала в море. Пока что играет джаз; мелодии нет, просто ноты, мириады крохотных толчков. Они не знают отдыха, неумолимая закономерность вызывает их к жизни и истребляет, не давая им времени оглянуться, пожить для себя. Они бегут, толкутся, мимоходом наносят мне короткий удар и гибнут. Мне хотелось бы их удержать, но я знаю: если мне удастся остановить одну из этих нот, у меня в руках окажется всего лишь вульгарный, немощный звук. Я должен примириться с их смертью — более того, я должен ее *желать:* я почти не знаю других таких пронзительных и сильных ощущений.

Я начинаю согреваться, мне становится хорошо. Тут ничего особенного еще нет, просто крохотное счастье в мире Тошноты: оно угнездилось внутри вязкой лужи, внутри *нашего* времени — времени сиреневых подтяжек и продавленных сидений,— его составляют широкие, мягкие мгновения, которые расползаются наподобие масляного пятна. Не успев родиться, оно уже постарело, и мне кажется, я знаю его уже двадцать лет.

Есть другое счастье — где-то вовне есть эта стальная лента, узкое пространство музыки, оно пересекает наше время из конца в конец, отвергая его, прорывая его своими мелкими сухими стежками; есть другое время.

— Мсье Рандю играет червями, ходи тузом.

Голос скользнул и сник. Стальную ленту не берет ничто — ни открывшаяся дверь, ни струя холодного воздуха, обдавшего мои колени, ни приход ветеринара с маленькой дочкой: музыка, насквозь пронзив эти расплывчатые формы, струится дальше. Девочка только успела сесть, и ее сразу захватила музыка: она выпрямилась, широко открыла глаза и слушает, елозя по столу кулаком.

Еще несколько секунд — и запоет Негритянка. Это кажется неотвратимым — настолько предопределена эта музыка: ничто не может ее прервать, ничто явившееся из времени, в которое рухнул мир; она прекратится сама, подчиняясь закономерности. За это-то я больше всего и люблю этот прекрасный голос; не за его полнозвучие, не за его печаль, а за то, что его появление так долго подготавливали многие-многие ноты, которые умерли во имя того, чтобы он родился. И все же я неспокоен: так мало нужно, чтобы пластинка остановилась — вдруг сломается пружина, закапризничает кузен Адольф. Как странно, как трогательно, что эта твердыня так хрупка. Ничто не властно ее прервать, и все может ее разрушить.

Вот сгинул последний аккорд. В наступившей короткой тишине я всем своим существом чувствую: что-то произошло — *что-то случилось.*

Тишина.

> Some of these days,
> You'll miss me honey![1]

А случилось то, что Тошнота исчезла. Когда в тишине зазвучал голос, тело мое отвердело и Тошнота прошла. В одно мгновенье; это было почти мучительно — сделаться вдруг таким твердым, таким сверкающим. А течение музыки ширилось, нарастало, как смерч. Она заполняла зал своей металлической прозрачностью, расплющивая о стены наше жалкое время. Я *внутри* музыки. В зеркалах перекатываются огненные шары, их обвивают кольца дыма, которые кружат,

[1] Придет день, и ты затоскуешь обо мне, милая *(англ.).*

то затуманивая, то обнажая жесткую улыбку огней. Моя кружка пива вся подобралась, она утвердилась на столе: она приобрела плотность, стала необходимой. Мне хочется взять ее, ощутить ее вес, я протягиваю руку... Боже мой! Вот в чем главная перемена — в моих движениях. Взмах моей руки развернулся величавой темой, заструился сопровождением голоса Негритянки; мне показалось, что я танцую.

Лицо Адольфа все там же, оно кажется совсем близким на шоколадной стене. В ту минуту, когда рука моя сомкнулась вокруг кружки, я увидел голову Адольфа — в ней была очевидность, неизбежность финала. Я стискиваю стеклянную кружку, я смотрю на Адольфа — я счастлив.

— А я пойду так!

Чей-то голос выделился на фоне общего гула. Это голос моего соседа, разваренного старика. Щеки его фиолетовым пятном выступают на коричневой коже стула. Он шлепает по столу картой. Бубновый туз.

Но парень с песьей головой улыбается. Краснорожий игрок, склонившись над столом, следит за ним снизу, готовый к прыжку.

— А я — вот так!

Рука парня выступает из темноты, белая, неторопливая, она мгновение парит в воздухе и вдруг коршуном устремляется вниз, прижимая карту к сукну. Краснорожий толстяк подпрыгивает:

— Черт побери! Бьет!

В скрюченных пальцах мелькает силуэт червонного короля, потом короля перевертывают лицом вниз, игра продолжается. Красавец король явился издалека, его приход подготовлен множеством комбинаций, множеством исчезнувших жестов. Но вот и он в свою очередь исчезает, чтобы дать жизнь новым комбинациям, новым жестам, ходам и ответам на них, поворотам судьбы, крохотным приключениям без счета.

Я взволнован, мое тело словно механизм высокой точности на отдыхе. Ведь я-то пережил настоящие приключения. Подробностей я уже не помню, но я прослеживаю неукоснительную связь событий. Я переплывал моря, я оставил позади множество городов, поднимался по течению рек и углублялся в лесные чащи и при этом все время стремился к другим городам. У меня были женщины, я дрался с мужчинами, но я никогда не мог возвратиться вспять, как не может крутиться в обратную сторону пластинка. И куда все это меня вело? Вот к этой минуте, к этому стулу, в этот гудящий музыкой пузырь света.

And when you leave me[1].

Я, который в Риме так любил посидеть на берегу Тибра, в Барселоне вечером сотни раз пройтись взад и вперед по бульвару Рамблас, я, который возле Ангкора в Бассейне Священного Меча видел баньян, обвивший своими корнями храм Священных Змей, я сижу здесь, я существую в том же мгновении, что и игроки в манилью, я слушаю, как поет Негритянка, а за окном бродит хилая темнота.

Пластинка остановилась.

И темнота вошла — слащавая, нерешительная. Ее не видно, но она здесь, она отуманила лампы; в воздухе что-то сгустилось — это она. Холодно. Один из игроков пододвинул другому рассыпанные карты, тот их собирает. Одна карта осталась валяться на столе. Не видят они ее, что ли? Девятка червей. Наконец кто-то ее подобрал, протянул парню с песьей головой.

— А! Девятка червей!

Ну что ж, мне пора. Лиловый старик, мусоля кончик карандаша, склонился над листком бумаги. Мадлена смотрит на него ясным, пу-

[1] И когда ты покинешь меня *(англ.)*.

стым взглядом. Парень вертит в своих руках червонную девятку. Боже мой!..

Я с трудом встаю; в зеркале над черепом ветеринара передо мной проплывает нечеловечье лицо.

Пойду в кино.

На улице мне лучше — в воздухе нет сладковатого привкуса, нет хмельного запаха вермута. Но, господи, какая стужа!

Половина восьмого, есть я не хочу, а сеанс начнется только в девять, что же мне делать? Надо идти побыстрее, чтобы согреться. Я в нерешительности: бульвар за моей спиной ведет к центру города, к пышным огненным узорам главных улиц, к «Пале Парамаунт», к «Империалю», к зданию громадного универмага «Яан». Меня все это отнюдь не прельщает: сейчас время аперитива, а я по горло сыт одушевленными предметами, собаками, людьми, всеми этими самопроизвольно шевелящимися мягкими массами.

Сворачиваю налево, сейчас я нырну в ту дальнюю дыру, где кончается вереница газовых фонарей,— пойду по бульвару Нуара до проспекта Гальвани. Из дыры задувает ледяной ветер — там одни только камни и земля. Камни — штука твердая, они неподвижны.

Сначала надо миновать нудный отрезок пути: на правом тротуаре серая, дымчатая масса с прочерками огней — это старый вокзал. Его присутствие оплодотворило первые сто метров бульвара Нуара, от бульвара Ла Редут до Райской улицы, дав жизнь десятку фонарей и четырем стоящим бок о бок кафе: «Приюту путейцев» и трем другим, которые днем чахнут, но по вечерам вспыхивают огнями, отбрасывая на мостовую светлые прямоугольники. Я еще трижды окунаюсь в струи желтого света, я вижу, как из магазина «Рабаш», торгующего бакалеей и галантерейными товарами, выходит старуха, натягивает на голову платок, куда-то бежит бегом, и — конец. Я стою у последнего фонаря на Райской улице, на краю тротуара. Здесь асфальтовая лента круто обрывается. По ту сторону улицы — тьма и грязь. Перехожу Райскую улицу. Правой ногой я ступил в лужу, носок у меня промок.

Прогулка началась.

Эта часть бульвара Нуара *необитаема.* Климат здесь слишком суровый, а почва слишком неблагодарная, чтобы жизнь могла пустить здесь корни и развиваться дальше. Три лесопилки братьев Солей (это братья Солей были поставщиками панелей для сводов церкви Святой Цецилии Морской, обошедшихся в сто тысяч франков) всеми своими окнами и дверями выходят на запад, на уютную улицу Жанны-Берты Керуа, которую заполняют своим грохотом. Бульвару Виктора Нуара они показывают три своих зада, соединенных заборами. Здания лесопилки тянутся вдоль левого тротуара на четыреста метров — ни единого окошка, хотя бы слухового.

На сей раз я ступил в сточную канаву обеими ногами. Перехожу дорогу — на другой стороне улицы одинокий газовый фонарь, словно маяк на краю света, освещает щербатый, искалеченный забор.

На досках еще держатся обрывки афиш. Красивое лицо на фоне звездообразно изорванного зеленого клочка искажено гримасой ненависти, под носом кто-то пририсовал закрученные кверху усы. На другом обрывке можно разобрать намалеванное белыми буквами слово «чистюля», из которого сочатся красные капли — может быть, кровь. Не исключено, что это лицо и это слово составляли части одной афиши. Теперь афиша изодрана в клочья, простые соединявшие их по изначальному замыслу связи распались, но между искривленным ртом, каплями крови, белыми буквами, окончанием «юля» само собой возникло новое единство; словно какая-то неутомимая, преступная страсть пытается выразить себя с помощью этих таинственных знаков. В просветах между досками поблескивают огоньки железной до-

роги. Рядом с забором тянется длинная стена. Стена без отверстий, без дверей и окон, которая через двести метров упирается в дом. Я миновал сферу влияния фонаря, я вступаю в черный провал. Моя тень тает у меня под ногами в потемках, и мне чудится, будто я погружаюсь в ледяную воду. Впереди, в глубине провала, сквозь толщи черноты смутно проглядывает розоватое пятно — это проспект Гальвани. Оборачиваюсь; позади газового фонаря, далеко-далеко крохотная частица освещенного пространства — вокзал и четыре кафе. Позади меня, впереди меня люди в пивных пьют и играют в карты. Здесь все черно. По временам откуда-то издалека ветер доносит до меня одинокий прерывистый звон. Домашние звуки, храп машин, крики, лай не отрываются от освещенных улиц, они остаются в тепле. Но этот звон пронзает потемки и долетает сюда — он тверже, в нем меньше человеческого, чем в других звуках.

Я остановился, чтобы его послушать. Мне холодно, болят уши, наверно они побагровели. Но я себя больше не ощущаю, я поглощен чистотой того, что меня окружает; ничего живого, свистит ветер, четкие линии убегают во мрак. Бульвар Нуара лишен непристойного выражения буржуазных улиц, которые жеманничают с прохожими. Никому не пришло в голову его украшать — самая настоящая изнанка. Изнанка улиц Жанны-Берты Керуа, проспекта Гальвани. В районе вокзала бувильцы еще кое-как приглядывают за бульваром — время от времени наводят чистоту ради приезжих. Но чуть поодаль они бросают его на произвол судьбы, и он слепо рвется вперед, упираясь с разбега в проспект Гальвани. Город забыл о бульваре. Иногда на громадной скорости по нему с грохотом пронесется вдруг грузовик землистого цвета. Но здесь даже никого не убивают — за отсутствием и убийц и жертв. Бульвар Нуара неодушевлен. Как минерал. Как треугольник. Какое счастье, что в Бувиле есть такой бульвар. Обычно такие встречаются только в столицах — в Берлине в районе Нойкёльна или Фридрихсхайна, в Лондоне позади Гринвича. Это длинные, грязные, продуваемые ветром коридоры, с широкими без единого дерева тротуарами. Почти всегда они расположены на окраинах, в тех странных районах, в которых зачинается город — вблизи товарных станций, трамвайных депо, боен, газгольдеров. Два дня спустя после дождя, когда промокший город струится теплой испариной под лучами солнца, эти улицы все еще остаются холодными, сохраняя всю свою грязь и лужи. Есть на них и такие лужи, которые не просыхают никогда или, может быть, раз в году — в августе.

Тошнота осталась там, в желтом свете. Я счастлив: этот холод так чист, так чиста эта ночь, разве и сам я — не волна ледяного воздуха? Не иметь ни крови, ни лимфы, ни плоти. И течь по этому длинному каналу к бледному пятну вдали. Быть — просто холодом.

Но вот люди. Две тени. Что им здесь понадобилось?

Низенькая женщина тянет за рукав мужчину. И говорит дробной скороговоркой. Из-за ветра я не могу разобрать слов.

— Да заткнешься ты, наконец? — бросает мужчина.

Она продолжает говорить. И вдруг он ее отталкивает. Они в нерешительности смотрят друг на друга, потом мужчина сует руки в карманы и, не оглядываясь, уходит прочь.

Мужчина исчез. Теперь меня отделяют от женщины каких-нибудь три метра. И вдруг из нее рвутся, раздирая ее, хриплые, низкие звуки, с неслыханной мощью заполняющие улицу.

— Шарль, ну пожалуйста, ты слышишь, что я говорю? Шарль, вернись, я больше не могу, я так несчастна!

Я прохожу настолько близко от нее, что могу до нее дотронуться. Это... но как поверить, что эта распаленная плоть, это пылающее горем лицо?.. и, однако, я узнаю платок, пальто и большую бордовую родинку на правой руке. Это она, это Люси, наша уборщица. Я не смею предложить ей свою помощь, но хочу, чтобы в случае надоб-

ности она могла к ней прибегнуть, и я медленно прохожу мимо, глядя на нее. Люси уставилась на меня, но похоже, она меня не видит; она вообще себя не помнит от горя. Я делаю несколько шагов. Оглядываюсь...

Да, это она, это Люси. Но Люси вне себя, преображенная, отдающаяся страданию с нерасчетливой щедростью. Я завидую ей. Вот она стоит, выпрямившись и раскинув руки, точно ждет, когда на них появятся стигматы; она открыла рот, она задыхается. Мне чудится, что стены по обе стороны улицы начинают расти, что они сближаются, что Люси на дне колодца. Несколько секунд я жду, я боюсь, как бы она не рухнула навзничь, она слишком тщедушна, чтобы вынести бремя такой необычной муки. Но она не шевелится, она стала каменной, как все, что ее окружает. На мгновение мне приходит в голову, что раньше я в ней ошибался и мне вдруг открылась ее подлинная натура...

Люси коротко стонет. Подносит руку к груди, широко открыв удивленные глаза. Нет, не в самой себе почерпнула она силу этого страдания. Она пришла к ней извне... с этого бульвара. Надо взять ее за плечи и увести на свет, к людям, на уютные розовые улицы: там нельзя страдать с такой силой, и она обмякнет, к ней вернутся ее рассудительный вид и привычный уровень страданий.

Я поворачиваюсь к Люси спиной. В конце концов, ей повезло. А я — вот уже три года как я слишком спокоен. В этой трагической глуши я могу почерпнуть только немного бесплодной чистоты. И я ухожу.

Четверг, половина двенадцатого

Два часа я проработал в читальном зале. А потом спустился выкурить трубку во двор Ипотечного Банка. Маленькая площадь выложена розовой брусчаткой. Бувильцы ею гордятся — она построена в XVIII веке. Со стороны улиц Шамад и Сюспедар въезд машинам преграждают старые цепи. Дамы в черном, прогуливающие своих собачек, крадутся под аркадами, жмутся поближе к стенам. Выйти на дневной свет они отваживаются редко, но по-девичьи, тайком и ублаготворенно косятся на статую Гюстава Эмпетраза. Вряд ли им известно имя этого бронзового гиганта, но по его сюртуку и цилиндру они видят: этот человек из хорошего общества. Цилиндр он держит в левой руке, а правую положил на стопку книг in-folio — ну прямо-таки их собственный дед стоит на пьедестале, отлитый в бронзе. Им нет надобности долго его разглядывать, чтобы понять — он смотрел на все как они, в точности как они. На службу их куцым и незыблемым взглядам он поставил весь свой авторитет и громадную эрудицию, почерпнутую в фолиантах, которые плющит его тяжелая рука. Дамам в черном легче дышать, они могут со спокойной душой заниматься хозяйством и прогуливать своих собачек — бремя ответственности упало с их плеч, им не надо защищать священные взгляды, добропорядочные взгляды, унаследованные ими от отцов: бронзовый исполин взялся охранять их.

«Большая Энциклопедия» посвятила этой фигуре несколько строк, я прочел их в прошлом году. Положив том энциклопедии на подоконник, я через стекло глядел на зеленый череп Эмпетраза. Я узнал, что расцвет его деятельности пришелся на 1890 год. Он был инспектором академии. Малевал очаровательные картинки, выпустил три книги: «О популярности у древних греков» (1887), «Педагогика Роллена» (1891) и «Поэтическое завещание» в 1899 году. Умер в 1902 году, оплаканный своими подчиненными и людьми с хорошим вкусом.

Я прислонился к фасаду библиотеки. Я затягиваюсь трубкой, которая вот-вот погаснет. И вижу старую даму, которая боязливо выходит из-под аркад галереи и упорным, проницательным взглядом рассматривает Эмпетраза. Вдруг, осмелев, со всей скоростью, доступ-

ной ее лапкам, она семенит через двор и на мгновение застывает перед статуей, двигая челюстями. Потом улепетывает — черное пятно на розовой мостовой — и исчезает, юркнув в щель в стене.

Быть может, в начале прошлого столетия эта площадь, выложенная розовой брусчаткой и окруженная домами, создавала радостное впечатление. Сейчас есть в ней что-то сухое, неприятное, даже жутковатое. Виноват в этом дяденька на пьедестале. Отлив этого ученого мужа в бронзе, его превратили в колдуна.

Я смотрю Эмпетразу в лицо. Глаз у него нет, нос едва намечен, борода изъедена странными язвами, которые иногда как зараза поражают все статуи в каком-нибудь районе. Он застыл в приветствии; на его жилете, в том месте, где сердце,— большое светло-зеленое пятно. Вид у него хилый и болезненный. Это не живой человек, однако неодушевленным его тоже не назовешь. От него исходит какая-то смутная сила, словно меня в грудь толкает ветер,— это Эмпетраз хотел бы изгнать меня с площади Ипотечного Банка. Но я не уйду, пока не докурю трубку.

Вдруг за моей спиной возникает длинная тощая тень. Я вздрагиваю.

— Извините, мсье. Я не хотел вам мешать. Я видел, что губы у вас шевелятся. Вы, наверно, повторяете фразы из вашей книги.— Он засмеялся.— Хотите изгнать александрийские стихи.

Я тупо уставился на Самоучку. Но он удивлен, что удивлен я.

— Разве в прозе не следует старательно избегать александрийских стихов?

Я несколько упал в его мнении. Я спрашиваю, что он делает здесь в этот час. Начальник дал ему отгул, объясняет Самоучка, и он отправился прямиком в библиотеку; обедать он не пойдет и до закрытия будет читать. Я перестал слушать, но, должно быть, он отклонился от первоначального сюжета, так как вдруг до меня доносится:

— ...иметь счастье, как вы, писать книгу.

Надо ему что-то ответить.

— Счастье...— говорю я с сомнением.

Превратно истолковав мой ответ, он спешит исправить оплошность.

— Мне следовало сказать: иметь талант, мсье.

Мы поднимаемся по лестнице. Работать мне неохота. Кто-то забыл на столе «Евгению Гранде», книга открыта на двадцать седьмой странице. Я машинально беру ее, читаю страницу двадцать седьмую, потом двадцать восьмую, начать сначала мне не хватает решимости. Самоучка бодрым шагом направился к книжным полкам: он приносит оттуда два тома и кладет их на стол с видом пса, нашедшего кость.

— Что вы читаете?

По-моему, ему тягостно отвечать на этот вопрос: с минуту он колеблется, растерянно вращает глазами, потом нехотя протягивает мне книги. Это «Торф и торфоразработки» Ларбалетрие и «Хитопадеша, или Полезные наставления» Латекса. Ну и что? Не понимаю, почему он смущен. Вполне благопристойная литература. Для очистки совести перелистываю «Хитопадешу» — сплошь высокая материя.

3 часа

Я отложил «Евгению Гранде». И принялся за работу, хоть и без энтузиазма. Самоучка, видя, что я пишу, смотрит на меня с почтительным вожделением. Иногда я приподнимаю голову и вижу широченный стоячий воротничок, из которого торчит его цыплячья шея. Одежда на Самоучке потертая, но белье ослепительной белизны. Он только что снял с той же полки еще один том, я прочел перевернутое вверх ногами название «Стрела Кодебека», нормандская хроника. Автор — мадемуазель Жюли Латернь. Подбор читаемой им литературы неизменно ставит меня в тупик.

И вдруг мне на память приходят фамилии авторов тех книг, которые он брал в последнее время: Ламбер, Ланглуа, Ларбалетрие, Латекс, Латернь. Меня вдруг осенило — я разгадал метод Самоучки: он осваивает знания в алфавитном порядке.

Я смотрю на него не без восхищения. Какой же волей надо обладать, чтобы медленно, упорно осуществлять такой обширный замысел. Однажды, семь лет тому назад (он сказал мне, что занимается самообразованием семь лет), он торжественно вступил в этот зал. Обвел взглядом бесчисленные тома, которыми заставлены стены, и, должно быть, сказал себе почти как Растиньяк: «А ну, познания человеческие, поглядим, кто кого!» Потом подошел, взял первую книгу на первой полке справа и открыл первую страницу со смешанным чувством благоговения, ужаса и неколебимой решимости. Сегодня он добрался до «Л». «К» после «И». «Л» после «К». От трактата о жесткокрылых его бросает к теории квантов, от исследования, посвященного Тамерлану, к католическому памфлету против дарвинизма, но это его нимало не смущает. Он прочел все. На складе в его голове хранится половина того, что науке известно о партеногенезе, половина всех аргументов, выдвинутых против вивисекции. Позади у него, впереди у него целый мир. И близится день, когда, закрыв последний том, взятый с последней полки слева, он скажет: «Что же теперь?»

В этот час он полдничает, с простодушным видом он жует хлеб и плитку шоколада «Гала Петер». Веки его опущены, и я без помех могу любоваться его красивыми, загнутыми, как у женщины, ресницами. От него пахнет застарелым табаком, к которому, когда он дышит, примешивается сладковатый запах шоколада.

Пятница, 3 часа

Кое-что прибавилось. В ловушку зеркала я уже попадался. Зеркала я избегаю, но зато я попал в другую ловушку — ловушку окна. Праздный, вяло уронив руки, подхожу к нему: Стройплощадка, Забор, Старый вокзал — Старый вокзал, Забор, Стройплощадка. Зеваю так широко, что на глазах выступают слезы. В правой руке у меня трубка, в левой — кисет. Надо набить трубку. Но сил у меня нет. Руки висят как плети, прижимаюсь лбом к оконному стеклу. Меня раздражает эта старуха. Взгляд растерянный, но упорно семенит вперед. Иногда пугливо останавливается, словно почуяв невидимую опасность. Вот она уже под моим окном, ветер облепил ей колени юбкой. Остановилась, поправляет платок. Руки у нее дрожат. Двинулась дальше — теперь я вижу ее со спины. Старая перечница! Наверно, сейчас свернет направо на бульвар Нуара. Ей осталось пройти метров сто — с ее скоростью это займет еще минут десять. Целых десять минут мне придется глядеть на нее, прижавшись лбом к стеклу. И еще раз двадцать она остановится, засеменит дальше, остановится снова...

Я *вижу* будущее. Оно здесь, на этой улице, разве чуть более блеклое, чем настоящее. Какой ему прок воплощаться в жизнь? Что это ему даст? Старуха, ковыляя, уходит дальше, останавливается, заправляет седую прядь, выбившуюся из-под косынки. Она идет, она была там, теперь она здесь... Не пойму, что со мной — вижу я ее жесты или предвижу? Я уже не отличаю настоящего от будущего, и, однако, что-то длится, что-то постепенно воплощается, старуха плетется по пустынной улице, переставляя грубые мужские ботинки. Вот оно время в его наготе, оно осуществляется медленно, его приходится ждать, а когда оно наступает, становится тошно, потому что замечаешь, что оно давно уже здесь. Старуха дошла до угла, теперь она превратилась в узелок черного тряпья. Что ж, пожалуй, это что-то новое, только что она была не такой, когда находилась в той стороне. Но новизна эта тусклая, заезженная, не способная удивить.

Сейчас старуха свернет за угол, старуха сворачивает — проходит вечность.

Я отрываюсь от окна, бреду, шатаясь по комнате; влипаю в зеркало, смотрю на себя с омерзением — еще одна вечность. Наконец, избавился от своего изображения, валюсь на постель. Гляжу в потолок — хорошо бы заснуть.

Спокойно. Спокойно. Вот я уже не чувствую, как скользит, задевая меня, время. На потолке я вижу картинки. Сначала круги света, потом кресты. Все это порхает. А вот и новая картинка — на сей раз в глубине моих закрытых глаз. Это громадное коленопреклоненное животное. Я вижу его передние лапы и вьючное седло. Остальное скрыто туманом. И все же я его узнаю — это привязанный к камню верблюд, которого я видел в Марракеше. Он шесть раз подряд становился на колени и снова вставал, а мальчишки смеялись и криками подзадоривали его.

Два года назад это было удивительно — стоило мне закрыть глаза, и голова начинала гудеть, как улей, передо мной вставали виденные когда-то лица, деревья, дома, японка из Камаиси, которая нагишом мылась в бочке, убитый русский с огромной зияющей раной, а рядом — лужа его крови. Я ощущал во рту вкус кускуса, в ноздрях запах масла, разливающегося в полдень по улицам Бургоса, запах укропа, плывущий по улицам Тетуана, слышал пересвист греческих пастухов; все это волновало меня. Но эта радость давно уже истерлась. Неужели сегодня она возродится вновь?

Знойное солнце в моей голове деревянно плывет, как изображение в волшебном фонаре. За ним следует клочок синего неба. Дернувшись несколько раз, оно застыло, я весь позолочен им изнутри. От какого марокканского (а может, алжирского? или сирийского?) дня оно вдруг оторвалось? Я отдаюсь потоку, уносящему меня в прошлое.

Мекнес. Как он выглядел, этот горец, напугавший нас в узенькой улочке между Берденской мечетью и прелестной площадью в тени шелковицы? Он двинулся прямо на нас, Анни шла справа от меня. Или слева?

Это солнце и синее небо — всего лишь обман. Вот уже сотый раз я на него попадаюсь. Мои воспоминания — словно золотые в кошельке, подаренном дьяволом: откроешь его, а там сухие листья.

Горца я больше не вижу — вижу только огромное молочного цвета пятно на месте вытекшего глаза. Впрочем, его ли это глаз? Врач, который в Баку излагал мне принципы устройства государственных абортариев, тоже был кривым, и когда я пытаюсь вспомнить его лицо, передо мной возникает такой же беловатый шар. У этих двоих, как у Норн, один общий глаз, и они то и дело им обмениваются.

С этой площадью в Мекнесе, хотя я ходил по ней каждый день, еще проще — я вообще ее больше не вижу. У меня осталось от нее смутное чувство, что она была прелестна, да еще эти четыре слова, которые слились в одно: прелестная площадь в Мекнесе. Конечно, если я закрою глаза или мутным взглядом уставлюсь в потолок, я могу восстановить ту сцену: вдали дерево, и на меня бежит какая-то темная, коренастая тень. Впрочем, все это я выдумал по ходу дела. Марокканец был высокий, сухощавый, да и увидел-то я его, только когда он меня коснулся. Стало быть, я все еще *знаю,* что он высокий и сухощавый — кое-какие краткие сведения в моей памяти сохранились. Но я ничего больше не вижу: сколько я ни роюсь в прошлом, я извлекаю из него только обрывочные картинки, и я не знаю толком, что они означают, воспоминания это или вымыслы.

А во многих случаях исчезли и сами эти обрывки — остались только слова; я еще способен рассказывать и даже слишком хорошо рассказывать разные истории (по части анекдотов со мной не может тягаться никто, кроме морских офицеров и профессиональных рассказчиков), но теперь от моих историй остался один остов. В них

идет речь о ком-то, кто проделывает то-то и то-то. Но это не я, у меня с ним нет ничего общего. Он скитается по разным странам, о которых я имею представления не больше, чем если бы никогда в них не бывал. Иногда в своих рассказах мне случается упомянуть красивые названия, которые можно вычитать в Атласе,— Аранхуэс или Кентербери. Они рождают во мне совершенно новые образы, как бывает с тем, кто никогда не путешествовал; мою фантазию будят слова — вот и все.

Однако на сотню мертвых историй сохранились одна-две живые. Эти я вызываю в памяти с осторожностью, не часто, чтобы они не износились. Выужу одну, передо мной воскреснет обстановка, действующие лица, их позы. И вдруг стоп: я почувствовал потертость — сквозь основу чувств уже проглядывает слово. Я угадываю: это слово вскоре займет место многих дорогих мне образов. Я сразу останавливаюсь, начинаю думать о другом — не хочу перетруждать свои воспоминания. Но тщетно — в следующий раз, когда я захочу их оживить, многие из них уже омертвеют.

Я делаю вялую попытку встать, чтобы найти фотографии Мекнеса в коробке, которую я задвинул под стол. Но к чему? Эти возбуждающие средства больше не оказывают действия на мою память. Както я нашел под бюваром маленькую выцветшую фотографию. Улыбающаяся женщина у фонтана. Я долго смотрел на нее, не узнавая. Потом на обороте прочел: «Анни. Портсмут, 7 апреля 27 года».

Никогда еще я не испытывал с такой силой, как сегодня, ощущения, что я лишен потайных глубин, ограничен пределами моего тела, легковесными мыслями, которые пузырьками поднимаются с его поверхности. Я леплю воспоминания из своего настоящего. Я отброшен в настоящее, покинут в нем. Тщетно я пытаюсь угнаться за своим прошлым, мне не вырваться из самого себя.

Стучат. Это Самоучка: я совсем забыл о нем. Я обещал показать ему фотографии, привезенные из моих путешествий. Черт бы его побрал.

Он садится на стул. Напряженные ягодицы уперлись в спинку, негнущийся корпус подался вперед. Вспрыгнув на кровать в изножье, я зажигаю свет.

— Зачем же, мсье? И так было очень хорошо.

— Слишком темно, чтобы рассматривать фотографии...

Он не знает, куда девать свою шляпу,— я беру ее у него из рук.

— Вправду, мсье? Вы мне их покажете?

— Конечно.

Я действую с расчетом — я надеюсь, что, пока он их рассматривает, он будет молчать. Ныряю под стол, выталкиваю коробку к его лакированным ботинкам и кладу ему на колени охапку почтовых открыток и снимков — Испания и Испанское Марокко.

Но по его открытому, смеющемуся лицу вижу, что горько ошибся, надеясь заткнуть ему рот. Он бросает взгляд на вид Сан-Себастьяна, снятый с горы Игуэльдо, осторожно откладывает его на стол и несколько мгновений молчит. Потом вздыхает:

— Ах, мсье, вам повезло. Если верить тому, что говорят люди, путешествия — лучшая школа. Вы согласны, мсье?

Я делаю неопределенный жест. К счастью, он еще не договорил.

— Наверно, это переворачивает всю душу. Если бы мне довелось однажды куда-нибудь поехать, мне кажется, перед отъездом я описал бы на бумаге все мельчайшие черточки своего характера, чтобы, вернувшись, сравнить — каким я был и каким стал. Я читал, что некоторые путешественники и внешне и внутренне изменялись настолько, что по возвращении самые близкие родственники не могли их узнать.

Он рассеянно вертит в руках толстую пачку фотографий. Берет одну и, не глядя, откладывает на стол; потом напряженно всматри-

вается в следующий снимок, на котором изображена статуя святого Иеронима с кафедры собора в Бургосе.

— А вы видели в Бургосе Христа в звериной шкуре? Есть очень любопытная книга, мсье, об этих статуях в звериных шкурах и даже в человечьей коже. А черную Мадонну? Но она, кажется, не в Бургосе, а в Сарагосе? А может, такая есть и в Бургосе? И паломники целуют ее, правда ведь — я говорю о сарагосской? И на плите, кажется, сохранился след ее ноги? А плита в каком-то провале? И матери толкают туда своих детей?

Не разгибаясь, он двумя руками толкает воображаемого ребенка. Ни дать ни взять — отвергает дары Артаксеркса.

— Ах, мсье, обычаи — это... это такая занятная штука.

Задохнувшись, он выдвинул в мою сторону свою огромную ослиную челюсть. От него несет табаком и стоячей водой. Его прекрасные блуждающие глаза блестят, как огненные шары, а редкие волосы обвели череп запотевшим венчиком. В его черепной коробке самоеды, люди племени ньям-ньям, мальгаши и жители Огненной Земли справляют самые диковинные обряды, поедают своих престарелых отцов и детей, до потери сознания кружат на месте под звуки тамтама, предаются исступлению амока, сжигают своих мертвецов, выставляют их на крышах, пускают по течению в лодках с горящим факелом, совокупляются с кем попало — мать с сыном, отец с дочерью, сестра с братом, увечат, оскопляют себя, растягивают губы с помощью плошек, облепляют чресла фигурами чудовищных животных.

— Как по-вашему, можно вслед за Паскалем повторить, что обычаи — это вторая натура?

Он впился своими черными глазами в мои, он вымаливает ответ.

— Как когда,— отвечаю я.

Он переводит дух.

— Вот и я так думаю, мсье. Но я себе не доверяю — для этого надо прочитать все.

Однако следующая фотография приводит его в экстаз.

— Сеговия! Сеговия! — радостно вопит он.— Я читал книгу о Сеговии.— И не без достоинства добавляет: — Забыл фамилию автора, мсье. У меня бывают такие провалы. На... Не... Нод...

— Этого не может быть,— живо возражаю я.— Вы дошли только до Латернь...

Я тут же пожалел о своих словах: ведь он никогда не рассказывал мне, по какому методу он читает книги, это, наверно, тайная мания. И в самом деле, он смутился, плаксиво выпятил толстые губы. Потом наклонил голову и с десяток открыток перебрал в полном молчании.

Но через полминуты я вижу, что его распирает неудержимый восторг — он лопнет, если не выскажется.

— Когда я закончу свое образование (я кладу на это еще шесть лет), если мне разрешат, я присоединюсь к студентам и преподавателям университета, которые ежегодно совершают поездку на Дальний Восток. Мне надо бы уточнить кое-какие сведения,— произносит он елейно,— и еще мне хотелось бы пережить что-то неожиданное, новое, словом, прямо говоря, какие-нибудь приключения.

Он понизил голос с плутовским видом.

— Приключения какого рода? — удивился я.

— Да какие угодно, мсье. Например, ты случайно сел не в тот поезд. Сошел в незнакомом городе. Потерял бумажник, по ошибке тебя арестовали, и ночь ты провел в тюрьме. По-моему, понятие «приключение» можно определить так: событие, которое выходит за рамки привычного, хотя не обязательно должно быть необычным. Говорят о магии приключений. Как вы считаете, это выражение справедливо? Я хотел бы задать вам один вопрос, мсье.

— Какой?

Он покраснел и улыбнулся.

— Может, это нескромно...

— Ну а все-таки?

Он наклоняется ко мне и спрашивает, полузакрыв глаза:

— У вас было много приключений, мсье?

— Кое-какие были,— машинально отвечаю я, резко отстранившись, чтобы уклониться от его гнилостного дыхания. Я ответил ему машинально, не подумав. В самом деле, обычно я, пожалуй, даже горжусь тем, что пережил так много приключений. Но сегодня, не успев произнести эти слова, я разозлился на самого себя: мне кажется, я солгал, не было у меня в жизни ни единого приключения, или, вернее, я просто не знаю, что это слово означает. И в то же время на меня наваливается та самая тоска, которая охватила меня четыре года назад в Ханое, когда Мерсье уговаривал меня поехать с ним, а я молча уставился на кхмерскую статуэтку. И рядом снова оказалась МЫСЛЬ, та самая огромная белая масса, от которой мне сделалось тогда так мерзко — четыре года она мне не являлась.

— Могу ли я вас просить...— начинает Самоучка.

Черт побери! Конечно, чтобы я рассказал ему одно из этих пресловутых приключений. Но я больше ни слова не вымолвлю на эту тему.

— А вот это,— говорю я, перегнувшись через его узкие плечи и тыча пальцем в один из снимков,— это Сантильяна, самая хорошенькая деревушка в Испании.

— Сантильяна Жиль Блаза? А я и не знал, что она в самом деле существует. Ах, мсье, в разговоре с вами узнаешь столько полезного! Сразу видно, что вы поездили по свету.

Я выставил Самоучку за дверь, набив его карманы почтовыми открытками, гравюрами и фотографиями. Он ушел в полном восторге, а я гашу свет. Теперь я один. Не совсем один. Есть еще эта мысль, она рядом, она ждет. Она свернулась клубком, как громадная кошка; она ничего не объясняет, не шевелится, она только говорит: «нет». Нет, не было у меня никаких приключений.

Я набиваю трубку, раскуриваю ее и вытягиваюсь на кровати, набросив на ноги пальто. Не пойму, почему мне так грустно и я так устал. Даже если и вправду у меня никогда не было приключений, что из того? Во-первых, по-моему, все дело просто в словах. Взять хотя бы случай в Мекнесе, который мне недавно вспомнился. На меня напал марокканец с громадным ножом. Но я двинул его кулаком и угодил в висок... Он стал кричать по-арабски, появилась толпа каких-то оборванцев, которые гнались за нами до самого рынка в Аттарене... Ну так вот, обозначить это можно любым словом, но все же это происшествие, *которое случилось со мной.*

Совсем стемнело, не уверен, горит ли моя трубка. Проходит трамвай: красная вспышка на потолке. Проносится тяжелая машина — от ее грохота содрогается дом. Должно быть, сейчас шесть.

У меня не было приключений. В моей жизни случались истории, происшествия, события — что угодно. Но не приключения. И дело тут не в словах, я начинаю это понимать. Было нечто, чем я, не сознавая этого, дорожил больше всего на свете. Это была не любовь, боже мой, нет, и не слава, не богатство. Это было... В общем, я воображал, что в известные минуты моя жизнь приобретала редкий и драгоценный смысл. И для этого не было нужды в каких-то особых обстоятельствах, нужна была просто некоторая четкость. Нынешняя моя жизнь не слишком блистательна, но время от времени, например, когда в кафе играла музыка, я возвращался вспять и говорил себе: в былые дни, в Лондоне, в Мекнесе, в Токио я пережил восхитительные минуты, у меня были приключения. И вот теперь это у меня

отнимают. Без всякого видимого повода я вдруг понял, что обманывал себя десять лет. Приключения бывают в книгах. Правда, все, о чем говорится в книгах, может случиться и в жизни, но совсем не так. А именно тем, как это случается, я и дорожил.

Во-первых, начало всегда должно было быть настоящим началом. Увы! Теперь я так ясно вижу, чего я хотел. Истинное начало возникает как звук трубы, как первые ноты джазовой мелодии, оно разом прогоняет скуку, уплотняет время. О таких особенных вечерах потом говорят: «Я гулял, был майский вечер». Ты гуляешь, взошла луна, ты ничем не занят, бездельничаешь, немного опустошен. И вдруг у тебя мелькает мысль: «Что-то случилось». Что угодно — может, в темноте что-то скрипнуло или на улице мелькнул легкий силуэт. Но это крохотное событие не похоже на другие — ты сразу чувствуешь, оно предваряет что-то значительное, чьи очертания еще теряются во мгле, и ты говоришь себе: «Что-то начинается».

Что-то начинается, чтобы прийти к концу: приключение не терпит длительности; его смысл — в его гибели. К этой гибели, которая, быть может, станет и моей, меня влечет неотвратимо. И кажется, что каждое мгновение наступает лишь затем, чтобы потянуть за собой те, что следуют за ним. И каждым мгновением я безгранично дорожу — я знаю: оно неповторимо, незаменимо,— но я не шевельну пальцем, чтобы помешать ему сгинуть. Я знаю: вот эта последняя минута — в Берлине ли, в Лондоне ли,— которую я провожу в объятьях этой женщины, встреченной позавчера, минута, страстно мной любимая, женщина, которую я готов полюбить,— уже истекает. Я уеду в другие страны. Я никогда больше не увижу эту женщину, никогда не повторится эта ночь. Я склоняюсь над каждой секундой, стараюсь исчерпать ее до дна, все, что она содержит — и мимолетную нежность прекрасных глаз, и уличный шум, и обманчивый свет зари,— я стараюсь вобрать в себя, навеки запечатлеть в себе, и, однако, минута истекает, я не удерживаю ее, мне нравится, что она уходит.

А потом вдруг что-то разбивается вдребезги. Приключение окончено, время вновь обретает свою будничную вязкость. Я оглядываюсь: позади меня прекрасная мелодическая форма сейчас канет в прошлое. Она уменьшается, идя на ущерб, она съеживается, и вот конец уже сливается в одно с началом. И, провожая взглядом эту золотую точку, я думаю, что, даже если мне пришлось едва не поплатиться жизнью, разориться, потерять друга, я согласился бы пережить заново все, от начала до конца, в тех же самых обстоятельствах. Но приключение нельзя ни повторить, ни продлить.

Да, вот чего я хотел — увы, хочу и сейчас. Когда поет Негритянка, меня охватывает такое безграничное счастье. Каких вершин я мог бы достичь, если бы тканью мелодии стала моя *собственная жизнь*.

А мысль, неизреченная, все здесь. Она невозмутимо ждет. И мне кажется, что она говорит:

«Вот как? Вот, оказывается, *чего* ты хотел? Ну так этого-то у тебя как раз никогда и не было (вспомни: ты просто морочил себя игрой слов, называл приключениями мишуру странствий, любовь продажных девок, потасовки, побрякушки) и никогда не будет, ни у тебя, ни у кого другого».

Но почему? П О Ч Е М У?

Суббота, полдень

Самоучка не видел, как я вошел в читальный зал. Он сидел за последним столом в глубине зала с самого края; перед ним лежала книга, но он ее не читал. Он с улыбкой поглядывал на своего соседа справа, неряху гимназиста, который часто приходит в библиотеку. Тот некоторое время терпел взгляд Самоучки, потом вдруг, скорчив

жуткую гримасу, показал ему язык. Самоучка покраснел и, поспешно уткнув нос в книгу, углубился в чтение.

А я вернулся к моим вчерашним раздумьям. Они меня совсем извели: не в том дело, что у меня не было приключений,— это мне все равно. Я хочу знать другое — *могли ли* они быть вообще.

Вот ход моих рассуждений: для того, чтобы самое банальное происшествие превратилось в приключение, достаточно его *рассказать*. Это-то и морочит людей; каждый человек — всегда рассказчик историй, он живет в окружении историй, своих и чужих, и все, что с ним происходит, видит сквозь их призму. Вот он и старается подогнать свою жизнь под рассказ о ней.

Но приходится выбирать: или жить, или рассказывать. Вот, например, в Гамбурге я вел довольно странный образ жизни с некой Эрной, которой я не доверял и которая меня боялась. Но я был внутри этой жизни, я о ней не думал. И вот однажды вечером, в маленьком кафе в Санкт-Паули, ей понадобилось выйти в уборную. А я остался один, патефон играл «Blue sky»[1]. И я стал рассказывать себе самому все, что случилось со мной после того, как я приехал в Гамбург. Я говорил себе: «На третий день вечером я вошел в дансинг под названием «Голубой грот» и заметил высокую полупьяную женщину. Эту женщину я сейчас жду, слушая «Blue sky». С минуты на минуту она вернется, сядет со мной рядом и повиснет у меня на шее». И тут я вдруг почувствовал, что у меня приключение. Но Эрна вернулась, села рядом со мной, повисла у меня на шее, и сам не знаю почему, я ее тут же возненавидел. А теперь я знаю почему — надо было снова начинать жить, а чувство приключения исчезло.

Пока живешь, никаких приключений не бывает. Меняются декорации, люди приходят и уходят — вот и все. Никогда никакого начала. Дни прибавляются друг к другу без всякого смысла, бесконечно и однообразно. Время от времени подбиваешь частичный итог, говоришь себе: вот уже три года я путешествую, три года как я в Бувиле. И конца тоже нет — женщину, друга или город не бросают одним махом. И потом все похоже — будь то Шанхай, Москва или Алжир, через полтора десятка лет все они на одно лицо. Иногда — редко — вникаешь вдруг в свое положение: замечаешь, что тебя заарканила баба, что ты влип в грязную историю. Но это короткий миг. А потом все опять идет по-прежнему, и ты снова складываешь часы и дни. Понедельник, вторник, среда. Апрель, май, июнь. 1924, 1925, 1926.

Это называется жить. Но когда ты рассказываешь свою жизнь, все меняется; только никто этой перемены не замечает, и вот доказательство: люди недаром толкуют о правдивых историях. Будто истории вообще могут быть правдивыми; события развертываются в одной последовательности, рассказываем же мы их в обратной. Нам кажется, что мы начинаем с начала. «Случилось это погожим осенним вечером 1922 года. Я работал письмоводителем у нотариуса в Маромме». Но на самом деле начинаешь с конца. Конец здесь, он присутствует здесь невидимкой, это он придает произнесенным словам торжественную значимость начала. «Я вышел погулять и не заметил, как оказался за чертой города, меня одолевали денежные заботы». Фраза эта, взятая сама по себе, просто означает, что персонаж, о котором идет речь, ушел в свои мысли, был мрачен и находился за тридевять земель от каких бы то ни было приключений — то есть был в таком настроении, когда все происходящее проходит мимо тебя. Но конец-то ведь здесь, рядом, он преображает все. Для нас названный персонаж — уже герой истории. Его мрачность, его денежные заботы куда драгоценнее наших — их позолотил свет грядущих страстей. И рассказ развертывается задом наперед: мгновения перестали наудачу громоздиться одно на другое, их подцепил конец

[1] «Голубое небо» *(англ.)*.

истории, он притягивает их к себе, а каждое из них в свою очередь тянет за собой предшествующее мгновение. «Стояла ночь, улица была пустынна». Фраза брошена как бы невзначай, она кажется лишней, но нас не обмануть, мы наматываем ее на ус: важность этих сведений мы скоро оценим. И чувство у нас такое, будто герой пережил все подробности этой ночи как знамение, как провозвестье, и даже кажется, что он жил только в эти знаменательные минуты и был слеп и глух ко всему, что не возвещало приключения. Мы забываем, что будущее там пока еще не присутствовало, и персонаж просто гулял ночью, и ночь была лишена предвестий, она вперемежку предлагала ему свои однообразные сокровища, и он черпал их без разбора.

Я хотел, чтобы мгновения моей жизни следовали друг за другом, выстраиваясь по порядку, как мгновения жизни, которую вспоминаешь. А это все равно что пытаться ухватить время за хвост.

Воскресенье

Утром я забыл, что сегодня воскресенье. Я вышел и, как всегда, зашагал по улицам. С собой я взял «Евгению Гранде». И вдруг, толкнув калитку городского парка, я почувствовал, как что-то подает мне знак. Парк был безлюден и гол. Но... как бы это объяснить? У него был какой-то необычный вид, он мне улыбался. Мгновение я постоял, прислонившись к калитке, и вдруг понял: сегодня воскресенье. Оно ощущалось в деревьях, в лужайках, как едва заметная улыбка. Это невозможно описать, разве что быстро произнести: «Это городской парк, зимой, воскресным утром».

Я отпустил калитку, обернулся к буржуазным домам и улицам и тихонько сказал: «Сегодня воскресенье».

Сегодня воскресенье: за доками, вдоль берега моря, возле товарных станций, вокруг всего города ангары пусты и машины замерли в темноте. В каждом доме у окон бреются мужчины; откинув голову, они то глядятся в зеркало, то смотрят на холодное небо, чтобы определить, какая будет погода. Бордели открывают двери первым посетителям — приезжим из деревни и солдатам. В церквах при свете свечей мужчина пьет вино перед коленопреклоненными женщинами. В предместьях, между бесконечными заводскими стенами, начали свое шествие длинные черные цепи — они медленно текут к центру города. Готовясь к встрече с ними, улицы приняли тот облик, какой у них бывает в дни мятежей: все магазины, кроме тех, что расположены на улице Турнебрид, опустили свои железные щиты. Скоро черные колонны молча заполонят прикинувшиеся мертвыми улицы: сначала явятся железнодорожники Турвиля и их жены, работающие на мыловаренных заводах Сен-Симфорен, потом мелкие буржуа из пригорода — Жукстебувиля, потом рабочие прядильной фабрики Пино, потом мастеровые из квартала Сен-Максанс; последними, одиннадцатичасовым трамваем, приедут жители Тьераша. И скоро между закрытыми магазинами и дверями на запорах родится воскресная толпа.

Часы бьют половину десятого, и я пускаюсь в путь: в воскресенье в этот час в Бувиле можно увидеть любопытное зрелище, надо только поспеть к тому времени, когда верующие расходятся после праздничной службы.

Улочка Жозефины Сулари пустынна, здесь пахнет погребом. Но, как всегда по воскресеньям, ее заполняет мощный рокот, рокот прибоя. Сворачиваю на улицу Президента Шамара — здесь все дома четырехэтажные с длинными белыми ставнями. Эта улица нотариусов по-воскресному гулко гудит. В пассаже Жилле гул нарастает, я его узнаю: это гул толпы. И вдруг по левую руку от меня свет и звук словно взрываются. Я у цели — вот улица Турнебрид, мне ос-

тается только влиться в толпу себе подобных, и я увижу, как раскланиваются друг с другом, приподнимая шляпы, добропорядочные горожане.

Еще шестьдесят лет тому назад никто не решился бы предсказать удивительную судьбу улицы Турнебрид, которую нынешние бувильцы прозвали Маленькой Прадо. Я видел план города 1847 года — улицы там и в помине нет. В ту пору здесь был, наверно, темный, вонючий проход со сточной канавой посередине, и по ней плыли рыбные головы и внутренности. Но в конце 1873 года Национальное собрание объявило, что общественное благо требует возвести церковь на вершине Монмартрского холма. А несколько месяцев спустя жене бувильского мэра было видение: ее покровительница, Святая Цецилия, осыпала ее упреками. Допустимо ли, чтобы люди избранного общества каждое воскресенье шлепали по грязи в Сен-Ре или Сен-Клодьен, чтобы слушать мессу вместе с лавочниками? Разве Национальное собрание не подало пример? Милостью Божьей Бувиль достиг экономического процветания. Так разве не следует возблагодарить Создателя, построив в Бувиле храм?

К видению отнеслись благосклонно: муниципальный совет собрался на историческое заседание, и епископ согласился возглавить сбор пожертвований. Оставалось выбрать место. Почтенные семьи коммерсантов и судовладельцев считали, что церковь следует возвести на вершине Зеленого Холма, где они жили, чтобы «Святая Цецилия хранила Бувиль, вознесясь над ним, как храм Христа Сакре-Кёр над Парижем». Но новоявленные господа с Морского Бульвара, в ту пору еще немногочисленные, но весьма богатые, уперлись: они-де готовы дать сколько нужно, но только в том случае, если церковь воздвигнут на площади Мариньян: коли платить за церковь, так уж чтоб можно было ею пользоваться — они были не прочь показать свою силу спесивой буржуазии, которая видела в них выскочек. Епископ предложил компромисс: церковь была построена на полпути между Зеленым Холмом и Морским Бульваром, на площади Рыбного Рынка, который окрестили площадью Цецилии Морской. На уродливую громаду, законченную в 1887 году, ухлопали не меньше четырнадцати миллионов.

Улицу Турнебрид, широкую, но грязную и пользовавшуюся дурной славой, пришлось полностью реконструировать; ее обитатели были решительно оттеснены на задворки площади Святой Цецилии, а Маленькая Прадо сделалась, в особенности утром по воскресеньям, местом встречи щеголей и именитых горожан. На пути, по которому прогуливалась элита, один за другим стали открываться роскошные магазины. Они не закрывались ни в понедельник на Святой неделе, ни в рождественскую ночь, ни по воскресеньям до полудня. Рядом с колбасником Жюльеном, славящимся своими горячими пирожками, выставил свои фирменные пирожные — очаровательные конусообразные птифуры, украшенные сиреневым кремом и сахарной фиалкой кондитер Фулон. В витрине книготорговца Дюпати можно увидеть новинки издательства «Плон», кое-какие книги по технике — вроде «Теории кораблестроения» или «Трактата о парусах», громадную иллюстрированную историю Бувиля и со вкусом расставленные роскошные издания: «Кенигсмарк» в синем кожаном переплете и «Книгу моих сыновей» Поля Думера в переплете из светло-коричневой кожи с вытесненными на ней пурпурными цветами. «Ателье мод, парижские модели» Гислена отделяет цветочный магазин Пьежуа от антикварной лавки Пакена. Парикмахер Гюстав, у которого служат четыре маникюрши, занимает второй этаж новенького, выкрашенного желтой краской дома.

Еще два года назад на углу тупика Мулен-Жемо и улицы Турнебрид бесстыдная девчонка рекламировала дезинсекционную жидкость «Тю-пю-не». Лавчонка процветала в те годы, когда на площади

Святой Цецилии торговали треской, было ей сто лет. Витрину ее редко мыли — не без некоторого усилия сквозь пыль и запотевшие стекла можно было различить целую толпу крошечных восковых фигурок, которые изображали крыс и мышей в огненного цвета камзолах. Зверьки, опираясь на тросточки, сходили с палубы корабля на сушу — но стоило им ступить на землю, крестьяночка в кокетливом платье, хотя мертвенно-бледная и черная от грязи, обращала их в бегство, опрыскивая «Тю-пю-не». Мне очень нравилась эта лавчонка, вид у нее был циничный и упрямый, в двух шагах от самой дорогостоящей французской церкви она нахально напоминала о правах паразитов и грязи.

Старая торговка фармацевтическим зельем умерла в прошлом году, а ее племянник продал дом. Стоило снести несколько стенных перегородок — и вот вам маленький лекционный зал «Бонбоньерка». В прошлом году Анри Бордо провел в нем беседу об альпинизме.

По улице Турнебрид не следует торопиться — почтенные семейства вышагивают медленным шагом. Иногда удается нырнуть в тот ряд, что идет впереди,— это значит, какое-то семейство в полном составе зашло к Фулону или к Пьежуа. Зато в другие минуты ты вынужден топтаться на месте — два семейных клана, идущие в двух встречных потоках, увидели друг друга и теперь долго трясут друг другу руки. Я переступаю мелкими шажками. Я на целую голову выше обоих потоков, и мне видны шляпы, море шляп. Бóльшая часть шляп — черные, жесткие. Время от времени одна из них взлетает на длину руки, открывая нежное свечение лысины, потом через несколько мгновений медленно опускается на место. Над фасадом номера шестнадцать по улице Турнебрид хозяин шляпного ателье, специалист по фуражкам Юрбен в качестве символа вывесил огромную красную архиепископскую шляпу, она парит в воздухе, и ее золотые кисти свисают в двух метрах над землей.

Остановка: как раз под кистями образовалась группа. Мой сосед терпеливо ждет, опустив руки. Этот бледный и хрупкий, словно фарфоровая фигурка, старичок — по-моему, Кофье, председатель Торговой палаты. Сдается мне, перед ним все робеют только потому, что он всегда безмолвствует. Живет он на вершине Зеленого Холма в большом кирпичном доме, окна которого всегда распахнуты настежь. Но вот и кончено, группа распалась, шествие продолжается. Образовалась другая группа, но эта занимает не так много места — не успев составиться, она отодвинулась к витрине Гислена. Колонна даже не остановилась — разве что чуть подалась в сторону; мы проходим мимо шести человек, которые пожимают друг другу руки. «Добрый день, мсье, добрый день, дорогой мсье, как поживаете, да наденьте же шляпу, мсье, вы простудитесь; благодарю вас, мадам, сегодня и в самом деле прохладно. Дорогая, позволь представить тебе доктора Лефрансуа; ах, доктор, я так рада с вами познакомиться — муж только и говорит что о докторе Лефрансуа, который его так прекрасно лечил, но накройте же голову, доктор, в такой холод вы захвораете; ничего, доктор быстро себя вылечит. Увы, мадам, врачей лечат хуже других; доктор — отличный музыкант. Боже мой, доктор, а я и не знала! Вы играете на скрипке? Доктор — на редкость талантливый человек».

Старикан рядом со мной — несомненно, Кофье; одна из женщин в группе, брюнетка, пожирает его глазами, продолжая при этом улыбаться доктору. Похоже, она думает: «Вот мсье Кофье, председатель Торговой палаты; как не оробеть в его присутствии — от него так и веет холодом». Но мсье Кофье не удостоил ее вниманием: это обитатели Морского Бульвара — люди не его круга. С тех пор как по воскресеньям я хожу на улицу Турнебрид поглядеть на взлетающие шляпы, я научился отличать обитателей Бульвара от обитателей Холма. Если на человеке пальто с иголочки, мягкая шляпа, ослепитель-

но свежая рубашка и он при движении рассекает воздух — сомнений нет: это обитатель Морского Бульвара. Жители Зеленого Холма отличаются какой-то не поддающейся определению невзрачностью и дряхлостью. Плечи у них узкие, а на помятых лицах выражение спеси. Вот этот толстяк, ведущий за руку ребенка,— я готов пари держать, он с Холма: лицо у него серое, галстук болтается веревкой.

Толстяк приближается к нам; он внимательно смотрит на мсье Кофье. Но за минуту-другую до встречи с ним отворачивается и начинает по-отечески шутить со своим мальчуганом. Еще несколько шагов он делает, склонившись к сыну и не отрывая взгляда от его глаз — нежный отец и только,— и вдруг, ловко повернувшись в нашу сторону, бросает быстрый взгляд на маленького старичка и, округлив руку, делает широкий и короткий приветственный жест. Растерянный мальчик шапки не снял — эти дела решают между собой взрослые.

На углу улицы Бас-де-Вьей наша колонна встречается с колонной верующих, которые выходят от обедни; человек десять, подхваченные водоворотом, столкнувшись друг с другом, обмениваются приветствиями,— но здесь шляпы взлетают слишком быстро, и мне не удается разглядеть подробности; над этой жирной и бледной толпой возносится уродливая белая громада церкви Святой Цецилии: меловая белизна на фоне темного неба; под защитой этих сверкающих стен она хранит в своих недрах каплю ночной тьмы. Идем дальше, чуть перестроив ряды. Мсье Кофье оттеснили мне за спину. К моему левому боку прижали даму в синем. Дама возвращается из церкви. Она моргает, ослепленная дневным светом. Господин, который шагает впереди нее и у которого такая тощая шея, ее муж.

Господин, идущий по противоположному тротуару под руку с женой, что-то шепнул ей на ухо и заулыбался. Она тут же согнала со своего желеобразного лица всякое выражение и делает несколько шагов вслепую. Признак безошибочный — сейчас будет с кем-то раскланиваться. И точно, через несколько мгновений господин выбрасывает руку вверх. Оказавшись на уровне шляпы, его пальцы, секунду помедлив, осторожно берутся за краешек полей. Пока он бережно приподнимает шляпу, чуть наклонив голову, чтобы помочь ей отделиться от головного убора, жена его слегка подпрыгивает, изображая на своем лице юную улыбку. Чья-то тень, поклонившись, проходит мимо них, но улыбки-близнецы в силу некоего остаточного магнетизма еще секунду-другую держатся на губах у обоих. Когда господин и дама встречаются со мной, выражение их лиц вновь стало бесстрастным, хотя вокруг рта еще порхает радостное оживление.

Но вот и конец: толпа стала тише, приветствия более редкими, витрины магазинов уже не так изысканны — я дошел до конца улицы Турнебрид. Может, перебраться на другую сторону и пойти назад? Но пожалуй, с меня хватит, я вдоволь нагляделся на розовые лысины, на ничтожные, благовоспитанные, стертые лица. Перейду площадь Мариньян. Я осторожно выдираюсь из потока и вдруг рядом со мной из черной шляпы выскакивает голова, принадлежащая, бесспорно, человеку из хорошего общества. Это муж дамы в синем. О! Великолепный длинный череп долихоцефала, поросший короткими жесткими волосами, великолепные американские усы с проседью. Но в особенности хороша улыбка, дивная, учтивая улыбка. Вдобавок на носу у господина примостилось пенсне.

— Это новый чертежник с нашей фабрики,— говорит он, обернувшись к жене.— Не понимаю, что он может здесь делать. Славный мальчуган, очень робкий, он меня забавляет.

У витрины колбасника Жюльена молодой чертежник, только что вновь накрывший голову и весь еще розовый от смущения, с упрямым видом потупив глаза, являет все признаки сладострастного восторга. Нет сомнения, в это воскресенье он впервые отважился

пройтись по улице Турнебрид. Вид у него такой, будто он побывал у первого причастия. Сцепив руки за спиной, он отвернулся к витрине с выражением стыдливости; он глядит, не видя их, на четыре сосиски в блестящем желе, раскинувшиеся на гарнире из петрушки.

Из колбасной выходит женщина и берет его под руку. Это его жена: она еще очень молода, хотя кожа у нее шероховатая. Сколько бы она ни бродила на подступах к улице Турнебрид, никто не примет ее за даму — ее выдает бесстыдный блеск глаз и рассудительный, осведомленный вид. Настоящие дамы не знают что почем, они любят красивые безрассудства, глаза их — прекрасные и простодушные цветы, расцветшие в теплицах.

Бьет час, я вхожу в пивную «Везелиз». Старики, по обыкновению, уже там. Двое из них принялись за еду. Четверо играют в манилью, потягивая аперитив. Остальные ждут, пока им подадут, и стоя наблюдают за игрой. Самый длинный из них, с густой бородой,— биржевой маклер. Второй — отставной инспектор военно-морского ведомства. Они пьют и едят как двадцатилетние. По воскресеньям они заказывают кислую капусту. Те, кто пришел позднее, окликают, тех, кто уже жует:

— Привет! Ну что — верны воскресной капусте?

Они рассаживаются, с облегчением вздыхают:

— Мариэтта, малышка, кружку пива без пены и кислую капусту.

Эта Мариэтта — бойкая бабенка. Когда я сажусь за столик в глубине, пунцовый старик, которому она наливает вермут, вдруг заходится злобным кашлем.

— Наливай полнее,— говорит он, не переставая кашлять.

Но тут разозлилась Мариэтта — она ведь еще не кончила наливать.

— Да я же еще лью. Разве я что вам сказала? Вы как та девка,— ее еще не лапают, а она уже вырывается.

Остальные смеются.

— Один — ноль!

Биржевой маклер, идя к столику, обнял Мариэтту за плечи:

— Сегодня воскресенье, Мариэтта. Пойдешь вечером в кино со своим дружком?

— Как бы не так! Сегодня очередь Антуанетты. А я за нее отдуваюсь — вот тебе и ходи в кино!

Маклер сел против бритого, несчастного с виду старика. Бритый старик сразу начинает что-то рассказывать. Маклер его не слушает, он корчит гримасы и дергает себя за бороду. Они вообще никогда не слушают друг друга.

Я узнаю чету, сидящую рядом со мной: это живущие неподалеку мелкие торговцы; по воскресеньям их прислуга выходная. Вот они и приходят сюда и садятся всегда за один и тот же столик. Муж ест роскошную розовую отбивную. Он внимательно разглядывает ее вблизи, время от времени обнюхивая. Жена ковыряет в своей тарелке. Это плотная сорокалетняя блондинка с красными, покрытыми пушком щеками. Под атласной блузкой торчат крепкие красивые груди. Она, что твой мужчина, за каждым обедом выдувает по целой бутылке бордо.

Почитаю-ка «Евгению Гранде». Не то чтобы это доставляло мне большое удовольствие — но надо же чем-то заняться. Открываю книгу наугад — мать с дочерью ведут разговор о зарождающейся любви Евгении.

«Евгения поцеловала ей руку.

— Какая ты добрая, мама милая!

От этих слов увядшее за годы страданий лицо матери просияло.

— Он тебе нравится? — спросила Евгения.

Госпожа Гранде ответила лишь улыбкой; потом, после минутного молчания, сказала тихо:

— Неужели ты уже любишь его? Это было бы нехорошо.

— Нехорошо? — возразила Евгения.— Почему? Тебе он нравится, нравится Нанете, почему же не может он понравиться мне? Давай, мамочка, накроем ему стол для завтрака.

Она бросила свою работу, мать сделала то же, говоря ей:

— Ты с ума сошла!

Но ей захотелось разделить безумие дочери, чтобы его оправдать.

Евгения позвала Нанету.

— Что вам еще, барышня?

— Нанета, будут у тебя сливки к полднику?

— Ладно, к полднику-то будут, — отвечала старая служанка.

— Ну, а пока подай ему кофе покрепче. Я слышала, как господин де Грассен говорил, что в Париже варят очень крепкий кофе. Положи его побольше.

— А где мне его взять?

— Купи.

— А если мне встретится хозяин?

— Он ушел на свои луга...»

С моим приходом соседи замолчали, но вдруг голос мужа отвлекает меня от чтения.

— Слушай, ты видела? — спрашивает муж, заговорщически ухмыляясь.

Жена вздрагивает и глядит на него, очнувшись от задумчивости. Он продолжает есть и пить, потом смеется все с тем же лукавством:

— Ха-ха-ха!

Молчание. Жена опять задумалась.

— Что ты сказал? — вдруг спрашивает она, вздрогнув.

— Сюзанна-то вчера.

— А-а, ну да, — говорит жена. — Она к Виктору ходила.

— А я тебе что говорил?

Жена раздраженно отодвигает тарелку.

— Невкусно.

Края тарелки усеяны выплюнутыми комочками серого мяса. Муж продолжает свое:

— Эта бабенка...

Он замолкает, неопределенно улыбаясь. Напротив нас биржевой маклер, слегка пыхтя, поглаживает руку Мариэтты.

После короткой паузы:

— Я ж тебе это уже говорил.

— Что ты мне говорил?

— Насчет Виктора, что она к нему пойдет. Что такое? — вдруг спрашивает он растерянно. — Тебе не нравится?

— Невкусно.

— Да теперь все уже не то, — веско говорит он. — Не то, что во времена Экара. Не знаешь, где теперь Экар?

— Так он же в Домреми — разве нет?

— Верно, верно. А кто тебе это сказал?

— Так ты же мне и сказал в воскресенье.

Она кладет в рот хлебный мякиш, валявшийся на бумажной скатерти. Потом, разглаживая ладонью бумагу на ребре стола, говорит с сомнением:

— А все же ты ошибся, Сюзанна не такая...

[1] Перевод Ю. Верховского. Оноре де Бальзак. Собр. соч. в 10-ти томах. М., 1983, т. 2, с. 608.

— Возможно, деточка, возможно, — рассеянно отвечает он. Он ищет глазами Мариэтту, знаком подзывает ее: — Здесь жарко.

Мариэтта фамильярно опирается на край стола.

— Правда, здесь так жарко, — жалобно говорит женщина. — Задохнуться можно, и потом говядина невкусная, я скажу хозяину, не то что раньше, приоткройте, пожалуйста, форточку, голубушка Мариэтта.

У мужа опять на лице ухмылка.

— Скажи, ты заметила, какие у нее глаза?

— Когда, котик?

Он нетерпеливо передразнивает:

— Когда, котик? Это на тебя похоже! После дождичка в четверг.

— Ты имеешь в виду вчера? Поняла.

Он смеется, смотрит вдаль и говорит быстро, с некоторым нажимом:

— Как у кошки, когда она гадит на раскаленные угли.

Ему так нравится острота, что похоже, он забыл, по какому поводу сострил. Жена в свою очередь простодушно развеселилась:

— Ха-ха-ха! Ах ты плут!

Она похлопывает его по плечу.

— Ах ты плут, ну и плут!

— Как у кошки, когда она гадит на раскаленные угли, — уверенней повторяет он.

Но жена уже больше не смеется:

— Да нет, серьезно, ты зря — она серьезная девушка.

Он наклоняется к ней и что-то долго нашептывает ей на ухо. Мгновение она смотрит на него, разинув рот, напряженно и весело, как человек, который вот-вот прыснет, потом вдруг откидывается назад, впившись коготками ему в руки:

— Не может быть, не может быть!

— Послушай, крошка, — говорит он степенно и рассудительно. — Ну раз он это сказал! С чего бы ему зря говорить?

— Да нет же, нет.

— Ну раз он сказал, послушай, ну представь...

Жена вдруг смеется.

— Я смеюсь, потому что подумала о Рене.

— Вот именно.

Муж тоже смеется. Она продолжает многозначительным шепотом:

— Тогда, значит, он заметил во вторник.

— В четверг.

— Нет, во вторник, потому что...

Она рисует в воздухе нечто напоминающее эллипс.

Долгое молчание. Муж обмакнул хлебный мякиш в соус. Мариэтта сменила тарелки и приносит им по куску торта. Сейчас и я съем кусок торта. И вдруг жена задумчиво произносит, растягивая слова, с гордой, хотя и несколько осудительной улыбкой:

— Ну, знаешь, ты уж совсем!..

В ее тоне столько чувственности, что он приходит в волнение и поглаживает ее шею своей жирной рукой.

— Шарль, прекрати, ты меня возбуждаешь, котик, — улыбаясь, шепчет она, с полным ртом.

Я пытаюсь снова взяться за прерванное чтение:

« — А где мне его взять?

— Купи.

— А если мне встретится хозяин?»

Но до меня снова доносится голос жены:

— Ой, Марта обхохочется, я ей расскажу...

Мои соседи замолчали. После торта Мариэтта подала им чернослив, и теперь женщина кокетливо сплевывает косточки в чайную ложку — словно кладет яйца. Муж, уставившись в потолок, выстукивает марш на краю стола. Похоже, что в обычном своем состоянии они молчат, а разговорчивость нападает на них как краткий приступ лихорадки.

« — А где мне его взять?
— Купи».

Я захлопываю книгу, пойду пройдусь.

Когда я вышел из пивной «Везелиз», было около трех; во всем своем отяжелевшем теле я чувствовал наступление второй половины дня. Не моего дня, а их, — второй половины дня, которую сто тысяч бувильцев проживут сообща. В этот самый час, после долгого и обильного воскресного обеда, они встают из-за стола — и что-то для них уже умерло. Беспечная юность воскресного утра уже позади. Теперь пора переваривать цыпленка и торт, а потом одеться для выхода в свет.

В ясном воздухе раздался звонок кинотеатра «Эльдорадо». Этот звон среди бела дня — привычный воскресный звук. У зеленой стены стояли в очереди сто человек с лишним. Они жадно ждали того часа сладостных сумерек, когда можно расслабиться, раскрепоститься, того часа, когда экран, сверкая, как белая галька под водой, будет говорить за них, за них мечтать. Тщетное желание: что-то в них останется зажатым — они слишком боятся, как бы им не испортили их любимого воскресенья. Очень скоро, как и каждое воскресенье, они будут разочарованы: фильм окажется глупым, сосед будет курить трубку, сплевывая на пол себе под ноги, или Люсьен будет не в духе, слова ласкового не скажет, или, как нарочно, именно сегодня, когда в кои-то веки выбрались в кино, опять схватит межреберная невралгия. Очень скоро, как и каждое воскресенье, в темном зале начнут нарастать глухие приступы мелочной злобы.

Я пошел по тихой улице Брессан. Солнце разогнало облака, был погожий день. Из виллы «Волна» вышло семейство ее обитателей. Дочь, сойдя на тротуар, застегивала перчатки. Ей можно было дать лет тридцать. Мать, стоя на нижней ступеньке лестницы, уверенно глядела вперед, всей грудью вдыхая воздух. Отец повернулся ко мне своей необъятной спиной. Склонившись над замочной скважиной, он запирал дверь на ключ. Теперь до их возвращения дом будет пустым и темным. В соседних домах, уже запертых и опустелых, тихо поскрипывает мебель и половицы паркета. Перед тем как уйти, хозяева потушили камин в столовой. Отец нагнал двух женщин, и семейство безмолвно двинулось в путь. Куда они шли? По воскресеньям бувильцы посещают величественное городское кладбище или наносят визит родственникам, а тот, кто свободен от всех обязательств, прогуливается по молу. Я был свободен — я зашагал дальше по улице Брессан, которая выходит на мол.

Небо было бледно-голубым: где-то дымок, где-то перистое облачко, иногда солнце скрывала набежавшая тучка. Издали мне виден был белый цементный парапет, ограждающий мол, сквозь просветы в нем сверкало море. Семейство свернуло направо, на улицу Казначея Илера, которая уходит вверх по Зеленому Холму. Я видел, как вся троица медленно преодолевает высоту — три черные точки на поблескивающем фоне асфальта. Я свернул налево и влился в толпу, прогуливающуюся вдоль моря.

Толпа была более разношерстной, чем утром. Казалось, все эти люди уже не в силах соблюдать безупречную социальную иерархию, которой они так гордились до обеда. Теперь бок о бок шли коммерсанты и чиновники; они мирились с тем, что с ними рядом

идут, иногда даже наталкиваются на них и оттесняют, мелкие служащие невзрачного вида. В теплой массе толпы растворились аристократизм, принадлежность к избранному обществу, к профессиональным группам. Остались просто люди, они больше не представительствовали.

Лужа света вдали — это море при отливе. Несколько отмелей дырявили его светлую поверхность, не выступая над уровнем воды. На песке лежали рыбачьи лодки неподалеку от осклизлых каменных глыб, сваленных как попало к подножию мола, чтобы защитить его от волн, — в зазорах между ними вскипала вода. У входа во внешний порт на выбеленном солнцем небе вырисовывалась тень землечерпалки. Каждый вечер до полуночи она воет и стонет. Но в воскресенье рабочие прогуливаются по земле, а на ее борту остается только сторож — и она затихает.

Солнце было светлым и прозрачным — ни дать ни взять белое вино. Его свет едва касался человеческих тел, лишая их тени и объема — лица и руки казались бледно-золотистыми пятнами. И чудилось, будто все эти люди в пальто тихо плывут в нескольких сантиметрах над землей. По временам ветерок нагонял на нас колышущиеся, как вода, тени, лица на мгновение гасли, приобретали оттенок мела.

Было воскресенье; стиснутая между парапетом и загородными шале, толпа струилась мелкими волнами, растекаясь тысячью ручейков позади большого здания отеля Трансатлантической кампании. Сколько детей! Дети в колясках, дети на руках, их ведут за руку, или они по двое, по трое чопорно вышагивают впереди своих родителей. Всего несколько часов назад, когда воскресное утро было еще совсем юным, я видел на этих лицах чуть ли не победное выражение. Теперь же, освещенные солнцем, они выражали только размягченное спокойствие и своего рода целеустремленность.

Жесты сведены к минимуму — издалека еще приподнимались шляпы, но в движениях не было утренней широты и радостного возбуждения. Подняв голову, глядя вдаль, отдаваясь на волю ветра, который раздувал их пальто и толкал в грудь, все они шли, слегка откинувшись назад. Время от времени прорывался короткий, тут же заглушаемый смех, крик матери: «Жанно, Жанно, что ты делаешь!» И потом — тишина. Легкий запах светлого табака — его курят мелкие чиновники. «Саламбо», «Айша» — воскресные сигареты. На некоторых лицах, более расслабленных, я как будто уловил налет грусти; но нет, эти люди не были ни веселы, ни грустны — они отдыхали. Их широко открытые, остановившиеся глаза безучастно отражали море и небо. Скоро они разойдутся по домам, в кругу семьи за обеденным столом выпьют по чашке чаю. А сейчас они хотят расходовать себя как можно меньше, хотят, экономя жесты, слова, мысли, плыть по течению. В их распоряжении всего один день, чтобы стереть морщины, гусиные лапки, горькие складки — плоды рабочей недели. Всего один день. Они чувствовали, как минуты утекают у них между пальцами. Успеют ли они набраться молодости, которой хватило бы, чтобы завтра начать сначала? Они дышали полной грудью — ведь морской воздух бодрит; их дыхание, равномерное и глубокое, как у спящих, одно только и свидетельствовало о том, что они живы. Я шел крадучись, я не знал, что мне делать с моим крепким и свежим телом среди этой трагической толпы, которая отдыхала.

Теперь море приобрело аспидный оттенок, потихоньку начинался прилив. К ночи прилив усилится. Нынче ночью мол станет еще более пустынным, чем бульвар Виктора Нуара. Впереди и слева загорится по фарватеру красный огонь.

Солнце медленно садилось в море. По пути оно зажгло заревом

окна нормандского шале. Ослепленная его блеском женщина устало поднесла руку к глазам и покачала головой.

— Гастон, мне слепит глаза, — сказала она с неуверенным смешком.

— Не беда! Славное солнышко, — ответил ее муж. — Не греет, а все же приятно.

— Я думала, его будет видно,— продолжала она, обернувшись к морю.

— И не надейся, — сказал мужчина. — Солнце мешает.

Они, наверно, говорили об острове Кайбот, его южная оконечность должна была быть видна между землечерпалкой и набережной внешнего порта.

Свет стал мягче. В этот зыбкий час что-то предвещало вечер. У воскресенья уже появилось прошлое. Виллы и серый парапет казались свежими воспоминаниями. Лица одно за другим теряли свой праздный вид, приобретали почти нежное выражение.

Молодая беременная женщина опиралась на руку белобрысого парня с грубым лицом.

— Вот-вот, погляди, — говорила она.

— Чего там?

— Вот они, вот, чайки.

Он пожал плечами — никаких чаек не было. Небо почти совсем очистилось, слегка розовея на горизонте.

— Я слышала их. Вот же. Они кричат.

— Просто скрипнуло что-то,— отвечал он.

Вспыхнул газовый рожок. Мне показалось, что прошел фонарщик. Дети подстерегают его приход — это сигнал к возвращению домой. Но то был последний отблеск солнца. Небо еще оставалось светлым, но землю окутал сумрак. Толпа редела, стал отчетливо слышен рокот моря. Молодая женщина, опершись обеими руками о парапет, подняла к небу синее лицо, перечеркнутое черным — губной помадой. На мгновение я подумал: уж не полюблю ли я людей. Но в конце концов, это ведь их воскресенье, не мое.

Первым из всех огней загорелся маяк на острове Кайбот; остановившийся рядом со мной мальчуган восторженно прошептал: «Ой! маяк!»

И сердце мое наполнилось великим предчувствием приключения.

Сворачиваю налево и по Парусной улице возвращаюсь на Маленькую Прадо. Железные щиты на витринах опущены. Улица Турнебрид освещена, но безлюдна, она утратила свою недолгую утреннюю славу: в этот час она ничем не отличается от соседних улиц. Поднялся довольно сильный ветер. Я слышу, как громыхает жестяная шляпа архиепископа.

Я один, большинство бувильцев разошлись по домам, они читают вечернюю газету, слушая радио. Окончившееся воскресенье оставило у них привкус пепла, их мысли уже обращены к понедельнику. Но для меня не существует ни понедельников, ни воскресений — просто дни, которые толкутся в беспорядке, а потом вдруг вспышки, вроде нынешней.

Ничто не изменилось, и, однако, все существует в каком-то другом качестве. Не могу это описать: это как Тошнота, только с обратным знаком, словом, у меня начинается приключение, и когда я спрашиваю себя, с чего я это взял, я понимаю, в чем дело: *я чувствую себя собой и чувствую, что я здесь; это я* прорезаю темноту, и я счастлив, точно герой романа.

Что-то должно случиться: что-то ждет меня на улице Бас-де-Вьей; вон там, на углу этой тихой улицы, и начнется моя жизнь. Я

иду вперед с ощущением неотвратимости. На углу улицы виднеется что-то похожее на белую тумбу. Издали она казалась черной, а теперь с каждым шагом становится все белее и белее. В этом темном теле, которое мало-помалу освещается, есть что-то необыкновенное, когда оно станет совсем светлым, совсем белым, я остановлюсь с ним рядом, и вот тут-то и начнется приключение. Этот белый, выступающий из темноты маяк, уже так близко, что мне почти страшно,— я едва не повернул обратно. Но чары разрушать нельзя. Я иду вперед, протягиваю руку, касаюсь тумбы.

Вот она, улица Бас-де-Вьей, и притаившаяся в тени громада Святой Цецилии, окна которой освещены. Громыхает жестяная шляпа. Не знаю, в самом ли деле мир вдруг уплотнился или это я слил звуки и формы в нерасторжимом единстве и даже представить себе не могу, что то, что меня окружает, может быть чем-то еще, а не тем, что оно есть.

Я приостанавливаюсь, жду, слышу, как у меня колотится сердце; я обшариваю взглядом безлюдную площадь. Я ничего не вижу. Поднялся довольно сильный ветер. Я ошибся: улица Бас-де-Вьей — просто остановка на моем пути: *это* ждет меня в глубине площади Дюкотон.

Я не спешу продолжать путь. Мне кажется, я достиг высшей точки счастья. В Марселе, Шанхае, в Мекнесе чего я только не делал, чтобы добиться такой полноты чувства. А сегодня, когда я уже ничего не жду, когда я возвращаюсь домой после бесплодного воскресенья,— оно тут как тут.

Иду дальше. Ветер доносит до меня вопль сирены. Я совсем один, но шагаю словно вступающее в город войско. В эту минуту над морем звучит музыка с плывущих кораблей; во всех городах Европы зажигаются огни; коммунисты и нацисты стреляют на улицах Берлина; безработные слоняются по Нью-Йорку; женщины в жарко натопленных комнатах красят ресницы за своими туалетными столиками. А я — я здесь, на этой безлюдной улице, и каждый выстрел из окна в Нойкёльне, каждая кровавая икота уносимых раненых, каждое мелкое и точное движение женщин, накладывающих косметику, отдается в каждом моем шаге, в каждом биении моего сердца.

Дойдя до пассажа Жилле, я не знаю, что делать. Разве меня не ждут в глубине пассажа? Но ведь и на площади Дюкотон в конце улицы Турнебрид есть что-то, что нуждается во мне, чтобы явиться на свет. Я в растерянности — каждое движение обязывает меня. Я не знаю, чего от меня ждут. Однако надо выбирать: я жертвую пассажем Жилле, я так и не узнаю, что он для меня приберег.

Площадь Дюкотон пуста. Неужели я ошибся? Мне кажется, я не перенесу такого разочарования. Неужели со мной и в самом деле ничего не случится? Я подхожу к светящейся витрине кафе «Мабли». Я сбит с толку, я не знаю, стоит ли туда входить, я заглядываю внутрь сквозь большие запотевшие стекла.

Зал переполнен. Воздух поголубел от дыма сигарет, от испарений влажной одежды. Кассирша сидит за своей стойкой. Я ее знаю, она рыжая, как я, и в животе у нее гнездится болезнь, женщина медленно гниет под своими юбками с печальной улыбкой, похожей на запах фиалки, который источают иногда разлагающиеся тела. Меня пробирает озноб: это... это она ждала меня. Она все время сидела здесь, воздвигнув над стойкой свой неподвижный торс, она улыбалась. Из глубины этого кафе что-то возвращается вспять к разрозненным мгновениям нынешнего воскресенья и сливает их воедино, придавая им смысл: я пережил этот день для того, чтобы под конец прийти сюда, прижаться лбом к этому стеклу и смотреть на это тонкое лицо, расцветающее на фоне гранатовой портьеры. Все замерло, моя жизнь замерла: это громадное стекло, тяжелый, синий,

как вода, воздух, это жирное, белое растение в водной глубине и я сам — мы образуем некое единство, неподвижное и законченное, я счастлив.

Когда я вновь очутился на бульваре Ла Рёдут, я уже не ощущал ничего, кроме горького разочарования. Я думал: «Пожалуй, ничем на свете я не дорожу так, как предчувствием приключения. Но оно является по своей прихоти и мгновенно уходит, и когда оно уходит, я исчерпан до дна! Но неужто же оно наносит мне эти краткие иронические визиты лишь для того, чтобы доказать мне, что я прохлопал свою жизнь».

А за моей спиной, в городе, на его прямых, освещенных холодным светом фонарей улицах, агонизировало громадное социальное явление — воскресенье приходило к концу.

Понедельник

Как я мог вчера написать эту дурацкую, напыщенную фразу: «Я был совсем один, но я шагал, словно вступающее в город войско»?

Мне нет надобности сочинять пышные фразы. Я пишу, чтобы прояснить некоторые обстоятельства. Надо остерегаться литературщины. Надо писать первое, что просится на кончик пера, не выбирая слов.

По совести, мне противно, что вчера я отдал дань возвышенному. Когда мне было двадцать лет, я напивался и потом уверял, что я из породы Декартов. Я отлично понимал, что пыжусь, но продолжал свое, мне это нравилось. А на другой день мне было так мерзко, точно я проснулся на кровати среди блевотины. Когда я пьян, меня не рвет, но лучше бы уж рвало. Вчера я даже не мог бы оправдаться, что пьян. Я просто воодушевился, как дурак. Мне надо очиститься с помощью отвлеченных мыслей, прозрачных, как вода.

Чувство приключения, безусловно, не зависит от событий — доказательство налицо. Это скорее способ, каким нанизываются мгновения. Происходит, по-моему, вот что: ты вдруг начинаешь чувствовать, что время течет, что одно мгновение влечет за собой другое, а это другое — третье и так далее; что каждое мгновение исчезает, что бесполезно пытаться его удержать и т. п. И тогда это свойство мгновений ты переносишь на то, что происходит внутри этих мгновений; то, что принадлежит форме, переносишь на содержание. Вообще о пресловутом течении времени говорят много, но его не видят. Ты видишь, например, женщину, понимаешь, что она постареет, однако ты не *видишь,* как она стареет. Но иногда тебе кажется, что ты *видишь,* как она становится старой, и чувствуешь, как сам стареешь с ней вместе,— это и есть чувство приключения.

Если память мне не изменяет, это зовется необратимостью времени. Чувство приключения — это, пожалуй, попросту и есть чувство необратимости времени. Только почему оно присуще нам не всегда? Может, время не всегда необратимо? Бывают минуты, когда кажется, что ты можешь делать что хочешь: забежать вперед, возвратиться вспять — значения не имеет, а в другие минуты петли стягиваются, и вот эти минуты упускать нельзя, потому что начать сначала невозможно.

Анни умела извлекать из времени все, что в нем заложено. В ту пору, когда она жила в Джибути, а я в Адене и я приезжал на сутки повидаться с ней, она ухитрялась искусно громоздить между нами все новые недоразумения, пока до моего отъезда не оставалось шестьдесят минут; шестьдесят минут — ровно столько, сколько нужно, чтобы почувствовать, как одна за другой проходят секунды. Помню один из таких ужасных вечеров. В полночь я должен был ехать обратно. Мы отправились в кино на открытом воздухе; оба дошли до отчаяния, и она, и я. Только игру вела она. В одиннадцать

часов, когда начался какой-то длинный фильм, она взяла меня за руку и молча стиснула ее в своей. Меня пронзило острое ощущение счастья — мне не надо было глядеть на часы, чтобы понять: сейчас одиннадцать. С этого мгновения мы стали ощущать, как текут минуты. В тот раз мы расставались на три месяца. В какой-то миг на экране возникло очень светлое изображение, тьма вокруг рассеялась, и я увидел, что Анни плачет. Потом в полночь она горячо сжала мою руку и выпустила ее; я поднялся и ушел, не сказав ей ни слова. Это была отличная работа.

7 часов вечера

День в работе. Она шла не так уж плохо, я написал шесть страниц и даже не без удовольствия. Тем более что это были отвлеченные соображения по поводу царствования Павла I. После вчерашней оргии я целый день держал себя в ежовых рукавицах. Тщетно было бы взывать к моему сердцу! Но зато я с удовольствием разбирался в побуждениях русской аристократии.

Вот только Рольбон меня раздражает. Он делает тайну из самых ничтожных пустяков. Чем, например, он занимался на Украине в августе 1804 года? Он говорит о своей поездке в уклончивых выражениях:

«Потомство рассудит, не заслужил ли я, пусть даже усилия мои и не увенчались успехом, другой награды, нежели грубое предательство и унижение, какие мне пришлось сносить молча, хотя я таил в душе то, что заставило бы насмешников умолкнуть и ввергло бы их в пучину страха».

Однажды я попался на эту удочку: он с многозначительными умолчаниями описывал свою краткую поездку в Бувиль в 1790 году. Я потратил целый месяц, пытаясь проследить за каждым его шагом. Оказалось, что в результате он обрюхатил дочь одного из своих фермеров. Уж не самый ли он обыкновенный лицедей?

Я страшно злюсь на этого маленького лживого фата; может, это с досады — я восхищался тем, как он лжет другим, но мне хотелось бы, чтобы для меня он сделал исключение; я надеялся, что мы, как два ярмарочных мошенника, стакнемся друг с другом через головы всех этих мертвецов и в конце концов мне он скажет правду! Но он ничего, ничегошеньки не сказал, точно так же, как царю Александру и Людовику XVIII, которых он дурачил. Мне очень важно, чтобы Рольбон чего-то стоил. Плут он, конечно, но кто не плут? А вот мелкий или крупный плут? Я не так ценю исторические изыскания, чтобы тратить время на мертвеца, которого, будь он жив, я не удостоил бы рукопожатием. Что я знаю о маркизе? Трудно вообразить жизнь более яркую, чем та, что прожил он, но он ли ее творец? Если бы только его письма не были такими напыщенными... Эх, увидеть бы его глаза, может, у него была очаровательная манера склонять голову к плечу или с хитрым видом прикладывать к носу свой длинный указательный палец, а может, между двумя лживыми любезностями прорывалась вдруг вспышка его подлинного бурного темперамента, которую он тут же подавлял. Но он умер — от него остались только «Трактат о стратегии» и «Размышления о добродетели».

Дай я себе волю, я бы так ясно его вообразил: под блестящей иронией, жертвой которой пали очень многие, кроется простая, чуть ли не наивная душа. Задумывается он редко, но во всех случаях, повинуясь особому наитию, действует именно так, как следует. В своем плутовстве он искренен, непосредствен, воистину великодушен и так же чистосердечен, как в своей любви к добродетели. Предав своих друзей и благодетелей, он со всей серьезностью обращает свои взоры к происшедшему, чтобы извлечь из него мораль.

Он считает, что не имеет никаких прав на других, а другие на него, и дары, которые ему подносит жизнь, не заслужены им, но зато безвозмездны. Он страстно увлекается всем и так же легко ко всему остывает. А все его письма и труды писал вовсе не он — он заказывал их наемному писаке.

Только если я стану все это воображать, мне впору писать о маркизе Рольбоне роман.

11 часов вечера

Поужинал в «Приюте путейцев». Хозяйка оказалась на месте, пришлось с ней переспать; но это была с моей стороны чистейшая любезность. Она мне чем-то неприятна: слишком белая и пахнет новорожденным. В порыве страсти она прижимала мою голову к своей груди — она считает, что так надо. Мои пальцы вяло копошились под одеялом, потом рука отяжелела. Я подумал о маркизе де Рольбоне — в конце концов, что мне мешает написать о нем роман? Рука скользнула вдоль бедра хозяйки, и я вдруг увидел маленький сад, заросший приземистыми, широкими деревьями, а с них свисали огромные, покрытые волосками листья. И всюду кишели муравьи, сороконожки и моль. Были тут животные еще более отвратительные: тело их состояло из ломтика поджаренного хлеба — из таких делают канапе с голубями, двигались они боком, переступая на крабьих клешнях. Листья были черным-черны от всех этих насекомых. Позади кактусов и опунций стоящая в городском парке Велледа указывала пальцем на свои половые органы. «Этот сад воняет блевотиной!» — крикнул я.

— Я не хотела вас будить,— сказала хозяйка,— но складка простыни натирает мне ягодицы, и потом мне пора сойти вниз, обслужить клиентов с парижского поезда.

Канун поста

Я высек Мориса Барреса. Нас было трое солдат, и у одного из нас посередине лица — дыра. Морис Баррес подошел к нам и сказал: «Молодцы» — и каждому дал по букетику фиалок. «А я не знаю, куда его девать»,— сказал солдат с дырявым лицом. И тогда Морис Баррес сказал: «Сунь его в дырку в своей голове». «Я суну его тебе в задницу»,— ответил солдат. И мы положили Мориса Барреса лицом вниз и стали стаскивать с него штаны. Под штанами у него оказалась кардинальская мантия. Мы задрали мантию, а Морис Баррес стал кричать: «Осторожней! У меня брюки со штрипками». Но мы высекли его до крови и лепестками фиалок выложили на его заду голову Деруледа.

С некоторых пор я слишком часто запоминаю свои сны. И как видно, во сне беспокойно мечусь на постели — по утрам одеяло всегда валяется на полу. Сегодня канун поста, но для Бувиля этот день мало что значит: во всем городе едва наберется сотня человек, которые рядятся в карнавальные костюмы.

Когда я спускался по лестнице, меня окликнула хозяйка:

— Вам письмо.

Письмо. Последнее письмо я получил в мае прошлого года от хранителя руанской библиотеки. Хозяйка ведет меня в свой кабинет и протягивает длинный конверт, желтый и пухлый,— письмо от Анни. Вот уже пять лет я не имею от нее известий. Письмо было отправлено по моему старому парижскому адресу, на нем штемпель от первого февраля.

Выхожу из отеля на улицу — в руке у меня конверт, я не решаюсь его открыть. Анни пишет все на той же почтовой бумаге. Интересно, покупает ли она ее, как и раньше, в писчебумажном магазинчике на Пиккадилли? Наверно, она сохранила свою прежнюю

прическу, думаю я, свои густые белокурые волосы, которые не хотела стричь. И наверно, ведет терпеливую борьбу перед зеркалами, чтобы сохранить свое лицо, и не из кокетства, не из боязни постареть — просто она хочет остаться такой, какая она есть, точь-в-точь такой же. Может, это мне и нравилось в ней больше всего — властная, неумолимая верность малейшей черточке своего облика.

Буквы адреса, выведенные твердым почерком фиолетовыми чернилами (и чернилами она пользуется прежними), все еще слегка поблескивают.

«Мсье Антуану Рокантену».

Как я люблю читать свое имя на этих конвертах. Сквозь туман проступила одна из ее улыбок, я увидел ее глаза, склоненную голову: когда я сидел, она с улыбкой становилась передо мной. Моя голова оказывалась на уровне ее талии, Анни вытягивала руки, хватала меня за плечи и встряхивала.

Конверт тяжелый, в письме, должно быть, не меньше шести страниц. Каракули моей бывшей консьержки наползают сверху на прекрасный почерк.

«Отель «Прентания» — Бувиль»

Эти крохотные буквы совсем без блеска.

Распечатав конверт, я от разочарования молодею на шесть лет.

«Не понимаю, как у Анни получаются такие разбухшие конверты,— внутри в них никогда ничего нет».

Сто раз я повторял эту фразу весной 1924 года, пытаясь с трудом, как сегодня, отлепить от подкладки конверта клочок бумаги в клетку. Подкладка конверта — темно-зеленое великолепие, усеянное золотыми звездами,— похожа на плотную, накрахмаленную ткань. Она одна составляет три четверти веса всего конверта.

Анни написала карандашом:

«Через несколько дней буду проездом в Париже. Приходи ко мне в отель «Испания» 20 февраля. Прошу тебя (слова «прошу тебя» надписаны над строкой и соединены забавной спиралью со словами «ко мне»). Мне *необходимо* с тобой увидеться.

Анни».

В Мекнесе, в Танжере, бывало, я вечером приду к себе и на кровати нахожу записку: «Хочу тебя видеть немедленно». Бегу, Анни открывает мне дверь, удивленно вздернув брови: ей больше нечего мне сказать, ее даже немного злит, что я пришел. Пойду и теперь. Быть может, она откажется меня принять. А может, портье в отеле мне скажет: «Особа с таким именем у нас не останавливалась». Впрочем, вряд ли она так поступит. Зато через неделю она может написать мне, что передумала.

Люди сейчас на службе. В воздухе чувствуется заурядный канун поста. На улице Инвалидов Войны, как всегда к дождю, резко пахнет сырым деревом. Не люблю эти странные дни: в кинотеатрах утренние сеансы, у школьников каникулы; на улицах смутное подобие праздника, оно требует к себе внимания, но стоит в него вглядеться, оно тает.

Конечно, я увижусь с Анни, но не могу сказать, что мысль о предстоящей встрече меня радует. С тех пор как я получил ее письмо, я как неприкаянный. По счастью, сейчас уже полдень; я не голоден, но пойду поем, чтобы убить время. Захожу к Камилю на улице Часовщиков.

Это крошечное заведение, здесь всю ночь напролет подают кислую капусту или рагу. Сюда приходят поужинать после театра; полицейские дают этот адрес голодным приезжим, которые прибыли ночным поездом. Восемь мраморных столиков. Стены опоясывает скамья с обитым кожей сиденьем. Два зеркала, изъеденных рыжими пятнами.

Два окна и дверь из матового стекла. В углублении стойка. Есть еще одна комната, сбоку. Но я там никогда не бывал, она для парочек.

— Мне яичницу с ветчиной.

Официантка, громадная краснощекая девка, говоря с мужчиной, не может удержаться от смеха.

— Не имею права. Хотите яичницу с картофелем? Ветчина заперта — ее нарезает только сам хозяин.

Я заказываю рагу. Хозяина зовут Камиль — это грубый мужлан.

Официантка уходит. Я один в этой старой темной комнате. У меня в бумажнике письмо Анни. Ложный стыд мешает мне его перечитать. Я стараюсь припомнить фразы одну за другой.

«Дорогой Антуан».

Я улыбаюсь: да нет же, нет, конечно, Анни не написала «дорогой Антуан».

Шесть лет назад — мы только что разошлись по обоюдному согласию — я решил уехать в Токио. Я написал ей несколько слов. Я уже не мог называть ее «любимая» и в простоте душевной написал: «Дорогая Анни».

«Меня восхищает твоя непринужденность,— написала она в ответ.— Я никогда не была и не буду «твоей дорогой Анни». И поверь, ты мне вовсе не «дорогой Антуан». Если не знаешь, как ко мне обращаться, не обращайся никак, это куда лучше».

Я вынимаю письмо из бумажника. Там не написано «Дорогой Антуан». Нет в конце и обычной формулы вежливости: «Мне необходимо с тобой увидеться». Ничего, что может навести на мысль о ее чувствах. Жаловаться не приходится — я узнаю в этом ее любовь к совершенству. Она всегда стремилась воплощать «совершенные мгновения». Если минута этому не поддавалась, Анни теряла интерес к окружающему, глаза ее мертвели, она лениво слонялась с видом рослой девочки переходного возраста. Или придиралась ко мне:

«Ты сморкаешься торжественно, как буржуа, а когда откашливаешься, самодовольно прикрываешь рот платком».

Надо было отмалчиваться и ждать; вдруг, отзываясь на какой-то неуловимый для меня звук, она вздрагивала, томные черты ее прекрасного лица отвердевали, и она начинала свою кропотливую работу. В ее чародействе была пленительная властность. Она что-то напевала сквозь зубы, потом с улыбкой выпрямлялась, подходила ко мне, встряхивала меня за плечи и в течение нескольких мгновений, казалось, раздавала приказания окружающим ее предметам. Тихими быстрыми словами она объясняла, чего ждет от меня.

«Послушай, тебе ведь не трудно сделать усилие? В прошлый раз ты вел себя так глупо. Ты видишь, каким прекрасным может стать это мгновение? Посмотри на небо, посмотри, какого цвета солнце на этом ковре. А я как раз в зеленом платье и не накрашена, я совсем бледная. Отодвинься, сядь в тени, ты понял, что тебе надо делать. Сейчас поглядим. Ох, как ты глуп! Говори же со мной».

Я чувствовал, что успех затеи зависит от меня: мгновение обладало скрытым смыслом, который надо было вылущить из него и довести до совершенства; нужно было сделать определенные движения, произнести определенные слова — меня сокрушало бремя ответственности, я глядел во все глаза, я ничего не видел, я барахтался среди обрядов, которые Анни придумывала тут же на ходу, и, словно паутинку, разрывал их своими грубыми руками. В эти минуты она меня ненавидела.

Конечно, я увижусь с ней. Я до сих пор уважаю и люблю ее всем сердцем. Я желаю, чтобы другой оказался счастливей и ловчее меня в этой игре в совершенные мгновения.

«Твои чертовы волосы все портят,— говорила она.— Ну что прикажешь делать с рыжим мужчиной?»

Она улыбалась. Вначале стерлось воспоминание об ее глазах, потом об ее удлиненном теле. Дольше всего я старался сохранить воспоминание об ее улыбке, потом, три года назад, стерлось и оно. Недавно, когда я взял письмо из рук хозяйки отеля, оно вдруг вернулось: мне показалось, что я вижу улыбающуюся Анни. Я и сейчас пытаюсь вспомнить ее улыбку, мне нужно почувствовать всю ту нежность, что я питаю к Анни,— эта нежность здесь, рядом, совсем близко, она вот-вот прорежется. Но нет, улыбка не возвращается — кончено. Внутри у меня пустота и сушь.

В ночной кабачок зябко входит какой-то человек.

— Дамы-господа, приветствую вас.

Он садится, не снимая своего позеленевшего от времени пальто. Потирает одну о другую руки, переплетая длинные пальцы.

— Что вам подать?

Он вздрогнул, глядит беспокойным взглядом.

— Что? А-а, дайте мне «Бирр» с водой.

Служанка не трогается с места. По ее лицу, отраженному в зеркале, можно подумать, что она спит. На самом деле глаза ее открыты — но это маленькие щелки. Такой уж у нее характер, она не торопится обслужить клиента, она всегда должна поразмышлять над его заказом. Ей надо представить себе бутылку, которую она сейчас снимет с полки над стойкой, белую этикетку с красными буквами, густой черный сироп, который из нее польется,— она словно бы пьет его сама.

Прячу письмо Анни обратно в бумажник: я взял от него все, что оно могло мне дать,— мне не удается оживить женщину, которая держала его в руках, сложила, запечатала в конверт. Возможно ли вообще думать о ком-нибудь в прошлом времени? Пока мы любили друг друга, мы не позволяли даже самому ничтожному из наших мгновений, самой пустяковой из наших горестей отделиться от нас и остаться позади. Запахи, звуки, оттенки каждого дня, даже мысли, не высказанные вслух,— мы все удерживали при себе, и все оставалось живым; мы продолжали наслаждаться и мучиться всем этим в настоящем. Никаких воспоминаний: беспощадная, палящая любовь — ни тени, ни уголка, где укрыться, куда отступить. Три года, спрессованные воедино, составляли наше сегодня. Потому-то мы и расстались: у нас не хватило сил выносить дальше такое бремя. А потом, когда Анни сразу, без раздумий, бросила меня, три года рухнули в прошлое. Я даже не страдал, я был опустошен. Потом время потекло дальше, и пустота стала разрастаться. Потом в Сайгоне, когда я решил вернуться во Францию, все, что еще сохранялось от прошлого — чужеземные лица, площади, набережные длинных рек,— все кануло в небытие. И теперь мое прошлое — громадный провал. А мое настоящее — вот эта официантка в черной блузке, замечтавшаяся у прилавка, вот этот человек. Все, что я знаю о своей жизни, мне кажется, я вычитал из книг. Дворцы Бенареса, терраса Прокаженного короля, храмы Явы с их огромными разрушенными лестницами, когда-то на мгновение отразившись в моих глазах, остались там, на прежнем своем месте. Трамвай, проходящий по вечерам мимо отеля «Прентания», не уносит ведь на своих стеклах отражения неоновых вывесок — на мгновение вспыхнув, он уходит прочь с темными стеклами.

А человек неотступно меня разглядывает — это начинает меня раздражать. Такой коротышка и еще важничает. Официантка наконец решается его обслужить. Она лениво тянет свою громадную черную руку, достает бутылку и приносит ее вместе со стаканом.

— Пожалуйста, мсье.

— Мсье Ахилл,— учтиво сообщает он.

Она, не отвечая, наливает ему спиртное. Вдруг он быстро отдергивает палец, который прижимал к носу, и кладет обе ладони на стол. Он откинул голову назад, глаза его блестят.

— Бедная девушка,— холодно произносит он.

Служанка вздрагивает, я тоже; он сказал это непередаваемым тоном, с удивлением, что ли,— словно произнес эти слова не он, а кто-то другой. Нам всем троим неловко.

Первой оправилась от смущения толстуха официантка: она лишена воображения. Она с достоинством мерит взглядом мсье Ахилла — она прекрасно сознает, что может одной рукой схватить его за шиворот и выкинуть вон.

— Почему это я бедная?

Он мнется. В замешательстве смотрит на нее, потом начинает смеяться. По лицу его разбежались бесчисленные морщинки, он легко вертит кистями рук.

— Обиделась. Да я просто так сказал: «бедная девушка», к слову пришлось. Я ничего не имел в виду.

Но официантка поворачивается к нему спиной и уходит за стойку — она всерьез обижена. Он снова смеется:

— Ха-ха-ха! Да у меня просто вырвалось. Ну что поделаешь? Неужели рассердилась? Рассердилась,— констатирует он, словно бы обращаясь ко мне.

Я отворачиваюсь. Он приподнял свой стакан, но пить не собирается — он удивленно и смущенно щурит глаза. Можно подумать, он пытается что-то вспомнить. Служанка села за кассу и занялась рукоделием. Все снова смолкло, но это уже не прежняя тишина. Вот и дождь — он легонько стучит по матовым стеклам; если на улице еще остались дети в карнавальных костюмах, картонные маски размокнут и полиняют.

Служанка зажигает свет — еще только два часа, но небо совсем почернело, в такой темноте шить невозможно. Мягкий свет; люди сидят по домам, они, конечно, тоже зажгли лампы. Они читают или смотрят в окно на небо. Для них... для них все иначе. Они состарились по-другому. Они живут среди завещанного добра, среди подарков, и каждый предмет их обстановки — воспоминание. Каминные часы, медали, портреты, ракушки, пресс-папье, ширмы, шали. Их шкафы битком набиты бутылками, отрезами, старой одеждой, газетами — они сохранили все. Прошлое — это роскошь собственника.

А где бы я стал хранить свое прошлое? Прошлое в карман не положишь, надо иметь дом, где его разместить. У меня есть только мое тело, одинокий человек со своим одиноким телом не может удержать воспоминания, они проходят сквозь него. Я не имею права жаловаться: я хотел одного — быть свободным.

Маленький человек ерзает и вздыхает. Он совсем съежился в своем пальто, но время от времени выпрямляется, обретая человеческий облик. У него тоже нет прошлого. Если хорошенько поискать, можно, конечно, найти у родственников, которые с ним больше не встречаются, фотографию какой-нибудь свадьбы, на которой он присутствует в крахмальном воротничке, рубашке с пластроном и с торчащими молодыми усиками. От меня, наверно, не осталось и этого.

Вот он опять на меня смотрит. Сейчас он со мной заговорит, я весь ощетинился. Никакой симпатии мы друг к другу не чувствуем — просто мы похожи, в этом все дело. Он одинок, как я, но глубже погряз в одиночестве. Вероятно, он ждет твоей Тошноты или чего-нибудь в этом роде. Стало быть, теперь уже есть люди, которые меня *узнают;* поглядев на меня, они думают: «Этот из наших». Ну так в чем дело? Чего ему надо? Он должен понимать: помочь мы ничем друг другу не можем. Люди семейные сидят по домам посреди своих воспоминаний. А мы, два беспамятных обломка,— здесь. Если он сейчас встанет и обратится ко мне, я взорвусь.

Дверь с шумом распахивается — это доктор Роже.

— Приветствую всех.

Он входит, свирепый, подозрительный, покачиваясь на своих

длинных ногах, с трудом выдерживающих груз его тела. Я часто вижу доктора по воскресеньям в пивной «Везелиз», но он меня не знает. Он сложен, как отставные тренеры Жуэнвиля: бицепсы толщиной с ляжку, объем груди сто десять, а ноги хлипкие.

— Жанна, Жанна, крошка моя.

Он семенит к вешалке, чтобы повесить на крючок широкополую фетровую шляпу. Служанка сложила рукоделие и не спеша, сонно идет к доктору, чтобы высвободить его из его плаща.

— Что будете пить, доктор?

Он с важностью воззрился на нее. Вот что я называю красивой мужской головой. Потрепанное, изборожденное жизнью и страстями лицо. Но доктор понял суть жизни, обуздал свои страсти.

— Я и сам не знаю, чего я хочу,— говорит он густым голосом.

Он рухнул на скамью напротив меня и отирает пот со лба. Когда ему не надо удерживать равновесие, он чувствует себя прекрасно. Глаза его внушают робость, большие глаза, черные и властные.

— Это будет... будет, будет, будет старый кальвадос, дитя мое.

Служанка, не шевелясь, созерцает громадное, изрытое морщинами лицо. Она задумалась. Маленький человечек поднял голову и облегченно улыбается. И вправду, этот колосс — наш избавитель. На нас надвигалось что-то зловещее. А теперь я дышу полной грудью — мы среди людей.

— Ну так что, где мой кальвадос?

Служанка вздрагивает и уходит. А доктор вытянул свои толстые ручищи и сгреб в охапку столик. Мсье Ахилл счастлив — он хотел бы привлечь внимание доктора. Но тщетно он болтает ногами и подпрыгивает на скамье — он так мал, что его не слышно.

Служанка приносит кальвадос. Кивком она указывает доктору на его соседа. Доктор Роже медленно разворачивается всем корпусом: шея у него не гнется.

— А, это ты, старое отребье,— кричит он.— Еще не сдох? И вы впускаете эдакий сброд? — обращается он к служанке.

Он глядит на человечка своим хищным взглядом. Прямой взгляд, который все ставит на свои места.

— Старый псих — вот кто он такой.

Доктор Роже даже не дает себе труда показать, что шутит. Он знает: старый псих не рассердится, он расплывется в улыбке. Так и есть — тот униженно улыбается. Старый псих расслабился, он чувствует: его защитили от него самого, сегодня с ним ничего не случится. И самое ужасное: я успокоился тоже. Так вот что со мной такое — я всего-навсего старый псих.

Доктор смеется, он бросает на меня призывный взгляд сообщника; без сомнения, из-за моего роста — да и рубашка у меня чистая — он готов пригласить меня участвовать в его шутках.

Я не смеюсь и не отвечаю на его заигрывание — тогда, не переставая смеяться, он испытывает на мне устрашающий огонь своих глаз. Несколько секунд мы неотрывно смотрим друг на друга: прикидываясь близоруким, доктор меряет меня прищуренным взглядом — он обдумывает, к какому разряду меня отнести. К разряду психов? Или к разряду проходимцев?

И все-таки первым отводит глаза он — подумаешь, спасовал перед каким-то одиночкой, никакой общественной значимости не имеющим, стоит ли об этом тужить, это тут же забудется. Доктор сворачивает сигарету, закуривает и сидит неподвижно с застывшим и жестким, как это бывает у стариков, взглядом.

Хороши морщины — они у него всех видов: поперечные рытвины на лбу, гусиные лапки у глаз, горькие складки по обе стороны рта, не говоря уже о желтых веревках, висящих под подбородком. Повезло доктору — увидев его еще издали, всякий скажет: вот человек, который страдал и который пожил в свое удовольствие. Впрочем, док-

тор заслужил свое лицо: он ни на миг не усомнился в том, каким способом удержать и использовать свое прошлое,— он взял да и набил из него чучело, превратил в опыт для поучения женщин и молодых людей.

Мсье Ахилл счастлив, как, наверно, не был счастлив уже давно. Он раскис от восторга, он потягивает свой «Бирр», раздувая щеки. Да, доктор нашел-таки к нему подход! Доктор не из тех, кого смутит вид старого психа, у которого вот-вот случится приступ; хорошая взбучка, несколько грубых слов, способных подстегнуть,— вот и все, что надо ему подобным. Доктор обладает опытом. Обладать опытом — его профессия; врачи, священники, судьи и офицеры знают человека наизусть, словно сами его сотворили.

Мне стыдно за мсье Ахилла. Мы с ним два сапога пара, мы должны быть заодно против них. А он меня предал и перешел на их сторону: он искренне верит — верит в Опыт. Не в свой, не в мой. А в опыт доктора Роже. Еще недавно мсье Ахилл чуствовал себя странным, ему казалось, что он одинок; а теперь он знает: таких, как он, много, очень много, доктор Роже встречал этих людей, он может рассказать мсье Ахиллу историю каждого из них и кто из них чем кончил. Мсье Ахилл всего-навсего казус, частный случай, который легко сводится к некоторым общим понятиям.

Как бы я хотел сказать ему, что его обманывают, что он подыгрывает спесивцам. Это они-то профессионалы опыта? Да они всю жизнь прозябали в отупелом полусне, от нетерпения женились с бухты-барахты, наудачу мастерили детей. В кафе, на свадьбах, на похоронах встречались с другими людьми. Время от времени, попав в какой-нибудь водоворот, барахтались и отбивались, не понимая, что с ними происходит. Все, что совершалось вокруг, начиналось и кончалось вне поля их зрения: смутные продолговатые формы, события, нагрянувшие издали, мимоходом задели их, а когда они хотели разглядеть, что же это такое,— все уже было кончено. И вот к сорока годам они нарекают опытом свои мелкие пристрастия и небольшой набор пословиц и начинают действовать, как торговые автоматы: сунешь монетку в левую щелку — вот тебе два-три примера из жизни в упаковке из серебряной фольги, сунешь монетку в правую щелку — получай ценные советы, вязнущие в зубах, как ириски.

Такой ценой я и сам мог бы оказаться для многих желанным гостем, и обо мне говорили бы, что я Великий путешественник перед лицом Всевышнего. Совершенно верно, мусульмане мочатся сидя, а в Индии повитухи в качестве кровоостанавливающего используют стекло, толченое в коровьем навозе, а в Борнео девушка во время месячных три дня и три ночи проводит на крыше своего дома. В Венеции я видел похороны в гондолах, в Севилье — празднование Страстной недели, я видел Мистерии в Обераммергау. Само собой это лишь небольшой образчик моих познаний, я мог бы, рассевшись в кресле, шутки ради начать так:

«А слышали ли вы, дорогая мадам, что такое Йиглава? Это занятный маленький городок в Моравии, где мне пришлось жить в 1924 году...»

И председатель суда, который на своем веку разобрал великое множество юридических казусов, по окончании моего рассказа взял бы слово и сказал:

«Вы совершенно правы, дорогой мсье, это так свойственно людям. Я столкнулся с подобным случаем в начале моей карьеры. Было это в 1902 году. Я служил помощником судьи в Лиможе...».

Только все дело в том, что эти разговоры набили мне оскомину еще в юности. Правда, вырос я не в семье профессионалов. Но существуют ведь и любители. Секретари, служащие, торговцы, те, кто в кафе слушают других; к сорока годам их распирает опыт, который они не могут сбыть на сторону. По счастью, они наплодили детей,

их-то они и заставляют потреблять этот опыт, не сходя с места. Они хотели бы внушить нам, что их прошлое не пропало даром, что их воспоминания потихоньку сгустились, обратившись в Мудрость. Удобное прошлое! Карманное прошлое, книжица из золотой библиотеки, полная прописных истин. «Поверьте мне, я говорю на основании опыта, всему, что я знаю, меня научила жизнь». Да разве Жизнь взялась бы думать за них? Все новое они объясняют с помощью старого, а старое — с помощью событий еще более древних, как те историки, которые Ленина изображают русским Робеспьером, а Робеспьера — французским Кромвелем: в конечном счете они так ничего и не поняли... За их спесью угадывается угрюмая лень; замечая только, как одна видимость сменяет другую, они зевают и думают: ничто не ново под луною. «Старый псих» — и доктор Роже смутно вспоминает других старых психов, не помня ни одного из них в отдельности. Что бы ни выкинул мсье Ахилл, мы не должны удивляться: *все понятно* — старый псих!

Он вовсе не старый псих — ему страшно. Чего он боится? Когда ты хочешь что-то понять, ты оказываешься с этим «что-то» лицом к лицу, совсем один, без всякой помощи, и все прошлое мира ничем тебе помочь не может. А потом это «что-то» исчезает, и то, что ты понял, исчезает вместе с ним.

Питаться общими соображениями куда отраднее. К тому же профессионалы, да и любители тоже, в конце концов всегда оказываются правы. Их мудрость советует производить как можно меньше шума, как можно меньше жить, постараться, чтобы о тебе забыли. Больше всего они любят рассказывать о людях неблагоразумных, о чудаках, которых постигла кара. Ну что ж, наверно, так и бывает, никто не станет утверждать обратное. Быть может, у мсье Ахилла совесть не совсем спокойна. Быть может, он думает — послушайся он советов своего отца, своей старшей сестры, он не дошел бы до того, до чего дошел. Доктор имеет право говорить. Он ведь не загубил свою жизнь, он сумел стать полезным для окружающих. Спокойный, могущественный, навис он над этим жалким обломком; он — скала.

Доктор Роже допил свой кальвадос. Его мощное тело обмякло, тяжело опустились веки. Я впервые вижу его лицо без глаз: это картонная маска вроде тех, что сегодня продают в лавках. Щеки у него жуткого розового цвета... И вдруг мне становится ясно: этот человек скоро умрет. Он наверняка это знает — ему довольно посмотреться в зеркало: с каждым днем он все больше похож на свой будущий труп. Вот что такое их опыт, вот почему я часто говорю себе: от их опыта несет мертвечиной, это их последнее прибежище. Доктор очень хотел бы верить в этот свой опыт, он хотел бы скрыть от себя невыносимую правду: что он один и нет у него ни умудренности, ни прошлого, и разум его мутнеет, и тело разрушается. И вот он старательно возвел, благоустроил, обставил свой маленький компенсаторный бред: он уверяет себя, будто он прогрессирует. У него провалы памяти, мозг иногда работает вхолостую? Ну и что ж — просто он избегает теперь скоропалительных суждений молодости. Он больше не понимает того, что пишут в книгах? Ну и что ж — просто ему теперь не хочется читать. Он больше не может заниматься любовью? Но он немало занимался ею в свое время. А любовные шашни куда лучше иметь в прошлом, чем в настоящем,— на расстоянии можно судить, сравнить, обдумать. И чтобы хватило сил лицезреть в зеркалах свое покойницкое лицо, он пытается уверовать, что резец запечатлел на этом лице уроки опыта.

Доктор слегка повернул голову. Веки его приоткрылись, он глядит на меня розовыми со сна глазами. Я улыбаюсь ему. Я хотел бы, чтобы эта улыбка открыла ему все, что он тщится от себя скрыть. Если бы он мог подумать: «Этот тип *знает*, что я скоро подохну!» —

он бы проснулся. Но веки его снова смыкаются: он уснул. А я ухожу, оставляя мьсе Ахилла охранять его сон.

Дождь перестал, тепло, по небу медленно плывут прекрасные черные картины — лучшей рамки для совершенного мгновения не придумать; чтобы этим картинам было где отразиться, Анни высекала из наших сердец крохотные темные родники. Но я не умею пользоваться подходящим случаем — пустой, безучастный, я бреду куда глаза глядят под пропадающим втуне небом.

Среда

Не надо поддаваться страху.

Четверг

Написал четыре страницы. После этого — долгое мгновение счастья. Не вдаваться в размышления о ценности Истории. А то она может опротиветь. Помнить, что маркиз де Рольбон в настоящее время — единственное оправдание твоего существования.

Ровно через неделю я увижу Анни.

Пятница

На бульваре Ла Редут туман был такой густой, что я счел благоразумным держаться поближе к стенам казармы; по правую руку от меня автомобильные фары гнали перед собой влажные пятна света — где кончается тротуар, определить было нельзя. Меня окружали люди — я слышал их шаги, по временам жужжание голосов,— но я никого не видел. Один раз на уровне моего плеча возникло женское лицо, которое тотчас поглотила мгла; в другой раз кто-то, громко пыхтя, на ходу задел меня. Я не знал, куда я иду, мое внимание было поглощено одним: передвигаться с осторожностью, ощупывая землю носком ботинка и даже вытягивая вперед руки. Это упражнение не доставляло мне ни малейшего удовольствия. Однако о возвращении домой я не думал — я попался. Наконец через полчаса я заметил вдали голубоватый пар. Идя прямо на него, я вскоре оказался у широкой полосы света — в середине туман пронизывало своими огнями кафе «Мабли».

В кафе «Мабли» дюжина электрических лампочек, но сейчас горели только две: одна над кассой, другая в люстре. Единственный официант затолкал меня в темный угол.

— Сюда, мсье, я делаю уборку.

Официант был в куртке, без жилета и воротничка и в белой рубашке в сиреневую полоску. Он зевал, угрюмо поглядывая на меня и запуская в волосы пятерню.

— Черный кофе с рогаликами.

Не отвечая, он потер глаза и ушел. Мгла доходила мне до самых глаз — грязная, ледяная мгла. Отопление наверняка не включили.

Я был не один. Напротив меня сидела женщина с восковым лицом, руки ее безостановочно двигались — то поглаживали блузку, то поправляли черную шляпу. С ней был высокий рослый блондин, он жевал бриошь, не произнося ни звука. Молчание тяготило меня. Мне хотелось закурить трубку, но не хотелось привлекать их внимание чирканьем спички.

Телефонный звонок. Руки замерли, ухватившись за блузку. Официант не торопился. Прежде чем снять трубку, он не спеша кончил подметать. «Алло, это мсье Жорж? Здравствуйте, мсье Жорж... Да, мсье Жорж... Хозяина нет... Да должен бы уже спуститься... Ох, знаете, в такой туман... Вообще он обычно спускается к восьми... Хорошо, мсье Жорж, передам. До свиданья, мсье Жорж».

Туман навис над окном тяжелой портьерой из серого бархата. Чье-то лицо прилипло к стеклу и тотчас исчезло.

— Зашнуруй мне ботинок,— жалобно попросила женщина.

— Он зашнурован,— не глядя, ответил мужчина.

Она разнервничалась. Руки, как громадные пауки, забегали по блузке и по шее.

— Говорю тебе, зашнуруй.

Он с досадой наклонился и слегка дотронулся под столом до ее ноги:

— Зашнуровал.

Она удовлетворенно улыбнулась. Мужчина подозвал официанта.

— Сколько с меня?

— А сколько вы брали бриошей? — спросил официант.

Я потупил глаза, чтобы они не подумали, что я их разглядываю. Через несколько мгновений я услышал скрип и увидел подол юбки и два ботинка, облепленных высохшей грязью. За ними двигались мужские ботинки — лакированные и остроносые. Ботинки приблизились ко мне, остановились, сделали пол-оборота: мужчина надевал пальто. И тут вдоль юбки стала спускаться кисть руки на выпрямленном запястье. Рука поколебалась, поскребла подол.

— Ты готова? — спросил мужчина.

Ладонь раскрылась, дотронулась до засохшей звездой грязи на правом ботинке, потом исчезла.

— Уф! — выдохнул мужчина.

Он поднял стоявший у вешалки чемодан. Они вышли и скрылись в тумане.

— Это артисты,— сказал официант, подавая мне кофе.— Они выступали в антракте между сеансами в кинотеатре «Палас». Женщина завязывает себе глаза, а потом угадывает имена и возраст зрителей. А сегодня они уезжают — по пятницам программа меняется.

Он пошел за тарелкой с рогаликами, стоявшей на столике, за которым только что сидели артисты.

Мне не хотелось есть эти рогалики.

— Придется погасить свет. Две лампы для одного клиента в девять утра — хозяин будет ругаться.

Сумрак затопил кафе. В высокие окна теперь проникал слабый свет в серо-коричневых подтеках.

— Мне нужен мсье Фаскель.

Я не видел, как вошла старуха. От струи ледяного воздуха меня пробрала дрожь.

— Мсье Фаскель еще не спускался.

— Я от мадам Флоран,— продолжала она.— Ей нездоровится. Она сегодня не придет.

Мадам Флоран — это кассирша, та, у которой рыжие волосы.

— В такую погоду она всегда мается животом,— сказала старуха.

Официант принял многозначительный вид.

— Это все туман,— сказал он,— вот и мсье Фаскель тоже. Странно, он до сих пор не спустился. Ему тут звонили. Вообще-то он всегда сходит вниз в восемь.

Старуха машинально поглядела на потолок.

— Он что, наверху?

— Ну да, там его спальня.

— А вдруг он умер...— тягучим голосом проговорила старуха, словно рассуждая сама с собой.

— Вот еще! — Лицо официанта выразило неподдельное негодование.— Только этого не хватало!

А вдруг он умер... У меня тоже мелькнула эта мысль. Такого рода мысли приходят во время тумана.

Старуха ушла. Мне бы надо последовать ее примеру: было хо-

лодно и темно. Из щели под дверью просачивался туман, мало-помалу он поднимется кверху и затопит все. В муниципальной библиотеке мне было бы светло и тепло.

И снова чье-то лицо приплюснулось к стеклу, оно корчило рожи.

— Ну погоди у меня,— сердито буркнул официант и выскочил на улицу.

Лицо исчезло, я остался один. Я горько укорял себя за то, что вышел из дому. Теперь мгла, наверно, затопила мой номер в отеле; мне было бы страшно туда вернуться.

За кассой в темноте что-то скрипнуло. Звук донесся с лестницы, ведущей в комнаты: может, хозяин наконец спускается вниз? Нет, никого: ступеньки скрипели сами собой. Мсье Фаскель все еще спал. А может, умер у меня над головой. «Туманным утром найден мертвым в постели». И подзаголовок: «Посетители кафе продолжали есть и пить, не подозревая, что...»

Остался ли он лежать в постели? А может, свалился с нее, увлекая за собой одеяло и стукнувшись головой об пол?

Я прекрасно знаю мсье Фаскеля, он иногда осведомляется о моем здоровье. Это толстый весельчак, с холеной бородой — если он умер, то от удара. Лицо у него станет похожим на баклажан, язык вывалится изо рта. Борода торчком, шея под завитками волос фиолетового цвета.

Лестница, ведущая в жилые комнаты, терялась во тьме. Я с трудом различал только шишку перил. Пришлось бы пересечь это темное пространство. Лестница заскрипит. Наверху я нащупаю ручку двери...

Тело там, наверху, над моей головой. Я поверну выключатель, дотронусь до тепловатой кожи, чтобы убедиться... Больше я выдержать не могу, я встаю. Если официант застигнет меня на лестнице, скажу, что слышал шум.

Внезапно, тяжело дыша, вернулся официант.

— Я здесь, мсье,— крикнул он.

Болван! Он подходит ко мне.

— С вас два франка.

— Я слышал наверху шум,— говорю я ему.

— Давно пора!

— Да, но, похоже, что-то случилось. Вроде кто-то захрипел, а потом глухой шум.

В этом темном зале с туманом за окнами мои слова звучали совершенно естественно. Никогда не забуду, какие у него стали глаза.

— Вам бы надо пойти посмотреть,— коварно предлагаю я.

— Ну нет! — возражает он. Потом: — Еще, пожалуй, меня обложит. Который час?

— Десять.

— Если он до пол-одиннадцатого не спустится вниз, пойду погляжу.

Я делаю шаг к двери.

— Вы уже уходите? Не посидите подольше?

— Нет.

— А что, он в самом деле хрипел?

— Не знаю,— говорю я уходя,— может, мне просто почудилось под настроение.

Туман слегка поредел. Я торопливо зашагал к улице Турнебрид — мне нужны были ее огни. Меня ждало разочарование — огни-то огни, они горели, они освещали витрины магазинов. Но это был не радостный свет — из-за тумана он казался совершенно белым и лился на тебя как душ.

Много народу, в особенности женщин: няньки, служанки, но и хозяйки тоже — из тех, что говорят: «Я покупаю все сама, это вернее». Они принюхивались к витринам, потом входили в магазин.

Я остановился у колбасной Жюльена. Время от времени за стеклом появлялась рука, которая указывала на ножки с гарниром из трюфелей или на сосиски. Тогда толстая белокурая девица наклонялась, выставляя напоказ свою грудь, и брала пальцами кусок мертвой плоти. А в своей комнате, в пяти минутах ходьбы отсюда, лежал мертвый мсье Фаскель.

Я поискал вокруг себя какую-нибудь твердую опору, надежный заслон против подобных мыслей. Такого не нашлось — мало-помалу пелена тумана прорвалась, но какое-то беспокойство еще витало в воздухе. Пожалуй, не прямая угроза, а что-то размытое, прозрачное. Но именно оно и внушало страх. Я прижался лбом к стеклу витрины. На майонезе, в котором плавало яйцо, сваренное по-русски, я заметил темно-красную каплю — это была кровь. От вида этого красного на желтом меня стало мутить.

И вдруг мне представилось: кто-то упал окровавленным лицом в эти блюда. Яйцо покатилось в лужу крови, украшавший его ломтик помидора тоже упал плашмя — красное на красном. Пролилось немного майонеза — лужа желтого крема, которую желобок крови делит на два рукава.

«Дурацкие мысли. Надо встряхнуться. Пойду поработаю в библиотеке».

Поработаю? Я знал, что не напишу ни строчки. Еще один пропащий день. Проходя через парк, я заметил на скамейке, где я обыкновенно сижу, синюю пелерину, громадную и неподвижную. Вот кто не боится холода.

Когда я входил в читальный зал, оттуда вышел Самоучка. Он кинулся ко мне:

— Я хочу поблагодарить вас, мсье. Я провел незабываемые часы, рассматривая фотографии, которые вы мне дали.

При виде его у меня на мгновение мелькнула надежда: может, вдвоем легче будет пережить этот день. Но в обществе Самоучки только кажется, что ты не один.

Он хлопнул рукой по тому in-quarto. Это была «История религий».

— Никто не мог бы с большим успехом, чем Нусапье, предпринять такой обобщающий труд. Вы не находите, мсье?

Вид у него был усталый, руки дрожали.

— Вы плохо выглядите,— сказал я.

— Ох, еще бы, мсье. Со мной случилась ужасная история.

К нам приближался маленький злобный корсиканец с усами тамбурмажора. Он часами прохаживается между столиками, громко стуча каблуками. Зимой он отхаркивает мокроту в носовой платок, а потом сушит платки на печке.

Самоучка придвинулся ко мне вплотную, дыша мне прямо в лицо:

— Не хочу говорить при этом человеке,— доверительно шепнул он.— Но если бы вы согласились, мсье...

— На что?

Он покраснел и грациозно качнул бедрами:

— Мсье, ах, мсье, была не была. Не окажете ли вы мне честь пообедать со мной в среду?

— С удовольствием.

Обедать с ним охоты у меня не больше, чем лезть в петлю.

— Вы меня просто осчастливили,— сказал Самоучка и торопливо добавил: — Если вы не против, я зайду за вами,— и исчез, боясь, видно, что, если он помедлит, я передумаю.

Была половина двенадцатого. Я работал до без четверти двух. Мартышкин труд: перед глазами у меня была книга, но мысли все время возвращались в кафе «Мабли». Сошел мсье Фаскель вниз или нет? В глубине души я не очень верил в его смерть, это-то меня и

раздражало! Мысль была какая-то смутная, я не мог ни отделаться от нее, ни в ней утвердиться. По полу стучали ботинки корсиканца. Несколько раз он останавливался возле меня с таким видом, точно хотел заговорить со мной. Но удерживался и шагал дальше.

Около часа ушли последние читатели. Есть мне не хотелось, и, главное, не хотелось уходить. Я поработал еще некоторое время, и вдруг вздрогнул — я был замурован в безмолвии.

Я поднял голову — я остался один. Корсиканец, наверно, спустился вниз к жене — консьержке библиотеки. Мне захотелось услышать его шаги. Но услышал я только треск рассыпавшегося в печи уголька. Читальный зал подернулся туманом, нет, не настоящим туманом, тот давно рассеялся, другим, которым все еще были полны улицы, он сочился из стен, из мостовой. Все стало каким-то шатким. Конечно, книги по-прежнему стояли на полках на своих местах в алфавитном порядке, коричневые и черные корешки и наклейки на них: ОД-фл 7996 (Открытый доступ — французская литература) или ОД-ен (Открытый доступ — естественные науки). Но... как бы это объяснить? Обычно плотные, коренастые, они вместе с печкой, с зелеными лампами, с большими окнами и лестницами ставят рамки будущему. Пока ты остаешься в этих стенах, все чему предстоит случиться, может случиться только справа или слева от печки. Если бы сам Святой Дени вошел в зал, неся в руках свою голову, ему все равно пришлось бы войти справа, пройти между полками, отданными французской литературе, и столом, за которым работают ассистентки. И если он будет парить в двадцати сантиметрах над полом, не касаясь земли, его окровавленная шея непременно окажется как раз на уровне третьей книжной полки. Таким образом, все эти предметы обычно хотя бы очерчивают границы возможного.

Так вот, сегодня они не очерчивали ничего — казалось, само их существование поставлено под вопрос, и им стоит величайшего труда дотянуть до следующего мгновения. Я крепко стиснул в руках книгу, которую читал,— но даже самые сильные ощущения стерлись. Все казалось ненастоящим — меня окружала картонная декорация, которую в любую минуту можно было передвинуть. Мир ждал, съежившись, затаив дыхание,— ждал своего кризиса, своей Тошноты, как недавно мсье Ахилл.

Я встал, я больше не мог оставаться посреди этих обессилевших вещей. Я решил взглянуть из окна на череп Эмпетраза. Я прошептал: «Случиться может *все* что угодно, *все* что угодно может произойти». Понятное дело, не в духе тех ужасов, что придумали люди,— Эмпетраз не пустится в пляс на своем постаменте, речь совсем о другом.

Я с ужасом смотрел на все эти зыбкие предметы, которые в любую минуту могли рухнуть,— ну да, я находился здесь, я жил среди этих книг, начиненных знаниями: одни из них описывали незыблемые формы животного мира, другие объясняли, что в мире сохраняется неизменное количество энергии, да, я стоял у окна, стекла которого имели строго определенный коэффициент преломления лучей. Но какие хрупкие это были преграды! По-моему, мир только потому не меняется до неузнаваемости за одну ночь, что ему лень. Но сегодня у него был такой вид, словно он хочет стать другим. А в этом случае может случиться *все*, решительно *все*.

Нельзя терять ни минуты: в основе моей тревоги то, что произошло в кафе «Мабли». Надо вернуться туда, надо увидеть мсье Фаскеля, убедиться, что он жив, в случае необходимости дотронуться до его рук или бороды. Тогда, может, я приду в себя.

Я поспешно схватил пальто, не надел его, а просто накинул на плечи, и бросился вон. В городском саду на той же самой скамейке я увидел человека в пелерине: между двумя пунцовыми от холода ушами белело громадное мертвенное лицо.

Издалека сверкало своими огнями кафе «Мабли» — на сей раз, наверно, были зажжены все его двенадцать ламп. Я ускорил шаги: надо покончить с этой историей. Сначала я заглянул в кафе через огромное окно — зал был пуст. Ни кассирши, ни официанта, ни мсье Фаскеля.

Мне пришлось сделать над собой громадное усилие, чтобы войти; садиться я не стал. «Официант!» — окликнул я. Никакого ответа. На одном из столиков пустая чашка. На блюдечке кусок сахара.

— Есть тут кто-нибудь?

На вешалке висело пальто. На круглом столике валялись журналы в черных картонных папках. Удерживая дыхание, я старался уловить хоть какой-нибудь звук. Легонько скрипнула лестница в жилые комнаты. С улицы донесся гудок парохода. Я вышел, пятясь и не спуская глаз с лестницы.

Я все понимаю: в два часа дня посетителей мало, мсье Фаскель простудился, официанта он послал с каким-нибудь поручением — может быть за врачом. Все правильно — и все-таки мне необходимо увидеть мсье Фаскеля. На углу улицы Турнебрид я обернулся и с отвращением посмотрел на искрящееся огнями безлюдное кафе. На втором этаже ставни были закрыты.

Меня охватила самая настоящая паника. Я уже не соображал, куда я иду. Я помчался вдоль доков. Свернул в пустынные улицы квартала Бовуази — дома уставились на мою бегущую фигуру своими угрюмыми глазами. «Куда идти? Куда?» — тоскливо повторял я. Случиться может все. Время от времени я с бьющимся сердцем резко оборачивался назад. Что происходит за моей спиной? Может, это начнется позади меня, и, когда я внезапно обернусь, будет уже поздно? Пока я в состоянии держать предметы в поле моего зрения, ничего не случится, вот я и пожирал глазами мостовую, дома, газовые рожки; взгляд мой перескакивал с одного предмета на другой, чтобы захватить их врасплох, остановить в разгар их превращения. Вид у них был какой-то неестественный, но я настойчиво убеждал себя: «Это газовый рожок, это водоразборная колонка» и пытался властью своего взгляда вернуть им их повседневный вид. Часто на моем пути попадались бары: «Бретонское кафе», «Морской бар». Я останавливался, в нерешительности медлил перед их розовыми тюлевыми занавесками: может, эти плотно занавешенные пивнушки метаморфоза обошла стороной, может, в них еще осталась частица вчерашнего мира, огражденная и забытая. Но чтобы убедиться в этом, надо открыть дверь, войти. Я не решался; я продолжал свой путь. В особенности меня пугали двери домов. Я боялся, что они откроются сами собой. В конце концов я зашагал посреди улицы.

Внезапно я оказался на набережной Северных Доков. Рыбачьи лодки, маленькие яхты. Я поставил ногу на бухту веревок в каменном гнезде. Здесь, вдали от домов, вдали от дверей, я воспользуюсь минутной передышкой. На спокойной, испещренной черными горошинами воде плавала пробка.

«А *под* водой? Ты подумал о том, что может находиться *под* водой?» Скажем, какое-то животное. Огромный панцирь, наполовину увязший в грязи. Двенадцать пар ног медленно копошатся в тине. Время от времени животное слегка приподнимается. В водной глубине. Я подошел, высматривая признаки ряби, слабого волнения. Но пробка неподвижно застыла среди черных горошин.

В эту минуту я услышал голоса. Весьма своевременно. Я повернулся кругом и снова пустился бежать.

На улице Кастильоне я нагнал двух мужчин, которые шли, разговаривая между собой. При звуке моих шагов оба разом вздрогнули и обернулись. Я увидел их встревоженные глаза, которые сначала устремились на меня, потом на то, что находилось за моей спиной,— они пытались понять, не явится ли что-нибудь за мной следом. Стало

быть, они как я, им тоже страшно? Когда я обогнал их, мы обменялись взглядами. Еще немного — и мы бы заговорили. Но вдруг в наших глазах вспыхнуло недоверие — в такой день, как нынешний, с первым встречным разговор не заведешь.

Я опомнился на улице Булибе — я еле переводил дух. Ладно, жребий брошен, вернусь в библиотеку, возьму какой-нибудь роман, попытаюсь читать. Проходя мимо решетки парка, я увидел типа в пелерине — он по-прежнему сидел на скамье в безлюдном парке; нос его стал таким же красным, как уши.

Я уже собирался открыть калитку, но, увидев выражение его лица, прирос к месту; он щурил глаза и растягивал губы в идиотской, слащавой ухмылке. И в то же время он таким напряженным, жестким взглядом всматривался прямо перед собой во что-то, чего я не мог видеть, что я резко обернулся.

Перед ним, стоя на одной ноге с приоткрытым ртом, девочка лет двенадцати как зачарованная смотрела на него и, вытянув вперед острое личико, нервно теребила головной платок.

Человек ухмылялся про себя, будто готовился сыграть ловкую шутку. Вдруг он встал, держа руки в карманах пелерины, которая доходила ему до пят. Он сделал два шага вперед, глаза его блуждали. Я подумал — сейчас он упадет. Но он продолжал улыбаться с отрешенным видом.

И вдруг я понял: пелерина! Надо этому помешать. Мне довольно было кашлянуть и открыть калитку. Но я в свою очередь был зачарован выражением девочкиного лица. Оно вытянулось от страха, сердце ее, наверно, бешено колотилось, но в то же время я читал на этом крысином личике что-то властное и гадкое. Это было не любопытство, скорее уж своего рода уверенное ожидание. Я почувствовал, что бессилен — я находился снаружи, за пределами сада, за пределами разыгрывавшейся между ними маленькой драмы; а их приковывала друг к другу темная власть их желаний, они составляли пару. Я затаил дыхание, мне хотелось увидеть, что изобразится на этом старообразном личике, когда тип за моей спиной распахнет полы своей пелерины.

Но вдруг, очнувшись, девочка тряхнула головой и кинулась бежать. Тип в пелерине заметил меня — это его и остановило. Секунду он неподвижно стоял посреди аллеи, потом, ссутулившись, побрел прочь. Пелерина била его по икрам.

Я распахнул калитку и одним прыжком настиг его.

— Эй, послушайте! — крикнул я.

Он затрясся.

— Над городом нависла страшная угроза,— учтиво заметил я, проходя мимо.

Я вошел в читальный зал и с одного из столов взял «Пармскую обитель». Я попытался углубиться в чтение, найти убежище в светлой Италии Стендаля. Мне это удавалось урывками, в коротких проблесках воображения, а потом я снова ввергался в грозную атмосферу этого дня, и напротив меня какой-то маленький старичок прочищал горло, и какой-то парень мечтал, откинувшись на своем стуле.

Часы шли, стекла потемнели. Нас было четверо, не считая корсиканца, который за своей конторкой ставил печати на новых книгах, поступивших в библиотеку. Был этот маленький старичок, светловолосый парень, молодая женщина, которая готовит диссертацию, и я. Время от времени один из нас поднимал голову и быстрым подозрительным взглядом окидывал трех остальных, словно их боялся. В какую-то минуту старичок залился смехом — молодая женщина задрожала как лист. Но я еще раньше разобрал вверх ногами название книги, которую читал старик,— это был юмористический роман.

Без десяти семь. Я вдруг подумал, что в семь библиотека закрывается. Меня снова вытолкнут в город. Куда мне идти? Что делать?

Старик дочитал роман. Но не уходил. Он отрывисто и ритмично постукивал пальцем по столу.

— Господа,— объявил корсиканец.— Скоро закрываем.

Парень вздрогнул и быстро покосился на меня. Молодая женщина обернулась к корсиканцу, потом снова взялась за книгу и, казалось, углубилась в чтение.

— Закрываем,— объявил корсиканец через пять минут.

Старик неопределенно покачал головой. Молодая женщина отодвинула книгу, но не встала.

Корсиканец ничего не мог понять. Он неуверенно сделал несколько шагов, потом повернул выключатель. Настольные лампы погасли. Продолжала гореть только верхняя лампочка.

— Надо уходить? — тихо спросил старик.

Парень медленно, нехотя поднялся. Каждый стремился надеть пальто последним. Когда я вышел, женщина еще сидела, положив ладонь на свою книгу.

Внизу за входной дверью зияла тьма. Парень, шедший первым, оглянулся, медленно сошел по ступенькам, миновав вестибюль; с минуту постоял на пороге, потом ринулся во тьму и исчез.

С нижней ступеньки лестницы я посмотрел наверх. Немного погодя из читального зала вышел старичок, на ходу застегивая пальто. Когда он спустился с первых трех ступенек, я собрался с силами, зажмурил глаза и нырнул.

Я почувствовал на лице легкую, освежающую ласку. Вдали кто-то насвистывал. Я открыл глаза: шел дождь. Тихий, теплый дождь. Площадь была мирно освещена четырьмя фонарями. Площадь провинциального города под дождем. Парень удалялся широкими шагами — насвистывал он; мне хотелось крикнуть двум другим, которые еще ничего не знали, что они могут выйти, что угроза миновала.

На пороге показался маленький старичок. Он озадаченно почесал себе щеку, потом широко улыбнулся и раскрыл зонтик.

Суббота утром

Ласковое солнышко и легкая дымка обещают погожий день. Позавтракал я в кафе «Мабли».

Кассирша, мадам Флоран, приветливо мне улыбнулась. Я крикнул ей из-за своего столика:

— А что, мсье Фаскель заболел?

— Да, мсье, тяжелый грипп — ему еще несколько дней придется побыть в постели. Сегодня утром из Дюнкерка приехала его дочь. Она останется здесь, чтобы ухаживать за ним.

В первый раз с тех пор, как я получил письмо от Анни, я по-настоящему рад, что ее увижу. Чем она занималась все эти шесть лет? Будем ли мы смущены при встрече? Анни вообще не знает, что значит смутиться. Она встретит меня так, словно мы расстались вчера. Только бы мне не разыграть дурака, не настроить ее против себя с самого начала. Не забыть бы, когда войду, что не надо подавать ей руки — она терпеть этого не может.

Сколько дней мы пробудем вместе? Может, я привезу ее в Бувиль. Пусть она пробудет здесь хоть несколько часов, хоть одну ночь переночует в отеле «Прентания». После этого все пойдет по-другому, мне уже не будет страшно.

Полдень

В прошлом году, когда я впервые побывал в музее Бувиля, меня поразил портрет Оливье Блевиня. Что в нем нарушено — пропорция?

Перспектива? Объяснить этого я не мог, но что-то меня смущало; депутат не вписывался в полотно.

С тех пор я много раз приходил поглядеть на портрет. Но смущение не рассеивалось. Не мог же я допустить, что Бордюрен — лауреат Римской премии, шесть раз удостоенный медали, ошибся в рисунке.

И вот нынче, после полудня, проглядывая старые комплекты «Бувильского сатирика» — газетки, не брезговавшей шантажом, владелец которой в годы войны был обвинен в государственной измене, я вдруг начал понимать, в чем дело. Я тут же из библиотеки отправился в музей.

Я быстро миновал сумрачный вестибюль, бесшумно ступая по черно-белым плиткам пола. Вокруг меня заламывала руки толпа гипсовых слепков. Через два широких проема я мельком увидел потрескавшиеся вазы, тарелки, синего с желтым сатира на подставке. Это был зал Бернара — Палисси, отданный керамике и прикладному искусству. Господин и дама в трауре почтительно рассматривали эти обожженные в печи предметы.

Над входом в большой зал (или зал Бордюрена — Ренода), как видно, совсем недавно повесили большое полотно, которого я еще не видел. Оно было подписано Ришаром Севераном и называлось «Смерть холостяка». Картина была получена в дар от государства.

Голый до пояса, с зеленоватым, как это и положено мертвецу, торсом, холостяк лежал на смятой постели. Скомканные простыни и одеяла свидетельствовали о долгой агонии. Я улыбнулся, подумав о мсье Фаскеле. Он не один — за ним ухаживает дочь. На полотне служанка, прислуга-любовница, с чертами, отмеченными пороком, уже открывала ящик комода, пересчитывая в нем деньги. В открытую дверь видно было, что в полумраке поджидает мужчина в фуражке, с приклеенной к нижней губе сигаретой. У стены равнодушно лакала молоко кошка.

Этот человек жил только для себя. Его постигла суровая и заслуженная кара — никто не пришел закрыть ему глаза на его смертном одре. Эта картина была мне последним предупреждением — еще не поздно, я еще могу вернуться. Но если, не внемля предостережению, я продолжу свой путь, да будет мне известно: в салоне, куда я сейчас войду, на стенах висит полтораста с лишним портретов; если не считать нескольких молодых людей, безвременно отнятых у семьи, и монахини, начальницы сиротского приюта, ни один из тех, кто изображен на этих портретах, не умер холостяком, ни один не умер бездетным, не оставив завещания, не приняв последнего причастия. В этот день, как и в прочие дни, соблюдая все приличия по отношению к Богу и к ближним, эти люди тихонько отбыли в страну смерти, чтобы потребовать там свою долю вечного блаженства, на которое имели право.

Потому что они имели право на все: на жизнь, на работу, на богатство, на власть, на уважение и в конечном итоге — на бессмертие.

Я внутренне подобрался и вошел. У окна дремал смотритель. Блеклый свет, сочившийся из окон, пятнами ложился на картины. В этом прямоугольном зале не было ничего живого, кроме кошки, которая, завидев меня, испугалась и убежала. Но я почувствовал, что на меня смотрят сто пятьдесят пар глаз.

Мужчины и женщины, составлявшие бувильскую элиту между 1875 и 1910 годами, все до одного были представлены здесь, тщательно выписанные Ренода или Бордюреном.

Мужчины построили храм Святой Цецилии Морской. Основали в 1882 году Союз судовладельцев и коммерсантов Бувиля, «дабы слить в единую мощную силу все проявления доброй воли, содействовать делу национального обновления и противостоять партиям

беспорядка...» Это их стараниями Бувиль превратился в торговый порт, лучше всех других французских портов оснащенный для выгрузки угля и леса. Это благодаря им были удлинены и расширены набережные. Это они способствовали желанному размаху строительства морского порта и, настойчиво углубляя дно, довели глубину якорной стоянки при отливе до 10,7 метра. Благодаря их усилиям общее водоизмещение рыболовных судов, в 1869-м составлявшее пять тысяч тонн, за двадцать лет достигло восемнадцати тысяч тонн. Не отступая ни перед какими жертвами, чтобы содействовать выдвижению лучших представителей рабочего класса, они по собственной инициативе создали различные центры технического и профессионального обучения, процветшие под их высоким покровительством. Они сломили в 1898 году пресловутую забастовку докеров, а в 1914 году отдали родине своих сыновей.

Женщины, достойные подруги этих борцов, основали бóльшую часть патронажей, детских яслей, благотворительных кружков. Но прежде всего они были супругами и матерями. Они воспитали прекрасных детей, научили их понимать, в чем состоит их долг и их права, понимать, что такое вера и уважение к традициям, которые создали Францию.

Все портреты были написаны в темно-коричневых тонах. Живые краски были изгнаны из соображений приличия. Однако в портретах Ренодá, который предпочитал писать стариков, на черном фоне резко выделялись снежно-белые волосы и бакенбарды; лучше всего у художника получались руки. Бордюрену, менее изощренному в технике, руки удавались меньше, зато пристежные воротнички на его полотнах сверкали как беломраморные.

Было жарко; негромко похрапывал смотритель. Я обвел взглядом стены — я увидел руки и глаза; кое-где лица таяли в пятнах света. Я направился было к портрету Оливье Блевиня, но что-то меня удержало: с почетного места в центре стены на меня устремил ясный взгляд коммерсант Паком.

Он стоял, слегка откинув голову, держа в одной руке цилиндр и перчатки, которые прижимал к жемчужно-серым панталонам. Я не мог удержаться от известной доли восхищения — в нем не было ничего посредственного, ничего, что можно было бы подвергнуть критике: маленькие ступни, руки с тонкими пальцами, широкие плечи борца, сдержанная элегантность не без намека на фантазию. Он учтиво являл посетителям свое ясное, без единой морщинки лицо, на его губах витала даже тень улыбки. Но серые глаза не улыбались. Ему было лет пятьдесят, но он был молод и свеж, как тридцатилетний. Он был просто красив.

Я отказался от мысли обнаружить в нем какой-нибудь изъян. Но он меня не отпускал. Я прочел в его глазах спокойный и неумолимый приговор.

И тут я понял, что нас разделяет; мое мнение о нем его нисколько не затрагивало — для него это была жалкая психология, вроде той, что разводят в романах. Но его суждение пронзало меня насквозь как меч, оно ставило под сомнение самое мое существование. И он был прав, я всегда это сознавал: я не имел права на существование. Я появился на свет случайно, я существовал как камень, как растение, как микроб. Моя жизнь развивалась стихийно, в самых разных направлениях. Иногда она посылала мне невнятные сигналы, в других случаях я слышал только смутный, ничего не значащий шум.

А для этого безупречного красавца, ныне покойного Жана Пакома, сына Пакома из Комитета Национальной обороны, все было по-другому: биение его сердца и глухие шумы всех его прочих органов являлись ему в форме сиюминутных, отчетливых прав. В течение шестидесяти лет он неуклонно осуществлял свое право на

жизнь. Великолепные серые глаза! Ни разу ни малейшее сомнение не замутило их. И ни разу Паком не ошибся.

Он всегда выполнял свой долг, каждый свой долг — сыновний долг, долг супруга, отца, начальника. И неуклонно требовал своих прав: ребенком — права на хорошее воспитание в дружной семье, права наследника незапятнанного имени и процветающего дела; супругом — права на заботу и нежное внимание, отцом — права на почтение, командиром — права на безропотное повиновение. Ибо право всегда оборотная сторона долга. Пакома наверняка никогда не удивляло, что он так необыкновенно преуспел (сегодня Пакомы — самое богатое семейство Бувиля). Он никогда не говорил себе: «Я счастлив» — и удовольствиям предавался, конечно, соблюдая умеренность, объясняя: «Я расслабляюсь». Таким образом удовольствие, возведенное в ранг права, теряло свою вызывающую суетность. Слева чуть повыше его голубоватой седины я заметил книги на этажерке. Переплеты были великолепны — без сомнения классики. На сон грядущий Паком наверняка прочитывал несколько страниц своего «старины Монтеня» или оду Горация на латыни. Иногда, чтобы быть в курсе, он, вероятно, брал почитать какой-нибудь современный опус. Так он познакомился с Барресом и Бурже. Через несколько минут он откладывал книгу. И улыбался. Его взгляд, утратив свою завидную зоркость, подергивался даже некоторой мечтательностью. И он говорил: «Насколько проще и труднее исполнять свой долг».

Другой попытки разобраться в себе он не делал — это был начальник.

На стенах висели и другие начальники, и только они. Вот этот серо-зеленый громадный старик в кресле — начальник. Его белый жилет на портрете удачно перекликается с серебряными волосами. (В этих портретах, которые писались прежде всего в назидательно-нравственных целях и где сходство с оригиналом соблюдалось со скрупулезной точностью, отдавалась дань и искусству.) Длинная узкая рука старика покоилась на голове мальчика. На коленях, укутанных пледом, лежала книга. Но взгляд блуждал вдалеке. Старик видел то, что невидимо молодым. Его имя было указано на ромбовидной табличке внизу портрета — наверняка его звали Пако́м, Парротен или Шеньо. Мне не пришло в голову подойти посмотреть: для своих близких, для этого мальчика, для самого себя он был просто Дед; если бы сейчас он счел, что настала минута объяснить внуку, сколь многогранен его будущий долг, он заговорил бы о себе в третьем лице:

«Обещай деду быть умницей, дружок, и хорошо учиться в будущем году. Как знать, может, на будущий год деда уже здесь не будет».

На склоне лет он на всех распространял свою снисходительную доброту. Даже по отношению ко мне, если бы он мог меня видеть — но он смотрел сквозь меня,— он проявил бы терпимость: он подумал бы, что и у меня когда-то были дед и бабка. Он ничего не требовал, в этом возрасте уже нет желаний. Никаких желаний — только чтобы при его появлении слегка понижали голоса, только чтобы, когда он проходит, в улыбках появлялся налет нежности и почтения, только чтобы его невестка иногда говорила: «Отец неподражаем, он моложе всех нас»; только чтобы он один способен был укрощать капризы внука, положив руки ему на голову, а потом замечать: «Дед знает, как утолить это безутешное горе»; только чтобы сын несколько раз в году являлся к нему просить совета по некоторым щекотливым вопросам,— словом, только чтобы он чувствовал себя умиротворенным, безмятежным, бесконечно мудрым. Рука старца едва касалась кудрей внука — это было почти благословение. О чем он думал? О своем безукоризненном прошлом, которое давало ему право судить обо всем и во всем оставлять за собой последнее слово?

Я был на днях недалек от истины: Опыт — это не просто последнее прибежище, заслон от смерти. Это также и право — право стариков.

Висящий на почетном месте генерал Обри со своей громадной саблей был начальником. Еще один начальник — президент Эбер, тонкий эрудит, друг Эмпетраза. У него было вытянутое симметричное лицо с бесконечным подбородком, под самой губой подчеркнутым эспаньолкой. Он слегка выдвинул вперед челюсть, будто тешась тем, что позволяет себе не вполне соглашаться с другими, смакуя свои принципиальные возражения, словно легкую отрыжку. Он задумался, держа в руке гусиное перо: он тоже расслаблялся, черт возьми, расслаблялся, кропая стишки. Но взгляд его был орлиным взглядом начальника.

Ну, а кто же тогда рядовые? Я находился в середине зала, все эти величавые взгляды были нацелены на меня. Я не был ни дедом, ни отцом, ни даже супругом. Я не голосовал, я платил какой-то жалкий налог — я не мог похвалиться ни правами налогоплательщика, ни правами избирателя, ни даже скромным правом респектабельности, которое двадцать лет покорности обеспечивают чиновнику. Мое существование начало меня всерьез смущать. Уж не видимость ли я, и только?

«Ха! — внезапно подумал я.— Да ведь рядовой — это я». При этой мысли я рассмеялся, совершенно беззлобно.

Упитанный пятидесятилетний господин вежливо ответил мне очаровательной улыбкой. Его Ренода написал с любовью; какими воздушными мазками вылепил он маленькие уши, мясистые, но аккуратные, и в особенности руки. Узкие, с гибкими пальцами: воистину руки ученого или артиста. Лицо было мне незнакомо. Должно быть, я много раз проходил мимо этого полотна, не обращая на него внимания. Теперь я подошел и прочитал: «Реми Парротен, профессор Медицинской школы в Париже, родившийся в Бувиле в 1849 году».

Парротен — доктор Уэйкфилд рассказывал мне о нем. «Один раз в жизни мне довелось встретить великого человека. Это был Реми Парротен. Я слушал его лекции зимой 1904 года (вы знаете, что я два года изучал акушерство в Париже). Парротен научил меня понимать, что такое руководитель, «начальник». Он обладал какими-то флюидами, ей-богу. Он нас зажигал, за ним мы пошли бы на край света. И при этом он был джентльмен — он владел огромным состоянием и значительную его часть тратил на помощь нуждающимся студентам».

Так что когда я в первый раз услышал об этом столпе науки, я испытал к нему даже некоторый прилив чувств. И вот я стоял перед ним, и он мне улыбался. Какая умная и приветливая у него улыбка! Его пухлое тело уютно нежилось в углублении большого кожаного кресла. В присутствии этого ученого, лишенного всякого чванства, каждый сразу чувствовал себя легко. Пожалуй, доктора можно было бы даже принять за простака, если бы не одухотворенный взгляд.

Не надо было долго ломать себе голову, чтобы угадать, в чем секрет его обаяния,— доктор понимал все, ему все можно было сказать. Он чем-то походил на Ренана, разве что отличался большей изысканностью. Он был из тех, кто говорит:

«Социалисты? Ну и что? Я иду гораздо дальше, чем они». Если ты следовал за ним по этой опасной стезе, ты вскоре трепеща должен был отринуть все — семью, родину, право собственности, самые священные ценности. На какую-то долю секунды приходилось даже подвергнуть сомнению право буржуазной элиты стоять у власти. Еще шаг — и вдруг все становилось на свои места, как ни странно, подкрепленное убедительными, на старый лад, доводами. Ты обо-

рачивался и видел, что социалисты остались далеко позади, совсем крохотные, они машут платками и кричат: «Подождите нас».

Впрочем, я знал от Уэйкфилда, что Мэтр любил, как он сам говорил с улыбкой, «принимать духовные роды». Сохраняя молодость, он окружал себя молодежью. Он часто приглашал к себе в гости юношей из хороших семей, посвятивших себя медицине. Уэйкфилд не раз у него обедал. Встав из-за стола, переходили в курительную. Патрон обращался со студентами, едва только начавшими курить, как с взрослыми мужчинами — он угощал их сигарами. Развалившись на диване и полузакрыв глаза, он долго вещал, а толпа учеников жадно ловила каждое его слово. Доктор предавался воспоминаниям, рассказывал разные истории, извлекая из них пикантную и глубокую мораль. И если среди благовоспитанных юнцов попадался упрямец, Парротен проявлял к нему особенный интерес. Он вызывал его на разговор, внимательно слушал, подбрасывал ему мысли, темы для раздумий. И кончалось непременно тем, что в один прекрасный день молодой человек, полный благородных идей, измученный враждебностью близких, устав размышлять наедине с собой и вопреки всем, просил Патрона принять его с глазу на глаз и, запинаясь от смущения, изливал ему свои самые заветные мысли, свое негодование, свои надежды. Парротен прижимал его к сердцу. «Я понимаю вас, я понял вас с первого дня»,— говорил доктор. Они беседовали, Парротен заходил дальше, еще дальше, так далеко, что молодому человеку трудно было поспевать за ним. После нескольких бесед такого рода все замечали, что молодой бунтарь явно выздоравливает. Он начинал лучше понимать самого себя, видел, какие прочные нити связывают его с семьей, со средой, понимал, наконец, замечательную роль элиты. И в конце концов, словно каким-то чудом, заблудшая овца, следовавшая за Парротеном, возвращалась на путь истинный, осознавшая, раскаявшаяся. «Он исцелил больше душ, нежели я тел»,— заключал Уэйкфилд.

Реми Парротен приветливо улыбался мне. Он был в нерешительности, он пытался понять мои взгляды, чтобы мягко переменить их и вернуть заблудшую овечку в овчарню. Но я его не боялся — я не был овечкой. Я смотрел на его невозмутимый без единой морщинки лоб, на его животик, на его руку, лежащую на колене. Я улыбнулся ему в ответ и проследовал дальше.

Его брат Жан Парротен — президент АСБ обеими руками опирался на край заваленного бумагами стола: всем своим видом он показывал посетителю, что аудиенция окончена. У него был удивительный взгляд — взгляд как бы абстрактный, выражающий идею права в ее чистом виде. Лицо Парротена исчезало в блеске этих сверкающих глаз. Но под их пламенем я обнаружил узкие, сжатые губы мистика. «Странно,— подумал я, он похож на Реми Парротена». Я обернулся к доктору, в свете этого сходства становилось вдруг заметно, как на мягком лице Реми проступает вдруг что-то бесплодное, опустошенное — семейное сходство. Я снова вернулся к Жану Парротену.

Этот человек был прост как идея. В нем не осталось ничего, кроме костей, мертвой плоти и Права в Чистом Виде. Истинный пример одержимости, подумал я. Когда человек одержим Правом, никакие заклинания не способны изгнать беса. Жан Парротен всю жизнь мыслил своим Правом — и ничем другим. Вместо легкой головной боли, которая начинается у меня всякий раз при посещении музея, он почувствовал бы на своих висках болезненное право подвергнуться лечению. Не следовало давать ему повод для излишних размышлений, привлекать его внимание к горестным обстоятельствам действительности, к тому, что он когда-нибудь умрет, к страданиям других людей. Наверняка на смертном одре, в тот час, когда со времен Сократа принято произносить какие-нибудь возвышенные

слова, он сказал жене то же, что один из моих дядьев сказал своей, которая двенадцать ночей подряд не отходила от его постели: «Тебя, Тереза, я не благодарю, ты просто исполнила свой долг». Перед человеком, который дошел до таких высот, нельзя не снять шляпу.

Глаза Парротена, на которые я изумленно взирал, указывали мне на дверь. Но я не уходил, я сознательно решил проявить бестактность. Когда-то мне пришлось в Эскуриале подолгу рассматривать один из портретов Филиппа II, и я знал, что, если вглядеться в лицо, которое пылает сознанием права, через некоторое время пламя выгорает и остается пепел — вот этот-то пепел меня и интересовал.

Парротен сопротивлялся долго. Но вдруг глаза его погасли, картина потускнела. И что осталось? Два слепых глаза, узкий, как сдохшая змея, рот и щеки. Бледные круглые детские щеки — они выставили себя на полотне во всей своей красе. Служащие АСБ и не подозревали об их существовании: им никогда не приходилось подолгу задерживаться в кабинете Парротена. Входя, они как на стену наталкивались на этот грозный взгляд. Он-то и прикрывал щеки — белые и дряблые. Сколько лет понадобилось жене Парротена, чтобы их разглядеть? Два года? Пять лет? Представляю себе, как однажды, когда муж спал с ней рядом и луч луны играл на его носу или когда он с натугой переваривал пищу в жаркий полдень, откинувшись в кресле и прикрыв глаза, а солнечное пятно легло на его подбородок, она отважилась взглянуть ему в лицо, и вся эта плоть предстала перед ней без защиты: отечная, слюнявая, чем-то непристойная. Без сомнения, с этого самого дня мадам Парротен взяла бразды правления в свои руки.

Отступив на несколько шагов, я охватил общим взглядом всех этих великих мужей — Пакома, президента Эбера, двух Парротенов, генерала Обри. Они носили цилиндры, по воскресеньям на улице Турнебрид встречали жену мэра мадам Грасьен, которой во сне явилась Святая Цецилия. Они приветствовали ее церемонными поклонами, секрет которых ныне утерян.

Их изобразили необыкновенно точно, и, однако, под кистью художника их лица утратили таинственную слабость человеческих лиц. Эти физиономии, даже самые безвольные, были отшлифованы, как изделия из фаянса: тщетно искал я в них следы родства с деревьями, с животными, с миром земли или воды. Я понимал, что при жизни им не обязательно было иметь такие лица. Но, готовясь перейти в бессмертие, они вверили себя именитым художникам, чтобы те деликатно подвергли их лица тому же углублению, бурению, ирригации, посредством которых сами они изменили море и поля вокруг Бувиля. Так с помощью Ренода и Бордюрена они подчинили Природу — вовне и в самих себе. На этих темных полотнах передо мной представал человек, переосмысленный человеком, и в качестве единственного его украшения — лучшее завоевание человечества: букет Прав Человека и Гражданина. Без всякой задней мысли я восхищался царством человеческим.

Вошли господин с дамой. Они были в трауре и старались казаться незаметными. Потрясенные, они застыли на пороге зала, господин машинально обнажил голову.

— Вот это да! — взволнованно произнесла дама.

Господин первым обрел хладнокровие.

— Целая эпоха,— почтительно произнес он.

— Да,— сказала дама,— эпоха моей бабушки.

Они сделали несколько шагов и встретились взглядом с Жаном Парротеном. Дама разинула рот, но муж ее не был гордецом: вид у него стал приниженный, на него, наверно, не раз устремляли устрашающие взгляды и выпроваживали за дверь. Он тихонько потянул жену за рукав.

— Посмотри вот на этого,— сказал он.

Улыбка Реми Парротена всегда ободряла униженных. Женщина подошла и старательно прочитала:

«Портрет Реми Парротена, профессора Медицинской школы в Париже, родившегося в Бувиле в 1849 году, кисти Ренода».

— Парротен, член Академии наук,— сказал ее муж,— написан членом Французской академии Ренода. Это сама История!

Дама кивнула головой, потом поглядела на Великого Наставника.

— Как он хорош! — сказала она.— Какое у него умное лицо.

Муж широким жестом обвел зал.

— Это все они и создали Бувиль,— просто сказал он.

— Хорошо, что их всех соединили здесь,— сказала растроганная дама.

Мы были трое рядовых, маневрировавших, как на плацу, в этом громадном зале. Муж, который из почтительности беззвучно посмеивался, кинул на меня беспокойный взгляд и внезапно перестал смеяться. Я отвернулся и подошел к портрету Оливье Блевиня. Тихая радость завладела мной — точно, я не ошибся. Вот умора!

Женщина подошла ближе ко мне.

— Гастон,— позвала она, внезапно расхрабрившись.— Иди же сюда.

Муж подошел.

— Послушай,— сказала она,— ведь это его именем названа улица — улица Оливье Блевиня. Помнишь, маленькая такая улочка, она идет вверх по Зеленому Холму возле самого Жукстебувиля.— И, помолчав, добавила: — Видно, он был человек с характером.

— Да уж надо думать, не давал спуску смутьянам.

Фраза была обращена ко мне. Господин покосился на меня краешком глаза и засмеялся на сей раз громче, с самодовольным и требовательным видом, точно сам он и был Оливье Блевинь.

Оливье Блевинь не смеялся. Он нацелил в нас свою перекошенную челюсть, кадык его выдавался вперед.

Настала минута молчания и экстаза.

— Кажется, вот-вот шевельнется,— сказала дама.

— Это был крупный торговец хлопком,— с готовностью пояснил муж.— А потом он занялся политикой, стал депутатом.

Я это знал. Два года назад я навел о нем справки в «Кратком словаре великих людей Бувиля» аббата Морелле. И переписал посвященную ему статью.

«Блевинь, Оливье-Марсиаль, сын предыдущего, родился и умер в Бувиле (1849—1908), закончил юридический факультет в Париже, в 1872 году получил звание лиценциата. Глубоко потрясенный восстанием коммунаров, которое принудило его, как и многих других, укрыться в Версале под защиту Национального Собрания, он еще в том возрасте, когда молодые люди помышляют об одних удовольствиях, дал себе клятву «посвятить жизнь восстановлению Порядка». Он сдержал слово — возвратившись в наш город, он основал известный «Клуб Друзей Порядка», где в течение долгих лет каждый вечер собирались крупнейшие коммерсанты и судовладельцы Бувиля. Этот аристократический кружок, о котором в шутку говорили, что попасть в него труднее, чем в «Жокей-Клуб», вплоть до 1908 года оказывал благотворное влияние на судьбы нашего крупного торгового порта. В 1880 году Оливье Блевинь женился на Марии-Луизе Паком — младшей дочери коммерсанта Шарля Пакома (см. соответствующую статью) и после смерти последнего основал торговую фирму «Паком — Блевинь и сын». Вскоре он занялся активной политической деятельностью и выставил свою кандидатуру на депутатских выборах.

«Страна наша,— говорил он в своей знаменитой речи,— тяжело больна: правящий класс не хочет больше держать в своих руках бразды правления. Но кто же будет их держать, господа, если те, кто в силу наследственности, воспитания, опыта более всех пригодны осу-

ществлять власть, отказываются от нее из смирения или усталости? Я часто говорил: повелевать — это не право избранных, это их первоочередной долг. Господа, заклинаю вас, восстановим принцип власти!»

Избранный депутатом в первый раз 4 октября 1885 года, он с той поры постоянно переизбирался. Наделенный красноречием, он в свойственной ему энергичной и резкой манере произнес множество блестящих речей. Когда разразилась страшная забастовка 1898 года, Блевинь находился в Париже. Он немедленно вернулся в Бувиль, где стал вдохновителем сопротивления. Он взял на себя переговоры с забастовщиками. Переговоры эти, задуманные на основе широкого соглашения, были прерваны из-за стычки в Жукстебувиле. Как известно, тактичное вмешательство армии успокоило разгоряченные умы.

Безвременная смерть его сына Октава, который в юном возрасте поступил в Политехнический институт и из которого отец хотел сформировать начальника, нанесло Оливье Блевиню жестокий удар. Так и не оправившись от него, он умер два года спустя, в феврале 1908 года.

Сборники речей: «Нравственные силы» (1894 г., распродан); «Право карать» (1900 г., все речи, вошедшие в этот сборник, были произнесены в связи с делом Дрейфуса; распродан), «Воля» (1902 г., распродан). После смерти Блевиня последние его речи и некоторые письма, адресованные близким, были включены в сборник под названием «Labor improbus»[1] (издательство «Плон», 1910 г.). Иконография: существует великолепный портрет Блевиня кисти Бордюрена в музее Бувиля».

Великолепный портрет — что ж, согласен. У Оливье Блевиня были маленькие черные усики, и его желтоватое лицо слегка напоминало лицо Мориса Барреса. Они несомненно знали друг друга — сидели на одних и тех же скамьях. Но бувильский депутат был лишен небрежной раскованности президента Лиги патриотов. Он был прямолинеен как дубина и явно выламывался из холста. Глаза его сверкали — зрачок был черный, роговица красноватая. Он поджал свои маленькие мясистые губы и приложил правую руку к груди.

Как долго мне не давал покоя этот портрет! Блевинь казался мне то слишком крупным, то слишком маленьким. Но сегодня я уже понимал, в чем дело.

Правду я узнал, листая «Бувильского сатирика». Номер от 6 ноября 1905 года был целиком посвящен Блевиню. Блевинь был изображен на обложке журнала — крохотная фигурка, уцепившаяся за шевелюру отца Комба. Надпись гласила: «Вошь в гриве льва». Первая же страница все объясняла — в Оливье Блевине было всего метр пятьдесят три. Над его ростом издевались, а заслышав его квакающий голос, вся Палата не раз покатывалась от хохота. Уверяли, что он носит ботинки с резиновыми каблуками. Зато мадам Блевинь, урожденная Паком, была здоровенной кобылой. «Вот уж когда воистину уместно сказать: дал половину, взял вдвойне»,— писал хроникер.

Метр пятьдесят три! Все ясно, Бордюрен старательно окружил Блевиня предметами, которые не могли умалить его рост: пуф, низкое кресло, этажерка с томиками в двенадцатую долю листа, маленькая персидская ширма. Но сам Блевинь был на полотне такого же роста, как висевший с ним рядом Жан Парротен, а оба холста — одинакового размера. В результате ширма на одном из них оказалась почти такой же высокой, как громадный стол на другой, а пуф доставал бы Парротену до плеча. Глаз невольно сопоставлял оба портрета — это-то меня и смущало.

А теперь меня разбирал смех: метр пятьдесят три! Если бы я хотел поговорить с Блевинем, мне пришлось бы наклониться или согнуть колени. Теперь меня уже не удивляло, почему он так неукротимо за-

[1] Упорный труд *(лат.)*. Часть латинской поговорки «Все побеждает упорный труд», возникшей на основе строки Вергилия.

дирал нос,— судьба людей такого роста всегда решается в нескольких сантиметрах над их головой.

Удивительная сила искусства! От этого коротышки с пискливым голосом потомству не останется ничего, кроме грозного лица, величественного жеста и кровавых бычьих глаз. Студент, напуганный Коммуной, ничтожный и злобный депутат — все это унесла с собой смерть. Но президента «Клуба Друзей Порядка», глашатая Нравственных сил, обессмертила кисть Бордюрена.

— Ах, бедный студентик!

Этот сдавленный крик вырвался у дамы в трауре. Под портретом Октава Блевиня, «сына предыдущего», чья-то благочестивая рука начертала такие слова:

«Скончался студентом Политехнического института в 1904 году».

— Скончался! Как сын Аронделя. У него такое умное лицо. Как, должно быть, горевала его мама! Слишком уж большая нагрузка в этих знаменитых учебных заведениях. Мозг не отдыхает даже во время сна. Вообще-то мне нравятся треуголки политехников, в них есть шик. Кажется, их называют «плюмажи»?

— Нет, плюмажи — это только в Сен-Сире.

Я тоже стал рассматривать студента политехникума, который умер молодым. Достаточно было взглянуть на его восковое лицо и благонравные усы, чтоб предсказать ему скорую смерть. Впрочем, он предвидел свою участь: в его устремленных вдаль светлых глазах читалась какая-то покорность судьбе. Однако он высоко держал голову: в своей студенческой форме он представлял французскую армию.

Tu Marcellus eris! Manibus date lilia plenis...[1]

Сорванная роза, умерший студент-политехник — что может быть печальнее?

Я неторопливо шел по длинной галерее, на ходу приветствуя почтенные лица, выступавшие из темноты: мсье Боссуар, председатель коммерческого суда; мсье Фаби, председатель административного совета самоуправления порта Бувиль; коммерсант мсье Буланж со своим семейством; мэр Бувиля, мсье Раннекен; уроженец Бувиля мсье де Люсьен — французский посол в Соединенных Штатах и поэт; неизвестный в форме префекта, преподобная Мария-Луиза, начальница Большого Сиротского Приюта; мсье и мадам Терезон, мсье Тибу-Гурон — генеральный президент экспертного совета; мсье Бобо — главный управляющий военно-морского ведомства, мсье Брион, Минетт, Грело, Лефебр, доктор Пен и его супруга, сам Бордюрен, написанный его сыном Пьером Бордюреном. Ясные, невозмутимые взгляды, тонкие черты, узкие рты: громадный и терпеливый мсье Буланж, преподобная Мария-Луиза — воплощение предприимчивого благочестия. Мсье Тибу-Гурон был суров к себе и к другим. Мадам Терезон стойко боролась с тяжелым недугом. Бесконечно усталое выражение губ выдавало ее страдания. Но ни разу эта благочестивая женщина не сказала: «Мне плохо». Она побеждала болезнь; она составляла меню благотворительных обедов и председательствовала на них. Иногда посредине какой-нибудь фразы она медленно закрывала глаза, и лицо ее становилось безжизненным. Но эта слабость длилась не более секунды; мадам Терезон открывала глаза и продолжала начатую фразу. И в благотворительных кружках шептались: «Бедная мадам Терезон! Она никогда не жалуется».

Я прошел от начала до конца весь длинный зал Бордюрена-Ренода. Потом обернулся. Прощайте, прекрасные, изысканные лилии, по-

[1] Будешь Марцеллом и ты! Дайте (роз пурпурных и) лилий... Строка из «Энеиды» Вергилия *(перев. С. Ошерова)*. Строка обращена к племяннику Августа, которого император прочил себе в наследники и который умер молодым. Он носил то же имя, что и знаменитый полководец Марцелл.

коящиеся в маленьких живописных святилищах, прощайте, прекрасные лилии, наша гордость и оправдание нашего бытия. Прощайте, Подонки.

Понедельник

Я больше не пишу книги о Рольбоне — кончено, писать я больше не могу. Куда я дену свою жизнь?

Было три часа. Я сидел за столом, рядом лежала связка писем, которые я похитил в Москве, я писал:

«Усердно распускались самые зловещие слухи. Очевидно, маркиз де Рольбон попался на эту удочку, поскольку в письме от 13 сентября сообщил племяннику, что составил завещание».

Рольбон был тут: пока я еще не окончательно воссоздал маркиза в его историческом бытии, я наделял его моей собственной жизнью. Я ощущал его как теплый комок где-то в недрах живота.

И вдруг я подумал, что мне непременно возразят: Рольбон-де вовсе не был откровенен со своим племянником — в случае неудачи заговора он хотел в глазах Павла I использовать его как свидетеля защиты. Вполне возможно, что маркиз придумал историю с завещанием, чтобы выглядеть этаким доверчивым простаком.

Возражение было пустяковое — оно не стоило выеденного яйца. Однако я погрузился в мрачное раздумье. Я вдруг сразу увидел перед собой толстуху официантку из кафе «У Камиля», блуждающий взгляд мсье Ахилла, зал, в котором я так явственно почувствовал, что затерян, покинут в настоящем. И устало сказал себе: «Каким образом я, у которого не хватает сил удержать собственное прошлое, надеюсь спасти прошлое другого человека?»

Я взял перо и попытался вернуться к работе; хватит с меня всех этих размышлений о прошлом, о настоящем, об окружающем мире. Я хочу одного — чтобы мне дали спокойно дописать мою книгу.

Но когда мой взгляд упал на чистый блокнот, меня вдруг поразил его вид и я, с застывшим в воздухе пером, уставился на эту ослепительную бумагу: какая она плотная, броская, как ощутимо ее сиюминутное присутствие. В ней нет ничего, кроме сиюминутного настоящего. Буквы, которые я вывел на ней, еще не просохли, но они уже мне не принадлежат.

«Усердно распускались самые зловещие слухи...»

Эту фразу придумал я, вначале она была частицей меня самого. Теперь она вписалась в бумагу, объединилась с ней против меня. Я больше ее не узнавал. Я даже не мог ее заново продумать. Она была там, передо мной, и тщетно было искать в ней признаков ее изначального происхождения. Ее мог написать любой другой человек. *Но и я*, я сам, не был уверен, что ее написал я. Буквы уже не блестели, они просохли. Исчезло и это — от их мимолетного блеска не осталось следа.

Я в тоске огляделся вокруг: настоящее, ничего, кроме сиюминутного настоящего. Легкая или громоздкая мебель, погрязшая в своем настоящем, стол, кровать, зеркальный шкаф — и я сам. Мне приоткрывалась истинная природа настоящего: оно — это то, что существует, а то, чего в настоящем нет, не существует. Прошлое не существует. Его нет. Совсем. Ни в вещах, ни даже в моих мыслях. Конечно, то, что я утратил свое прошлое, я понял давно. Но до сих пор я полагал, что оно просто оказалось вне поля моего зрения. Прошлое казалось мне всего лишь выходом в отставку, это был иной способ существования, каникулы, праздность; каждое событие, сыграв свою роль до конца, по собственному почину послушно укладывалось в некий ящик и становилось почетным членом в кругу собратьев-событий — так мучительно было представить себе небытие. Но теперь я знал: все на свете является только тем, чем оно кажется, а *за ним* ... ничего.

Еще несколько мгновений я был захвачен этой мыслью. Потом рывком расправил плечи, чтобы от нее избавиться, и придвинул себе блокнот.

«...что составил завещание».

И вдруг мне стало непереносимо мерзко, перо выпало из моих рук, разбрызгивая чернила. Что случилось? Опять Тошнота? Нет, это была не она, комната хранила свой обычный приторно-дружелюбный вид. Разве что стол казался более тяжелым, более громоздким и ручка более тугой. И однако, маркиз де Рольбон только что умер во второй раз.

Еще совсем недавно он был здесь, у меня внутри, спокойный и теплый, по временам я даже чувствовал, как он во мне шевелится. Для меня он был живым, более живым, чем Самоучка, чем хозяйка «Приюта путейцев». Конечно, у него были свои причуды, он мог по нескольку дней не появляться совсем, но часто, когда погода каким-то неисповедимым образом этому благоприятствовала, он, словно метеочувствительное растение, выглядывал наружу — и я видел его бледное лицо и сизые щеки. Но даже когда он не показывался, я чувствовал, как он давит своей тяжестью мне на сердце,— я был полон им.

И вот не осталось ничего. Как не осталось былого блеска на следах высохших чернил. Виноват был я сам: я произнес те единственные слова, которые не следовало произносить,— я сказал, что прошлое не существует. И в одно мгновение, совершенно бесшумно, маркиз де Рольбон вернулся в небытие.

Я взял в руки его письма, в каком-то отчаянии стал ощупывать их.

«Но ведь это же он сам,— убеждал я себя,— он сам начертал один за другим эти знаки. Он надавливал на эту бумагу, придерживал листки пальцами, чтобы они не ерзали под его пером».

Поздно — все эти слова потеряли смысл. Существовала пачка пожелтелых листков, которые я сжимал в руках, и только. Конечно, была у нее вся эта сложная история: племянник Рольбона в 1810 году погиб от руки царской полиции, бумаги его были конфискованы и взяты в Секретный архив, потом, сто десять лет спустя, переданы пришедшими к власти Советами в Государственную библиотеку, откуда я их выкрал в 1923 году. Но все это казалось неправдоподобным — об этой краже, совершенной мной самим, у меня не осталось никаких реальных воспоминаний. Чтобы объяснить присутствие этих бумаг в моей комнате, нетрудно было сочинить сотню других куда более правдоподобных историй, но все они перед лицом этих шершавых листков показались бы пустыми и легковесными, точно мыльные пузыри. Если я хочу вступить в контакт с Рольбоном, лучше уж заняться столоверчением, чем рассчитывать на эти листки. Рольбон исчез. Исчез без следа. Если от него остались еще какие-то кости, они существовали сами по себе, независимо от всего прочего, они представляли собой просто некоторое количество фосфата и известняка в сочетании с солями и водой.

Я сделал последнюю попытку: я стал повторять слова мадам Жанлис, с помощью которых я обычно воскрешаю маркиза: «Его опрятное морщинистое личико, все изрытое оспинами, на котором было написано выражение какого-то особенного плутовства, бросавшееся в глаза, несмотря на все старания маркиза его скрыть».

Лицо маркиза послушно явилось передо мной: острый нос, сизые щеки, улыбка. Я мог сколько душе угодно воссоздавать его черты, быть может даже с большей легкостью, чем прежде. Но только это был всего лишь образ, родившийся во мне самом, плод моего собственного воображения. Вздохнув, я привалился к спинке стула с чувством непереносимой утраты.

Пробило четыре. Вот уже час я сижу на стуле, праздно свесив руки. Начинает смеркаться. Больше ничего в комнате не изменилось: на столе по-прежнему лежит блокнот белой бумаги, рядом с ним ручка и чернильница... Но никогда больше я не стану писать на начатой странице. Никогда не пойду улицей Инвалидов Войны и бульваром Ла Редут в библиотеку, чтобы поработать в ее архивах.

Мне хочется вскочить, выйти на улицу, заняться чем угодно, чтобы забыться. Но я если шевельну хоть пальцем, если не буду сидеть совершенно неподвижно, я знаю, что со мной случится. А я пока еще не хочу, чтобы это случилось. Чем позже это произойдет, тем лучше. Я не шевелюсь — машинально перечитываю на листке бумаги неоконченный абзац:

«Усердно распускались самые зловещие слухи. Очевидно, Рольбон попался на эту удочку, поскольку в письме от 13 сентября сообщил племяннику, что составил завещание».

Великое предприятие под названием Рольбон кончилось, как кончается великая страсть. Придется придумать что-нибудь другое. Несколько лет назад в Шанхае в кабинете Мерсье я внезапно стряхнул с себя сон, я очнулся. Но началось другое сновидение: я зажил при царском дворе, в старых дворцах, таких холодных, что зимой в дверных проемах нарастали ледяные сталактиты. Сегодня я очнулся перед блокнотом белой бумаги. Факелы, празднества в ледяных домах, мундиры, прекрасные зябнущие плечи — все исчезло. Вместо них в теплой комнате осталось *нечто*, и это нечто я не хочу видеть.

Маркиз де Рольбон был моим союзником: он нуждался во мне, чтобы существовать, я — в нем, чтобы не чувствовать своего существования. Мое дело было поставлять сырье, то самое сырье, которое мне надо было сбыть, с которым я не знал, что делать, а именно существование, *мое* существование. Его дело было воплощать. Все время маяча передо мной, он завладел моей жизнью, чтобы *воплотить* через меня свою. И я переставал замечать, что существую, я существовал уже не в своем обличье, а в обличье маркиза. Это ради него я ел, дышал, каждое мое движение приобретало смысл вне меня — вон, там, прямо передо мной, в нем; я уже не видел своей руки, выводящей буквы на бумаге, не видел даже написанной мной фразы — где-то по ту сторону бумаги, за ее пределами, я видел маркиза — маркиз потребовал от меня этого движения, это движение продлевало, упрочивало его существование. Я был всего лишь способом вызвать его к жизни, он — оправданием моего существования, он избавлял меня от самого себя. Что я буду делать теперь?

Только не шевелиться, главное — *не шевелиться... Ох!*

Мне не удалось удержаться, и я повел плечами.

Я потревожил вещь, которая ждала, она обрушилась на меня, она течет во мне, я полон ею. Ничего особенного: Вещь — это я сам. Существование, освобожденное, вырвавшееся на волю, нахлынуло на меня. Я существую.

Существую. Это что-то мягкое, очень мягкое, очень медленное. И легкое — можно подумать, оно парит в воздухе. Оно подвижно. Это какие-то касания — они возникают то здесь, то там и пропадают. Мягкие, вкрадчивые. У меня во рту пенистая влага. Я проглатываю ее, она скользнула в горло, ласкает меня, и вот уже снова появилась у меня во рту; у меня во рту постоянная лужица беловатой жидкости, которая — ненавязчиво — обволакивает мой язык. Эта лужица — тоже я. И язык — тоже. И горло — это тоже я.

Я вижу кисть своей руки. Она разлеглась на столе. Она живет — это я. Она раскрылась, пальцы разогнулись и торчат. Рука лежит на спине. Она демонстрирует мне свое жирное брюхо. Она похожа на опрокинувшегося на спину зверька. Пальцы — это лапы. Забавы ради я быстро перебираю ими — это лапки опрокинувшегося на спину краба. Вот краб сдох, лапки скрючились, сошлись на брюхе моей

кисти. Я вижу ногти — единственную частицу меня самого, которая не живет. А впрочем. Моя кисть перевернулась, улеглась ничком, теперь она показывает мне свою спину. Серебристую, слегка поблескивающую спину — точь-в-точь рыба, если бы не рыжие волоски у основания фаланг. Я ощущаю свою кисть. Два зверька, шевелящиеся на концах моих рук,— это я. Моя рука почесывает одну из лапок ногтем другой. Я чувствую ее тяжесть на столе, который не я. Это ощущение тяжести все длится и длится, оно никак не проходит. Да и с чего бы ему пройти. В конце концов это невыносимо... Я убираю руку, сую ее в карман. Но тут же сквозь ткань начинаю чувствовать тепло моего бедра. Я тотчас выбрасываю руку из кармана, вешаю ее на спинку стула. Теперь я чувствую ее тяжесть в запястье. Она слегка тянет, чуть-чуть, мягко, дрябло, она существует. Я сдаюсь — куда бы я ее ни положил, она будет продолжать существовать, а я буду продолжать чувствовать, что она существует; я не могу от нее избавиться, как не могу избавиться от остального моего тела, от влажного жара, который грязнит мою рубаху, от теплого сала, которое лениво переливается, словно его помешивают ложкой, от всех ощущений, которые гуляют внутри, приходят, уходят, поднимаются от боков к подмышке или тихонько прозябают с утра до вечера в своих привычных уголках.

Вскакиваю рывком — если б только я мог перестать думать, мне стало бы легче. Мысли — вот от чего особенно муторно... Они еще хуже, чем плоть. Тянутся, тянутся без конца, оставляя какой-то странный привкус. А внутри мыслей — слова, оборванные слова, наметки фраз, которые возвращаются снова и снова: «Надо прекра... я суще... Смерть... Маркиз де Роль умер... Я не... Я суще...» Крутятся, крутятся, и конца им нет. Это хуже всего — потому что тут я виновник и соучастник. К примеру, эта мучительная жвачка-мысль: *«я существую»*, ведь пережевываю ее я. Я сам. Тело, однажды начав жить, живет само по себе. Но мысль — нет; это я продолжаю, развиваю ее. Я существую. Я мыслю о том, что я существую! О-о, этот длинный серпантин, ощущение того, что я существую,— это я сам потихоньку его раскручиваю... Если бы я мог перестать мыслить! Я пытаюсь, что-то выходит — вроде бы голова наполнилась туманом... и вот опять все начинается сызнова: «Туман... Только не мыслить... Не хочу мыслить... Я мыслю о том, что не хочу мыслить. Потому что это тоже мысль». Неужто этому никогда не будет конца?

Моя мысль — это я: вот почему я не могу перестать мыслить. Я существую, потому что мыслю, и я не могу помешать себе мыслить. Вот даже в эту минуту — это чудовищно — я существую *потому*, что меня приводит в ужас, что я существую. Это я, *я сам* извлекаю себя из небытия, к которому стремлюсь: моя ненависть, мое отвращение к существованию — это все разные способы *принудить меня* существовать, ввергнуть меня в существование. Мысли, словно головокруженье, рождаются где-то позади, я чувствую, как они рождаются где-то за моим затылком... стоит мне сдаться, они окажутся прямо передо мной, у меня между глаз — и я всегда сдаюсь, и мысль набухает, набухает, и становится огромной, и, заполнив меня до краев, возобновляет мое существование.

Слюна у меня сладковатая, тело теплое, мне муторно от самого себя. На столе лежит мой перочинный нож. Открываю его. Почему бы нет? Так или иначе это внесет некоторое разнообразие. Кладу левую руку на блокнот и пытаюсь всадить нож в ладонь. Движение вышло слишком нервным; лезвие скользнуло по коже — легкая царапина. Царапина кровоточит. Ну а дальше что? Что изменилось? И все же я с удовольствием смотрю, как на белом листке, поверх строк, которые я недавно написал, растеклась лужица крови, которая наконец-то уже не я. Четыре строчки на белом листке бумаги, пятно крови — вот и готово прекрасное воспоминание. Надо бы написать

внизу: «В этот день я отказался от намерения писать книгу о маркизе де Рольбоне».

Смазать руку йодом? Не знаю. Гляжу, как однообразно течет струйка крови. Но вот кровь свернулась. Кончено. Вокруг пореза кожа кажется ржавой. А под кожей остается только легкая чувствительность — ощущение, похожее на все остальные, разве что еще более муторное.

Пробило половину пятого. Встаю, холодная рубашка прилипла к телу. Выхожу на улицу. Зачем? Да затем, что так же бессмысленно оставаться дома. Даже если я останусь, даже если в молчании забьюсь в угол, я все равно никуда от себя не денусь. Я буду существовать в этом углу, буду давить своей тяжестью на пол. Я есмь.

По пути покупаю газету. Сенсация. Найдено тело маленькой Люсьены! Запах типографской краски, бумага мнется в моих пальцах. Гнусный убийца скрылся. Девочку изнасиловали. Найдено тело — скрюченные пальцы впились в грязь. Комкаю газету, пальцы впились в газету: запах типографской краски: Господи, как навязчиво существуют сегодня вещи! Маленькую Люсьену изнасиловали. Задушили. Ее тело все еще существует, плоть истерзана. *Она* больше не существует. Ее руки. Она больше не существует. Дома. Иду между домами, я есмь между домами, иду прямо по мостовой, мостовая под моими ногами существует, дома смыкаются надо мной, как вода смыкается надо мной над лебединым крылом бумаги, я есмь. Я есмь, я существую, я мыслю, стало быть существую, я существую, потому что мыслю, а зачем я мыслю? Не хочу больше мыслить, я есмь, потому что мыслю, что не хочу быть, я мыслю, что я... потому что... Брр! Я бегу, негодяй сбежал, ее тело изнасиловано. Она почувствовала, как в ее плоть проникает чужая плоть. Я... теперь я... Изнасилована. Вкрадчивая кровавая тяга к насилию подкрадывается ко мне сзади, она где-то за ушами, уши волочатся следом за мной, рыжие волосы, они рыжеют на моей голове, влажная трава, рыжая трава — это что, тоже я? и эта газета тоже я? держать газету — два существования лицом к лицу, вещи существуют лицом к лицу, я бросаю газету. Вот дом, дом существует; иду вперед вдоль стены, вдоль долгой стены я есмь, я существую перед стеной, еще шаг, стена существует, она — впереди меня, еще шаг, еще один, теперь позади меня, палец скребется в моих брюках, скребется, скребется, вытащил палец маленькой девочки, выпачканный в грязи, грязь на моем пальце, грязь из того грязного ручейка, палец тихо-тихо поник, падает, обмяк, скребет уже не так сильно, как пальцы девочки, которую душили, негодяй, скребли грязь, землю, уже не так сильно, палец тихо скользнул, головой вперед, ласкает, свернувшись жарким кольцом на моей ляжке; существование податливо, мягко, оно шатко, шатается между домами, я есмь, я существую, я мыслю, стало быть я шатаюсь, я есмь, существование — это падение, упадет, не упадет, палец скребется в слуховое окно, существование несовершенно. Вот мужчина. Красавец мужчина существует. Он чувствует, что существует. Нет, красавец мужчина, который проходит мимо, горделивый и нежный, как садовый вьюнок, не чувствует, что существует. Развернуться, расцвести; болит порезанная рука, существует, существует, существует. Красавец мужчина, существует орден Почетного легиона, существуют усы, вот и все; какое счастье, наверно, когда ты — только орден Почетного легиона и усы, остального никто не видит, он видит два острых кончика своих усов по обе стороны носа; я не мыслю, стало быть я — усы. Он не видит ни своего худого тела, ни громадных ступней: порывшись в его панталонах, можно, конечно, найти две маленькие серые припухлости. У него орден Почетного легиона Подонки имеют право на существование: «Существую, потому что имею право». Имею право существовать, стало быть имею право не мыслить — палец поднимается. Неу-

жели я буду?.. ласкать на расцветшей белизне простыней белую расцветшую плоть, которая тихо клонится навзничь, буду касаться цветущей влаги подмышек, жидкостей, соков, цветения плоти, проникать в чужое существование, в красную слизистую оболочку, в душный, нежный, нежный запах существования и буду чувствовать, что я существую между мягких, увлажненных губ, губ красных от бледной крови, трепещущих губ, разверстых губ, пропитанных влагой существования, увлажненных светлым гноем, буду чувствовать, что я существую между сладких, влажных губ, слезящихся, как глаза? Мое тело из плоти, плоть живет, плоть копошится, она тихо вращает соки, кремы, эта плоть вращает, вращает мягкую сладкую влагу моей плоти, кровь моей руки, сладкая боль в моей раненой плоти, которую вращают, она идет, я иду, я спасаюсь бегством, я негодяй с израненной плотью, израненный существованием об эти стены. Мне холодно, шаг, мне холодно, другой, сворачиваю налево, он свернул налево, он мыслит, что свернул налево. Сошел с ума? Может, я сошел с ума? Он говорит, что боится сойти с ума, существование, пылинка в существовании, он останавливается, тело останавливается, он мыслит, что останавливается, откуда он явился? Что он делает? Он снова идет, ему страшно, очень страшно, негодяй, желание как мгла, желание, отвращение, он говорит, что ему противно существовать, ему противно? он устал оттого, что противно существовать. Он бежит. На что он надеется? Он бежит — убежать, броситься в воду? Он бежит, бежит, сердце бьется, бьющееся сердце — это праздник. Сердце существует, ноги существуют, дыхание существует, они существуют в беге, в дыханье, в биенье, тихонько, тихонько, я задыхаюсь, он говорит, что он задыхается; существование захватывает мои мысли сзади, тихонько развертывает их *сзади;* меня хватают сзади, сзади насильно принуждают мыслить, то есть быть чем-то, чем-то позади меня, что дышит легкими пузырьками существования, туманный пузырек желания, в зеркале он бледен, как мертвец, Рольбон умер, Антуан Рокантен не умер, хоть бы лишиться чувств — он говорит, что хотел бы лишиться чувств, он бежит, догоняет (сзади), сзади, *сзади,* на маленькую Люсьену напали сзади, существование изнасиловало ее, набросившись сзади, он просит пощады, ему стыдно просить пощады, сжальтесь, на помощь, на помощь, значит я существую, он входит в «Морской бар», маленькие зеркала маленького борделя, его бледное отражение в маленьких зеркалах маленького борделя вялый, рыжий верзила падает на банкетку, играет проигрыватель, существует, все вращается, проигрыватель существует, сердце бьется — вращайтесь, вращайтесь соки жизни, вращайтесь желе, сиропы моей плоти, сласти... проигрыватель.

When the low moon begins to beam,
Every night I dream a little dream[1].

Вдруг возникает низкий хриплый голос, и мир исчезает, мир существований исчезает. Этот голос принадлежал женщине из плоти. Надев свое самое нарядное платье, она пела перед пластинкой, и ее голос записывали. Женщина? Полноте! Она существовала тоже, как я, как Рольбон, я не хочу ее знать. Но есть это. Про это нельзя сказать: оно существует. Крутящаяся пластинка существует, воздух, пронзенный вибрирующим голосом, существует; голос, оставивший след на пластинке, существовал. Я, слушатель, существую. Все заполнено, повсюду существование, плотное, тяжелое, мягкое. Но по ту сторону всей этой мягкости, недосягаемая, совсем рядом и, увы, так далеко молодая, безжалостная и безмятежная — эта... эта четкость.

[1] Каждую ночь, когда всходит луна, я предаюсь своей заветной мечте *(англ.).*

Ничего нового. Существовал.

Среда

На бумажной скатерти солнечный круг. По кругу ползет вялая муха, она греется, потирает одну о другую передние лапки. Окажу ей услугу и раздавлю ее. Она не видит, что над ней занесен указательный палец-гигант, поблескивающий на солнце золотистыми волосками.

— Не убивайте ее, мсье,— кричит Самоучка.

Раздавлена — из ее брюха вылезают маленькие белые потроха; я избавил ее от существования.

— Я оказал ей услугу,— сухо говорю я Самоучке.

Зачем я здесь? А почему бы мне здесь не быть? Полдень, я жду, когда придет время ложиться спать. (К счастью, бессонницы у меня нет.) Через четыре дня я увижу Анни: на сегодняшний день это единственный смысл моей жизни. А дальше что? Что будет, когда Анни уедет? Я отлично знаю, что втайне надеюсь — надеюсь, что она никогда больше от меня не уедет. И однако, мне ли не знать, что Анни никогда не согласится стареть на моих глазах. Я слаб и одинок, я нуждаюсь в ней. А я хотел бы предстать перед ней во всей своей силе. К жалким слабакам Анни беспощадна.

— Что с вами, мсье? Вы плохо себя чувствуете?

Самоучка поглядывает на меня сбоку, глаза его смеются. Рот у него открыт, он прерывисто дышит, как запыхавшаяся собака. Признаюсь — в это утро я почти обрадовался, когда увидел его. Мне нужен был собеседник.

— Я так счастлив, что вы обедаете со мной,— говорит он.— Если вы озябли, можно пересесть поближе к батарее. Вон те господа сейчас уйдут, они уже попросили счет.

Кто-то заботится обо мне, спрашивает, не озяб ли я, я говорю с другим человеком — со мной этого не бывало уже много лет.

— Они уходят, хотите пересядем?

Два господина закурили сигареты. Они вышли, вот они уже на свежем воздухе, на солнце. Они проходят мимо широких окон, двумя руками придерживая шляпы. Они смеются, ветер раздувает их плащи. Нет, пересаживаться я не хочу. Зачем? К тому же сквозь стекло между белыми крышами купальных кабин я вижу море, зеленое и плотное.

Самоучка вынул из бумажника два картонных прямоугольника фиолетового цвета. Сейчас он отдаст их в кассу. На обороте одного из них я читаю:

«Фирма Боттане, домашняя кухня
Комплексный обед за 8 франков
Закуска по выбору
  Мясное блюдо с гарниром
Сыр или десерт
  20 талонов — 140 франков».

Теперь я узнал того типа, который сидит за круглым столиком у двери,— это коммивояжер, он часто останавливается в отеле «Пренания». Время от времени он устремляет на меня внимательный, улыбчивый взгляд — но меня он не видит, он слишком поглощен тем, что он ест. По другую сторону кассы двое клиентов — краснолицые и коренастые — смакуют мидий, запивая их белым вином. Тот, что пониже, с жидкими желтыми усиками, рассказывает какую-то историю, которая нравится ему самому. Он выдерживает паузы и смеется, скаля ослепительные зубы. Второй не смеется, взгляд у него же-

сткий. Но иногда он поддакивает рассказчику кивком головы. У окна худой смуглый человек с благообразным лицом и красивой отброшенной со лба назад сединой задумчиво читает газету. Кожаный портфель он положил на стул рядом. Он пьет минеральную воду Виши. Еще немного — и все эти люди выйдут из кафе на улицу; отяжелевшие от пищи, обвеваемые морским ветерком, в распахнутых плащах, с легким шумом и легким дурманом в голове, они зашагают вдоль парапета, разглядывая детей на берегу и корабли в море; они пойдут на работу. А я не пойду никуда, у меня работы нет.

Самоучка простодушно смеется, лучи солнца играют в его редких волосах.

— Не угодно ли вам сделать заказ?

Он протягивает мне меню; я имею право выбрать одну из закусок: пять кружочков колбасы, или редиску, или креветки, или порцию салата из сельдерея под острым соусом. За улитки по-бургундски надо доплачивать.

— Дайте мне колбасу,— говорю я официантке.

Самоучка выхватывает у меня карточку.

— Разве нет ничего получше? Например, улитки по-бургундски?

— Я не люблю улиток.

— А! Может, тогда устрицы?

— За них доплата четыре франка,— говорит официантка.

— Хорошо, тогда, пожалуйста, устрицы, мадемуазель, а мне редиску.— И, краснея, поясняет мне: — Я очень люблю редиску.

Я тоже.

— А что еще? — спрашивает он.

Я проглядываю список мясных блюд. Я бы не отказался от тушеной говядины. Но я заранее знаю, что мне достанется цыпленок по-охотничьи — единственное блюдо, за которое надо доплачивать.

— Цыпленок по-охотничьи для мсье, а мне тушеное мясо, мадемуазель.

Он перевертывает меню — список вин на обороте.

— Выпьем вина,— объявляет он не без торжественности в голосе.

— Ишь ты,— говорит официантка.— Гуляете сегодня? Вы же никогда не пьете.

— Стаканчик вина при случае мне только на пользу. Пожалуйста, мадемуазель, кувшин розового анжуйского.

Самоучка откладывает меню в сторону, разламывает свою порцию хлеба на мелкие кусочки и протирает салфеткой свой прибор. Потом бросает взгляд на седого человека, читающего газету.

— Обычно,— говорит он мне с улыбкой,— я прихожу сюда с книгой. Хотя врач мне это не советует: за чтением глотают слишком быстро, не разжевывая. Но у меня желудок луженый, могу переварить все что угодно. Зимой 1917 года, когда я был в плену, нас кормили так скверно, что все болели. Я, конечно, тоже как все сказался больным, но на самом деле чувствовал себя превосходно.

Он был военнопленным... И ни разу об этом не упоминал. Я не могу опомниться: я представляю его себе только в образе самоучки.

— Где вы были в плену?

Он не отвечает. Он отложил в сторону вилку и устремил на меня какой-то особенно пристальный взгляд. Сейчас он поведает мне свои неприятности: я вспомнил, что у него что-то не ладится в библиотеке. Я весь внимание: посочувствовать чужим неприятностям — ничего лучшего мне не надо, это меня отвлечет. У меня самого никаких неприятностей — я богат как рантье, начальства у меня нет, жены и детей тоже; я существую — вот моя единственная неприятность. Но это неприятность столь расплывчатая, столь метафизически отвлеченная, что я ее стыжусь.

Но, похоже, Самоучка рассказывать не собирается. Каким странным взглядом он на меня уставился: это не взгляд, которым смотрят,

чтобы увидеть, скорее это взгляд, посредством которого общаются души. Душа Самоучки поднялась до самых его прекрасных глаз слепца и выглядывает из них. Пусть и моя поступит так же, пусть и она прижмется носом к стеклу, и обе обменяются любезностями.

Нет, не хочу я общения душ, до этого я еще не докатился. Я иду на попятный. Но Самоучка, не спуская с меня взгляда, всей грудью навалился на стол. По счастью, официантка принесла ему редиску. Он снова откинулся на стул, душа скрылась из его глаз, и он послушно принялся за еду.

— Ну как, уладились ваши неприятности?

Он вздрагивает.

— Какие неприятности, мсье? — испуганно спрашивает он.

— Да как же вы не помните, на днях вы сами упомянули о них.

Он густо краснеет.

— А-а. Вот вы о чем,— сухо говорит он.— Да, в самом деле, упоминал. Это все корсиканец, мсье. Корсиканец из библиотеки.— Секунду он мнется, похожий на упершуюся овцу.— Это все сплетни, мсье, не хочу вам ими докучать.

Я не настаиваю. Ест он с неимоверной быстротой, хотя, глядя на него, этого не скажешь. Когда мне приносят устриц, он уже управился с редиской. На его тарелке остался только пучок зеленых хвостиков и щепотка влажной соли.

На улице перед выставленным в витрине меню остановилась молодая пара — меню им левой рукой протягивает повар из картона (в правой он держит сковороду). Они в нерешительности. Женщина мерзнет, она уткнула подбородок в меховой воротник. Молодой человек решается первым. Толкнув дверь, он пропускает свою спутницу вперед.

Она входит. Приветливо оглядевшись вокруг, она поеживается.

— Как здесь тепло, — говорит она грудным голосом.

Молодой человек закрывает входную дверь.

— Добрый день, — говорит он.

Самоучка оборачивается и ласково отвечает:

— Добрый день.

Остальные посетители молчат, но благообразный господин слегка опускает газету и внимательно разглядывает вошедших.

— Спасибо, не беспокойтесь.

Пока подавальщица, бросившаяся к вошедшим, чтобы помочь им снять пальто, повернулась, молодой человек успел легко сбросить с себя плащ. На нем не пиджак, а кожаная куртка на молнии. Подавальщица, слегка разочарованная, повернулась к женщине. Опередив ее и тут, он ласковыми, точными движениями помогает своей спутнице снять манто. Они садятся друг против друга рядом с нами. Похоже, они познакомились не так давно. У молодой женщины усталое лицо, чистое и слегка обиженное. Внезапно она снимает шляпу и, улыбаясь, встряхивает черными волосами.

Самоучка долго смотрит на них добродушным взглядом, потом оборачивается ко мне и растроганно подмигивает, словно хочет сказать: «Ну разве не красивая пара?»

Они не уроды. Они молчат, они счастливы, что они вдвоем, счастливы, что их видят вдвоем. Бывало, и мы с Анни, входя в какой-нибудь ресторан на Пиккадилли, чувствовали, что на нас устремлены растроганные взгляды. Анни это злило, но я, сказать правду, слегка этим гордился. И главное, удивлялся. Я никогда не был таким прилизанным и опрятным, как этот молодой человек, которому это очень идет. Однако и уродлив был не настолько, чтобы это трогало. Просто мы были молоды — а сейчас я в том возрасте, когда умиляет чужая молодость. Но я не умиляюсь. У женщины ласковые темные глаза. У молодого человека кожа оранжевого оттенка, слегка шероховатая, и очаровательный маленький волевой подбородок. Они меня трогают, это правда, но

в то же время они мне чем-то противны. Они так далеки от меня, они расслабились в тепле, они лелеют в душе общую мечту, такую сладкую, такую хилую. Им хорошо, они доверчиво смотрят на эти желтые стены, на людей, им нравится мир какой он есть, именно такой, какой есть, и каждый из них пока черпает смысл своей жизни в жизни другого. Скоро у них будет одна жизнь на двоих, медленная, тепловатая жизнь, лишенная всякого смысла — но они этого не заметят.

Видно, как они робеют друг перед другом. Наконец молодой человек неловким, решительным движением берет свою подругу за кончики пальцев. Она переводит дух, и оба склоняются над меню. Да, они счастливы. Ну, а что дальше?

Самоучка напустил на себя лукавый и немного таинственный вид.

— А я вас позавчера видел.

— Где же?

— Ха-ха, — почтительно посмеивается он.

И, выдержав небольшую паузу, поясняет:

— Вы выходили из музея.

— А-а, верно, — говорю я. — Только не позавчера, а в субботу.

Позавчера мне уж точно было не до того, чтобы разгуливать по музеям.

— Видели ли вы знаменитую деревянную копию «Покушения Орсини»?

— Нет, я ее не знаю.

— Может ли это быть? Она стоит в маленьком зале, справа от входа. Работа коммунара, который до амнистии жил в Бувиле, прячась на чердаке. Он надеялся сесть на пароход, идущий в Америку, но в здешнем порту полиция свое дело знает. Замечательный человек. В часы вынужденного досуга он вырезáл большое дубовое панно. У него не было никаких инструментов — только перочинный нож и пилочка для ногтей. Тонкую часть работы — руки, глаза — он выполнял пилочкой. Размеры панно — метр пятьдесят на метр, вырезано оно из цельного куска. В нем семьдесят персонажей — каждый величиной с мою ладонь, не считая двух лошадей, запряженных в карету императора. А их лица, мсье, лица, выточенные пилочкой,— у каждого свое выражение, как живые. Простите, мсье, но я позволю себе заметить, что это произведение стоит посмотреть.

Я не намерен ничего обещать.

— Мне просто хотелось еще раз поглядеть на некоторые холсты Бордюрена.

Самоучка внезапно грустнеет.

— Портреты, что висят в большом зале? — переспрашивает он с жалкой улыбкой.— Я ничего не понимаю в живописи, мсье. Конечно, я сознаю, что Бордюрен великий художник, что он владеет кистью. что у него — как это говорится? — наметанный глаз, но, наслаждения, мсье, эстетического наслаждения я не получаю.

— Ну вот, а я равнодушен к скульптуре, — говорю я сочувственно.

— Ах, мсье, увы, я также. И к музыке, и к балету. А ведь я не такой уж необразованный человек. Не могу понять, в чем дело: я видел молодых людей, которые не знали и половины того, что знаю я, а видно было, что, стоя перед картиной, они испытывают наслаждение.

— Наверно, притворялись, — говорю я, чтобы его утешить.

— Может быть... Меня удручает, — говорит он после недолгого раздумья, — не столько то, что я лишен известного рода удовольствия, сколько то, что целая область человеческой деятельности остается мне чуждой... Ведь я человек, а картины тоже писали люди...

— Мсье, — заявляет он вдруг изменившимся голосом, — однажды я отважился подумать, что красота — всего лишь вопрос вкуса. Разве каждая эпоха не устанавливала для нее свои каноны? Вы позволите, мсье?

Я с удивлением вижу, как он извлекает из своего кармана записную книжку в черном кожаном переплете. И начинает ее перелистывать. В книжице много чистых страниц, но изредка попадаются строчки, написанные красными чернилами. Самоучка стал бледен как мел. Положив раскрытую книжицу на стол, он прикрывает ее своей огромной ручищей. И, смущенно кашлянув, говорит:

— Иногда мне приходят на ум разные — не смею назвать их мыслями. Любопытная штука — вот я сижу, читаю, и вдруг, сам не знаю, откуда что берется, меня точно осеняет. Вначале я не обращал на это внимания, а потом решил вот обзавестись записной книжкой.

Он умолк и смотрит на меня — он ждет.

— А-а, вот оно что! — говорю я.

— Конечно, все эти изречения еще не окончательные, мсье. Мое образование пока не закончено. — Он берет книжицу дрожащими руками, он взволнован до глубины души. — Вот тут как раз насчет живописи. Я буду счастлив, если вы позволите мне прочесть.

— С удовольствием, — говорю я.

Он читает:

«Никто уже больше не верит в то, что считал истиной XVIII век. Почему же мы должны по-прежнему получать удовольствие от произведений, которые он находил красивыми?»

Он смотрит на меня умоляющим взглядом.

— Как вы находите, мсье? Может, это несколько парадоксально? Но я полагал, что могу придать своей мысли форму остроты.

— Что ж... по-моему, это очень интересно.

— Вы встречали уже где-нибудь эту мысль?

— Да нет, конечно, нет.

— В самом деле? Совсем нигде не встречали? Стало быть, мсье,— говорит он, помрачнев, — это мысль неверная. Будь она верной, она уже пришла бы кому-нибудь в голову.

— Постойте, — говорю я, — пожалуй, я припоминаю, что где-то читал нечто подобное.

Глаза его сверкнули, он вынимает карандаш.

— У какого автора? — деловито спрашивает он.

— У... У Ренана.

Он на седьмом небе.

— Будьте любезны, укажите мне точно, где это сказано,— говорит он, послюнявив кончик карандаша.

— Я уже не помню — читал слишком давно.

— А! Ну ничего, ничего.

Он записывает в книжицу под своим изречением имя Ренана.

— Стало быть, мое мнение совпадает с мнением Ренана. Я пока записал имя карандашом,— ликуя объясняет он,— но вечером обведу его красными чернилами.

С минуту он в упоении созерцает свою книжицу, и я жду, что мне придется выслушать другие его сентенции. Но он бережно закрывает книжицу и прячет ее в карман. Без сомнения, он считает, что на один раз счастья и так вполне довольно.

— Как приятно,— доверительным тоном сообщает он,— поговорить иногда вот так по душам.

Этот булыжник, как и следовало ожидать, окончательно прихлопнул нашу хиреющую беседу. Наступает долгое молчание.

С тех пор как в ресторане появилась молодая пара, атмосфера в нем изменилась. Двое красноречивых молодцов замолчали; они бесцеремонно разглядывают прелести молодой женщины. Благообразный господин отложил газету и глядит на молодую чету снисходительным, даже сообщническим взглядом. Он думает о том, что старость мудра, а юность прекрасна, и не без кокетства покачивает головой: он прекрасно знает, что все еще хорош собой, что он прекрасно сохранился и при его смуглой коже и стройной фигуре все еще способен пленять.

Ему нравится играть роль отца. Чувства официантки более просты — она замерла перед молодыми людьми и таращится на них, разинув рот.

А они разговаривают вполголоса. Им подали закуску, но они не прикасаются к ней. Напрягши слух, я улавливаю обрывки их разговора. Мне лучше слышно, что говорит женщина своим приглушенным грудным голосом:

— Нет, Жан, нет.

— Почему нет? — с пылким нетерпением шепчет молодой человек.

— Я вам уже говорила.

— Это не причина.

Несколько слов я пропустил, потом молодая женщина делает очаровательный усталый жест.

— Я слишком много раз пыталась. Я уже не в том возрасте, когда можно начать жизнь сначала. Поймите, я уже старуха.

Молодой человек иронически смеется.

— Я не смогла бы, — продолжает она — перенести... разочарование.

— Надо верить, — убеждает молодой человек. — Ведь вы сейчас не живете.

— Знаю, — вздыхает она.

— Посмотрите на Жанетту.

— О, да,— она корчит гримаску.

— А по-моему, она поступила прекрасно. Она проявила мужество.

— А я считаю, — говорит молодая женщина, — что она просто решила не упускать случая. По правде сказать, если бы я хотела, мне такие случаи представлялись сотни раз. Но я предпочла ждать.

— И правильно сделали, — нежно говорит он, — правильно сделали, что дождались меня.

Теперь смеется она:

— Какая самоуверенность! Этого я вовсе не говорила.

Дальше я не слушаю — они меня раздражают. Они будут спать вместе. Они это знают. Каждый из них знает, что другой это знает. Но поскольку они молоды, целомудренны и благопристойны, поскольку каждый из них хочет сохранить самоуважение и уважение партнера, поскольку любовь — это нечто великое и поэтическое и ее нельзя спугнуть, они несколько раз в неделю ходят на танцы и в рестораны выделывать на глазах у публики свои маленькие ритуальные, механические па...

К тому же надо как-то убивать время. Они молоды, хорошо сложены, им еще лет на тридцать этого хватит. Вот они и не торопят события, они оттягивают их, и они правы. После того как они переспят друг с другом, им придется найти что-нибудь другое, чтобы замаскировать чудовищную бессмыслицу своего существования. И однако... так ли уж необходимо себя морочить?

Я окидываю взглядом зал. Ну и фарс! Все эти люди с самым серьезным видом восседают на своих местах и едят. Да нет, не едят — они подкрепляют свои силы, чтобы успешно выполнять лежащие на них обязанности. У каждого из них свой конек, и это не дает им почувствовать, что они существуют; нет среди них ни одного, кто не считал бы, что без него не может обойтись кто-то или что-то. Разве не сказал однажды Самоучка: «Никто не мог бы с большим успехом, чем Нусапье, предпринять такой обобщающий труд». Каждый из них занят каким-то крохотным делом, которое никто не мог бы делать успешнее. Никто не может успешнее вон того коммивояжера распродать зубную пасту «Сван». Никто не может успешнее этого интересного молодого человека шарить под юбкой своей соседки. Я тоже один из них, и, глядя на меня, они, должно быть, думают, что никто успешнее меня не

сделает то, что я делаю. Но я-то *знаю*. Я держусь как ни в чем не бывало, но я знаю, что существую и что они существуют. И если бы я владел искусством убеждать, я подсел бы к этому седовласому красавцу и объяснил бы ему, что такое существование. Представив, какое у него сделалось бы при этом лицо, я разражаюсь хохотом. Самоучка смотрит на меня с удивлением. Я хотел бы перестать смеяться, но не могу — я хохочу до слез.

— Вам весело, мсье, — осторожно замечает Самоучка.

— Просто,— говорю я ему смеясь,— я думаю, что все мы, какие мы ни на есть, едим и пьем, чтобы сохранить свое драгоценное существование, а между тем в существовании нет никакого, ну ни малейшего смысла.

Самоучка посерьезнел, он тщится меня понять. Я смеялся слишком громко — многие обернулись в мою сторону. К тому же я жалею, что наговорил лишнего. В конечном счете это никого не касается.

Самоучка медленно повторяет:

— В существовании нет никакого смысла... Вы, конечно, хотите сказать, мсье, что жизнь не имеет цели? Кажется, это и называют пессимизмом, не так ли? — Подумав немного, он мягко добавляет:— Несколько лет назад я читал книгу одного американского автора, она называлась: «Стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить?» Не правда ли, вы задаете себе именно этот вопрос?

Ясное дело, нет, я задаю себе совершенно другой вопрос. Но я не собираюсь пускаться в объяснения.

— Автор в своих выводах склоняется к сознательному оптимизму,— тоном утешителя говорит Самоучка.— Жизнь приобретает смысл, если мы сами придаем его ей. Сначала надо начать действовать, за что-нибудь взяться. А когда потом станешь размышлять, отступать поздно — ты уже занят делом. А вы что думаете на этот счет, мсье?

— Ничего, — отвечаю я.

Вернее, я думаю, что это и есть та самая ложь, которой себя постоянно тешат коммивояжер, молодая чета и седовласый господин.

Самоучка улыбается чуть плутовато и весьма торжественно.

— Вот и я вовсе так не считаю. Я думаю: в поисках смысла жизни незачем ходить так далеко.

— Вот как?

— Цель у жизни есть, мсье, цель есть... есть люди.

Верно, я совсем забыл, что он гуманист. Он помолчал — ровно столько времени, сколько ему понадобилось, чтобы тщательно и неумолимо расправиться с половиной порции тушеного мяса и большим ломтем хлеба. «Есть люди...» Ну что ж, этот слюнтяй нарисовал свой исчерпывающий автопортрет, только он не умеет выразить свою мысль словами. Спору нет, в его глазах душа, она так и льется через край, — да только одной души тут мало. Было время, я встречался с гуманистами-парижанами, они тоже сотни раз твердили мне: «Есть люди», но то был совсем другой коленкор! В особенности неподражаем был Виргап. Он снимал очки, словно обнажая себя в своей человеческой плоти, впивался в меня своими трогательными глазами, своим тяжелым, усталым взглядом, казалось, раздевая им меня, чтобы выявить мою человеческую сущность, и потом мелодично шептал: «Есть люди, старина, есть люди», придавая этому «есть» какую-то неуклюжую мощь, словно его любовь к людям, вечно обновляясь и дивясь, путается в своих могучих крыльях.

Мимика Самоучки еще не так отработана, его любовь к людям наивна и первозданна — это гуманист-провинциал.

— Люди,— говорю я ему,— люди... Не похоже, однако, что вы ими особенно интересуетесь. Вы всегда один, всегда сидите уткнувшись в книгу.

Самоучка хлопает в ладоши и проказливо хихикает.

— Вы ошибаетесь. Ах, мсье, позвольте вам сказать: вы ошибаетесь, и еще как!

Сосредоточившись на мгновение, он деликатно приканчивает мясо. Лицо его сияет, как заря. За его спиной молодая женщина тихонько рассмеялась. Ее спутник наклонился к ней и что-то зашептал ей на ухо.

— Ваше заблуждение вполне естественно,— говорит Самоучка.— Я уже давно должен был вам сказать... Но я так застенчив, мсье... я ждал подходящего случая.

— Лучшего случая не представится,— вежливо говорю я.

— Я тоже так думаю, мсье. Я тоже! То, что я вам сейчас скажу...— Он умолкает, покраснев.— Но может, я вам надоел?

Я его успокаиваю. Он обрадованно переводит дух.

— Не каждый день, мсье, встречаются такие люди, как вы, соединяющие широту взглядов с проницательным умом. Вот уже несколько месяцев я хотел поговорить с вами, рассказать вам, кем я был и кем стал...

Его тарелка пуста и вылизана так, словно ее ему только что принесли. Рядом со своей я вдруг обнаруживаю оловянное блюдо с коричневой подливкой, в которой плавает куриная нога. Это мне предстоит съесть.

— Я только что говорил вам о том, что оказался в плену в Германии. Там все и началось. До войны я был одинок, но этого не сознавал. Я жил с родителями, славными людьми, но мы не понимали друг друга. Когда я думаю об этих годах... Как я мог так жить? Я был мертвецом, мсье, и не подозревал об этом. Я собирал марки.— Взглянув на меня, он прерывает свой рассказ.— Вы побледнели, мсье. У вас усталый вид. Может быть, вам со мной скучно?

— Мне с вами очень интересно.

— Началась война, я записался добровольцем, сам не зная почему. Два года я не мог этого понять, ведь на фронте остается мало времени для размышлений, и к тому же солдаты были слишком грубы. В конце 1917 года я попал в плен. Потом мне рассказывали, что в плену многие солдаты вновь обрели детскую веру. Я, мсье,— потупив глаза, говорит Самоучка,— в Бога не верю. Его существование опровергнуто Наукой. Но в концентрационном лагере я научился верить в людей.

— Они мужественно переносили свою участь?

— Да,— неопределенно соглашается он.— И это тоже. Впрочем, с нами хорошо обращались. Но я имел в виду другое. В последние месяцы войны работать нас заставляли редко. Когда шел дождь, нас загоняли в большой дощатый сарай, и мы, почти две сотни человек, стояли там впритирку друг к другу. Дверь запирали, и нас, стиснутых со всех сторон, оставляли почти в полной темноте.— Он помялся.— Не знаю, сумею ли я вам объяснить, мсье. Все эти люди находились рядом с тобой, ты их едва различал, но чувствовал, как они сжимают тебя, слышал, как они дышат... Как-то раз — нас еще только начали запирать в этот сарай — теснота в нем была такая, что я чуть не задохнулся, и вдруг меня захлестнула неимоверная радость, я едва не упал в обморок — я почувствовал, что люблю этих людей, как братьев, я хотел их всех обнять. С тех пор каждый раз, оказавшись в этом сарае, я испытывал такую же радость.

Надо съесть моего цыпленка, он, наверно, совсем остыл. Самоучка давно управился со своим мясом, и официантка ждет, чтобы сменить тарелки.

— Этот сарай стал в моих глазах святилищем. Несколько раз мне удавалось обмануть бдительность часовых, я пробирался туда совершенно один и там, в темноте, вспоминая пережитые мной в этом сарае радости, впадал прямо-таки в экстаз. Часы шли, я их не замечал. Случалось, я даже рыдал.

Должно быть, я болен. Иначе невозможно объяснить охватившую меня вдруг неистовую ярость. Да-да, ярость больного: руки у меня стали трястись, кровь прихлынула к лицу, и в довершение всего задрожали еще и губы. И все только потому, что цыпленок оказался холодным. Впрочем, я и сам оставался холодным, и это было самым мучительным; я хочу сказать, что внутри я оставался таким, каким был последние полтора суток,— совершенно холодным, оледенелым. Гнев вихрем пронесся по мне, похожий на озноб, на ответную реакцию сознания, пытающегося побороть это понижение температуры. Пустая попытка — конечно, я мог бы, придравшись к какому-нибудь пустяку, накинуться с кулаками на Самоучку или официантку, осыпав их бранью. Но при этом я не весь бы участвовал в игре. Моя ярость бушевала на поверхности, да и оказалась мимолетной, у меня было мучительное ощущение, что я — охваченная пламенем глыба льда, этакий омлет-сюрприз. Поверхностная буря улеглась, и я услышал голос Самоучки:

— Каждое воскресенье я ходил к мессе. Я никогда не верил в Бога, мсье. Но разве нельзя сказать, что истинное таинство мессы состоит в причащении людей друг другу. Службу отправлял войсковой священник-француз, которому отняли руку. У нас была фисгармония. Мы слушали стоя, обнажив головы, и, упиваясь звуками фисгармонии, я чувствовал, что составляю единое целое с окружающими меня людьми. Ах, мсье, как я любил эти мессы. И сейчас еще в память о них я иногда по утрам в воскресенье хожу в церковь. В нашей Святой Цецилии замечательный органист.

— Вы, должно быть, часто сожалели о той жизни?

— Да, мсье. В 1919 году. В тот год меня освободили из плена. Я провел мучительные месяцы. Я не знал, чем заняться, я чахнул. Всюду, где я видел сборище людей, я старался затесаться в толпу. Мне случалось,— добавляет он с улыбкой,— присоединяться к незнакомой похоронной процессии. Однажды в припадке отчаяния я сжег мою коллекцию марок... Но я нашел свой путь.

— В самом деле?

— Один человек посоветовал мне... Мсье, я знаю, что могу рассчитывать на ваше молчание. Я... быть может, вы не разделяете таких убеждений, но вы человек настолько широких взглядов... я — социалист.

Он потупил глаза, его длинные ресницы затрепетали.

— С сентября 1921 года я записался в социалистическую партию СФИО. Вот это я и хотел вам сказать.

Он сияет от гордости. Он смотрит на меня, запрокинув голову, полузакрыв глаза, приоткрыв рот, мученик, да и только.

— Ну и хорошо,— говорю я.— Ну и прекрасно.

— Я знал, что вы меня одобрите, мсье. Да и как можно осудить того, кто говорит вам: я распорядился своей жизнью так-то и так-то и теперь совершенно счастлив?

Он раскинул руки в стороны, обратив ко мне ладони пальцами книзу, словно на них вот-вот появятся стигматы. У него остекленелые глаза и во рту шевелится темно-розовая масса.

— Вот как! — говорю я.— Ну, раз вы счастливы...

— Счастлив? — Взгляд его тяготит меня, он поднял веки и уставился на меня в упор.— Судите сами, мсье. Прежде чем принять это решение, я чувствовал такое отчаянное одиночество, что хотел было покончить с собой. Удержала меня мысль, что моя смерть не опечалит никого, никого на свете и в смерти я окажусь еще более одиноким, чем в жизни.

Он выпрямляется, щеки у него надулись.

— А теперь, мсье, я больше не одинок.

— Вот как! У вас много знакомых? — спрашиваю я.

Он улыбается, и мне тотчас становится ясно, сколь я наивен.

— Я имею в виду, что я больше не чувствую себя одиноким. Но само собой, мсье, для этого нет необходимости с кем-то встречаться.

— И все же,— говорю я,— в вашей партийной ячейке...

— О! В ней я знаю всех. Правда, большинство только по имени. Мсье,— говорит он шаловливо,— разве в выборе друзей обязательно стеснять себя такими узкими рамками? Мои друзья — все человечество. Когда утром я иду на службу, в свою контору, впереди меня, позади меня другие люди тоже спешат на службу. Я их вижу, будь я посмелее, я бы им улыбался, я думаю о том, что я социалист, что все они — цель моей жизни, моих усилий, но пока еще они этого не знают. Для меня это праздник, мсье.

Он вопрошает меня взглядом, я одобряю его кивком, но чувствую, что он слегка разочарован, ему хотелось бы побольше энтузиазма. Что я могу поделать? Чем я виноват, если во всем, что он говорит, я мимоходом узнаю заемные мысли, цитаты? Если, пока он разглагольствует, передо мной вереницей проходят все гуманисты, каких я знавал. Увы, я знавал их такое множество! Гуманист радикального толка — это в первую очередь друг чиновников. Главная забота так называемого «левого» гуманиста — сохранить человеческие ценности; он не состоит ни в какой партии, потому что не хочет изменять общечеловеческому, но его симпатии отданы обездоленным; служению обездоленным посвящает он свою блестящую классическую культуру. Как правило, это вдовец с красивыми глазами, всегда увлажненными слезой,— на всех юбилеях он плачет. Он любит кошек, собак, всех высших млекопитающих. Писатель-коммунист любит людей со времени второго пятилетнего плана. Он карает их, потому что их любит. Стыдливый, как это свойственно сильным натурам, он умеет скрывать свои чувства, но за неумолимым приговором поборника справедливости умеет взглядом, интонацией дать почувствовать свою страстную, терпкую и нежную любовь к собратьям. Гуманист-католик, последыш, младший в семье гуманистов, о людях говорит зачарованно. Любая самая скромная жизнь, говорит он, жизнь лондонского докера или работницы сапожной фабрики — это волшебная сказка! Он избрал ангельский гуманизм, в назидание ангелам он и пишет длинные романы, печальные и красивые, которые часто удостаиваются премии «Фемина».

Это все актеры на первых ролях. Но есть другие, тьма других: философ-гуманист, который склоняется над своими братьями как старший и чувствует меру своей ответственности; гуманист, который любит людей такими, какие они есть, и гуманист, который их любит такими, какими они должны быть; тот, кто хочет их спасти, заручившись их согласием, и тот, кто спасет их против их воли; тот, кто желает создать новые мифы, и тот, кто довольствуется старыми; тот, кто любит в человеке его смерть, и тот, кто любит в нем его жизнь; гуманист-весельчак, который всегда найдет случай посмеяться, и мрачный гуманист, которого чаще всего можно встретить на похоронах. Все они ненавидят друг друга — само собой, не как людей, а как отдельную личность. Но Самоучка этого не знает: он их всех свалил в одну кучу, запихав, как котов, в общий кожаный мешок,— они там когтят друг друга в кровь, но он ничего не замечает.

Он смотрит на меня уже без прежней доверчивости.

— Вы не разделяете моих чувств, мсье?

— Боже мой...

Видя, что он встревожен, даже слегка раздосадован, я на какую-то долю секунды пожалел было, что его разочаровал. Но он любезно продолжает:

— Я знаю — вы заняты своими исследованиями, своими книгами, на свой лад вы служите тому же делу.

Мои книги, мои исследования, болван! Худшей оплошности он совершить не мог.

— Я пишу не ради этого.

Лицо Самоучки мгновенно меняется: можно подумать, он учуял врага, такого выражения я у него еще не видел. Что-то между нами убито.

— Но... если вы не сочтете мой вопрос нескромным, нельзя ли узнать, для чего вы пишете, мсье? — спрашивает он с притворным удивлением.

— Гм... не знаю, просто так, чтобы писать.

Я дал ему повод улыбнуться; он полагает, что смутил меня.

— Неужели вы стали бы писать на необитаемом острове? Разве люди пишут не для того, чтобы их прочли?

Он просто по привычке облек фразу в вопросительную форму. На самом деле она утвердительна. Мягкость и робость, покрывавшие его точно лак, сразу облупились, я его больше не узнаю. В чертах появилось тяжеловесное упрямство — это твердыня самодовольства. Еще не оправившись от изумления, я слышу, как он говорит:

— Пусть мне скажут: я пишу для определенного социального круга, я пишу для своих друзей. Это я могу понять. Может быть, вы пишете для потомства... Но так или иначе, мсье, вопреки самому себе вы пишете для кого-то.— Он ждет ответа. И так как ответа нет, слабо улыбается.— Быть может, вы мизантроп?

Я знаю, что кроется за этой лицемерной попыткой примирения. В общем-то, он требует от меня самой малости — всего только согласиться навесить на себя ярлык. Но это ловушка: если я соглашусь, Самоучка восторжествует; меня тут же переиначат, обработают, обойдут, ибо гуманизм подхватывает и переплавляет в единый сплав все возможные точки зрения. Спорить с гуманизмом впрямую — значит играть ему на руку; он живет за счет своих противников. Есть племя упрямых, ограниченных людей, настоящих разбойников, которые всякий раз ему проигрывают — любую их крайность, самое злобное неистовство гуманизм переварит, превратив в белую, пенистую лимфу. Он переварил уже антиинтеллектуализм, манихейство, мистицизм, пессимизм, анархизм, эготизм: все они превратились в различные этапы развития мысли, в ее незавершенные формы, все оправдание которых только в нем, в гуманизме. В этой теплой компании найдется место и для мизантропов; мизантропия — это не что иное, как диссонанс, необходимый для общей гармонии. Мизантроп — это человек, и, стало быть, гуманист в какой-то мере должен быть мизантропом. Но это мизантроп по науке, он умеет дозировать свою ненависть, он для того сначала и ненавидит человека, чтобы потом легче было его возлюбить.

Но я не хочу, чтобы меня превращали в эту составную, не хочу, чтобы на моей прекрасной алой крови жирело это лимфатическое чудовище: я не совершу глупости и не стану рекомендоваться «антигуманистом». Я просто *не* гуманист, только и всего.

— На мой взгляд,— говорю я Самоучке,— людей так же невозможно ненавидеть, как невозможно их любить.

Самоучка смотрит на меня отдаленным, покровительственным взглядом. И шепчет, словно не отдавая себе в этом отчета: — Их надо любить, их надо любить...

— Кого надо любить? Тех людей, что сидят здесь?

— И этих тоже. Всех.

Он оборачивается к сияющей молодостью парочке — вот кого надо любить. Потом созерцает седовласого господина. Потом переводит взгляд на меня, на его лице я читаю немой вопрос. Я отрицательно мотаю головой: «Нет». Он смотрит на меня с сожалением.

— Да и вы сами,— раздраженно говорю я,— вы сами тоже их не любите.

— В самом деле, мсье? Может быть, вы разрешите мне с вами не согласиться?

Он опять стал почтителен до кончиков ногтей. Но взгляд его полон иронии, как будто его насмешили — дальше некуда. Он меня ненавидит. Зря я расчувствовался в отношении этого маньяка.

— Стало быть, вы любите вот этих двух молодых людей, которые сидят за вашей спиной? — в свой черед спрашиваю я.

Он снова смотрит на них, раздумывает.

— Вы хотите,— с недоверием начинает он,— заставить меня сказать, что я их люблю, хотя совсем их не знаю. Да, мсье, признаюсь, я их не знаю... Если только сама любовь и не есть истинное знание,— добавляет он, самодовольно смеясь.

— Что же вы тогда любите?

— Я вижу, что они молоды, и люблю в них молодость. В числе всего прочего.— Он замолкает и прислушивается.— Вы слышите, о чем они говорят?

Слышу ли я! Молодой человек, ободренный благосклонностью окружающих, в полный голос рассказывает о футбольном матче, который его команда в прошлом году выиграла у клуба из Гавра.

— Он рассказывает ей какую-то историю,— говорю я Самоучке.

— Вот как! Мне не удается разобрать слова. Но я слышу голоса — нежный голос, громкий голос, они чередуются. Это... это так славно.

— А вот я, к несчастью, еще слышу, о чем они говорят.

— Ну и что?

— А то, что они играют комедию.

— В самом деле? Быть может, комедию молодости? — с иронией вопрошает он.— Позвольте мне, мсье, считать ее очень благотворной. Но разве достаточно получить в ней роль, чтобы снова оказаться в их возрасте?

Я глух к его иронии.

— Вы сидите к ним спиной,— продолжаю я,— вы не слышите, о чем они говорят... Ну, а какого цвета волосы у молодой женщины?

Он смущен.

— Волосы, гм...— Украдкой оглянувшись на молодых людей, он снова обретает уверенность.— Черные.

— Вот видите!

— Что именно?

— А то, что вы их вовсе не любите, этих двоих. Вряд ли вы узнаете их на улице. Для вас они всего только символы. Вас умиляют не они, вас умиляет Человеческая Молодость, Любовь Мужчины и Женщины, Человеческий Голос.

— Ну и что? Разве всего этого не существует?

— Конечно нет! Не существует ни Юности, ни Зрелости, ни Старости, ни Смерти...

Лицо Самоучки, желтое и жесткое, как айва, перекосилось в осуждающей гримасе. Но я гну свое.

— Взять, к примеру, старика за вашей спиной, вон того, который пьет воду Виши. Полагаю, вы любите в нем Человека в зрелых годах. Человека в зрелых годах, который мужественно идет к закату дней и следит за собой, потому что не хочет опускаться?

— Совершенно верно,— говорит он с вызовом.

— И вы не видите, что это подонок?

Он смеется, он считает меня сумасбродом, он мельком оглядывается на красивое лицо в рамке седых волос.

— Допустим, мсье, что он производит такое впечатление. Но как вы можете судить о человеке по его лицу? Лицо человека, когда он расслабился ни о чем не говорит.

Слепцы гуманисты! Это лицо говорит *так много*, так внятно — но смысл лица никогда не доходит до их нежной абстрактной души.

— Как вы можете,— продолжает Самоучка,— *обездвижить* человека и сказать о нем: он *являет собой* то-то и то-то? Кому под силу

исчерпать человека? Кому под силу познать все его душевные богатства?

Исчерпать человека! Походя снимаю шляпу перед католическим гуманизмом, у которого Самоучка, сам того не ведая, позаимствовал эту формулировку.

— Я знаю,— говорю я.— Знаю, что все люди достойны восхищения. Вы достойны восхищения. Я достоин восхищения. Само собой, в качестве созданий Божьих.

Он смотрит на меня не понимая.

— Вы, конечно, шутите, мсье,— говорит он немного погодя, криво усмехаясь.— Но люди и в самом деле достойны восхищения. Трудно, мсье, очень трудно быть человеком.

Сам того не замечая, он удалился от любви к ближнему во Христе. Он качает головой и в силу удивительного закона мимикрии становится похожим на беднягу Геенно.

— Извините,— говорю я,— но в таком случае я не вполне уверен, что я человек: я никогда не замечал, что быть человеком так уж трудно. Мне казалось: живешь себе и живи.

Самоучка от души смеется, но глаза у него остаются недобрыми.

— Вы слишком скромны, мсье. Чтобы вынести свой удел — удел человеческий, вам, как и всем остальным, нужен большой запас мужества. Любая из грядущих минут, мсье, может стать минутой вашей смерти, и, зная это, вы способны улыбаться. Ну разве это не достойно восхищения? В самом ничтожном вашем поступке,— язвительно добавляет он,— заложен неслыханный героизм.

— А на десерт что будете, мсье? — спрашивает официантка.

Самоучка бледен как мел, веки над окаменевшими глазами полуопущены. Он слабо взмахивает рукой, как бы приглашая меня выбрать.

— Сыр,— решаюсь я, призвав на помощь весь свой героизм.

— А мсье?

Его передергивает.

— Что? Ах да — мне ничего, я кончил.

— Луиза!

Два толстяка расплачиваются и уходят. Один из них прихрамывает. Хозяин провожает их до дверей: это важные клиенты — им подали бутылку вина в ведерке со льдом.

Я смотрю на Самоучку не без угрызения: целую неделю он вожделенно предвкушал этот обед, за которым он поделится с другим своей любовью к людям. Ему так редко случается поговорить. И вот нате вам — я испортил ему удовольствие. По сути он так же одинок, как я,— никому нет до него дела. Хотя он не отдает себе отчета в своем одиночестве. Ну что ж, не мне открывать ему глаза. Мне не по себе — я злюсь, это верно, но не на него, а на Виргана и иже с ним, на всех тех, кто отравил эти жалкие мозги. Будь они сейчас передо мной, у меня нашлось бы, что им сказать. А Самоучке я не скажу ничего. К нему я испытываю только симпатию — он вроде мсье Ахилла, из нашего брата, он предает по неведению, из добрых побуждений!

Смех Самоучки выводит меня из моего мрачного раздумья.

— Простите, но когда я думаю о глубине моей любви к людям, о том, какие мощные порывы влекут меня к ним, а потом вижу, как мы двое сидим тут, рассуждаем, доказываем... меня разбирает смех.

Я молчу, я принужденно улыбаюсь. Официантка приносит мне на тарелке ломтик похожего на мел камамбера. Я оглядываю зал, и меня вдруг охватывает неописуемая гадливость. Что я тут делаю? Чего ради ввязался в спор о гуманизме? Зачем эти люди здесь? Зачем едят? Правда, они не знают, что они существуют. Мне хочется уйти, убраться туда, где я в самом деле окажусь *на своем месте,* на месте, где я придусь как раз кстати... Но такого места нет нигде, я лишний.

Самоучка смягчается. Он опасался с моей стороны более упорного сопротивления. Он готов предать забвению все, что я наговорил.

— В глубине души вы их любите, мсье,— заявляет он, доверительно склонившись ко мне,— вы любите их, так же как я. Мы расходимся только в словах.

Говорить я больше не в состоянии, я наклоняю голову. Лицо Самоучки приблизилось вплотную к моему. Он самодовольно улыбается у самого моего лица, как бывает в кошмарном сне. Я через силу пережевываю кусок хлеба, не решаясь его проглотить. Люди. Людей надо любить. Люди достойны восхищения. Сейчас меня вывернет наизнанку, и вдруг — вот она — Тошнота.

Тяжелый приступ — меня всего трясет. Уже целый час я чувствовал ее приближение, только не хотел себе в этом признаться. Этот вкус сыра во рту... Самоучка что-то лепечет, его голос вяло жужжит в моих ушах. Но я уже не слышу, что он говорит. Я киваю, как автомат. Моя рука сжимает ручку десертного ножа. Я *чувствую* черную деревянную ручку. Ее держит моя рука. Моя рука. Лично я предпочел бы не трогать ножа: чего ради вечно к чему-нибудь прикасаться? Вещи созданы не для того, чтобы их трогали. Надо стараться проскальзывать между ними, по возможности их не задевая. Иногда возьмешь какую-нибудь из них в руки — и как можно скорее спешишь от нее отделаться. Нож падает на тарелку. При этом звуке седовласый господин вздрагивает и смотрит на меня. Я снова беру нож, прижимаю лезвие к столу, сгибаю его.

Так вот что такое Тошнота, значит, она и есть эта бьющая в глаза очевидность? А я-то ломал себе голову! И писал о ней невесть что! Теперь я знаю: я существую, мир существует, и я знаю, что мир существует. Вот и все. Но мне это безразлично. Странно, что все мне настолько безразлично, меня это пугает. А пошло это с того злополучного дня, когда я хотел бросить в воду гальку. Я уже собрался швырнуть камень, поглядел на него, и тут-то все и началось: я почувствовал, что он существует. После этого Тошнота повторилась еще несколько раз: время от времени предметы начинают существовать в твоей руке. Приступ был в «Приюте путейцев», а до этого, когда однажды ночью я смотрел в окно, а потом еще в воскресенье в городском парке и еще несколько раз. Но таким жестоким, как сегодня, он не был ни разу.

— ...Древнего Рима, мсье?

Кажется, Самоучка о чем-то спрашивает. Я оборачиваюсь к нему и улыбаюсь. В чем дело? Что с ним такое? Отчего он съежился на своем стуле? Значит, меня уже стали бояться? Этим должно было кончиться. Впрочем, мне все безразлично. Кстати, они боятся меня не совсем зря: я могу натворить что угодно. Например, всадить этот фруктовый ножик в глаз Самоучки. После этого сидящие вокруг люди кинутся меня топтать, выбьют мне зубы своими ботинками. Но удерживает меня не это: вкус крови во рту вместо вкуса сыра — разницы никакой. Но надо сделать движение, надо вызвать к жизни ненужное событие — ведь и крик, который вырвется у Самоучки, и кровь, которая потечет по его лицу, и то, что эти люди сорвутся со своих мест,— все лишнее, и без того хватает вещей, которые существуют.

Окружающие уставились на меня; два полномочных представителя молодости прервали свое нежное воркованье. Открытый рот женщины напоминает куриный зад. Между тем могли бы понять, что никакой опасности я не представляю.

Я встаю, вокруг меня все ходит ходуном. Самоучка впился в меня своими огромными глазами, которые я не выколю.

— Вы уже уходите? — бормочет он.

— Я немного устал. Спасибо за угощение. До свидания.

Тут я замечаю, что в левой руке по-прежнему держу десертный ножик. Бросаю его на тарелку, тарелка звякнула. В гробовой тишине прохожу по залу. Они перестали есть, они уставились на меня, аппетит у них пропал. Если подойти к молодой женщине и сказать «ух!», она наверняка завопит... Но не стоит труда.

И все же перед уходом я оборачиваюсь к ним лицом, чтобы оно врезалось в их память.

— До свидания, дамы и господа.

Они не отвечают, я ухожу. Теперь на их лица вернется румянец, и они заработают языками.

Не знаю, куда пойти. Я застыл рядом с поваром из картона. Мне нет нужды оборачиваться, чтобы увериться в том, что они смотрят на меня сквозь стекло — смотрят на мою спину с удивлением и отвращением; они-то думали, что я такой, как они, что я человек, а я их обманул. Я вдруг потерял свой человечий облик, и они увидели краба, который, пятясь, удирал из этого слишком человечьего зала. Теперь разоблаченный самозванец спасся бегством — представление продолжается. Я чувствую спиной мельтешенье испуганных взглядов и мыслей, и меня это раздражает. Перехожу на другую сторону улицы. Этот тротуар тянется вдоль пляжа и купальных кабин.

По берегу прогуливаются люди, их много, они обратили к морю весенние, поэтические лица: это из-за солнца, у них праздник. Вот женщины в светлой одежде, в прошлогодних весенних нарядах — удлиненные белые фигуры похожи на лайковые перчатки; вот мальчишки, они идут в лицей, в коммерческую школу; вот старики с орденскими ленточками. Они не знакомы друг с другом, но смотрят друг на друга как сообщники, поскольку погода так хороша и все они люди. В дни объявления войны незнакомые люди обнимаются друг с другом, с наступлением очередной весны они расточают друг другу улыбки. Медленными шагами приближается священник, погруженный в чтение молитвенника. Время от времени он поднимает голову и одобрительно смотрит на море: море — ведь тоже молитвенник, оно свидетельствует о Боге. Легкие краски, легкие ароматы, весенние души. «Погода прекрасная, море зеленое, по мне, такой вот сухой холодок куда приятней, чем сырость». Поэты! А попробуй взять одного из них за отвороты пальто и сказать ему: «Помоги мне!» — он подумает: «Это что еще за краб?» и удерет, оставив свое пальто в моих руках.

Я поворачиваюсь к ним спиной, опершись обеими руками о парапет. *На самом деле* море — холодное, черное, оно кишит животными; оно извивается под тоненькой зеленой пленкой, созданной, чтобы обманывать людей. Окружающие меня сильфы попались на эту удочку — они видят только эту пленку, она-то и доказывает существование Бога! Но я вижу изнанку! Лакировка тает: восхитительная, бархатистая, как у персика, кожица, кожица доброго боженьки, везде и всюду с треском лопается под моим взглядом, трескается и зияет. Вот трамвай, идущий из Сент-Элемира, я поворачиваюсь кругом, и вместе со мной поворачиваются вещи, бледные и зеленые, как устрицы. Зря, совершенно зря я вскочил в трамвай, поскольку ехать мне никуда не хочется.

За окнами трамвая рывками мелькают голубоватые предметы, одеревенелые, ломкие. Люди, стены; какой-то дом, распахнув свои окна, показывает мне свое черное нутро; от трамвайного стекла черное обесцвечивается, голубеет: голубеет громадное здание из желтого кирпича, оно приближается, покачиваясь, вздрагивая, и вдруг останавливается, зарывшись носом в землю. Какой-то господин входит и садится напротив меня. Желтое здание снова пускается в путь, оно вдруг оказалось в двух шагах от трамвайного окна, оно так близко, что теперь видна только небольшая его часть, оно потемнело. Стекла дрожат. Здание растет, давит своей громадой, уходящей так высоко,

что ее не видно, сотни распахнутых окон обнажили свое черное нутро; здание скользит мимо ящика вагона, почти задевая его: между дрожащими стеклами стало темно. Здание тянется без конца, желтое, как грязь, а стекла небесно-голубые. И вдруг здание исчезло, осталось позади, ящик заполнился живым серым светом, свет расползается вширь с неумолимой правотой — это небо; сквозь стекла видны новые и новые толщи неба; трамвай взбирается на холм Элифар, с двух сторон открылся широкий обзор: справа — до самого моря, слева — до аэродрома. Курить запрещается даже сигареты «Гитана».

Я опираюсь рукой на сиденье, но тут же отдергиваю руку — эта штуковина существует. Вещь, на которой я сижу, на которую я оперся рукой, называется сиденье. Они нарочно все сделали так, чтобы можно было сидеть: взяли кожу, пружины, ткань и принялись за работу, желая смастерить сиденье, а когда закончили, получилось вот *это*. Они принесли это сюда, вот в этот ящик, и теперь ящик катится, качается, и стекла в нем дрожат, и в своей утробе он несет эту красную штуку. Да это же скамейка, шепчу я, словно заклинание. Но слово остается у меня на губах, оно не хочет приклеиться к вещи. А вещь остается тем, что она есть со своим красным плюшем, который топорщит тысячу мельчайших красных лапок, стоящих торчком мертвых лапок. Громадное повернутое кверху брюхо, окровавленное, вздутое, ощерившееся всеми своими мертвыми лапками, брюхо, плывущее в этом ящике, в этом сером небе,— это вовсе не сиденье. С таким же успехом это мог бы быть, к примеру, издохший осел, который, раздувшись от воды, плывет по большой, широкой реке брюхом кверху, плывет по большой, серой, широко разлившейся реке, а я сижу на брюхе осла, спустив ноги в светлую воду. Вещи освободились от своих названий. Вот они, причудливые, упрямые, огромные, и глупо называть их сиденьями и вообще говорить о них что-нибудь. Я среди Вещей, среди не поддающихся наименованию Вещей. Они окружили меня, одинокого, бессловесного, беззащитного, они подо мной, они надо мной. Они ничего не требуют, не навязывают себя, просто они есть. Между подушкой сиденья и деревянной стенкой проходит узенькая, темная линия, она бежит вдоль сиденья с таинственным и проказливым видом, ни дать ни взять — улыбка. Я прекрасно знаю, что это не улыбка, но она существует, она бежит под белесоватыми стеклами, под дребезжанием стекол, она упрямо держится под голубыми картинками, которые мелькают за окнами, останавливаются и снова пускаются в путь, она упрямо держится, как смутное воспоминание об улыбке, как полузабытое слово, от него остался в памяти только первый слог, и самое лучшее — отвести глаза и думать о чем-нибудь другом, например об этом человеке, полулежащем на скамье вон там, против меня. У него голова цвета глины и голубые глаза. Вся правая часть его тела обмякла, правая рука приклеилась к телу, правая часть едва жива, живет с трудом, живет скаредно, словно ее разбил паралич. Но зато на левой стороне паразитирует крохотная, быстро распространяющаяся язва существования; вот рука дрогнула, вот она поднялась, на ее конце — распрямленная кисть. А теперь дрогнула и кисть, и когда она оказалась на уровне черепа, один из пальцев вытянулся и стал скрести ногтем волосатую кожу. В правом углу рта появилось что-то вроде сладострастной гримасы, левая сторона остается мертвой. Вздрагивают стекла, вздрагивает рука, скребет и скребет ноготь, под неподвижными глазами кривится в улыбке рот, и человек терпит, не замечая, крохотное существование, которым набухла его правая сторона и которое, чтобы воплотиться, позаимствовало его правую руку и правую щеку. Кондуктор преграждает мне путь:

— Подождите остановки.

Но я отталкиваю его и на ходу соскакиваю с трамвая. Больше я вынести не мог. Не мог вынести навязчивую близость вещей. Я толкаю калитку, вхожу, пушинки существования вспархивают ввысь и уса-

живаются на ветках. Теперь я знаю, где я — я в городском парке. Падаю на скамью между громадными черными стволами, между черными узловатыми руками, которые тянутся к небу. Дерево скребет землю под моими ногами черным когтем. Мне бы так хотелось расслабиться, забыться, заснуть. Но я не могу: я задыхаюсь, существование проникает в меня через все поры, через рот, через нос, через уши...

И вдруг, разом, пелена прорывается, я понял, я *увидел*.

6 часов вечера

Не могу сказать, чтобы мне отлегло, что я доволен,— наоборот, меня это придавило. Но зато я достиг цели, я знаю то, что хотел узнать, я понял все, что со мной происходит, начиная с января. Тошнота не прошла и вряд ли скоро пройдет, но я уже не страдаю ею — это не болезнь, не мимолетный приступ, это я сам.

Итак, только что я был в парке. Под скамьей, как раз там, где я сидел, в землю уходил корень каштана. Но я уже не помнил, что это корень. Слова исчезли, а с ними смысл вещей, их назначение, бледные метки, нанесенные людьми на их поверхность. Я сидел ссутулившись, опустив голову, наедине с этой темной узловатой массой в ее первозданном виде, которая пугала меня. И вдруг меня осенило.

У меня перехватило дух. Никогда до этих последних дней я не понимал, что значит «существовать». Я был как все остальные люди, как те, что прогуливаются по берегу моря в своих весенних одеждах. Я, как они, говорил: «Море — зеленое, а белая точка вверху — *это чайка*», но я не чувствовал, что все это существует, что чайка — это «существующая чайка». Как правило, существование прячется от глаз. Оно тут, оно вокруг нас, в нас, оно *мы сами*, нельзя произнести двух слов, не говоря о нем, но прикоснуться к нему нельзя. Когда я считал, что думаю о нем, пожалуй, я не думал ни о чем, голова моя была пуста, а может, в ней было всего одно слово — «существовать». Или я мыслил... как бы это выразиться? Я мыслил категорией *принадлежности*. Я говорил себе: «Море принадлежит к группе предметов зеленого цвета, или зеленый цвет — одна из характеристик моря». Даже когда я смотрел на вещи, я был далек от мысли, что они существуют,— они представали передо мной как некая декорация. Я брал их в руки, пользовался ими, предвидел, какое сопротивление они могут оказать. Но все это происходило на поверхности. Если бы меня спросили, что такое существование, я по чистой совести ответил бы: ничего, пустая форма, привносимая извне, ничего не меняющая в сути вещей. И вдруг на тебе — вот оно, все стало ясно как день; существование вдруг сбросило с себя свои покровы. Оно утратило безобидность абстрактной категории: это была сама плоть вещей, корень состоял из существования. Или, вернее, корень, решетка парка, скамейка, жиденький газон лужайки — все исчезло; разнообразие вещей, пестрота индивидуальности были всего лишь видимостью, лакировкой. Лак облез, остались чудовищные, вязкие и беспорядочные массы — голые бесстыдной и жуткой наготой.

Я боялся пошевельнуться, но, и не двигаясь, я видел позади деревьев синие колонны, и люстру музыкального павильона, и среди зарослей лавра — Велледу. Все эти предметы... как бы это сказать? Они мне мешали. Я хотел бы, чтобы они существовали не так назойливо, более скупо, более абстрактно, более сдержанно. Каштан мозолил мне глаза. Зеленая ржавчина покрывала его до середины ствола; черная вздувшаяся кора напоминала обваренную кожу. Негромкое журчанье воды в фонтане Маскере вливалось мне в уши и, угнездившись в них, заполняло их вздохами; ноздри забивал гнилостный зеленый запах. Все тихо уступало, поддавалось существованию — так усталые женщины отдаются смеху, размягченным голосом приговаривая: «Хорошо посмеяться». Вещи выставляли себя напоказ друг другу, по-

веряя друг другу гнусность своего существования. Я понял, что середины между небытием и разомлевшей избыточностью нет. Если ты существуешь, ты должен существовать *до этой черты*, до цвели, до вздутия, до непристойности. Есть другой мир — в нем сохраняют свои чистые строгие линии круги и мелодии. Но существовать — значит поддаваться. Деревья, синие ночные столбы, радостный хрип фонтана, живые запахи, маленькие сгустки тепла в холодном воздухе, рыжий человек, переваривающий пищу на скамье,— в этой общей дремоте, в этом общем переваривании пищи было что-то комическое... Комическое... нет, до этого дело не дошло; то, что существует, смешным быть не может; но было в этом какое-то расплывчатое, почти неуловимое сходство с водевильной ситуацией. Мы являли собой уйму существований, которые сами себе мешали, сами себя стесняли; как у одних, так и у других не было никаких оснований находиться здесь, каждый существующий, смущаясь, с безотчетным беспокойством ощущал себя лишним по отношению к другим. *Лишний* — вот единственная связь, какую я мог установить между этими деревьями, решеткой, камнями. Тщетно пытался я *сосчитать* каштаны, *соотнести их в пространстве* с Велледой, сравнить их высоту с высотой платанов — каждый из них уклонялся от связей, какие я пытался им навязать, отъединялся и выплескивался из собственных границ. Я чувствовал всю условность связей (размеры, количества, направления), которые я упорно пытался сохранить, чтобы отсрочить крушение человеческого мира,— они теперь отторгались вещами. Каштан впереди меня, чуть левее, — *лишний*. Велледа — *лишняя*...

И я сам — вялый, расслабленный, непристойный, переваривающий съеденный обед и прокручивающий мрачные мысли, — *я тоже был лишним*. К счастью, я этого не чувствовал, скорее я понимал это умом, но мне было не по себе, потому что я боялся это почувствовать (я и сейчас этого боюсь, боюсь, как бы это не подкралось ко мне сзади, со стороны затылка, не вздыбило меня взметнувшейся глубинной волной). Я смутно думал о том, что надо бы покончить счеты с жизнью, чтобы истребить хотя бы одно из этих никчемных существований. Но смерть моя тоже была бы лишней. Лишним был бы мой труп, моя кровь на камнях, среди этих растений, в глубине этого улыбчивого парка. И моя изъеденная плоть была бы лишней в земле, которая ее приняла бы, и наконец мои кости, обглоданные, чистые и сверкающие, точно зубы, все равно были бы лишними: я был лишним во веки веков.

Сейчас под моим пером рождается слово Абсурдность — совсем недавно в парке я его не нашел, но я его и не искал, оно мне было ни к чему: я думал без слов о вещах, *вместе* с вещами. Абсурдность — это была не мысль, родившаяся в моей голове, не звук голоса, а вот эта длинная мертвая змея у моих ног, деревянная змея. Змея или звериный коготь, корень или коготь грифа — не все ли равно. И, не пытаясь ничего отчетливо сформулировать, я понял тогда, что нашел ключ к Существованию, ключ к моей Тошноте, к моей собственной жизни. В самом деле, все, что я смог уяснить потом, сводится к этой основополагающей абсурдности. Абсурдность — еще одно слово, а со словами я борюсь: там же я прикоснулся к самой вещи. Но теперь я хочу запечатлеть абсолютный характер этой абсурдности. В маленьком раскрашенном мирке людей жест или какое-нибудь событие могут быть абсурдными только относительно — по отношению к обрамляющим их обстоятельствам. Например, речи безумца абсурдны по отношению к обстановке, в какой он находится, но не по отношению к его бреду. Но я только что познал на опыте абсолютное — абсолютное, или абсурд. Вот хотя бы этот корень — в мире нет ничего, по отношению к чему он не был бы абсурден. О, как мне выразить это в

словах? Абсурден по отношению к камням, к пучкам желтой травы, к высохшей грязи, к дереву, к небу, к зеленым скамейкам. Неумолимо абсурден; даже глубокий, тайный бред природы не был в состоянии его объяснить. Само собой, я знал не все — я не видел, как прорастало семя, как зрело дерево. Но перед этой громадной бугристой лапой неведение, как и знание, было равно бессмысленно: мир объяснений и разумных доводов и мир существования — два разных мира. Круг не абсурден, его легко можно объяснить, вращая отрезок прямой вокруг одного из его концов. Но круг ведь и не существует. А этот корень, наоборот, существовал именно постольку, поскольку я не мог его объяснить. Узловатый, неподвижный, безымянный, он зачаровывал меня, лез мне в глаза, непрестанно навязывал мне свое существование. Тщетно я повторял: «Это корень» — слова больше не действовали. Я понимал, что от функции корня — вдыхающего насоса — невозможно перебросить мостик *к этому*, к этой жесткой и плотной тюленьей коже, к ее маслянистому, мозолистому, упрямому облику. Функция ничего не объясняла — она позволяла понять в общих чертах, что такое корень, но не *данный* корень. Этот корень, с его цветом, формой, застывшим движением, не поддавался никакому объяснению, был... уровнем ниже его. Каждое из его свойств как бы отчасти утрачивалось им, вытекало наружу и, наполовину отвердев, становилось почти вещью, но в самом корне каждое из них было *лишним*, и теперь уже мне казалось, что и весь ствол извергает себя из самого себя, отрицает себя, теряется в странном избытке. Я поскоблил каблуком черный коготь: мне хотелось слегка его ободрать. Просто так, из вызова, чтобы на дубленой коже появилась абсурдная розоватость ссадины, чтобы *поиграть* с абсурдностью мира. Но, убрав ногу, я увидел, что кора осталась черной.

Черной? Я почувствовал, как слово выдыхается, как оно стремительно теряет смысл. Черный? Корень *не был* черным, не чернота была на этом куске дерева, на нем было... было что-то другое. Черное, так же как круг, не существовало.

Я посмотрел на корень: был ли он *больше* чем черным или *почти* черным? Но я тут же перестал задавать себе подобные вопросы — я почувствовал, что вступаю в область познания. А я уже и прежде пытался вот так же неуемно прощупывать не поддающиеся наименованию предметы, уже делал попытку — но тщетно — мыслить *о них*, и уже успел почувствовать, как их свойства, холодные, безжизненные, не даются в руки, проскальзывают между пальцами. Вот, например, в тот вечер, в «Приюте путейцев», подтяжки Адольфа. Они *не были* фиолетовыми. Передо мной вновь встали два не поддающихся определению пятна на рубашке. И камень, пресловутый камень, с которого и началась вся эта история: он не был... я уже не помнил в точности, каким он отказывался быть. Но я не забыл его пассивного сопротивления. Или рука Самоучки; как-то в библиотеке я взял ее и пожал, а потом у меня возникло ощущение, что это как бы не совсем рука. Я подумал тогда о жирном белом червяке, но это был и не червяк. И двусмысленная прозрачность пивной кружки в кафе «Мабли». Двусмысленные — вот какими были все эти звуки, запахи, вкусы. Случалось, они порскнут у тебя под носом, словно выгнанный из норы заяц, ты не обращаешь на них особенного внимания, и они кажутся простыми, надежными, и можно думать, что в мире и впрямь существует настоящий синий, настоящий белый цвет, настоящий запах миндаля или фиалки. Но стоит на секунду их удержать, как чувство уверенности и удобства сменяется чудовищной тревогой: краски, вкусы, запахи никогда не бывают настоящими, они не бывают собой, и только собой. Простейшее, неразлагаемое свойство в самом себе, в своей сердцевине, избыточно по отношению к самому себе. Вот, например, это черное возле моей ноги, казалось, что это не черный цвет, а ско-

рее смутное усилие кого-то, кто никогда не видел черного, вообразить черное и кто, не сумев вовремя удержаться, вообразил какое-то сомнительное существо, за пределами цвета. Это *походило* на цвет, но также... на синяк или на какие-то выделения, на жировой выпот — да и на другие вещи, например на запах, это переплавлялось в запах влажной земли, теплого и влажного дерева, в черный запах, как лаком покрывавший это волокнистое дерево, в сладковатый вкус жеваного волокна. Я не мог сказать, что просто *вижу* это черное: зрение — абстрактная выдумка, очищенная, упрощенная идея, идея, созданная человеком. Эта чернота, эта аморфная вялая явь, переполняла собой зрение, обоняние и вкус. Но изобилие оборачивалось мешаниной и в итоге превращалось в ничто, потому что было лишним.

Удивительная минута. Неподвижный, застывший, я погрузился в зловещий экстаз. Но в самый разгар экстаза возникло нечто новое: я понял Тошноту, овладел ею. По правде сказать, я не пытался сформулировать свое открытие. Но думаю, что отныне мне будет нетрудно облечь его в слова. Суть его — случайность. Я хочу сказать, что — по определению — существование не является необходимостью. Существовать — это значит *быть здесь*, только и всего; существования вдруг оказываются перед тобой, на них можно *наткнуться*, но в них нет *закономерности*. Полагаю, некоторые люди это поняли. Но они попытались преодолеть эту случайность, изобретя существо необходимое и самодовлеющее. Но ни одно необходимое существо не может помочь объяснить существование: случайность — это не нечто кажущееся, не видимость, которую можно развеять; это нечто абсолютное, а стало быть, некая совершенная беспричинность. Беспричинно все — этот парк, этот город и я сам. Когда это до тебя доходит, тебя начинает мутить и все плывет, как было в тот вечер в «Приюте путейцев»,— вот что такое Тошнота, вот что Подонки с Зеленого Холма и им подобные пытаются скрыть с помощью своей идеи права. Жалкая ложь — ни у кого никакого права нет; существование этих людей так же беспричинно, как и существование всех остальных, им не удается перестать чувствовать себя лишними. В глубине души, втайне, они *лишние*, то есть бесформенные, расплывчатые, унылые.

Как долго длилось это наваждение? Я *был* корнем каштана. Или, вернее, я весь целиком был сознанием его существования. Пока еще отдельным от него — поскольку я это сознавал — и, однако, опрокинутым в него, был им, и только им. Зыбкое сознание, которое, однако, всей своей ненадежной тяжестью налегало на этот кусок инертного дерева. Время остановилось маленькой черной лужицей у моих ног, *после* этого мгновения ничто уже не могло случиться. Я хотел избавиться от этой жестокой услады, но даже представить себе не мог, что это возможно; я был внутри: черный комель *не проходил*, он оставался где был, он застрял в моих глазах, как поперек горла застревает слишком большой кусок. Я не мог ни принять его, ни отвергнуть. Ценой каких усилий удалось мне поднять глаза вверх? Да и поднял ли я их? Пожалуй, скорее на какое-то мгновение я самоуничтожился. И когда мгновение спустя возродился вновь, голова моя была уже откинута назад и глаза устремлены вверх. В самом деле, я не помню этого перехода. Но мне вдруг стало невозможно мыслить существованием корня. Существование пропало, тщетно я повторял себе: корень существует, он все еще здесь, под скамейкой, у моей правой ноги, — это были пустые слова. Существование — это не то, о чем можно размышлять со стороны: нужно, чтобы оно вдруг нахлынуло, навалилось на тебя, всей тяжестью легло тебе на сердце, как громадный недвижный зверь,— или же ничего этого просто-напросто нет.

Ничего этого больше не было, взгляд мой опустел, я был счастлив, что освободился. А потом внезапно перед глазами у меня вдруг

что-то стало шевелиться и замелькали легкие, неопределенные движения — это ветер потряс верхушку дерева.

Я, пожалуй, даже обрадовался, когда что-то зашевелилось у меня перед глазами, можно было отдохнуть от множества неподвижных существований, которые уставились на меня застывшим взглядом. Наблюдая, как покачиваются ветки, я говорил себе: движение всегда существует не вполне, оно — переходная ступень, посредник между двумя существованиями, разреженное время. Я приготовился увидеть, как движение возникает из небытия, как мало-помалу зреет и расцветает — наконец-то мне удастся подсмотреть, как существование рождается на свет.

Но не понадобилось и трех секунд, чтобы все мои надежды рухнули. На колеблющихся ветках, слепо шаривших вокруг, я не мог уловить «переход» к существованию. Сама идея перехода тоже придумана людьми. Слишком определенная идея. Все эти крошечные подрагивания были отделены друг от друга, выступали сами по себе. Они со всех сторон кишели на ветках и сучьях. Они вихрились вокруг этих высохших рук, обволакивая их крохотными ураганами. Само собой, движение было чем-то иным, нежели дерево. И все равно это был абсолют. Вещь. Все, на что натыкался мой взгляд, было заполнено. На концах веток роились существования, они непрерывно обновлялись, но они не рождались никогда. Существующий ветер гигантской мухой садился на дерево, и дерево трепетало. Но трепет не был нарождающимся свойством, переходом от возможности к действию; это была вещь, вещь-трепетанье растекалась по дереву, завладевала им, сотрясала его и вдруг покидала, унося прочь, чтобы крутиться вокруг самой себя. Все было полным-полно, все было действием, разреженного времени не было, все, даже самое незаметное содроганье, состояло из существования. И все существующее, что мельтешило вокруг дерева, не являлось ниоткуда и не исчезло никуда. Вдруг оказывалось, что оно существует, и потом вдруг что уже — нет. Существование лишено памяти: от ушедших оно не сохраняет ничего — даже воспоминания. Существование всюду до бесконечности излишне, излишне всегда и всюду. Существование всегда ограничено только существованием. Я привалился к скамье, оглушенный, раздавленный избытком не имеющих начала существ: все вокруг распускалось, расцветало, в ушах звенело от существований, сама моя плоть трепетала и приоткрывалась, отдаваясь вселенскому почкованию, это было омерзительно. «Но к чему,— подумал я,— к чему столько существований, если все похожи друг на друга?» Зачем столько одинаковых деревьев? Столько потерпевших неудачу существований, которые упорно возобновляются и снова терпят неудачи, напоминая неловкие усилия насекомого, опрокинувшегося на спину. (Я и сам одно из таких усилий.) Это изобилие вовсе не казалось щедростью — наоборот. Оно было хмурым, хилым, тяготившим самое себя. Деревья, громоздкие, неуклюжие тела... Я рассмеялся, вспомнив вдруг, как в книгах описывают великолепную весну, когда все лопается, взрывается и буйно расцветает. Нашлись дураки, которые толкуют о воле к власти, о борьбе за жизнь. Неужто они никогда не смотрели на животное или на дерево? Вот этот платан с пятнами проплешин, вот этот полусгнивший дуб — и меня хотят уверить, что это молодые, рвущиеся к небу силы? Или этот корень? Очевидно, мне должно представить его себе как алчный коготь, раздирающий землю, чтобы вырвать у нее пищу?

Нет, я не могу смотреть на вещи такими глазами. Дряблость, слабость — да. Деревья зыбились. И это значило, что они рвутся к небу? Скорее уж они никли; с минуты на минуту я ждал, что стволы их сморщатся, как усталый фаллос, что они съежатся и мягкой, черной, складчатой грудой рухнут на землю. *Они не хотели существовать,* но не могли не существовать — вот в чем загвоздка. И они

потихоньку, без малейшего пыла, варили себе свои крохотные варева: сок медленно, нехотя поднимался по сосудам, а корни медленно уходили в землю. Но каждую минуту казалось, что сейчас они плюнут на все и сгинут. Усталые, старые, они продолжали свое нерадивое существование, потому что у них не хватало сил умереть, потому что смерть могла их настигнуть только извне: только музыкальные мелодии гордо несут в себе, как внутреннюю необходимость, свою собственную смерть: но они ведь не существуют. А все сущее рождается беспричинно, продолжается по недостатку сил и умирает случайно. Я откинулся назад и закрыл глаза. Но всполошившиеся образы тотчас ринулись вперед, заняв существованием все пространство под моими сомкнутыми веками: существованием заполнено все, и человеку от него никуда не деться.

Странные образы. Они представляли уйму разных вещей. Но не подлинных вещей, а их подобий. Деревянные предметы походили на стулья, на деревянные башмаки, а другие предметы были похожи на растения. И еще два лица: той пары, которая однажды в воскресенье обедала рядом со мной в пивной «Везелиз». Жирные, жаркие, чувственные, несуразные, с красными ушами. Я видел плечи и шею женщины. Существование в его наготе. Эти двое — пришедшая мысль вдруг внушила мне ужас,— эти двое продолжали существовать где-то в Бувиле; где-то — среди каких запахов? — эта мягкая грудь продолжала тереться о прохладную ткань, уютно располагаться в кружевах, и женщина продолжала чувствовать, что грудь ее существует в ее корсаже, и думать: «Мои сиси, мои наливные яблочки», и загадочно улыбаться, прислушиваясь к тому, как набухают ее груди, от которых ей было щекотно, и тут я вскрикнул и обнаружил, что глаза у меня открыты.

Неужели мне привиделась эта чудовищная явь? Она была здесь в парке, она растеклась по нему, оседала на деревьях, вязкая, липкая, густая, как варенье. Неужели же я вместе со всем парком тоже был внутри нее? Я испугался, но в особенности обозлился, это было так глупо, так нелепо, я ненавидел этот гнусный мармелад. Но он был, он был! Он поднимался до самого неба, он распространялся вширь, он заполнял все своей студенистой расслабленностью, я видел его бездонные глубины, они уходили далеко за пределы сада, за пределы домов Бувиля, я был уже не в Бувиле, да и нигде в другом месте, я парил. Я ничуть не удивился, я понимал, что это Мир, мир, который предстал передо мной во всей своей наготе, и я задыхался от ярости при виде этого громадного абсурдного существа. Нельзя было даже задаться вопросом, откуда все это берется и как все-таки получается, что существует какой-то мир, а не ничто. Вопрос не имел никакого смысла, мир был явлен всюду — впереди, позади. И до него ничего не было. Ничего. Не было такого мгновения, когда он не существовал. Вот это-то меня и раздражало: ведь ясное дело — не было *никакого* смысла в том, что эта текучая личинка существует. Но не существовать *она не могла*. Это было непредставимо: чтобы вообразить небытие, надо уже оказаться здесь, в гуще этого мира, живым, с открытыми глазами; небытие — это была всего лишь мысль в моей голове, мысль, существующая и парящая в этой огромности: небытие не могло *предшествовать* существованию, оно было таким же существованием, как и все прочее, и появилось позднее многого другого. «Какая гнусность! Какая гнусность!» — закричал я и встряхнулся, стараясь освободиться от этой липучей гнусности, но справиться с ней было нелегко, ее было слишком много, тонны и тонны существований, без конца и края, и я задыхался в глубине этой неохватной тоски. И вдруг парк опустел, словно все провалилось в какую-то бездонную дыру, мир исчез так же, как появился, а может, я проснулся — так или иначе, я его больше не видел; вокруг меня

была только желтая земля, из которой во все стороны торчали мертвые, сухие ветви.

Я встал, я пошел к выходу. Дойдя до калитки, я бросил взгляд назад. И тут парк улыбнулся мне. Опершись на решетку ограды, я долго смотрел на него. Улыбка деревьев, зарослей лавра *должна же была что-то означать;* так вот она, истинная тайна существования. Я вспомнил, как однажды в воскресенье, недели три тому назад, я уже подметил, что вещи выглядят словно бы сообщники. Чьи сообщники — мои? Я с тоской чувствовал, что мне не по силам это понять. Не по силам. И все же это было тут, это ждало, это напоминало взгляд. Оно было там, на стволе этого каштана... это был *сам* каштан. Вещи были похожи на мысли, которые замерли на полдороге, которые забыли сами себя, забыли, что они думали, да так и повисли между небом и землей, вместе со странным крохотным смыслом, который не могут в себя вместить. Этот крохотный смысл меня раздражал — я *не мог* его понять и не понял бы, проторчи я хоть сто семь лет возле этой ограды; я узнал о существовании все, что мог узнать. Я ушел, я вернулся в отель и сделал вот эту запись.

Той же ночью

Решение принято: поскольку я больше не пишу книгу, мне незачем оставаться в Бувиле, переберусь в Париж. Выеду в пятницу пятичасовым поездом, в субботу увижу Анни, думаю, что мы проведем вместе несколько дней. Потом вернусь сюда, чтобы уладить кое-какие дела и сложить чемоданы. Не позднее первого марта надеюсь окончательно обосноваться в Париже.

Пятница

В «Приюте путейцев». Мой поезд отходит через двадцать минут. Патефон. Острое предчувствие приключения.

Суббота

Анни в длинном черном платье открывает мне дверь. Руки она, конечно, не протягивает, не говорит: «Здравствуй!» Моя правая рука в кармане плаща. Анни говорит ворчливым тоном, очень быстро, спеша покончить с формальностями:

— Входи и садись где хочешь, только не в кресло у окна.

Это она, безусловно она. Руки у нее праздно повисли, на лице угрюмое выражение, которое в былые времена придавало ей сходство с девочкой переходного возраста. Но теперь Анни на девочку не похожа. Она раздобрела, у нее пышная грудь.

Анни закрывает дверь и задумчиво говорит, обращаясь к самой себе:

— Не знаю, может, мне сесть на кровать...

В конце концов она опускается на какой-то сундук, покрытый ковриком. Походка ее изменилась — Анни двигается с грузным величием, не лишенным грации: видно, что ей мешает ее свежеиспеченная полнота. И все же, несмотря ни на что, это она, это Анни.

Она разражается смехом.

— Почему ты смеешься?

Верная своей привычке, она отвечает не сразу, выражение у нее задиристое.

— Скажи, почему?

— Да потому что, не успев войти, ты расплылся в улыбке. Ты похож на отца, который только что выдал замуж дочь. Ну ладно, постоял и хватит. Снимай плащ и садись. Если хочешь, сюда.

Воцаряется молчание, Анни не делает попытки его нарушить. Какая голая комната! В прежние времена, куда бы Анни ни ехала, она всюду таскала за собой огромный чемодан, набитый шалями,

тюрбанами, мантильями, японскими масками, лубочными картинками. Не успевала она устроиться в отеле — пусть даже на одну ночь,— она первым делом открывала чемодан и извлекала из него все свои богатства, которые развешивала на стенах, прицепляла к лампам, покрывала ими столы или пол в замысловатом и изменчивом порядке; не проходило и получаса, как самый заурядный гостиничный номер приобретал такую насыщенную, чувственную индивидуальность, что было почти невмоготу. Может, Анни потеряла свой чемодан или оставила в камере хранения... В этой холодной комнате с приоткрытой дверью в ванную есть что-то зловещее. Она напоминает мой номер в Бувиле, его более роскошный и грустный вариант.

Анни смеется снова. Я узнаю этот хохоток — очень высокий и немного в нос.

— Да, ты не изменился. Чего ты ищешь с таким ошалелым видом?

Она улыбается, но при этом вглядывается в меня с любопытством, почти враждебным.

— Просто я подумал: по этой комнате не скажешь, что в ней живешь ты.

— А-а, вон что,— неопределенно отзывается она.

И снова молчание. Теперь Анни села на кровать, черное платье ее очень бледнит. Волосы она не остригла. Она по-прежнему невозмутимо смотрит на меня, чуть вздернув брови. Значит, ей нечего мне сказать? Зачем же она меня вызвала? Молчание становится невыносимым.

— Я рад тебя видеть,— жалким тоном говорю вдруг я.

Последнее слово застревает у меня в горле. Если ничего умнее я придумать не мог, лучше было вообще не открывать рта. Сейчас она рассердится. Вообще-то я предполагал, что первые четверть часа будут мучительными. И прежде, когда я встречался с Анни после перерыва, пусть мы не виделись всего сутки, пусть это было на утро после сна, я никогда не умел найти слов, каких она ждала, какие подходили к ее платью, к погоде, к последним фразам, которыми мы обменялись накануне. Чего же она хочет сейчас? Я не могу угадать.

Поднимаю глаза. Анни смотрит на меня даже с какой-то нежностью.

— Выходит, ты совсем не изменился? Все такой же глупый?

На ее лице удовлетворение. Но до чего же усталый у нее вид!

— Ты дорожный столб,— говорит она,— столб, который стоит на обочине. Ты невозмутимо сообщаешь и всю свою жизнь будешь сообщать, что до Мелёна двадцать семь километров, а до Монтаржи сорок два. Вот почему ты мне так необходим.

— Я тебе необходим? Я был тебе необходим все четыре года, что мы не виделись? Хорошо же ты скрывала свои чувства.

Я говорю это с улыбкой, иначе она подумает, что я на нее в обиде. Но я чувствую, что улыбка получилась насквозь фальшивая. Мне не по себе.

— Как ты глуп! Видеть тебя — если речь об этом — необходимости у меня, конечно, нет. В тебе, понимаешь ли, нет ничего такого, что особенно радовало бы глаз. Но мне необходимо, чтобы ты жил на свете и чтобы ты не менялся. Ты как платиновый метр, который хранится где-то, не то в Париже, не то поблизости. Не думаю, чтобы кому-нибудь когда-нибудь хотелось его видеть.

— Вот и ошибаешься.

— Не важно, мне во всяком случае не хочется. Но я рада, что он существует, что он равен в точности десятимиллионной доле четвертой части земного меридиана. И я думаю об этом каждый раз, когда при мне что-нибудь измеряют в квартире или когда я покупаю материю.

— Вот как? — холодно говорю я.

— Но ведь я могла бы думать о тебе просто как о некоем абстрактном свойстве, о своего рода мерке. Ты должен быть благодарен, что я каждый раз вспоминаю при этом твое лицо.

Итак, вот они опять, наши классические препирательства, которые в былые дни мне приходилось поддерживать, испытывая в душе простые, пошлые желания: сказать ей, что я ее люблю, стиснуть ее в объятьях. Сегодня у меня никаких желаний нет. Разве что помолчать, посмотреть на нее и в молчании ощутить все значение невероятного события — передо мной Анни. А для нее — неужели для нее этот день похож на все другие? Ее руки не дрожат. Наверно, в тот день, когда она мне написала, ей надо было мне что-то сказать, а может, это была минутная прихоть. Теперь всего этого след простыл.

И вдруг Анни улыбается мне с такой откровенной нежностью, что на глаза у меня навертываются слезы.

— Я думала о тебе гораздо чаще, чем о платиновом метре. Не проходило дня, чтобы я не думала о тебе. И вспоминала тебя в мельчайших подробностях.

Она встает, подходит ко мне и опирается руками мне на плечи.

— Посмей сказать, что ты вспоминал мое лицо, хотя сам ты на меня жалуешься.

— Это нечестно,— отвечаю я,— ты же знаешь, у меня скверная память.

— Значит, признаешься — ты меня совсем забыл. Ну скажи, ты узнал бы меня на улице?

— Еще бы. Но ведь не об этом речь.

— Помнишь ты хотя бы, какого цвета у меня волосы?

— Само собой! Белокурые.

Она смеется.

— Как гордо ты это сказал. Ты же сейчас на них глядишь, так что напрягать память тебе не приходится.

Она взъерошила мне волосы.

— А у тебя волосы рыжие,— говорит она, передразнивая меня.— В первый раз, когда я тебя увидела, на тебе была — никогда ее не забуду — мягкая шляпа сиреневого оттенка, которая ну никак не вязалась с твоими рыжими волосами. Глазам было больно. А где теперь твоя шляпа? Хочу выяснить, по-прежнему ли у тебя такой дурной вкус?

— Я больше не ношу шляп.

Она присвистывает, вытаращив глаза.

— Сам ты до этого додуматься не мог. Сам? Ну, поздравляю. Молодец! Правда, это следовало сообразить давно. Твои волосы не сочетаются ни с чем, они не смотрятся ни со шляпами, ни с подушками кресел, ни даже с обоями, если обои служат им фоном. Или тебе надо нахлобучивать шляпу по самые уши, как ту английскую, фетровую, которую ты купил в Лондоне. Ты засунул свои вихры под шляпу, и можно было подумать, что у тебя вообще череп голый.— И добавляет решительным тоном, каким обычно завершают привычные ссоры: — Тебе это совсем не шло.

Я не помню, о какой шляпе речь.

— А я разве говорил, что мне это идет?

— Еще бы, конечно, говорил! Только об этом и говорил. И украдкой глядел ся в зеркало, когда думал, что я тебя не вижу.

Это знание прошлого меня сокрушает. По Анни даже не скажешь, что она оживляет в памяти воспоминания: в ее голосе ни малейшего оттенка задумчивой растроганности, приличествующей такого рода занятию. Она говорит так, точно речь идет о сегодняшнем дне, в крайнем случае о вчерашнем; все свои давние взгляды, пристрастия, обиды она сохранила в их первозданной свежести. Для ме-

ня же, наоборот, все подернулось поэтической дымкой, я готов на любые уступки.

И вдруг она говорит без всякого выражения:

— А я, как видишь, потолстела, состарилась, мне надо за собой следить.

Верно. И какой усталый у нее вид! Я открыл было рот, но она тотчас добавляет:

— Я играю в театре, в Лондоне.

— С Кандлером?

— Конечно нет. Вовсе не с Кандлером. Это на тебя похоже. Ты вбил себе в голову, что я буду играть с Кандлером. Сколько раз тебе повторять, что Кандлер дирижер? Нет, это маленький театр, на Сохо-Сквер. Мы ставили «Emperor Jones» [1], пьесы Шона О'Кейси, Синга и «Британника».

— «Британника»? — переспрашиваю я удивленно.

— Да, представь себе, «Британника». Из-за этого я и уволилась. Это мне пришла мысль поставить «Британника», а они вздумали дать мне роль Юнии.

— Вот как?

— Ну, а я, естественно, могу играть только Агриппину.

— Что же ты делаешь теперь?

Зря я задал этот вопрос. Лицо Анни сразу стало безжизненным. Однако она отвечает без запинки.

— Я больше не играю. Я путешествую. Есть тут один тип, который меня содержит.— Она улыбается.— Ох, пожалуйста, не гляди на меня так озабоченно, никакой трагедии нет. Я тебе всегда говорила, что преспокойно могла бы поступить на содержание. Впрочем, это старик, он мне не мешает.

— Англичанин?

— Какая тебе разница? — спрашивает она запальчиво.— Не будем о нем говорить. Ни мне, ни тебе до него дела нет. Чаю хочешь?

Она входит в ванную комнату. Я слышу, как она там бродит и гремит какими-то кастрюльками, разговаривая сама с собой, бормочет что-то невнятно и раздраженно. На ночном столике у ее кровати, как всегда, лежит том «Истории Франции» Мишле. Над кроватью — теперь я это рассмотрел — она повесила фотографию, одну-единственную, репродукцию портрета Эмилии Бронте, написанного братом писательницы.

Анни возвращается и говорит напрямик:

— А теперь рассказывай о себе.

И снова исчезает в ванной. Вот это я помню, несмотря на свою плохую память: она всегда задавала прямые вопросы, которые меня весьма смущали, потому что в них чувствовался, с одной стороны, искренний интерес, с другой — желание поскорее покончить с темой. Во всяком случае, после этого вопроса сомнений уже не остается — ей что-то от меня надо. Это все еще только подступы: отмести то, что может помешать, окончательно уладить второстепенные вопросы («Теперь рассказывай о себе»). После этого о себе заговорит она. И мне вдруг совершенно расхотелось что бы то ни было ей рассказывать. К чему? Тошнота, страх, существование... Пусть лучше все это останется при мне.

— Ну же, поторапливайся,— кричит она из-за перегородки.— Она возвращается с чайником в руках.— Ты живешь в Париже?

— Я живу в Бувиле.

— В Бувиле? Почему вдруг? Ты, надеюсь, не женился?

— Женился? — Я так и подпрыгнул.

Мне очень льстит, что Анни могла прийти в голову такая мысль. Я от нее этого не скрываю.

---

[1] «Император Джонс» *(англ.)*.

— Что за чушь! Это из тех натуралистических фантазий, за которые ты меня когда-то укоряла. Помнишь, когда я воображал тебя вдовой с двумя сыновьями. И рассказывал тебе всякие истории о том, что с нами будет. Ты терпеть их не могла.

— А тебе это нравилось,— говорит она без всякого смущения.— Ты рассказывал их, чтобы самоутвердиться. Впрочем, на словах ты негодуешь, но с тебя станется втихомолку жениться. Ты целый год с негодованием твердил, что ни за что не пойдешь на «Императорские фиалки». А потом я однажды заболела, и ты один пошел смотреть фильм в кинотеатре по соседству.

— Я живу в Бувиле,— с достоинством говорю я,— потому что пишу книгу о маркизе де Рольбоне.

Анни смотрит на меня, усердно выказывая заинтересованность.

— Маркиз де Рольбон? Который жил в XVIII веке?

— Да.

— Правда, ты мне о нем рассказывал,— уклончиво говорит она.— Значит, это исторический труд?

— Да.

— А-а!

Если она задаст мне хотя бы один вопрос, я расскажу ей все. Но она ни о чем больше не спрашивает. Несомненно, считает, что того, что она узнала обо мне, вполне достаточно. Анни прекрасно умеет слушать, но только тогда, когда хочет. Я смотрю на нее — она опустила глаза, она думает о том, что мне сейчас скажет, о том, как приступить к разговору. Не надо ли и мне начать ее расспрашивать? Думаю, ей это ни к чему. Она заговорит, когда сочтет нужным. Сердце у меня громко стучит.

— А я изменилась,— внезапно говорит она.

Вот и начало. Но она умолкла. Она разливает чай в белые фарфоровые чашки. Она ждет ответа — значит, надо что-то сказать. Но не первые попавшиеся слова, а именно то, чего она ждет. Я полон терзаний. Верно ли, что она изменилась? Ну да, она потолстела, вид у нее усталый, но она, конечно, имеет в виду другое.

— Не знаю. Не нахожу. Ты смеешься, как прежде, как прежде, подходишь и кладешь руки мне на плечи, как прежде, любишь рассуждать вслух. Ты все так же читаешь «Историю» Мишле. Ну, и многое другое...

Например, то, что для нее очень важна моя непреходящая сущность и ей совершенно безразлично, что со мной может случиться в жизни, и еще этот забавный наигрыш, педантичный и в то же время очаровательный, и то, как, с первой минуты отбрасывая заученные формулы вежливости, изъявления дружелюбия,— все, что облегчает людям общение, она вынуждает своих собеседников непрестанно импровизировать.

Она пожимает плечами.

— Нет, я изменилась,— сухо говорит она,— изменилась полностью. Я стала совершенно другим человеком. И думала, ты заметишь это с первого взгляда. А ты мне толкуешь об «Истории» Мишле.— Она становится прямо передо мной.— Поглядим, так ли этот человек умен, как он воображает. Ну-ка, угадай, в чем я изменилась.

Я мнусь. Она притоптывает ногой, пока еще улыбаясь, но явно начиная раздражаться.

— Было у меня одно свойство, которое когда-то тебя мучило. Так, по крайней мере, ты утверждал. А теперь все, было да сплыло. Ты должен был это заметить. Разве ты не чувствуешь себя сейчас уверенней в моем присутствии?

Я не решаюсь сказать: нет, не чувствую; я совсем, как прежде, сижу на кончике стула и весь поглощен тем, чтобы не угодить в какую-нибудь западню и не вызвать необъяснимых для меня вспышек гнева.

Она снова села.

— Ну так вот,— говорит она, убежденно кивая головой,— раз ты не понимаешь, значит, ты очень многое забыл. Даже больше, чем я думала. Ну вот хотя бы, помнишь свои прежние грехи? Ты приходил, говорил, уходил — и все невпопад. Представь, что все осталось, как было: ты вошел бы, на стенах висели бы маски и шали, я сидела бы на постели и сказала бы тебе (она запрокидывает голову и, раздувая ноздри, театрально произносит, словно потешаясь над самой собой): «Ну, чего ты ждешь? Садись».— И само собой, я бы ни в коем случае не предупредила тебя: — «Только не в кресло у окна».

— Ты подстраивала мне ловушки.

— Это были не ловушки... И конечно, ты — ты бы непременно направился прямехонько к креслу.

— И что бы со мной случилось? — спрашиваю я, оборачиваясь и с любопытством разглядывая кресло.

Вид у него самый обыкновенный, слащаво-уютный и удобный.

— Неприятности,— кратко отвечает Анни.

Я не расспрашиваю — Анни всегда окружала себя разнообразными табу.

— По-моему, я кое о чем догадываюсь,— говорю я.— Хотя это было бы очень странно. Постой, дай сообразить. В самом деле, комната эта совсем пустая. Согласись — это я заметил сразу же. Ну так вот, я вошел бы и впрямь увидел бы на стенах маски, шали и все прочее. Гостиница всегда кончалась у твоих дверей. Твой номер — это был уже другой мир... Ты бы не пошла мне открывать. Ты сидела бы, забившись в угол, может, даже прямо на полу, на красном ковре, который ты всюду с собой возила, и глядела бы на меня беспощадным взглядом, ожидая... Не успел бы я сказать слово, сделать движение, отдышаться, как ты начала бы хмуриться и я сразу почувствовал бы, что провинился, сам не знаю в чем. Потом с каждой минутой мои оплошности множились бы и я был бы кругом виноват...

— Сколько раз так бывало?

— Сотни раз.

— Не меньше! Может, с тех пор ты поумнел, стал проницательней?

— Нет!

— Рада, что ты это признаешь. Ну и?..

— Ну и теперь всего этого нет...

— Ага! — восклицает она театральным тоном.— А он едва решается в это поверить! — И продолжает мягко: — Ну так вот, можешь мне поверить — этого больше нет.

— И совершенных мгновений нет?

— Нет.

Я ошеломлен. Я настаиваю.

— И что же, ты не... Значит, кончились эти... трагедии, внезапные трагедии, в которых маски, шали, мебель и я сам — все играли какую-нибудь маленькую роль, а ты играла главную?

— Неблагодарный,— улыбается она.— Иногда я предназначала ему роль куда более важную, чем моя собственная. А он и не подозревал об этом. Так вот — да, все кончено. Ты удивлен?

— О, еще бы! Конечно, удивлен! Я считал, что все это частица тебя самой и тебя этого лишить — все равно что вырвать у тебя сердце.

— Я тоже так считала,— говорит она без всякого сожаления. И добавляет с ноткой иронии, оставляющей у меня тягостный осадок: — Как видишь, я могу жить без этого.

Скрестив пальцы, она придерживает ладонями колено. И смотрит в пространство с блуждающей улыбкой, от которой вдруг мо-

лодеет все ее лицо. Сейчас она похожа на толстушку девочку, полную таинственности и чем-то очень довольную.

— Да, я рада, что ты остался прежним. Если бы тебя переставили на другое место, перекрасили и вкопали в землю на обочине другой дороги, я потеряла бы ориентир. Ты мне необходим: я меняюсь, но ты, таков уговор, должен оставаться, каким был. Глядя на тебя, я могу измерить, насколько изменилась я сама.

Я все-таки слегка задет.

— Ну так вот, мерка у тебя неточная,— живо возражаю я.— За это время я как раз переменился, и по сути я...

— Пфф! — с уничтожающим презрением фыркает она.— Подумаешь, интеллектуальные перемены! Вот я изменилась до мозга костей...

До мозга костей... Что потрясло меня в ее голосе? Так или иначе, во мне вдруг совершается перелом — я перестаю искать исчезнувшую Анни. Меня трогает вот эта толстая, потрепанная жизнью женщина, это ее я люблю.

— У меня появилась странная уверенность... физическая, что ли. Я чувствую, что совершенных мгновений не бывает. Когда хожу, я чувствую это ногами. Чувствую все время, даже когда сплю. И не могу об этом забыть. И не то чтобы это меня однажды осенило — я не могу сказать: вот с такой-то минуты или с такого-то дня моя жизнь переменилась. Но отныне у меня всегда такое состояние, будто накануне до меня внезапно это дошло. Я ошеломлена, я не в своей тарелке, я не могу к этому привыкнуть.

Она произносит все это спокойным голосом, с оттенком гордости из-за того, что она так изменилась. Она покачивается на своем сундуке с удивительной грацией. Еще ни разу с тех пор, как я вошел, она не была так похожа на прежнюю Анни, на Анни, какой она была в Марселе. Она вновь покорила меня, вновь погрузила в свой странный мир, за пределами смешного, наигранного, за пределами мудрствований. Я даже вновь чувствую тот легкий озноб, который всегда охватывал меня в ее присутствии, тот же горький привкус во рту.

Анни разомкнула пальцы и выпустила из рук колено. Она молчит. Это рассчитанное молчание — так в Опере сцена остается пустой в течение семи оркестровых тактов, не больше и не меньше. Анни пьет чай. Потом отставляет чашку и, выпрямившись, опирается кулаками на края сундука.

И вдруг ее лицо становится великолепным лицом Медузы, которое я когда-то так любил: исполненное ненависти, перекошенное, ядовитое. Анни меняет не выражение, она меняет лицо, как античные актеры меняли маски — в мгновение ока. И каждая из этих масок призвана творить определенную атмосферу, задавать тон тому, что последует. Маска появляется и остается неизменной, покуда Анни говорит. Потом маска спадает, отделяется от Анни.

Анни устремила на меня невидящий взгляд. Сейчас она заговорит. Я жду трагического монолога на уровне ее маски, жду погребального песнопения.

Но она произносит короткую фразу:

— Я живой мертвец.

Тон не вполне соответствует лицу. Он не трагичен: он страшен — в нем сухое отчаяние, без слез, без жалости. Да, что-то в ней безнадежно иссохло.

Маска упала, Анни улыбается.

— Я вовсе не грущу. Иногда меня это даже удивляло, и зря: о чем мне грустить? Когда-то я была способна на пылкие страсти. Я страстно ненавидела свою мать. Или вот тебя,— с вызовом говорит она,— тебя я страстно любила.

Она ждет ответной реплики. Я молчу.

— Но с этим, разумеется, покончено раз и навсегда.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Знаю, что больше никто и ничто не сможет внушить мне страсть. Понимаешь, начать кого-нибудь любить — это целое дело. Нужна энергия, любопытство, ослепленность... Вначале бывает даже такая минута, когда нужно перепрыгнуть пропасть: стоит задуматься, и этого уже не сделаешь. Я знаю, что больше никогда не прыгну.

— Почему?

Анни бросает на меня иронический взгляд и не отвечает.

— Теперь я живу в окружении моих усопших страстей. Пытаюсь воскресить ту прекрасную ярость, которая побудила меня двенадцатилетней девчонкой кинуться с четвертого этажа, когда мать меня высекла.— И без видимой связи, с отстраненным видом добавляет: — И еще мне нельзя слишком пристально глядеть на вещи. Я должна взглянуть, понять, что это, и сразу отвести глаза.

— Почему?

— Мне противно.

Ну разве это не?.. Во всяком случае, похоже. В Лондоне уже однажды было, что мы, каждый в отдельности, в одно и то же время подумали одно и то же об одних и тех же вещах. Я был бы так рад, если бы... Но мысль Анни делает обычно причудливые извивы, никогда нельзя быть уверенным, что ты ее понял до конца. Я должен это выяснить.

— Послушай, я хотел тебе сказать: ведь я никогда в точности не знал, что такое совершенные мгновения. Ты мне никогда не объясняла.

— Конечно, ты ведь и не делал ни малейших усилий, чтобы понять. Ты оставался рядом со мной чурбан чурбаном.

— Увы! Я знаю, во что мне это обошлось.

— Ты заслужил то, что с тобой случилось, ты был очень виноват. Ты раздражал меня своей основательностью. Всем своим видом ты будто говорил: «Вот я, я человек нормальный» и старался показать, какой ты здоровяк, как ты пышешь моральным здоровьем.

— И все-таки я сотни раз просил тебя объяснить, что такое...

— Да, но каким тоном! — гневно возражает она.— Ты снисходительно осведомлялся: вот какой у тебя был тон. Ты спрашивал с ласковой рассеянностью, как старые дамы спрашивали меня, во что я играю, когда я была маленькая. Вообще-то говоря,— задумчиво продолжает она,— может, как раз тебя я и ненавидела больше всех на свете.

Она делает над собой усилие и, взяв себя в руки, улыбается — щеки ее все еще пылают. Она очень хороша.

— Я готова объяснить тебе, что это такое. Теперь я уже достаточно стара, чтобы, не злясь, посвятить добрых старушек вроде тебя в игры моего детства. Ну говори, что ты хочешь знать?

— Что это такое было.

— Я рассказывала тебе о выигрышных ситуациях?

— По-моему, нет.

— Рассказывала,— твердо заявляет она.— Это было в Эксе, на площади — не помню ее названия. Мы сидели в саду кафе, на самом солнцепеке, под оранжевыми зонтиками. Ты забыл — мы еще пили лимонад и я обнаружила в сахарной пудре дохлых мух.

— А-а, возможно...

— В том самом кафе я и говорила тебе о выигрышных ситуациях. Говорила в связи с большим изданием «Истории» Мишле — с тем, которое было у меня в детстве. Оно было гораздо больше этого, и страницы в нем были тускло-белые, как сердцевина шампиньона, и пахли грибами. После смерти моего отца дядя Жозеф присвоил эти

тома и уволок их к себе. В тот самый день я и назвала его старой свиньей, а мать меня высекла, и я выбросилась из окна.

— Да, да... ты что-то рассказывала мне об этой «Истории Франции»... Ты, кажется, читала ее на чердаке? Видишь, я припоминаю. Ты несправедливо обвиняешь меня в том, что я все забыл.

— Помолчи. Так вот, как ты совершенно правильно вспомнил, я уносила эти тома на чердак. В них было очень мало картинок — три-четыре в каждом томе. Но каждая занимала целую страницу, а оборотная сторона была чистая. Это производило на меня тем большее впечатление, что на других страницах ради экономии места текст был набран в два столбца. Я любила эти гравюры особенной любовью: я все их знала наизусть и, перечитывая какой-нибудь том Мишле, еще за пятьдесят страниц до очередной картинки начинала ждать ее появления, и каждый раз мне казалось чудом, что она на месте. Тут была еще одна тонкость: сцена, изображенная на картине, никогда не совпадала с текстом на ближайших страницах — чтобы найти описание события, надо было забежать на тридцать страниц вперед.

— Умоляю тебя, поговорим о совершенных мгновениях.

— А я тебе говорю о выигрышных ситуациях. Это они были изображены на гравюрах. И я прозвала их выигрышными. Должно же было в них быть что-то особенное, если именно их решили сделать предметом таких немногочисленных иллюстраций. Понимаешь — выбрали именно их, хотя было множество эпизодов, куда более благодарных для художника или более важных для истории. Например, на весь XVI век приходилось всего три картинки: гибель Генриха II, убийство герцога де Гиза и въезд Генриха IV в Париж. И вот я вообразила, что эти события чем-то отличаются от других. К тому же гравюры укрепляли меня в этой мысли — рисунок на них был аляповат, руки и ноги плохо прилажены к туловищу. Но они были полны величия. Вот, например, убит герцог де Гиз — и все очевидцы в ужасе и негодовании выставили вперед ладони, а сами отворачиваются: это очень красиво — ни дать ни взять хор. И не думай, что картинки пренебрегали забавными житейскими подробностями. Ты видел на них и пажей, которые падают с лошади, и маленьких собачек, разбегающихся в разные стороны, и шутов, сидящих на ступеньках трона. Но все эти детали были изображены так величественно и неуклюже, что великолепно гармонировали со всем остальным, пожалуй, я не встречала картин, где бы так строго было выдержано единство. Вот отсюда все и пошло.

— Выигрышные ситуации?

— Во всяком случае, то, как я себе их представляла. Это были ситуации, обладавшие редкими, драгоценными особенностями, если хочешь — стилем. Например, когда мне было восемь, я считала, что быть королем — выигрышная ситуация. Или еще умереть. Ты смеешься, но на картинках было столько людей, изображенных в минуту смерти, и столько людей произносили в этот миг возвышенные слова, что я искренне верила... в общем, я думала, что в минуту агонии человек способен стать выше самого себя. Впрочем, достаточно было просто находиться в комнате, где лежит покойник: смерть была выигрышной ситуацией, от нее исходило нечто такое, что передавалось всем находящимся рядом. Некое величие. Когда умер мой отец, мне приказали пойти наверх в его комнату, чтобы увидеть его в последний раз. Поднимаясь по лестнице, я чувствовала себя глубоко несчастной, но в то же время меня опьянял какой-то набожный восторг — наконец-то я попаду в выигрышную ситуацию. Я оперлась о стену, я пыталась вести себя соответственно такой минуте. Но на коленях у постели стояли мои тетка и мать и своими рыданиями все мне портили.

Последние слова Анни произносит сердито, как будто воспоминание все еще для нее мучительно. Она делает паузу: глядя в одну точку, вздернув брови, она, воспользовавшись случаем, переживает былую сцену заново.

— Позднее я расширила это понятие: во-первых, добавила к выигрышным ситуациям еще одну — любовь (я имею в виду любовный акт). Да вот, кстати, если ты раньше не понимал, почему я тебе отказывала в... в некоторых твоих просьбах, теперь можешь сообразить: я старалась кое-что уберечь. А потом я решила, что, наверно, выигрышных ситуаций гораздо больше, чем я могу насчитать, и в конце концов предположила, что они неисчислимы.

— Хорошо, но что же они все-таки такое?

— Да я же тебе объяснила,— удивленно говорит она.— Вот уже пятнадцать минут я тебе это втолковываю.

— Так что же, важнее, чтобы человек был охвачен какой-то сильной страстью, скажем, ненавистью или любовью, или чтобы во внешней стороне события было величие, то есть я хочу сказать, в той его стороне, которая нам видна?

— И то, и другое,— отвечает она неохотно.

— А совершенные мгновения? Они здесь при чем?

— Они настают потом. Сначала появляются предвестья. Потом в жизнь людей медленно, величаво вступает выигрышная ситуация. И вот тут возникает вопрос, хочешь ли ты превратить ее в совершенное мгновение.

— Понял,— говорю я.— В каждой выигрышной ситуации надо совершать определенные поступки, принимать определенные позы, говорить определенные слова — а другие позы и слова категорически возбраняются. Верно?

— Если угодно...

— В общем, выигрышная ситуация — это сырье, его надо обработать.

— Именно,— говорит она.— Сначала надо оказаться в каких-то исключительных обстоятельствах, а потом ощутить, что вносишь в них порядок. Если все эти условия соблюдены, мгновение становится совершенным.

— Словом, это своего рода произведение искусства.

— Ты мне это уже говорил,— раздраженно возражает она.— Нет: это был... долг. Выигрышную ситуацию надлежало преобразить в совершенное мгновение. Это был вопрос нравственности. Можешь смеяться сколько угодно — именно нравственности.

Я вовсе не смеюсь.

— Слушай,— говорю я внезапно,— я тоже хочу покаяться. Я никогда тебя по-настоящему не понимал, не старался искренне тебе помочь. Если бы я знал...

— Спасибо, большое спасибо,— говорит она с иронией.— Надеюсь, ты не ждешь благодарности за твое запоздалое раскаяние. Впрочем, я на тебя не сержусь — я никогда ничего тебе толком не объясняла, я была зажата, я не могла говорить об этом ни с кем, даже с тобой — в особенности с тобой. В эти минуты всегда вторгалась какая-то фальшивая нота. И я теряла голову. А между тем у меня бывало такое чувство, что я сделала все что могла.

— Ну а что надо было делать? Как себя вести?

— До чего ты глуп! Разве можно привести пример. Смотря по обстоятельствам.

— Но расскажи, что ты пыталась делать.

— Не хочу. Впрочем, пожалуй, расскажу тебе историю, которая поразила меня, когда я еще в школе училась. Был один король, он проиграл сражение и попал в плен. И сидел где-то в уголке в лагере победителя. Перед ним провели в оковах его сына и дочь. Он не заплакал, не сказал ни слова. Потом перед ним провели, тоже в око-

вах, одного из его слуг. И тут он начал стонать и рвать на себе волосы. Другие примеры можешь придумать сам. Но ты понял: иногда плакать нельзя, или ты мразь. Но если тебе на ногу упало полено, можешь делать что угодно — хнычь, рыдай, прыгай на другой ноге. Глупо все время оставаться стоиком — растратишь себя по пустякам.— Она улыбается.— А в некоторых случаях надо быть даже *больше* чем стоиком. Ты, конечно, не помнишь, как я в первый раз поцеловала тебя?

— Прекрасно помню,— победно заявляю я,— это было в Кью-Гарденз на берегу Темзы.

— Но ты никогда не подозревал, что я сидела на крапиве: платье у меня задралось, крапива обстрекала ляжки, и при малейшем движении их жгло все сильнее. Ну так вот, тут одного стоицизма было мало. Ты меня нисколько не волновал, особого желания целоваться с тобой у меня не было, поцелуй, который я собиралась тебе подарить, имел куда более важный смысл — то был залог, договор. Понимаешь сам, как некстати пришлась эта боль: в такую минуту я не имела права думать о своих ляжках. Мало было не показывать, что мне больно, надо было боли не чувствовать.— Она гордо смотрит на меня, все еще удивленная своим подвигом.— На целых двадцать минут — на все то время, что ты меня уламывал, хотя я и без того уже решила тебя поцеловать, на все то время, что я заставила себя упрашивать,— ведь поцелуй должен был быть дан по всем правилам,— я себя полностью обезболила. А, Бог свидетель, кожа у меня на редкость чувствительна. Но я *ничего* не чувствовала, пока мы не встали.

Все так, все знакомо. И приключений нет, и совершенных мгновений нет... мы утратили одни и те же иллюзии, мы шли одними и теми же путями. Остальное я угадываю — могу даже сам вместо нее договорить то, что ей еще осталось сказать:

— И вот ты поняла, что всегда найдутся тетки, которые плачут, или рыжий тип, или кто-нибудь еще, кто испортит тебе всю картину?

— Конечно,— подтвердила она без восторга.

— Разве не в этом дело?

— Ох, знаешь, с оплошностями рыжего типа я в конце концов могла бы смириться. В общем-то с моей стороны было чистейшей любезностью интересоваться тем, как играют свою роль другие... нет, дело скорее в том...

— В том, что выигрышных ситуаций нет?

— Именно. Я думала, что ненависть, любовь или смерть низвергаются на нас, как языки пламени в Страстную пятницу. Я думала, что можно излучать ненависть или смерть. Как я ошибалась! Ну да, я ведь и впрямь верила, что существует «Ненависть», которая нисходит на людей и возвышает их над собой. А на самом деле это я сама — я ненавижу, я люблю. Но ведь каждое я — это всегда одно и то же, некое месиво, и оно тянется, тянется... и все так похожи, что просто диву даешься, зачем это люди придумали имена и какие-то различия.

Наши мысли совпадают. Мне кажется, мы никогда не расставались.

— Послушай,— говорю я.— Вот уже несколько минут я размышляю кое о чем, что нравится мне больше, чем роль дорожного столба, которую ты мне великодушно предназначила: дело в том, что мы изменились одновременно и одинаково. И знаешь, мне это больше по душе, чем видеть, как ты уходишь все дальше и дальше, а я обречен всегда оставаться твоей отправной точкой. Все, что ты мне сейчас рассказала, я сам хотел тебе рассказать — правда, другими словами. Мы прибыли в один и тот же пункт. Не могу тебе передать, как меня это радует.

— Да? — говорит она ласково, но упрямо.— А я все же предпочла бы, чтобы ты не менялся,— так удобнее. Я не похожа на тебя, мне вовсе не нравится, что кто-то думает так же, как я. Да и потом, ты ошибаешься.

Я рассказываю ей о том, что со мной произошло, говорю о существовании — наверно, слишком пространно. Она прилежно слушает, расширив глаза, вздернув брови.

Я кончил — на ее лице облегчение.

— Ну так вот, ты думаешь совсем не так, как я. Ты недоволен, потому что хотел бы, чтобы вещи располагались вокруг тебя словно букеты цветов, а тебе чтобы для этого не пришлось и пальцем шевельнуть. Я никогда так многого не требовала — я хотела действовать. Знаешь, когда мы с тобой изображали искателей приключений,— ты был тем, с кем приключения случаются, а я той, кто их вызывает. Я говорила: «Я человек действия». Помнишь? Ну так вот, а теперь я просто-напросто говорю: «Быть человеком действия нельзя».

Должно быть, по моему лицу она видит, что меня не убедила, потому что она начинает горячиться и заявляет уже решительней:

— К тому же есть многое, чего я тебе не сказала, это слишком долго объяснять. Например, даже в ту минуту, когда я действовала, мне надо было говорить себе, что это может привести к... роковым последствиям. Не могу толком объяснить...

— И не надо,— нудно упорствую я,— об этом я думал тоже.

Она глядит на меня с недоверием.

— Послушать тебя, ты обо всем на свете думал то же, что и я,— очень странно.

Убедить я ее не могу, только вызову ее гнев. Я молчу. Мне хочется стиснуть ее в объятиях.

Вдруг она бросает на меня тревожный взгляд:

— Но если ты все это думал, как тогда быть?

Я опускаю голову.

— Стало быть, я... я живой мертвец? — тяжело повторяет она.

Что я могу ей ответить? Разве я знаю, зачем мы живем? Я не отчаиваюсь, как она, потому что никаких особых надежд я не питал. Скорее я... удивлен жизнью, которая дана мне ради — ради *ничего*. Я не поднимаю головы, мне не хочется видеть в эту минуту лицо Анни.

— Я путешествую,— хмуро говорит она.— Сейчас я из Швеции. На неделю остановилась в Берлине. Тут этот тип, который меня содержит...

Стиснуть ее в объятиях... К чему? Что я могу для нее сделать? Она одинока, как и я.

— Что ты там бормочешь? — спрашивает она уже более веселым тоном.

Я поднимаю взгляд. Она смотрит на меня с нежностью.

— Так, ничего. Просто кое о чем подумал.

— О, таинственная личность! Или говори внятно, или молчи, одно из двух.

Я рассказываю ей о «Приюте путейцев», о пластинке со старым «рэгтаймом», которую я всегда прошу поставить, о странном счастье, какое при этом испытываю.

— Я думал, нельзя ли тут найти или хотя бы поискать...

Она не отвечает, похоже, ее не слишком заинтересовали мои слова.

Но все же немного погодя она подхватывает — и я не пойму, отвечает она собственным мыслям, или это отклик на то, что я только что сказал.

— Картины, статуи — они не помогут: это красота *вне* меня. Музыка...

— Ну а в театре...

— Что в театре? Ты решил перечислить все виды искусств?

— Ты когда-то говорила, что хочешь играть в театре, потому что в нем можно воплощать совершенные мгновения!

— Да, я воплощала их, но для других. А сама была в пыли, на сквозняке, под слепящими софитами, среди картонных декораций. Обычно моим партнером был Торндайк. Ты, наверно, видел его в «Ковент-Гарден». Я всегда боялась, что расхохочусь ему в лицо.

— И тебя никогда не захватывала твоя роль?

— Минутами чуть-чуть, но никогда целиком. Главным для всех нас оставался черный провал прямо перед нами, и в его глубине люди, которых мы не видели,— для них мы в самом деле разыгрывали совершенное мгновение. Но понимаешь, они ведь не жили внутри этого мгновения — оно развертывалось у них на глазах. Думаешь, мы, актеры, находились внутри? В конечном счете его не было нигде, ни по ту, ни по эту сторону рампы,— оно не существовало; и однако, все о нем думали. Вот почему, малыш,— говорит она, растягивая слова, тоном едва ли не вульгарным,— я все послала к чертям.

— А я пытался написать эту книгу...

— Я живу в прошлом,— перебила она меня.— Восстанавливаю в памяти все, что со мной было, и переделываю на свой лад. На расстоянии все кажется не таким уж скверным, и ты почти готов в это поверить. Вот и наша с тобой история совсем недурна. Я ее чуть-чуть подправляю, и она превращается в цепочку совершенных мгновений. Тогда я закрываю глаза и пытаюсь вообразить, что я все еще переживаю их. Есть у меня и другие персонажи. Надо только уметь сосредоточиться. Знаешь, что я прочитала? «Духовные упражнения» Лойолы. Они мне очень помогли. Есть такой способ — сначала расставить декорации, а потом вызывать к жизни персонажей. И тогда удается *увидеть*,— заканчивает она с видом заклинательницы.

— Мне этого было бы далеко не достаточно,— замечаю я.

— А думаешь, мне достаточно?

Мы помолчали. Смеркается — я едва различаю бледное пятно ее лица. Черная одежда Анни сливается с сумерками, затопившими комнату. Машинально я беру чашку, где на дне еще осталось немного чаю, и подношу к губам. Чай остыл. Мне хочется закурить, но я не решаюсь. Я мучительно ощущаю, что нам больше нечего сказать друг другу. Еще вчера мне хотелось забросать ее вопросами: где она побывала, что делала, с кем встречалась? Но меня это интересовало лишь постольку, поскольку Анни способна была отдаться этому всей душой. А теперь мне все равно: страны, города, которые Анни повидала, мужчины, которые за ней ухаживали и которых, может статься, она любила,— все это не захватывало ее, в глубине души она оставалась совершенно равнодушной: мимолетные солнечные блики на поверхности темного, холодного моря. Передо мной сидит Анни, мы не виделись четыре года, и нам больше нечего друг другу сказать.

— А теперь,— говорит вдруг Анни,— тебе пора. Я кое-кого жду.

— Ты ждешь?..

— Нет, я жду одного немца, художника.

Она смеется. Ее смех странно звучит в темной комнате.

— Вот, кстати, человек, который на нас с тобой не похож,— пока еще не похож. Он действует, он расходует себя.

Я неохотно встаю.

— Когда я тебя увижу?

— Не знаю, завтра я уезжаю в Лондон.

— Через Дьеп?

— Да, а потом, наверно, в Египет. Может, будущей зимой проездом опять загляну в Париж, я тебе напишу.

— Завтра я целый день свободен,— робко говорю я.

— Да, но у меня много дел,— сухо отвечает она.— Нет, я не могу с тобой увидеться. Я напишу тебе из Египта. Дай мне твой адрес.

— Хорошо.

На обрывке конверта я в потемках нацарапываю свой адрес. Надо будет попросить в отеле «Прентания», чтобы мне пересылали письма, когда я уеду из Бувиля. В глубине души я знаю, что Анни мне не напишет. Может, я увижу ее через десять лет. А может, мы видимся в последний раз. Я не просто подавлен, оттого что расстаюсь с ней,— мне жутко при мысли, что я снова окажусь в одиночестве.

Анни встает, в дверях она бегло целует меня в губы.

— Я хочу вспомнить вкус твоих губ,— говорит она с улыбкой.— Мне надо омолодить воспоминания для моих «духовных упражнений».

Я беру ее за руку и притягиваю к себе. Она не сопротивляется, но мотает головой.

— Нет. Меня это больше не волнует. Начать сначала нельзя... Впрочем, если уж извлекать что-то из людей, не все ли равно — ты или первый попавшийся смазливый мальчишка.

— Но что ты собираешься делать?

— Я же сказала тебе — поеду в Англию.

— Да нет, я имею в виду...

— Говорю тебе — ничего!

Не выпуская ее рук, я тихо говорю:

— Выходит, я тебя нашел, чтобы снова потерять.

Теперь я отчетливо вижу ее лицо. Оно вдруг посерело и вытянулось. Лицо старухи, жуткое лицо — я уверен, это лицо Анни не старалась вызвать к жизни,— оно явилось само, помимо ее воли и, может, даже против ее воли.

— Нет,— медленно говорит она,— нет. Ты меня не нашел.

Она высвобождается из моих рук. Открывает дверь. Коридор залит светом.

Анни смеется.

— Бедняга! Ему не повезло. Первый раз в жизни хорошо играет свою роль, а благодарности никакой. Ладно, уходи.

И за моей спиной захлопывается дверь.

Воскресенье

Утром я посмотрел расписание поездов: если Анни сказала правду, она едет через Дьеп поездом, который отходит в пять тридцать восемь. Но может, «тип» увезет ее на машине? Все утро я бродил по улицам Менильмонтана, а потом по набережным. Всего несколько шагов, несколько стен отделяли меня от нее. В пять тридцать восемь наша вчерашняя беседа станет воспоминанием, тучная женщина, губы которой мимолетно коснулись моих губ, соединится в прошлом с худенькой девушкой из Мекнеса и Лондона. Но пока еще ничто не ушло в прошлое, поскольку она здесь, поскольку еще можно ее увидеть, убедить, увести с собой навсегда. Я еще не чувствовал одиночества.

Я хотел перестать думать об Анни, потому что, вызывая в своем воображении ее тело и лицо, я совершенно терял власть над собой: руки у меня тряслись, по телу пробегала холодная дрожь. Я стал перелистывать книги на прилавках букинистов, и в первую очередь всякую похабщину — что там ни говори, это отвлекает.

Когда на часах вокзала Орсе пробило пять, я рассматривал гравюры в книжонке под названием «Доктор с хлыстом». Они были

довольно однообразны: на большинстве бородатый детина заносил плеть над чудовищными голыми задами. Едва я понял, что уже пять, я бросил книгу на прилавок и, схватив такси, помчался к вокзалу Сен-Лазар. Минут двадцать я прохаживался по платформе, потом увидел их. На ней было широкое меховое манто, придававшее ей вид дамы. И вуалетка. На нем пальто из верблюжьей шерсти. Он был загорелый, еще молодой, очень высокий и очень красивый. Без сомнения, иностранец, но никак не англичанин — может быть, египтянин. Они поднялись в вагон, не заметив меня. Друг с другом они не разговаривали. Потом он вышел, чтобы купить газеты. Анни опустила стекло в своем купе; тут она меня увидела. Она долго глядела на меня без гнева, ничего не выражающим взглядом. Потом он вернулся в вагон, и поезд тронулся. В эту минуту я вдруг отчетливо увидел ресторан на Пиккадилли, где мы когда-то обедали, потом все кануло. Я отправился бродить по улицам. Устав, я вошел в какое-то кафе и заснул. Официант разбудил меня, и я пишу сейчас, еще не стряхнув с себя сон.

Завтра дневным поездом я вернусь в Бувиль. Я останусь в нем не больше двух дней — этого хватит, чтобы сложить чемоданы и закончить расчеты с банком. В отеле «Прентания», наверно, захотят, чтобы я уплатил за две недели вперед, поскольку я заранее не предупредил об отъезде. Еще надо вернуть книги в библиотеку. Так или иначе, до конца недели я возвращусь в Париж.

Что я выиграю от этой перемены? Не один город, так другой: один рассечен надвое рекой, другой окружен морем — если этого не считать, они похожи. Люди выбирают невозделанную, бесплодную землю и громоздят на нее громадные полые камни. В этих камнях заключены запахи, они тяжелее воздуха. Иногда их выбрасывают через окно на улицы, и они остаются там, пока их не разметает ветер. В ясную погоду в город с одной стороны вливаются шумы и, пройдя сквозь все стены, выходят с другой; бывает, они кружат среди камней, которые раскаляются на солнце, а на морозе покрываются трещинами.

Я боюсь городов. Но уезжать из них нельзя. Если ты рискнешь оторваться от них слишком далеко, тебя возьмет в свое кольцо Растительность. Растительность, протянувшаяся на километры и километры, ползет к городам. Она ждет. Когда город умрет, Растительность вторгнется в него, вскарабкается вверх по камням, оплетет их, проберется внутрь и разорвет своими длинными, черными щупальцами; она лишит отверстия света и повсюду развесит свои зеленые лапы. Пока города живы, надо оставаться в них, нельзя одному проникать под густые космы у городских ворот — пусть себе колышутся и лопаются без свидетелей. В городах, если повести себя умело и выбрать часы, когда животные переваривают пищу или спят в своих убежищах за грудами продуктов распада органического мира, можно встретить только минералы — наименее страшное из всего, что существует.

Мне предстоит вернуться в Бувиль. Растительность осаждает его только с трех сторон. С четвертой стороны — огромная пропасть, заполненная черной, шевелящейся водой. Между домами свистит ветер. Запахи здесь задерживаются не так долго, как в других местах: гонимые ветром к морю, они стелются над черной водой, словно блуждающие сгустки тумана. Идет дождь. На участке, обнесенном с четырех сторон оградой, люди оставили место для растений. Но это оскопленные, прирученные, безобидные растения — так они разжирели. У них огромные белесоватые листья, свисающие вниз словно уши. А пощупаешь их — точь-в-точь хрящи. В Бувиле все жирное, все белое из-за всей этой воды, низвергающейся с небес. Мне придется вернуться в Бувиль. Какой ужас!

Внезапно я просыпаюсь. Полночь. Шесть часов назад Анни уеха-

ла из Парижа. Пароход уже вышел в открытое море. Она спит в каюте, а на мостике загорелый «тип» курит сигареты.

Вторник, в Бувиле

Значит, это и есть свобода? У моих ног понуро спускаются к городу сады, и в каждом саду — дом. Я вижу море, тяжелое, неподвижное, я вижу Бувиль. Погода стоит прекрасная.

Я свободен: в моей жизни нет больше никакого смысла — все то, ради чего я пробовал жить, рухнуло, а ничего другого я придумать не могу. Я еще молод, у меня достаточно сил, чтобы начать сначала. Но что начать? Только теперь я понял, как надеялся в разгар моих страхов, приступов тошноты, что меня спасет Анни. Мое прошлое умерло, маркиз де Рольбон умер, Анни вернулась только для того, чтобы отнять у меня всякую надежду. Я один на этой белой, окаймленной садами улице. Один — и свободен. Но эта свобода слегка напоминает смерть.

Сегодня моя жизнь завершается. Завтра я уеду из города, который расстилается у моих ног и где я прожил так долго. В моей памяти от него останется только название, кургузое, буржуазное, чисто французское название, не такое роскошное, как Флоренция или Багдад. Настанет время, когда я спрошу себя: «Что я мог делать целыми днями, живя в Бувиле?» И от сегодняшнего солнца, от сегодняшних предвечерних часов не останется ничего — даже воспоминания.

Вся моя жизнь лежит позади меня. Я вижу ее всю целиком, ее очертания и вялые движения, которые привели меня сюда. Что тут скажешь — партия проиграна, вот и все. Три года назад я торжественно явился в Бувиль. Проиграл первый тур. Захотел сыграть второй — проиграл второй и проиграл партию. И при этом узнал, что проигрыш неизбежен всегда. Только подонки думают, что выиграли. Отныне, по примеру Анни, я буду жить как живой мертвец. Есть, спать. Спать, есть. Существовать вяло, покорно, как деревья, как лужа, как красное сиденье трамвая.

Тошнота дала мне короткую передышку. Но я знаю, что она вернется: она — мое обычное состояние. Просто сегодня я слишком устал физически, чтобы ее вынести. У больных ведь тоже бывают промежутки спасительной слабости, когда они на несколько часов забывают о своей болезни. Сейчас мне скучно — вот и все. По временам я зеваю так сильно, что по щекам у меня катятся слезы. Это скука из глубочайших глубин, это глубинная суть существования, сама материя, из которой я сделан. Я не опускаюсь — наоборот: сегодня утром я принял ванну, побрился. Но когда я припоминаю все эти мелкие усилия по уходу за собой, я не пойму, как я мог их прилагать — так они никчемны. Это, наверно, привычка совершила их за меня. Привычки-то не умерли, они продолжают суетиться, потихоньку, незаметно они делают свое дело — моют меня, вытирают, одевают, словно няньки. Не они ли привели меня на этот холм? Я не помню, как я сюда попал. Без сомнения, поднялся по лестнице Дотри. Неужели я в самом деле по одной одолел все ее сто десять ступенек. А еще труднее представить себе, что скоро я спущусь по ней вниз. И однако, я знаю: в какой-то миг я окажусь у подножия Зеленого Холма и смогу, задрав голову кверху, увидеть, как вдали зажигаются окна домов, которые сейчас в двух шагах от меня. Вдали. Над моей головой. А это мгновение, из которого я не могу вырваться, которое держит меня в плену, замыкая со всех сторон, это мгновение, из которого я состою, останется лишь смутным сновидением.

Я гляжу вниз на серое посверкивание Бувиля. Можно подумать, что это искрятся на солнце чешуйки раковин, обломки костей, гравий. Затерянные среди этих осколков крошечные кусочки стекла

или слюды мерцают вдруг короткими вспышками. Желобки, рвы и узкие бороздки, бегущие между раковинами, через час превратятся в улицы, и я пойду по этим улицам вдоль стен домов. И сам стану одной из тех крошечных черных фигурок, которые я могу разглядеть на улице Булибе.

Каким далеким от них я чувствую себя с вершины этого холма. Словно я принадлежу к другой породе. После рабочего дня они выходят из своих контор, самодовольно оглядывают дома и скверы, и думают: «Это *наш* город, красивый буржуазный город». Им не страшно, они у себя. Воду они видят только прирученную, текущую из крана, свет — только тот, который излучают лампочки, когда повернешь выключатель, деревья только гибридных, одомашненных видов, которые опираются на подпорки. Сто раз на дню они лицезрят доказательство того, что все работает как отлаженный механизм, все подчиняется незыблемым и непреложным законам. Тела, брошенные в пустоту, падают с одинаковой скоростью, городской парк каждый день закрывается зимой в шестнадцать часов, летом в восемнадцать; свинец плавится при температуре 335 градусов; последний трамвай отходит от Ратуши в двадцать три часа пять минут. Они уравновешены, мрачноваты, они думают о Завтрашнем дне, то есть, попросту говоря,— об очередном сегодня: у городов бывает один-единственный день — каждое утро он возвращается точно таким, каким был накануне. Разве что по воскресеньям его стараются слегка прифрантить. Болваны! Мне противно думать, что я снова увижу их тупые, самодовольные лица. Они составляют законы, сочиняют популистские романы, женятся, доходят в своей глупости до того, что плодят детей. А между тем великая, блуждающая природа прокралась в их город, проникла повсюду — в их дома, в их конторы, в них самих. Она не шевелится, она затаилась, они полны ею, они вдыхают ее, но не замечают, им кажется, что она где-то вовне, за двадцать лье от города. А я, *я вижу* ее, эту природу, *вижу*... Я знаю, что ее покорность — не покорность, а лень, знаю, что законы для нее не писаны: то, что они принимают за ее постоянство... Это всего лишь привычки, и завтра она может их переменить.

Ну, а если что-то случится? Если вдруг она встрепенется? Тогда они заметят, что она тут, рядом, и сердце у них захолонет. Что проку им будет тогда от их плотин, насыпей, электростанций, от их домен и копров? Случиться это может когда угодно, хоть сию минуту — предзнаменований много. И тогда, например, отец семейства на прогулке увидит вдруг, как навстречу ему по дороге, словно подгоняемая ветром, несется красная тряпка. И когда тряпка окажется с ним рядом, он увидит, что это кусок запыленного гнилого мяса, которое тащится то ползком, то вприпрыжку, кусок истерзанной плоти в ручейках крови, которую она выбрасывает толчками. Или какая-нибудь мать взглянет на щеку своего ребенка и спросит: «Что это у тебя? Прыщик?» — и увидит, как щека вдруг припухла, треснула, приоткрылась и из трещины выглядывает третий глаз, смеющийся глаз. Или они почувствуют, как что-то мягко трется обо все их тело — так камыши в реке ласково льнут к пловцам. И они узнают, что их одежда ожила. А один из них почувствует, как что-то скребется у него во рту. Он подойдет к зеркалу, откроет рот — а это его язык стал огромной сороконожкой и сучит лапками, царапая ему нёбо. Он захочет ее выплюнуть, но это часть его самого, придется вырвать язык руками. И появится множество вещей, которым придется дать новые имена: каменный глаз, громадная трехрогая рука, ступня-костыль, челюсть-паук. И тот, кто заснул в своей мягкой постели, в своей теплой, уютной комнате, проснется голым на синеватой земле в шумящих зарослях детородных членов — красные и белые, они будут устремлены в небо, словно трубы Жукстебувиля, и огромные их мошонки вылезут из земли на поверхность, мохнатые,

похожие на луковицы. А над фаллосами будут кружиться птицы и клевать их своими клювами, и из них будет сочиться кровь. И еще из ран потечет сперма, медленно, вяло потечет смешанная с кровью сперма, студенистая, теплая, в мелких пузырьках. Или ничего этого не случится, никаких явных изменений не произойдет, но люди проснутся однажды утром и, открыв ставни, удивятся какому-то жуткому смыслу, который внедрился в вещи и чего-то ждет. Только и всего, но стоит этому хоть немного продлиться, и люди сотнями начнут кончать с собой. Ну что ж, и пусть! Пусть хоть что-то изменится, лучшего мне не надо, поглядим, что тогда будет. Многие погрязнут вдруг в одиночестве. Одинокие, совершенно одинокие, зловещие уроды побегут тогда по улицам, валом повалят мимо меня, глядя в одну точку, спасаясь от своих бед и унося их с собой, открыв рот и высунув язык-насекомое, хлопающее крыльями. И тогда я расхохочусь, даже если мое собственное тело покроет подозрительная грязная короста, которая расцветет цветами плоти, лютиками и фиалками. Я привалюсь к стене и крикну бегущим мимо: «Чего вы добились вашей наукой? Чего вы добились вашим гуманизмом? Где твое достоинство, мыслящий тростник?» Мне не будет страшно — во всяком случае, не страшнее, чем сейчас. Разве это не то же самое существование, вариации на тему существования? Третий глаз, который постепенно распространится по всему лицу, конечно, лишний, но не более чем два первых. Существование — вот чего я боюсь.

Стемнело, город зажигает первые огни. Господи! Как он захлестнут природой, несмотря на все его геометрические линии, как давит на него вечер. Отсюда это так... так бросается в глаза. Неужели же один я это вижу? Неужели нет нигде другой Кассандры, которая вот так же стоит на холме и видит у своих ног город, поглощенный утробой природы. А впрочем, какая мне разница? Что я могу ей сказать?

Мое тело тихонько повертывается к востоку и, качнувшись, пускается в путь.

Среда, мой последний день в Бувиле

Я обегал весь город в поисках Самоучки. Домой он наверняка не пошел. Должно быть, бродит, не разбирая дороги, подавленный стыдом и ужасом, бедняга-гуманист, отвергнутый людьми. По правде сказать, я ничуть не удивился, когда стряслась эта история,— я предугадывал давно, что его кроткая, пугливая голова неминуемо навлечет на себя скандал. Его вина была так ничтожна: в его робкой созерцательной любви к молодым людям почти нет чувственности — скорее это своеобразная форма гуманизма. Но ему было уготовано в один прекрасный день оказаться одиноким. Как мсье Ахилл, как я сам — он из той же породы, что я, он полон доброй воли. Отныне его удел одиночество — и уже навсегда. В мгновение ока рухнуло все: его мечты о культуре, мечты о согласии между людьми. Сначала придет страх, ужас, бессонные ночи, потом потянутся долгие дни изгнания. По вечерам он будет бродить по двору Ипотечного банка, издали смотреть на освещенные окна читального зала и с замиранием сердца вспоминать длинные ряды книг, их кожаные переплеты, запах их страниц. Мне жаль, что я не проводил его, но он сам не захотел — сам просил оставить его одного, он начал проходить выучку у одиночества. Я делаю эту запись в кафе «Мабли». Я вошел сюда, как бы совершая ритуал: я хотел рассмотреть заведующего, рассмотреть кассиршу, чтобы со всей силой почувствовать, что вижу их в последний раз. Но я не могу заставить себя забыть о Самоучке — перед глазами у меня все время стоит его искаженное, полное укоризны лицо и окровавленный воротничок. Я попросил дать мне бумагу и сейчас опишу, что с ним случилось.

В библиотеку я пришел в два часа пополудни. Я говорил себе: «Вот библиотека. Я вхожу в нее в последний раз».

Зал был почти пуст. Я узнавал его с трудом — ведь я знал, что никогда сюда не вернусь. Зал был легким, как дымка, почти ирреальным и совершенно рыжим: в лучах заката порыжели стол, за которым работают ассистентки, дверь, корешки книг. На секунду мне почудилось, будто я в роще среди золотой листвы. Я поддался очарованию, я улыбнулся. А сам подумал: «Как давно я не улыбался». Корсиканец, заложив руки за спину, смотрел в окно. Что он там видел? Череп Эмпетраза? «А я больше не увижу ни черепа Эмпетраза, ни его цилиндра, ни его сюртука. Через шесть часов я уеду из Бувиля». Я положил на столик перед помощником главного библиотекаря две книги, взятые в прошлом месяце. Он разорвал зеленую абонементную карточку и обрывки протянул мне.

— Пожалуйста, мсье Рокантен.

— Спасибо.

«Теперь я ничего им больше не должен,— подумал я.— Я никому больше ничего здесь не должен. Скоро я попрощаюсь с хозяйкой «Приюта путейцев». Я свободен». Несколько мгновений я колебался: как мне провести эти последние минуты, не совершить ли долгую прогулку по Бувилю, снова поглядеть на бульвар Виктора Нуара, на проспект Гальвани, на улицу Турнебрид? Но эта роща была такой тихой, такой чистой, казалось, она почти не существует и Тошнота обошла ее стороной. Я пошел и сел возле печки. На столике валялась «Бувильская газета». Я протянул руку и взял ее.

«Спасен своей собакой.

Г-н Дюбоск, домовладелец из Ремиредона, возвращался вчера вечером на велосипеде с ярмарки в Ножи...»

Справа от меня уселась толстая дама. Свою шляпу она положила рядом с собой. Нос был всажен в ее лицо, как фруктовый ножик в яблоко. А под носом презрительно кривилось крохотное непристойное отверстие. Дама извлекла из сумочки книгу в переплете и облокотилась на стол, подперев голову жирными руками. Прямо передо мной дремал старичок. Я его узнал — он сидел в библиотеке в тот самый вечер, когда мне было так страшно. По-моему, ему тоже было страшно. «Как далеко все это ушло»,— подумал я.

В половине пятого пришел Самоучка. Мне хотелось пожать ему руку и проститься с ним. Но, надо полагать, от нашей последней встречи у него остался неприятный осадок: он сдержанно поклонился мне и маленький белый сверток, в котором, наверно, как всегда, были кусок хлеба и плитка шоколада, положил довольно далеко от того места, где я сидел. Немного погодя он возвратился с иллюстрированной книгой, которую положил рядом со свертком. «Я вижу его в последний раз»,— подумал я. Завтра вечером, послезавтра вечером и все последующие вечера он будет усаживаться за этот стол и, подкрепляясь хлебом с шоколадом, терпеливо, как крыса, грызть науку, он будет читать произведения Набо, Нодо, Ниса, Нодье, время от времени отрываясь от них, чтобы внести в свою записную книжицу какое-нибудь изречение. А я буду бродить по Парижу, по улицам Парижа, встречать новые лица. Что случится со мной, пока он будет сидеть здесь и лампа будет освещать его крупное вдумчивое лицо? Я вовремя спохватился — я опять едва не поддался иллюзорной надежде приключения. Пожав плечами, я вернулся к газете.

«Бувиль и его окрестности.

Монистье.

Итоги деятельности бригады полиции за 1932 год. Старшему сержанту Гаспару, командиру бригады в Монистье, и четырем его подчиненным, полицейским Лагуту, Низану, Пьерпону и Гилю, в 1932 году не пришлось сидеть сложа руки. В самом деле, наши полицейские за это время запротоколировали 7 убийств, 82 нарушения порядка,

159 случаев нарушения закона, 6 самоубийств и 15 автомобильных аварий, из которых 3 со смертельным исходом».

«*Жукстебувиль.*

Кружок Трубачей Жукстебувиля.

Сегодня генеральная репетиция и выдача приглашений на ежегодный концерт».

«*Компостель.*

Вручение мэру ордена Почетного легиона».

«*Бувильский турист* (основан в 1924 году «Бувильским Скаутом»).

Сегодня в 20 ч. 45 м. ежемесячное собрание в помещении правления по ул. Фердинанда Бирона, 10, зал. А. Повестка дня: чтение последнего протокола; информация, ежегодный банкет, уплата членских взносов за 1932 год; программа мероприятий на март; разное; прием новых членов».

«Общество защиты животных (Бувильское отделение).

В будущий четверг с 15 до 17 часов в зале С на ул. Фердинанда Бирона, 10, в Бувиле общественное дежурство. Письма адресовать председателю общества — в правление или на проспект Гальвани, 154».

«Бувильский клуб сторожевых собак... Бувильская ассоциация инвалидов войны... Профсоюзное собрание владельцев такси... Бувильский комитет Друзей педагогических институтов»...

Вошли двое подростков с портфелями. Лицеисты. Корсиканец очень любит лицеистов, поскольку может осуществлять за ними отеческий надзор. Желая потешить душу, он часто предоставляет им ерзать на стульях и болтать, чтобы потом вдруг, неслышно подкравшись, оказаться у них за спиной и начать их распекать: «Куда ж это годится — взрослые молодые люди и так себя ведут? Если вы не исправитесь, главный библиотекарь пожалуется вашему директору». А если они вступают с ним в спор, он пронзает их грозным взглядом: «Ваши фамилии». Руководит он также их чтением; некоторые книги в библиотеке помечены красным крестиком — это Преисподняя: произведения Жида, Дидро, Бодлера, медицинские труды. Когда лицеист просит одну из этих книг, корсиканец знаком подзывает его к себе, отводит в уголок и учиняет допрос. Через несколько мгновений он, уже не сдерживаясь, гремит на весь зал: «А ведь есть книги куда более подходящие для вашего возраста. Поучительные книги. Кстати, уроки вы приготовить успели? В каком вы классе? Во втором? [1]. И после четырех часов вам уже нечего делать? Ваш учитель часто здесь бывает, вот я поговорю с ним насчет вас».

Оба подростка остановились у печки. У младшего были красивые черные волосы, кожа, пожалуй, даже слишком нежная, и малюсенький рот — злой и высокомерный. Его приятель, кряжистый толстяк с пушком над губой, подтолкнул его под локоть и что-то сказал. Малыш не ответил, но чуть заметно улыбнулся, спесиво и самодовольно. Потом оба небрежно сняли с полки какой-то словарь и направились к Самоучке, который устремил на них усталый взгляд. Они делали вид, будто не обращают на него внимания, но уселись как раз с ним рядом — черноволосый малыш слева от Самоучки, а кряжистый толстяк слева от малыша. Оба сразу принялись листать словарь. Самоучка обвел рассеянным взглядом зал, потом снова углубился в чтение. Никогда ни один читальный зал не являл собой зрелища более мирного, я не слышал ни звука, кроме одышливого дыхания толстой дамы, я видел только головы, склоненные над большим словарем in-octavo. И однако, с этой минуты я почувствовал, что вот-вот случится какая-то беда. Все эти люди, с прилежным видом опускавшие глаза, словно бы разыгрывали комедию: за несколько мгновений до этого на нас как бы дохнуло жестокостью.

[1] Во французских лицеях счет классов — обратный нашему; второй класс — предпоследний, предвыпускной.

Читать я кончил, но уйти не решался: я ждал, делая вид, что продолжаю читать газету. Мое любопытство и тревогу в особенности подогревало то, что другие ждали тоже. Мне показалось, что моя соседка стала быстрее перелистывать страницы своей книги. Прошло несколько минут, потом я услышал шепот. Я осторожно поднял голову. Подростки закрыли свой словарь. Черноволосый малыш молчал — он повернулся направо, и лицо его выражало почтительный интерес. До половины скрытый его плечом, белобрысый навострил уши и тихонько посмеивался. «Но кто же это говорит?» — подумал я.

Говорил Самоучка. Склонившись к своему юному соседу, глаза в глаза, он ему улыбался. Я видел, как шевелятся его губы, его длинные ресницы трепетали. Я не узнавал его помолодевшее лицо, в нем появилось едва ли не обаяние. Но временами он умолкал и пугливо озирался. Подросток, казалось, впитывает каждое его слово. В этой маленькой сцене не было ничего необычного, и я уже хотел было вернуться к чтению, когда увидел, как рука мальчишки, которую он завел за спину, медленно заскользила по краю стола. Скрытая от глаз Самоучки, она некоторое время ощупью продвигалась вперед, потом наткнулась на локоть белобрысого толстяка и сильно его ущипнула. Тот, молчаливо наслаждавшийся словами Самоучки, был настолько ими поглощен, что не заметил, как к нему подобралась рука приятеля. Подскочив на стуле, он широко разинул рот от неожиданности и восторга. Но лицо черноволосого малыша хранило все то же выражение почтительного интереса. Трудно было поверить, что шаловливая рука принадлежит ему. «Что они хотят ему подстроить?» — подумал я. Я понимал, что должна совершиться какая-то подлость, я видел также, что еще есть время ей помешать. Но чему следует помешать, я угадать не мог. На мгновение у меня мелькнула мысль встать, подойти к Самоучке, хлопнуть его по плечу и завязать с ним разговор. Но тут наши взгляды встретились. Он мгновенно умолк и сердито поджал губы. Смутившись, я быстро отвел глаза и для вида снова взялся за газету. Толстая дама, однако, отодвинула книгу и подняла голову. Она была как зачарованная. Я явственно чувствовал: сейчас она взорвется — они все *хотели*, чтобы произошел взрыв. Что делать? Я покосился на корсиканца — он уже не глядел в окно, он стоял вполоборота к нам.

Прошло четверть часа. Самоучка зашептал снова. Я не смел поднять на него глаза, но ясно представлял себе его ласковое, помолодевшее лицо и устремленные на него тяжелые взгляды, которых он не замечает. В какую-то минуту вдруг раздался его смех — звонкий мальчишеский смех. У меня сжалось сердце — мне казалось, что дрянные юнцы хотят утопить котенка. И вдруг шепот умолк. Тишина показалась мне трагической — это же конец, смертный приговор. Я низко склонился над газетой, делая вид, будто читаю, но я не читал: вздернув брови, я старался как можно выше поднять глаза, чтобы разглядеть то, что разыгрывается в двух шагах от меня в этой тишине. Я слегка повернул голову и тогда кое-что увидел краем глаза: это была рука, маленькая белая рука, только что скользившая по краю стола. Теперь она лежала ладонью кверху, расслабленная, нежная и чувственная, в ней была непринужденная нагота купальщицы, греющейся на солнце. К ней нерешительно приближалось что-то темное и волосатое. Это был толстый, пожелтевший от табака палец — рядом с этой рукой он был точь-в-точь мужской член во всей его неуклюжести. На миг он замер, торчком нацелившись в нежную ладонь, потом вдруг стал робко ее поглаживать. Я не удивился, я разозлился на Самоучку: не мог сдержаться, глупец! Неужели он не чувствует опасности? У него еще оставался шанс, крохотный шанс: если он сейчас же положит руки на стол по обе стороны своей книги, если будет сидеть смирно, быть может, на этот раз ему удастся

избежать уготованной ему участи. Но я *знал,* что он упустит свой шанс; палец нежно, робко касался неподвижной плоти, поглаживал ее, едва касаясь, не смея надавить на нее — можно было подумать, что он сознает свое уродство. Я резко поднял голову, я больше не мог выдержать этого упрямого движения взад-вперед — я пытался поймать взгляд Самоучки и громко кашлянул, чтобы его предупредить. Но он закрыл глаза, он улыбался. Другая его рука исчезла под столом. Мальчишки больше не смеялись, они побледнели. Черноволосый малыш сжал губы, он испугался, казалось, он не ожидал такого стремительного развития событий. Однако руки он не отнимал, она по-прежнему неподвижно лежала на столе, разве что слегка сжалась. Его приятель разинул рот с дурацким, перепуганным видом.

И вот тут взревел корсиканец. Он успел неслышно подойти и встать за стулом Самоучки. Его побагровевшее лицо казалось искаженным гримасой смеха, но глаза метали молнии. Я подскочил на стуле, но мне даже как-то отлегло — таким мучительным было ожидание. Мне хотелось, чтобы все поскорее кончилось, пусть, если желают, выставят Самоучку за дверь, лишь бы все наконец кончилось. Оба подростка, белые как мел, схватили свои ранцы и были таковы.

— Я видел все,— опьянев от ярости, орал корсиканец,— на этот раз видел, посмейте сказать, что это неправда. Посмейте только сказать, что ничего не было. Думаете, я не замечал ваших штучек? У мень есть глаза, приятель. Терпение,— говорил я себе,— терпение, я его застукаю, и это ему дорого обойдется. Да, да, дорого. Я знаю вашу фамилию и адрес, будьте покойны, я навел справки. И вашего начальника, мсье Шюйе, я знаю тоже. То-то он удивится завтра утром, когда получит письмо от главного библиотекаря. Что? Помалкиваете? — продолжал он, вращая глазами.— Только не воображайте, что дело этим кончится. Для таких, как вы, во Франции есть суды. Мсье занимался самообразованием! Мсье расширял свой кругозор! Мсье покоя мне не давал — то наведи ему справку, то принеси книгу. Но меня не проведешь.

Казалось, Самоучка не удивлен. Наверно, уже долгие годы он ждал такой развязки. Сотни раз он, наверно, представлял себе, что́ будет, когда корсиканец однажды неслышно подкрадется к нему из-за спины и в его ушах загремит вдруг разъяренный голос. И, несмотря на это, каждый вечер он возвращался сюда, продолжая лихорадочно поглощать книги, и по временам, как воришка, поглаживал белую руку, а может, и ногу какого-нибудь мальчугана. На лице Самоучки скорее можно было прочитать покорность судьбе.

— Не понимаю, что вы хотите сказать,— пролепетал он.— Я хожу сюда много лет...

Он притворялся удивленным, возмущенным, но очень неубедительно. Он знал, что неминуемое случилось, остановить ход событий уже нельзя и придется испить чашу капля за каплей.

— Не слушайте его, я все видела,— заговорила моя соседка. Она грузно поднялась с места...— Да, да, и вижу не в первый раз. В прошлый понедельник, примерно в это же время, я его уже приметила, но ничего не сказала, я глазам своим не поверила: чтобы в библиотеке, в солидном месте, куда люди приходят набраться знаний, случались вещи, от которых в краску вгоняет. Сама я женщина бездетная, но мне жаль матерей, которые разрешают своим сыновьям работать в этом зале и думают, что здесь их никто не тронет, никто не обидит, а между тем есть выродки, для которых нет ничего святого и которые мешают детям делать уроки.

Корсиканец подошел к Самоучке ближе.

— Слышите, что говорит эта дама? — завопил он прямо ему в лицо.— Нечего комедию ломать. Вас поймали на месте преступления, грязный негодяй.

— Мсье, извольте соблюдать вежливость,— с достоинством сказал Самоучка.

Так полагалось по роли. Быть может, Самоучка хотел бы признаться во всем, убежать, но он должен был доиграть свою роль до конца. Он не глядел на корсиканца, глаза его были полузакрыты. Руки повисли как плети, он был страшно бледен. И вдруг волна крови прихлынула к его лицу.

Корсиканец задыхался от ярости.

— Вежливым? Скотина! Думаешь я ничего не замечал? Говорю тебе: я за тобой следил. Я уже много месяцев за тобой слежу.

Самоучка пожал плечами и сделал вид, что снова углубился в чтение. Пунцовый, со слезами на глазах, он всем своим видом изображал человека, с глубоким интересом и вниманием рассматривающего репродукцию византийской мозаики.

— И он еще продолжает читать! Каков наглец,— сказала дама, поглядев на корсиканца.

Корсиканец был в нерешительности. В этот самый миг помощник главного библиотекаря, скромный и благонравный молодой человек, которого корсиканец держит в страхе, медленно привстал из-за своего стола и крикнул: «В чем дело, Паоли?» Настало секундное замешательство, и я понадеялся было, что на том дело и кончится. Но корсиканец, должно быть, взглянул на себя со стороны и почувствовал, что смешон. Распаленный злобой, не зная, что еще сказать своей бессловесной жертве, он выпрямился во весь свой крохотный рост и с размаху рассек кулаком пространство. Испуганный Самоучка обернулся. Открыв рот, он глядел на корсиканца; в глазах его был жуткий страх.

— Если вы ударите меня, я буду жаловаться,— выговорил он с натугой.— Я ухожу по собственной воле.

Я тоже вскочил, но поздно: корсиканец издал короткий, сладострастный вопль и вдруг двинул Самоучку кулаком в нос. На мгновение я увидел только глаза Самоучки, его прекрасные, расширившиеся от боли и стыда глаза, а под ними рукав и смуглый кулак. Когда корсиканец свой кулак убрал, из носа Самоучки потекла кровь. Он хотел закрыть лицо руками, но корсиканец ударил его еще раз, в самый угол рта. Самоучка обмяк на стуле, глядя перед собой робким и кротким взглядом. Из носа на одежду капала кровь. Правой рукой он пытался нащупать свой сверток, а левой упорно вытирал кровоточащие ноздри.

— Я ухожу,— сказал он, как бы обращаясь к самому себе.

Моя соседка побледнела, глаза у нее сверкали.

— Так ему и надо,— сказала она.— Подлец.

Я весь трясся от гнева. Обогнув стол, я схватил коротышку-корсиканца за шиворот и поднял на воздух. Он задрыгал ногами. Меня подмывало хватить его об стол. Он весь посинел и отбивался, пытаясь вцепиться ногтями мне в лицо, но не мог дотянуться до него своими короткими ручками. Я не произносил ни слова, но у меня руки чесались расквасить ему морду. Он это понял и заслонился локтем. Я был доволен, я видел, что он перетрусил.

— Отстань, гад,— захрипел он вдруг.— Ты что, тоже из голубых?

Я по сю пору не понимаю, почему я его выпустил. Испугался неприятностей? Или стал размазней за годы праздности в Бувиле? В былые времена я выбил бы ему все зубы. Я обернулся к Самоучке, который наконец-то встал. Но он избегал моего взгляда и, понурив голову, побрел к вешалке за своим пальто. Левой рукой он по-прежнему проводил у себя под носом, словно пытаясь остановить кровотечение. Но кровь продолжала течь, и я побоялся, как бы ему не стало плохо. Не глядя ни на кого, он пробормотал:

— Я хожу сюда много лет...

Но едва я опустил коротышку на пол, тот снова почувствовал себя хозяином положения....

— Убирайся вон,— заявил он Самоучке,— и чтобы ноги твоей тут не было, не то тебя выпроводит полиция.

Я нагнал Самоучку на нижних ступеньках лестницы. Мне было неловко, я мучился его стыдом, я не знал, что ему сказать. Он делал вид, что не замечает меня. Наконец, вынув носовой платок, он что-то в него сплюнул. Нос кровоточил уже не так сильно.

— Давайте зайдем в аптеку,— неловко предложил я.

Он не ответил. Из читального зала доносился громкий шум. Должно быть, там все заговорили разом. Женщина пронзительно рассмеялась.

— Я больше никогда не смогу сюда прийти,— сказал Самоучка.

Он обернулся и растерянно оглядел лестницу и вход в читальный зал. От этого движения струйка крови потекла по его шее за воротник. Рот и щеки у него были перепачканы кровью.

— Пойдемте,— сказал я, беря его под локоть.

Он вздрогнул и резко высвободился из моих рук.

— Оставьте меня!

— Но я не могу бросить вас одного. Вам надо помочь смыть кровь, проводить вас к врачу.

— Оставьте меня, мсье,— повторял он.— Пожалуйста, оставьте.

Он был на грани истерики — я не стал его удерживать. На мгновение лучи заходящего солнца осветили его удаляющуюся сутулую спину, потом он исчез. На пороге осталось пятно крови в форме звезды.

Час спустя

Пасмурно, солнце садится, поезд отходит через два часа. Я в последний раз заглянул в городской парк и теперь прохаживаюсь по улице Булибе. Я *знаю*, что это улица Булибе, но я ее больше не узнаю. Прежде, когда я шел по ней, мне всегда казалось, что я вступаю в толщу здравого смысла. Приземистая, квадратная, со своей неуклюжей основательностью, с неровной, залитой гудроном мостовой, улица Булибе была похожа на шоссейные дороги в той их части, что проходит по небольшим богатым городкам и на несколько километров тянется вдоль трехэтажных домов; я называл ее крестьянской улицей, и она нравилась мне — очень уж неожиданно она выглядела в торговом порту. Все дома и сегодня на месте, но они утратили свой сельский облик — здания как здания, ничего больше. Такое же чувство было у меня и только что в парке: растения, лужайки, фонтан Оливье Маскере, казалось, упрямо отказываются что-либо выражать. Я понимаю — город покинул меня сам. Я еще не уехал из Бувиля, а меня в Бувиле уже нет. Мне странно, что надо еще два часа пробыть в городе, который, не обращая на меня внимания, уже расставляет по местам мебель, накрывая ее чехлами, чтобы сегодня вечером или завтра она во всей своей нетронутой красе предстала глазам вновь прибывших. А я, как никогда прежде, чувствую себя забытым.

Сделав несколько шагов, я останавливаюсь. Я смакую всеобъемлющее забвение, в которое я ввергнут. Я нахожусь между двумя городами; один со мной не знаком, другой — раззнакомился. Кто вспоминает обо мне? Быть может, грузная молодая женщина в Лондоне... Да и обо *мне* ли она думает? К тому же есть еще этот тип, этот египтянин. Быть может, сейчас он вошел к ней в номер, быть может, обнимает ее. Я не ревную, я знаю, что она живой мертвец. Даже если бы она любила его всем сердцем, все равно это была бы любовь умершей. А я — я был ее последней живой любовью. Но все же он может ей дать другое — наслаждение. И если сейчас она изнемогает в бездонной сумятице ощущений, значит, в ней не осталось ничего, что связывает ее со мной. Она наслаждается, а я значу для нее не больше, чем

если бы она никогда со мной не встречалась: в мгновение ока она исторгла меня из себя, и все сознание мира тоже меня исторгло. Странное чувство. И однако же, я знаю, что существую, что *я* здесь.

Я говорю «я» — но понятие это утратило для меня смысл. Я настолько предан забвению, что мне трудно почувствовать самого себя. Реального во мне осталось только существование, и оно чувствует, что существует. Я долго, беззвучно зеваю. Никого. Антуан Рокантен не существует Ни-для-кого. Забавно. А что такое вообще Антуан Рокантен? Нечто абстрактное. Тусклое воспоминание обо мне мерцает в моем сознании. Антуан Рокантен... И вдруг «я» начинает тускнеть, все больше и больше — кончено: оно угасло совсем.

Среди стен домов остается сознание, трезвое, неподвижное, опустошенное, оно само себя воспроизводит. Оно стало необитаемым. Еще недавно кто-то говорил: «я», кто-то говорил: «мое сознание». Кто же это? Раньше во вне находились говорящие улицы со знакомыми запахами и красками. Теперь остались безымянные стены, безымянное сознание. Итак, в наличии: стены домов и между ними малюсенькая, живая и безликая прозрачность. Сознание существует как дерево, как былинка. Оно дремлет, ему скучно. Маленькие мимолетные существования поселяются в нем, как птицы на ветках.

Поселятся, а потом исчезнут. Забытое, заброшенное — среди стен домов под серым, пасмурным небом сознание. А смысл его существования вот в чем: оно сознает, что оно лишнее. Оно разжижается, распыляется, тщится затеряться на темной стене, возле фонаря или там, дальше, в вечерней дымке. Но забыться ему не удается никогда; оно сознает, что оно сознание, которое пытается забыться. Такова его участь. Есть сдавленный голос, который произносит: «Поезд отходит через два часа», и есть сознание этого голоса. Есть также сознание некоего лица. Окровавленное, перепачканное, медленно проплывает оно, и в больших глазах стоят слезы. Его нет среди этих стен, его нет нигде. Оно исчезает, его вытесняет сутулая фигура с окровавленной головой, она удаляется медленными шагами, и на каждом шагу кажется — сейчас она остановится, и она не останавливается никогда. Есть сознание этой фигуры, медленно бредущей по темной улице. Она идет, но не удаляется. Темная улица не имеет конца, она теряется в небытии. Ее нет среди этих стен, ее нет нигде. Есть сознание сдавленного голоса, который произносит: «Самоучка бродит по городу».

Нет, не по этому городу, не среди этих безжизненных стен! Самоучка бродит по свирепому городу, который его не забыл. Есть люди, которые о нем думают, например корсиканец или толстая дама. А может, и все остальные жители города. Он еще не затерян, он еще не может потерять свое «я», истерзанное, окровавленное «я», которое они не пожелали добить. У него болят губы, болит нос: «Мне больно»,— думает он. Он бродит, ему надо бродить. Если он остановится хоть на минуту, вокруг него внезапно вырастут стены библиотеки, и он окажется взаперти, и рядом очутится корсиканец, и сцена повторится снова во всех подробностях, и дама крикнет с издевкой: «Таким негодяям место на каторге». Он бродит, он не хочет возвращаться домой: дома его поджидает корсиканец, и толстуха, и двое юнцов. «Отрицать бесполезно, я видел». И сцена повторится снова. «Господи,— думает он,— и зачем я это сделал, хоть бы я этого не сделал, хоть бы все было неправдой!»

Взволнованное лицо вновь и вновь проходит перед сознанием: «А вдруг он покончит с собой». Но нет, эта кроткая, затравленная душа не может думать о смерти.

Есть сознание, сознающее самое себя. Оно видит себя насквозь, спокойное и опустелое среди этих стен, оно освобождено от человека, обитавшего в нем, оно чудовищно, потому что оно никто. Голос говорит: «Багаж сдан. Поезд отходит через два часа». Стены домов тянут-

ся справа и слева. Есть сознание дорожного покрытия, скобяной лавки, амбразур казармы, и голос говорит: «В последний раз».

Осознается Анни, толстая Анни, старая Анни в номере отеля, осознается страдание, страдание осознает себя среди бесконечных стен, которые уходят и никогда не вернутся. «Будет этому конец?» — голос среди домов поет джазовую мелодию «Some of these days», будет этому когда-нибудь конец? и мелодия тихонько возвращается и, подкравшись сзади, незаметно вновь обретает голос, и голос поет и не может умолкнуть, и тело бредет, и есть сознание всего этого, и сознание — увы! — сознает, что сознает. Но того, кто бы страдал, кто бы заламывал руки и пожалел бы самого себя, нет. Никого нет. Это страдание перекрестков в его чистом виде, сознание, которое забыто, которое не может забыться. И голос говорит: «А вот и «Приют путейцев» — и в сознании возникает «я», это я, Антуан Рокантен, через два часа я уезжаю в Париж, я пришел попрощаться с хозяйкой.

— Я пришел попрощаться.

— Вы уезжаете, мсье Антуан?

— Хочу для разнообразия пожить в Париже.

— Счастливчик!

Как я мог прижиматься губами к этому широкому лицу? Ее тело мне больше не принадлежит. Еще вчера я угадывал его формы под черным шерстяным платьем. Сегодня платье непроницаемо. Может, мне приснилось это тело с просвечивающими сквозь кожу голубыми жилками?

— Мы будем скучать о вас,— говорит хозяйка.— Хотите чего-нибудь выпить? Я угощаю.

Садимся за столик, чокаемся. Она слегка понижает голос.

— Я так к вам привыкла,— говорит она с вежливым сожалением,— мы с вами ладили.

— Я как-нибудь приеду вас навестить.

— Непременно, мсье Антуан. Будете проездом в Бувиле, загляните к нам. Скажите себе: «Загляну-ка я к мадам Жанне, она будет рада!» Ведь и вправду хочется знать, как человеку живется. Да и вообще к нам люди всегда возвращаются. Клиенты у нас, сами знаете,— матросы, служащие Трансатлантической, бывает, их по два года не увидишь, они то в Бразилии, то в Нью-Йорке, а то в Бордо на транспортных судах служат. И вдруг в один прекрасный день глядишь — они тут как тут. «Здрасьте, мадам Жанна». Ну и разопьем вместе по стаканчику. Хотите верьте, хотите нет, я помню, что́ они привыкли пить, и это после двух-то лет отлучки! Бывало, скажу Мадлене: «Сухого вермута мсье Пьеру, а мсье Леону чинзано «Нуалли». Они мне: «Как вы это все помните, хозяйка?» А я им: «Такое у меня ремесло».

В глубине зала сидит толстяк, который с недавних пор с ней спит.

— Хозяюшка,— подзывает он ее.

Она встает:

— Извините, мсье Антуан.

Ко мне подходит официантка.

— Что ж это, уезжаете от нас?

— Перебираюсь в Париж.

— Я жила в Париже,— с гордостью говорит она.— Целых два года. У Симеона работала. Но скучала по нашим местам.

Она медлит в нерешительности, потом видит, что больше ей сказать мне нечего:

— Ладно, мсье Антуан, до свиданья.

Вытерев руку о передник, она протягивает ее мне.

— До свиданья, Мадлена.

Она уходит. Я придвигаю к себе «Бувильскую газету», потом отбрасываю — только что в библиотеке я прочел ее от корки до корки.

Хозяйка не возвращается, она отдала свои пухлые руки в распоряжение своего друга, и он страстно тискает их.

Поезд отходит через сорок пять минут.

Чтобы заполнить время, делаю подсчеты. Тысяча двести франков в месяц — это не слишком жирно. И все же, если поприжаться, этого должно хватить. За комнату триста франков, пятнадцать франков в день на еду — на стирку, мелкие расходы и кино, остается четыреста пятьдесят. Новое белье и одежду понадобится покупать не скоро. Оба мои костюма пока опрятны, хотя и залоснились на локтях; если я буду аккуратен, они послужат мне еще годика три-четыре.

Боже мой! Стало быть, я собираюсь прозябать этаким грибом? Что я буду делать целыми днями? Гулять. Посиживать на железном кресле в саду Тюильри или нет, пожалуй, на скамейке — это дешевле. Ходить в библиотеку читать книги? А еще? Раз в неделю кино. А еще? Может, по воскресеньям позволю себе выкурить сигару? Может, буду играть в крокет с пенсионерами в Люксембургском саду? В тридцать лет! Мне жалко самого себя. Минутами мне приходит мысль: а не лучше ли спустить за год все триста тысяч франков, что у меня остались, а потом... Но что мне это даст? Новую одежду? Женщин? Путешествия? Все уже было, а теперь конец — больше не хочется: какой от всего этого прок? Через год я окажусь таким же опустошенным, как сегодня, мне даже вспомнить будет нечего, а наложить на себя руки не хватит духу.

Тридцать лет! И 14 400 франков ренты. Каждый месяц стриги себе купоны. Но ведь я еще не старик. Дали бы мне что-нибудь делать, все равно что́... Нет, лучше думать о чем-нибудь другом, потому что сейчас я ломаю комедию перед самим собой. Я ведь прекрасно знаю, что ничего делать не хочу: что-нибудь делать — значит создавать существование, а его и без того слишком много.

По правде сказать, мне просто не хочется выпускать из рук перо, похоже, надвигается приступ Тошноты, а когда я пишу, мне кажется, я его оттягиваю. Вот я и пишу что в голову придет.

Мадлена, которая хочет доставить мне удовольствие, кричит издалека, показывая на пластинку:

— Ваша пластинка, мсье Антуан, та, что вы любите, хотите послушать последний разок?

— Пожалуйста, если вам нетрудно.

Я говорю это из вежливости, в данную минуту у меня нет охоты слушать джаз. Впрочем, послушаю — ведь, как справедливо говорит Мадлена, это в последний разок: пластинка очень старая, слишком старая даже для провинциального города, в Париже я ее не найду. Сейчас Мадлена поставит ее на патефон, она завертится, стальная игла запрыгает, заскребет по бороздкам, а потом, когда они по спирали приведут ее к центру пластинки, все кончится, хрипловатый голос, поющий «Some of these days», умолкнет навсегда.

Началось.

Подумать только, есть глупцы, которые ищут утешения в искусстве. Вроде моей тетки Бижуа: «Прелюдии Шопена так поддержали меня, когда умер твой дядя». И концертные залы ломятся от униженных и оскорбленных, которые, закрыв глаза, тщатся превратить свои бледные лица в звукоулавливающие антенны. Они воображают, будто пойманные звуки струятся в них, сладкие и питательные, и страдания преобразуются в музыку, вроде страданий молодого Вертера; они думают, что красота им соболезнует. Кретины.

А ну-ка, пусть скажут мне, сострадательна ли, по их мнению, вот эта музыка. Еще совсем недавно я был весьма далек от блаженства. На поверхности я механически делал подсчеты. А под ними в стоячей воде загнивали неприятные мысли, которые облеклись в форму несформулированных вопросов, немого удивления и ни днем ни ночью не оставляют меня. Мысли об Анни, о моей неудавшейся жизни. А в самых глубинах Тошнота — робкая, как занимающийся рассвет. Но в

то мгновение музыки не было, я был угрюм и спокоен. Все окружавшие меня предметы были сделаны из той же материи, что и я сам,— из своего рода гаденького страдания. Мир вне меня был так уродлив, так уродливы грязные кру́жки на столиках, коричневые пятна на зеркале и на переднике Мадлены, и любезная физиономия толстяка, любовника хозяйки, так уродливо само существование мира, что я чувствовал себя в своей тарелке, в своей семье.

Но вот зазвучал голос саксофона. И мне стыдно. Родилось маленькое победоносное страдание, страдание-образец. Четыре ноты саксофона. Они повторяются снова и снова и будто говорят: «Делайте как мы, страдайте *соразмерно*». Ну да! Само собой, я хотел бы страдать именно так, страдать соразмерно, без снисхождения, без жалости к себе, с такой выжженной чистотой. Но чем я виноват, что пиво на дне моей кружки теплое, что на зеркале коричневые пятна, что я лишний, что даже самое искреннее мое страдание, самое сухое, тяжелеет, и волочится, и плоть у него избыточна, хотя кожа обвисла, как у морского слона, а глаза у него влажные, трогательные, но при этом отвратительные? Нет, ее никак не назовешь сострадательной, эту крупицу алмазной нежности, которая кружит над пластинкой и слепит меня. Ни даже иронической — она бодро кружит, занятая только собой: как коса, вонзилась она в пошлое панибратство мира и кружит теперь, а всех нас: Мадлену, толстяка, пятнистое зеркало, пивные кружки, всех нас, отдавшихся существованию,— ведь мы же были среди своих, только среди своих,— она застигла во всей нашей будничной, разболтанной неприглядности, и мне стыдно за себя и за все то, что *перед* ней существует.

Она не существует. Даже зло берет: вздумай я сейчас вскочить, сорвать пластинку с патефона, разбить ее, до *нее* мне не добраться. Она всегда за пределами — за пределами чего-то: голоса ли, скрипичной ли ноты. Сквозь толщи и толщи существования выявляется она, тонкая и твердая, но когда хочешь ее ухватить, наталкиваешься на сплошные существования, спотыкаешься о существования, лишенные смысла. Она где-то по ту сторону. Я даже не слышу ее — я слышу звуки, вибрацию воздуха, которая дает ей выявиться. Она не существует — в ней нет ничего лишнего, лишнее — все остальное по отношению к ней. Она *есть*.

Я тоже хотел *быть*. Собственно, ничего другого я не хотел — вот она, разгадка моей жизни; в недрах всех моих начинаний, которые кажутся хаотичными, я обнаруживаю одну неизменную цель: изгнать из себя существование, избавить каждую секунду от жировых наслоений, выжать ее, высушить, самому очиститься, отвердеть, чтобы издать наконец четкий и точный звук ноты саксофона. Можно даже облечь это в притчу: жил на свете бедняга, который по ошибке попал не в тот мир, в какой стремился. Он существовал, как другие люди, в мире городских парков, бистро, торговых городов, а себя хотел уверить, будто живет где-то по ту сторону живописных полотен с дожами Тинторетто и с отважными флорентийцами Гоццоли, по ту сторону книжных страниц с Фабрицио дель Донго и Жюльеном Сорелем, по ту сторону патефонных пластинок с протяжной и сухой жалобой джаза. Долго он жил так, дурак дураком, и вдруг у него открылись глаза, и он увидел, какая вышла ошибка,— и случилось это, когда он как раз сидел в бистро перед кружкой теплого пива. Он поник на своем стуле, он подумал: какой же я дурак. И в этот самый миг по ту сторону существования, в том, другом мире, который видишь издалека, но к которому не дано приблизиться, заплясала, запела короткая мелодия: «Будьте такими, как я, страдайте соразмерно».

> Some of these days,
> You'll miss me honey,—

поет голос.

В этом месте на пластинке, наверно, царапина, потому что раздается странный шум. И сердце сжимается — ведь это легкое покашливание иглы на пластинке никак не затронуло мелодии. Она так далеко — так далеко за пределами. И это мне тоже понятно: пластинка в царапинах, запись стирается, певица, быть может, умерла, я сейчас уйду, сяду в свой поезд. Но за пределами того, что существует, что переходит от одного сегодня в другое, не имея прошлого, не имея будущего, за пределами звуков, которые со дня на день искажаются, вылущиваются и тянутся к смерти, мелодия остается прежней, молодой и крепкой, словно беспощадный свидетель.

Голос умолк. Пластинка еще немного пошуршала, потом остановилась. Сбросив докучливое наваждение, кафе жует, пережевывает довольство существованием. Хозяйка раскраснелась, она бьет своего нового дружка по его пухлым белым щекам, но румянца на них вызвать все равно не удается. Щеки мертвеца. А я оцепенел, я почти дремлю. Через четверть часа я буду уже в поезде, но об этом я не думаю. Я думаю о бритом американце с густыми черными бровями, который задыхается в пекле на двадцать первом этаже американского небоскреба. Небо над Нью-Йорком полыхает, синее небо в огне, громадные желтые языки пламени лижут нью-йоркские крыши; бруклинские мальчишки в плавках лезут под струи поливальных шлангов. Сумрачная комната на двадцать первом этаже раскалена. Чернобровый американец вздыхает, отдувается, по его щекам стекает пот. Он сидит за своим пианино в одной рубашке без пиджака; во рту у него вкус дыма, а в голове смутный призрак мелодии «Some of these days». Через час придет Том с плоской флягой на боку. Тогда они оба, плюхнувшись в кожаные кресла, будут хлестать водку, небесное пламя обожжет им глотки, и на них всей тяжестью навалится бесконечный знойный сон. Но сначала надо записать эту мелодию. «Some of these days». Потная рука хватает лежащий на пианино карандаш. «Some of these days, you'll miss me honey».

Вот так это случилось. Вот так, а может, по-другому — не все ли равно. Так она родилась на свет. Чтобы родиться, она выбрала потрепанное тело еврея с угольными бровями. Он вяло держал карандаш, и капли пота стекали на бумагу с его пальцев, на которых блестели кольца. Почему же это был не я? Почему, чтобы свершиться чуду, понадобился этот толстый лентяй, налитый грязным пивом и водкой?

— Мадлена, поставьте, пожалуйста, снова эту пластинку. Один разок, как раз до моего ухода.

Мадлена смеется. Она крутит ручку, и все начинается сначала. Но теперь о себе я больше не думаю. Я думаю о том парне, который июльским днем, в жарких потемках своей комнаты, сочинил эту мелодию. *Сквозь* мелодию, сквозь белые, кисловатые звуки саксофона я пытаюсь думать о нем. Он ее создал. У него были неприятности, все шло вкривь и вкось: неоплаченные счета, и, наверно, где-то была женщина, которая относилась к нему не так, как ему хотелось, и потом нахлынула эта жуткая жарища, превращающая людей в лужи расплавленного жира. Ничего особенно красивого и благородного. Но когда я слушаю эту песенку и думаю, что ее сочинил этот парень, его страдания, его пот... трогают меня. Ему повезло. Впрочем, он вряд ли это сознавал. Наверно, думал: «Если повезет, уж долларов-то пятьдесят отвалят за эту штуковину!» Ну так вот, впервые за много лет кто-то меня растрогал. Я хотел бы узнать что-нибудь об этом парне. Интересно, что за неприятности его одолевали и была ли у него жена или он жил один. Я хочу это выяснить не из гуманных соображений. Совсем наоборот. А оттого, что он сочинил эту мелодию. Знакомиться с ним я не хочу — к тому же, может быть, он умер. Хорошо бы просто навести о нем кое-какие справки, чтобы время от времени, слушая пластинку, о нем думать. Наверно, самому этому парню не было бы ни тепло, ни холодно, узнай он, что в седьмом по величине городе Фран-

ции, неподалеку от вокзала, кто-то думает о нем. Но будь я на его месте, я был бы счастлив, я завидую ему. Я встал, но какое-то мгновение нерешительно мнусь на месте. Мне хочется услышать голос Негритянки. В последний раз.

Она поет. И вот уже двое спасены — еврей и негритянка. Спасены. Быть может, сами они считали себя безнадежно погибшими, погрязшими в существовании. И однако, никто не способен думать обо мне так, как я думаю о них,— с такой нежностью. Никто, даже Анни. Они немного напоминают мне умерших, немного — персонажей романа, они отмыты от греха существования. Не совсем, конечно, но настолько, насколько это дано человеку. Эта мысль вдруг переворачивает меня, ведь я на нее больше уже не надеялся. Я чувствую, как что-то робко касается меня, и боюсь шевельнуться, чтобы это не спугнуть. Что-то, что мне незнакомо уже давно,— что-то похожее на радость.

Негритянка поет. Стало быть, можно оправдать свое существование? Оправдать хотя бы чуть-чуть? Я страшно оробел. Не потому, что я так уж сильно надеюсь. Но я похож на человека, который после долгих странствий в снегах превратился в сосульку и вдруг оказался в теплой комнате. Он, наверно, замер бы у двери, все еще окоченевший, и долгие приступы озноба сотрясали бы его тело.

Не могу ли я попробовать?.. Само собой, речь не о мелодии... но разве я не могу в другой области?... Это была бы книга — ничего другого я не умею. Но не исторический труд: история трактует о том, что существовало, а ни один существующий никогда не может оправдать существование другого. В том-то и была моя ошибка, что я пытался воскресить маркиза де Рольбона. Нет, книга должна быть в другом роде. В каком, я еще точно не знаю — но надо, чтобы за ее напечатанными словами, за ее страницами угадывалось то, что было бы не подвластно существованию, было бы над ним. Скажем, история, какая не может случиться, например сказка. Она должна быть прекрасной и твердой как сталь, такой, чтобы люди устыдились своего существования.

Я ухожу, все во мне зыбко. Я не осмеливаюсь принять решение. Если бы я был уверен в своем таланте... Но я никогда — никогда не писал ничего в таком роде. Статьи на исторические темы, да, а впрочем... Книгу. Роман. И найдутся люди, которые прочтут роман, и скажут: «Его написал Антуан Рокантен, рыжий парень, который слонялся из одного кафе в другое», и будут думать о моей жизни, как я думаю о жизни Негритянки — как о чем-то драгоценном, почти легендарном. Книгу. Конечно, вначале работа будет скучная, изнурительная, она не избавит меня ни от существования, ни от сознания того, что я существую. Но наступит минута, когда книга будет написана, она окажется позади, и тогда, я надеюсь, мое прошлое чуть-чуть просветлеет. И быть может, сквозь этот просвет я смогу вспоминать свою жизнь без отвращения. Быть может, однажды, вспомнив именно этот час, хмурый час, когда я, сгорбившись, жду, чтобы подали поезд, я скажу себе: «В этот день, в этот час все и началось» — и сердце мое забьется быстрее. И в прошлом — только в прошлом — я смогу примириться с собой.

Темнеет. На втором этаже отеля «Прентания» осветились два окна. На стройплощадке Нового Вокзала резко пахнет сырым деревом: завтра в Бувиле будет дождь.

В 1938 году в Париже появился роман необычный и — как могло показаться — несвоевременный. Его автором был Жан-Поль Сартр, писатель, уже не начинающий к тому времени, но пока еще малоизвестный. Можно сказать, что не успел роман выйти, как началась громкая слава Сартра. Трудно сравнить с ним кого-либо из современных французских писателей по степени известности, по влиянию на литературу, философию, а точнее говоря, на современное сознание во всеобъемлющем значении этого слова. Каждое выступление Сартра, каждый его шаг превращался в общест-

венное событие, и даже если оспаривался, то оставлял глубокий след, становился характерной приметой времени. Не стал прошлым Сартр и с его уходом из жизни. Сегодняшняя актуальность Сартра — в актуальности поставленных им вопросов и данных им ответов, даже в спорности иных из них.

Неудивительно — история прочно держит нас всех у тех роковых пределов, осмыслению которых посвятил все свое разностороннее творчество Жан-Поль Сартр. Он был поистине универсален, был прозаиком и драматургом, философом, публицистом, литературным критиком, и эти привычные определения не вполне в данном случае точны, потому что все сферы деятельности, все жанры были недостаточными для сартровской универсальности, были тесны для его стремления выразить, осознать существование.

Значение Сартра может быть обозначено кратко, двумя понятиями — свобода и необходимость. Оба понятия — ключевые для XX века. На первых порах свобода как конкретная цель политического движения лишь косвенно определяла позицию Сартра, хотя и в 30-е годы он был откровенно, даже вызывающе антибуржуазен, с интересом присматривался к социалистическому переустройству России. Его первоначально больше привлекала та традиция тотального освобождения личности, та абсолютная свобода, которая основывалась на идее «смерти богов», на понимании XX века как эпохи утраты обществом — буржуазным обществом — идеалов и нравственных императивов. Вехами на этом пути был нигилизм Фридриха Ницше, немецкая феноменология (Гуссерль) и экзистенциализм. Все это необычайно притягивало Сартра. Он стал виднейшим представителем французской ветви экзистенциализма, а роман «Тошнота» — самый известный ее документ, прославивший и Сартра, и французский экзистенциализм.

«Человек, приговоренный быть свободным, возлагает тяжесть мира на свои плечи». К этим словам Сартра следует прислушаться — в них содержится одна из великих истин нашего века. Эпохален и его роман «Тошнота», поистине являющий собой декларацию прав человека, декларацию права на свободу.

Правда, во время создания «Тошноты» свобода для Сартра обреталась через отчуждение личности, путем разрыва социальных связей и обретения абсолютного одиночества. Поэтому и необычный роман Сартра мог показаться несвоевременным в 30-е годы, это были годы Народного фронта, разгар великого сражения с фашизмом. Кто тогда не политизировался, кто не «ангажировался»? И вдруг — роман, в котором о политике два-три слова, не больше того, время действия которого представить себе вряд ли возможно, даже будучи вооруженным той справкой, что содержится «вне текста» в уведомлении издателей. Так что же — роман вне времени, вне эпохи? Не будем торопиться — речь ведь идет об одной из узловых книг XX века.

Роман «Тошнота» может — и должен — быть прочитан в традиции французской культуры, реалистической традиции разоблачения буржуазного общества. Вспоминается прежде всего Флобер, которого Сартр считал этапной фигурой развития литературы, необыкновенно современным художником. Общество, воссозданное Сартром, кажется крайней точкой эволюции «мира цвета плесени». В этом обществе, в мире некоего провинциального Бувиля, уже нет места даже Эмме Бовари — остались только отпрыски самодовольных лавочников.

Замечательна картина воскресных прогулок в Бувиле! Царство мертвых ритуалов, пустопорожнего мельтешенья безликой массы — сколько сарказма в этом коллективном портрете бувильских обывателей! Столь же красноречивы беседы обывателей в кафе, какое-то порхание пустых фраз, суесловие одноликих мужей и жен. Цитата из романа Бальзака «Евгения Гранде», где разговор о зарождающейся любви сводится к обсуждению завтрака,— словно бы зеркало, в котором отражается суть бездуховного, прагматического, меркантильного общества, словно бы обозначение исторической границы царства пустоты и суесловия, способ исторической конкретизации романа «Тошнота».

Антуан Рокантен, молодой герой этого романа,— противоположность тем бесчисленным молодым людям из французских романов, чья предпринимательская активность обеспечила им продвижение в обществе и продвижение самого этого общества к тем вершинам эволюции, которые предстали унылой картиной «мира цвета плесени». Духовная эволюция Антуана определяется разрывом с предпринимательскими ценностями, своеобразие и ценность его личности осознаются в противостоянии собственничеству — у него «ничего нет», и в этом главная его примета, главное условие его эволюции, его внутреннего возвышения. Антуан, свободный от всех буржуазных связей,— «посторонний», он смотрит извне и даже по-романтически свысока на кишение человеческого, то бишь обывательского муравейника. Правда, у героя романа есть небольшая рента — но без этой уступки условностям материального существования Сартру невозможно было бы соорудить робинзонаду абсолютной свободы...

Однако обращение к классической традиции недостаточно для того, чтобы разобраться в романе, далеко не традиционном. Неприятие буржуазного общества доведено в «Тошноте» до той крайней точки, где оно превращается в неприятие общества вообще, социальный роман превращается в философскую притчу, герой — в способ постижения сути бытия, сущности и предназначения человека, человека вообще. Рокантен — это и сам Сартр, его идея, особенно потому, что Рокантен — это любой человек, просто человек. Его история не связана ни с какими особенны-

ми событиями, и Рокантен размышляет о приключениях, о событиях как о реальности недостоверной — как и Анни обнаруживает, что нет никаких неординарных ситуаций, что есть лишь однообразное «месиво». В романе — «мелкие фактики», ничего не происходит — «входят — выходят».

Роман Сартра близок роману натуралистическому или импрессионистическому, прикованному к настоящему времени. Время являет себя в «Тошноте» в «чистом виде», оно лишено хронологии, старательные указания на дни и часы демонстрируют течение сознания в настоящем, безразличное к течению времени исторического. «Я» заброшено в данный момент, когда и свершается таинство откровения, когда человека озаряет Тошнота. Озарение происходит в момент соприкосновения с предметами, на глазах изменяющимися — незначащими, ординарными предметами, самыми простыми: грязный камень, подобранный на пляже, становится камнем философским.

Сартр и намеревался создать такую философию, которая бы проистекала из простого, обыденного, житейского. Устаревшей казалась ему традиция абстрактного философского знания. Соответственно необычен и созданный им философский роман, в нем отсутствует обязательный для жанра набор идей, романом иллюстрируемых. В «Тошноте» все иначе, никаких как будто идей, роману предшествующих, нет, априорные идеи даже осмеиваются. Оппонентом Рокантена выступает Автодидакт, Самоучка, занятый изучением книжной премудрости без системы и смысла, «по алфавиту». Самоучка вновь возвращает к Флоберу, к его героям Бувару и Пекюше, которые изучали все науки и разочаровались во всех учениях, в самом знании. Традиционная, книжная мудрость попала в «Тошноте» в разряд «этикеток», прописных истин, далеких от истины,— как, впрочем, и ценности традиционного гуманизма, носителем которого оказывается все тот же Самоучка с его наивным, детским или же «просветительским» доверием к разного рода альбомным сентенциям.

Рокантен проводит время в библиотеке, но истина открывается ему в жизни, в его жизни простого человека, просто человека, в его переживаниях и ощущениях. Дневник, в форме которого роман написан, и есть средство фиксации таких переживаний и ощущений, при котором за пределами романа оказывается все, что не является источником таких переживаний. Пространство книги — пространство внутреннего мира героя. Он самоценен, он единственная ценность, ничто не должно посягать на него — поэтому-то и некие «издатели» публикуют эту драгоценность и публикуют, «ничего в ней не меняя».

И в то же время задача дневника — «описывать», ибо «перемены касаются внешнего мира». Мир внутренний не может в «Тошноте» оформиться, существовать без мира внешнего. «Тошнота» — не очередной вариант субъективного идеализма. Сартра необыкновенно привлекало в феноменологии Гуссерля именно то, что, полагая бытие актом субъективным, феноменом сознания, Гуссерль считал, что сознание интенционально, что оно «полагает вещи». Таким образом, возникала возможность «преодолеть Пруста», преодолеть процесс замыкания сознания в себе самом, открыть его миру — Сартр видел в этом задачу первостепенной важности.

Итак, задача состоит в том, чтобы «записывать», фиксировать происходящее. Нечто пока совершенно непонятное происходит от соприкосновения с предметами, с вещами — именно в момент этого соприкосновения. Поскольку ничто не определяет этот процесс, ничто его не инспирирует и не оформляет, все дело в нем самом, то есть в этом обнаружении вещей, их существования, их несомненной реальности. Вещей любых, самых незначительных и случайных, вроде этого заурядного камешка. Тошнота — следствие прежде всего быстро нарастающего, обостренного до предела, болезненного переживания мира внешнего, мира вещей как некоей очевидности, незыблемости. Эта очевидность обступает героя плотным кольцом, наступает на него, наваливается невыносимой тяжестью.

К миру вещей относится и собственное тело. В его восприятии особенно заметно вызывающее тошноту отчуждение от внешнего мира, реальность существования которого устанавливается этим восприятием. Антуан время от времени с удивлением рассматривает себя самого, свое отражение как отражение чужого ему человека, удивляясь трансформации, непостоянству своего облика — лишь рыжие волосы сохраняются как редкое, но тем более точное обозначение данного человека.

Портрет героя столь ненадежен потому, что остатки надежности теряет весь мир. Тошнота возникает в результате одновременного обнаружения присутствия вещей, их навязчивой, угнетающей реальности — и их неоправданности с точки зрения воспринимающего вещи сознания. Рокантен улавливает и «бытие», и «ничто» (главный философский труд Сартра начальной стадии его творчества так и назывался — «Бытие и ничто»), улавливает отсутствие смысла существования, а значит, абсурдность бытия как его сердцевину — цветущий плод оказывается гнилым.

Отсутствие смысла влечет за собой неоправданность — все начинает казаться Антуану «излишним» (de trop). Происходит причудливая трансформация мира реального; обычные, привычные вещи словно срываются с цепи — так как такой «цепью» является смысл, оправданность в системе понятий и представлений, в системе причин и следствий. Когда Рокантена тошнит, скамейка может показаться животным, на лице может появиться третий глаз, язык стать сороконожкой, то есть может реализоваться любая сюрреалистическая причуда. Герой, однако, не сочиняет, не фантазирует — фантазирует, так сказать, сама действительность, механизм которой расстроился, стал абсурдным.

Без всякой натяжки можно оценить такое качество Тошноты как самое крайнее выражение разочарования. Мир абсурден, а это значит, что установленные обществом «этикетки», прикрепляющие каждый предмет к определенной функции, скомпрометированы, принятые обществом классификации несостоятельны, лица превратились в маски. Не случайно у Рокантена возникает ощущение, что он наблюдает комедию, что все играют, притворяются, царит фальшивая, неподлинная жизнь, воцарилась условность, отравившая существование в самой основе.

Однако, независимо от того, насколько ницшеанская идея «смерти богов», абсурдности бытия была социально детерминирована, она обрела смысл оценки доли человеческой как таковой, смысл удела современного человека. Одиночество и отчужденность Рокантена становятся абсолютными — если презираемые героем «другие» персонифицируются, то у него возникает желание вонзить нож в этого «другого» (желание, реализованное героем и новеллы Сартра «Герострат», и романа Камю «Посторонний»).

Все связи рвутся, все привязанности героя исчезают одна за другой. Рокантен расстается со своим единственным занятием — исследованием истории, с единственным близким человеком — с Анни.

Прошлое несостоятельно в экзистенциалистском романе. Прошлое — это мир остановившийся, уже состоявшийся, а значит, мертвый. Никакой истины из истории Рокантен извлечь не в состоянии, да она там и не содержится. Он не может собрать факты даже собственной биографии, не говоря уже о биографии маркиза де Рольбона, персонажа XVIII столетия. Вряд ли случайно Рокантен избрал объектом своих исследований эпоху Великой французской революции. К этой эпохе роман Сартра тянется и другими нитями, включая карикатурное отражение просветительства в зеркале образа Самоучки,— как, впрочем, маркиз де Рольбон вбирает в себя черты Рокантена. Все повторяется в мире без бога, без смысла. И даже величественный образ, даже неоспоримый как будто исторический факт французской революции становится сомнительным, невнятным, оттесненным в область «авантюр» или же неординарных ситуаций, далеких от жизни, от «существования» в открытом Рокантеном смысле.

Прошлое — царство несвободы, в этом дело. Царством несвободы является и любовь. Секс — тоже своего рода «этикетка». Сексуальная потребность превращает объект желания в «вещь», делает «другого» жертвой, убивает. Не случайно и первые наплывы Тошноты сплетаются у Антуана с кошмарными впечатлениями от убийства девочки, превращенной в «вещь», умерщвленной сексуальным маньяком. И Самоучка преобразуется в «вещь» в тот момент, когда его охватывает любовная страсть,— становится «этикеткой», к которой обыватели вправе установить свое обывательское отношение, этикеткой, умерщвляющей личность, ее убивающей.

Для обретения свободы Антуану Рокантену придется освободиться от последней связи, последней зависимости — связи любовной. Родственные души, экзистенциальные герои, Анни и Антуан должны быть абсолютно одинокими — в сцене их последнего свидания и демонстрируется обретение одиночества, преображение людей близких в бесконечно далеких, в чужих людей, каждый из которых заворожен царством абсурда.

Тошнота и знаменует собой обретение истины — обретение свободы. Радости оно не приносит, и одновременно с Тошнотой героя романа одолевает страх. У ног спокойно идущего по земле человека внезапно раскрывается бездна — бездна истины, бездна свободы. Возникает желание вернуться, стать на твердую почву установленных правил и неоспоримых фактов. Однако таков удел обывателя — герой же стоит у бездны как у своей участи, удела человеческого.

Человек — это свобода, это свободный выбор, «проект». Такая характеристика человека будет привлекать Сартра все более, но уже в «Тошноте» вся процедура обнаружения сущности к ней подводит. Вещи вызывают Тошноту потому, что их навязчивая доподлинность возбуждает тревожную мысль о возможной близости «я» этому миру мертвых, инертных предметов. Рокантен не может поднять клочок бумаги — он ощутил свою несвободу и неизбежное беспокойство по поводу взаимоотношений «я» и вещей, мертвой материи, убивающей свободу. Но постижение абсурдности бытия создает условие для выделения сознания из этого ряда вещей, для их противопоставления: вещь к себе сводима, собой довольствуется, а потому несвободна, тогда как сознание, осознавая «ничто», немотивированность, реализует себя в непрерывном потоке озарений, в постоянном свободном выборе, который никогда не завершится, не станет конечной, а значит, отрицающей свободу, точкой этого пути.

Такое экзистенциалистское понимание свободы крайне индивидуалистично; не предполагая никаких социальных задач, оно не признает и никакого детерминизма, никакого нравственного императива. Экзистенциалистов гипнотизировал знаменитый афоризм Ивана Карамазова из романа Достоевского: «Если бога нет, все дозволено». «Все дозволено». И в теории, и в реальной, социальной практике эта формула звучит как ужасающее оправдание любого преступления — от экспериментов литературных, от посягательств на жизнь литературных героев до массовых убийств ни в чем не повинных людей в фашистских лагерях смерти.

В романе «Тошнота», в этой декларации абсолютной свободы, Сартр все же сохранил тонкую нить, которая протягивается между людьми. Эта нить — искусство. В момент кульминационный, когда осознание «тотального забвения», одиночества,

отчужденности достигло высшей точки, когда освободившееся сознание ощутило собственную неоправданность, ощутило нереальность «осознания сознания» — тогда-то Антуан в последний раз услышал непритязательную песенку. Вот этот мотив внезапно пробуждается и поднимает — над тошнотворными провалами в «ничто» — «нечто», нечто реальное, пробуждающее надежду, восстанавливающее контакты. Надежду на оправдание собственного существования с помощью искусства — концовка романа подводит читателя к факту появления текста «Тошноты», этой декларации абсолютной свободы. Если бы завершение романа было иным, роман и не смог бы состояться, согласно логике «Тошноты», которая никак не предполагает апелляции к человечеству.

Дело, однако, не просто в искусстве. В эпохальном выводе Сартра: «Человек, приговоренный быть свободным, возлагает тяжесть мира на свои плечи», содержится декларация права человека на свободу, права, которое, однако, больше похоже на обязанность, от которой разумному существу не отвертеться. Это не столько право, сколько неизбежность познания сути существования, немотивированности присутствия в мире. Это не столько право, сколько неотвратимость выбора — приговоренность к свободе.

Приговор к свободе знаменует собой ответственность человека — он на свои плечи возлагает тяжесть мира. Здесь необычайно важный момент развития мысли Сартра. Мы имеем дело с диалектическим процессом отрицания отрицания. Обнаружив «ничто» как сущность человеческого существования, Сартр одновременно открывает и утверждает «нечто». Таким образом, деморализующая — то есть ставящая под сомнение традиционные нравственные ценности — философия Сартра формирует в своих пределах некую нравственную цель.

Намечается выход из замкнутого пространства «Тошноты». Едва только Сартр успел опубликовать свой роман, как XX век навалился на него всей своей тяжестью. Началась вторая мировая война, Франция была оккупирована. Философ, декларирующий абсолютную свободу, оказался в армии, затем в плену. Перед ним вырисовывался грозный облик Необходимости. Он мог выбирать, но в определенных, объективных, не зависящих от его воли обстоятельствах. Сартр выбрал антифашизм, Сопротивление, политическую борьбу. Начались мучительные поиски путей и способов совмещения свободы выбора с необходимостью осуществлять выбор в реальной жизненной ситуации, совмещения абсурда с ответственностью, морали с неоправданностью, политики с моралью.

Эти поиски — содержание и смысл всей многогранной деятельности Сартра на протяжении четырех десятков лет. Сартр предстал иным, «ангажированным» писателем, осознавшим бремя Необходимости, осознавшим свою ответственность, вовлеченность в действие. «Ангажированный» Сартр приобрел еще больший авторитет у западных интеллигентов, нежели Сартр периода «Тошноты». Своим примером он показал выход из тупика, в который попадала абсолютно свободная, отчужденная мысль, в котором оказывалась литература, противопоставляя мысль действию.

Сартр избрал действие, избрал познание в процессе действия, в процессе воздействия на действительность. Он стал в послевоенные годы крупнейшей фигурой так называемой «некоммунистической левой». Сартр — во всех битвах, во всех политических сражениях. Ему очень доставалось — и справа, и слева, тем более что вскормленная экзистенциалистской абсолютной свободой мысль Сартра не была чужда левачеству и анархизму. Сартр страстно боролся за мир — и звал объединиться вокруг коммунистов, вокруг СССР как пункта сбора всех антивоенных сил. Он осудил сталинские лагеря — но напоминал о лагерях, созданных «свободным миром» для свободолюбивых борцов за независимость «третьего мира». Он осуждал колониальные войны во Вьетнаме, в Алжире — и появление советских танков в Венгрии, в Чехословакии. Он отказался от ордена Почетного легиона — и какой шум возник вокруг его отказа от Нобелевской премии!

По признанию Сартра, после «Тошноты» он «учился реальности», а эти уроки показали ему, что «перед лицом умирающего от голода ребенка «Тошнота» ничего не весит». Легковесность «Тошноты» — это легковесность умозрительно декларированной свободы. Сартр писал, что война «взорвала» мышление западного интеллигента. «Взорванное» реальностью войны мышление Сартра двигалось к итогу, сформулированному в нашумевшей, этапной дискуссии с Альбером Камю в 1952 году: «Наша свобода есть не что иное, как свободный выбор борьбы за освобождение». И выбор этот совершается в «историческом действии, в котором и дано понимание истории».

Реальность голодающего ребенка и реальность борьбы за его спасение — вот что делает искусство (и философию) весомой, по убеждению «ангажированного» Сартра. К открытию этих реальностей он и стремился после войны. «Реальная жизнь,— писал Сартр,— это жизнь во всей ее сложности, полноте и многогранности. Я включаю в это понятие современную действительность и политику».

В первые послевоенные годы освоение «реальной жизни» происходило путем испытанным, средствами художественной литературы. Основным теоретическим трудом Сартра тех лет был цикл статей «Что такое литература?», публиковавшийся в феврале — июне 1947 года. Художественная, то есть вторичная, пересозданная писательской субъективностью реальность кажется Сартру достаточной для обнаружения истины. Впрочем, речь идет о писателе «ангажированном», сознающем, что любая речь — социальный акт, «ангажирующий» в свою очередь читателя. Соответст-

венно Сартр безжалостен в оценках «чистого искусства» — эта «блестящая и убийственная литература ведет к небытию», «литература абсолютного отрицания становится антилитературой».

Важнейшим открытием литературы — по Сартру — было открытие «historicité», то есть «вовлеченности в исторический процесс», зависимости от исторических обстоятельств, но в то же время обстоятельства — война, фашизм, Сопротивление — были таковы, что человек оказывался в «крайних ситуациях», перед лицом «человеческого удела», перед лицом абсолюта. Задача художника — воссоединить относительное и абсолютное, историческое и метафизическое, объективное и субъективное, демонстрируя одновременно реалистичность субъективности и субъективность реальности. Не описывать, согласно традиции, а ставить вопросы, будоражить, отождествить искусство с действием.

Такова литературная программа послевоенного Сартра — романиста и драматурга,— она была и программой социальной. В первые послевоенные годы эта программа воспринималась как переход к «ангажированному» экзистенциализму. «Старый» и «новый» Сартр сцеплены в этих первых попытках воссоздать «тотальность» человека и его удела.

Наглядная картина перехода — большое полотно прозаической трилогии «Дороги свободы» (1945—1949). Герой этой серии романов некто Матье Деларю, как и Антуан Рокантен,— «человек вообще», его индивидуальные приметы и признаки не имеют существенного значения. Существенно одно — Матье и Свобода, Матье и Необходимость. Первоначально, в первом же томе («Возмужание»), свободный выбор осуществляется героем вне исторических обстоятельств, в каждодневной, обыденной жизни, в личных отношениях, где ощутима и зависимость от «другого», от любви, от желания — и личная, субъективная природа самоосвобождения как некоей жизненной установки данного сознания, данного «я».

Уже в «Возмужании» обозначились признаки движения Сартра от «Тошноты». При всей близости героев Матье воспринимается как способ оценки Антуана. Его поиски свободы и смешны, и недостойны — все сводится к поискам денег для аборта любовнице, которая отказалась от этих денег, к тому же похищенных «свободным» героем. Пространство «Тошноты» целиком определялось сознанием Антуана — в «Возмужании» немало вариантов, разные возможности реализации потребности в свободе. Есть «свободный» вор, есть «свободный» садист, издевающийся над людьми с наслаждением. И все это «свободные» люди, не поехавшие в Испанию — там идет война, там гибнут люди, но свободный выбор героев романа пока еще вне истории, вне политики. Хотя Матье уже осознает неполноценность такого выбора — впервые появляется оценка сартровского героя-экзистенциалиста.

В следующих томах серии романов Матье Деларю быстро движется в направлении, противоположном движению Антуана Рокантена: ранее было отчуждение — теперь же приобщение к миру, к истории, к другим людям. И мир при этом изменился: Бувиль с прогуливающимися обывателями кажется вопиющим анахронизмом рядом с трагическим современным миром. Действие второй части — романа «Отсрочка» — происходит во время мюнхенского соглашения западных держав. Угроза войны ощущается как неотвратимая реальность. Герои вынуждены выбирать перед лицом этой угрозы, этой необходимости. Все люди спаяны общей бедой — Сартр опередил время, он предсказал нашу участь, словно бы взглянул на то время, когда человечество станет лицом к лицу с тотальными угрозами его существованию.

В третьей части, в романе «Смерть в душе», война разразилась. Гитлеровцы взяли Париж. Необходимость придавила абсолютную свободу, будущего не стало — не стало выбора. Но вот Матье наталкивается на солдат, которые готовятся к бою — без надежды на победу. Матье берет винтовку — он выбрал, поток истории втянул его. Метафизический абсолют при этом лишь отступил, в душе Матье ощущение смерти — как и у всех прочих, как у коммуниста Брюне, хотя тот готовится к борьбе, не утратил веру в ту дорогу к свободе, которая обретается в Сопротивлении.

Театр Сартра — от созданной в разгар войны пьесы «Мухи» до последней пьесы «Затворники Альтоны» (1959) — поражает разбросанностью тематики, богатством и разнообразием жизненного материала, сменой жанровых форм. Здесь и трансформация известного мифа об Оресте («Мухи»), и экзистенциалистская притча («За запертой дверью»), и эпизод Сопротивления, прочитанный в ракурсе ангажируемого экзистенциализма («Мертвые без погребения»), и сцены из жизни коммунистов-подпольщиков («Грязные руки»), и сатирические сцены из «американского образа жизни» («Почтительная потаскушка»), и трагедия времен крестьянской войны в Германии XVI века («Дьявол и господь бог»), и памфлет на буржуазные нравы («Только правда»), и критика немецкого неофашизма («Затворники Альтоны»).

Видимая разбросанность театра Сартра — от его публицистичности, от политического динамизма, нацеленности на различные «горячие точки» послевоенной социальной ситуации. Границ для Сартра не существовало, он чувствовал свою личную ответственность («человек возлагает тяжесть мира на свои плечи») за все происходящее во всем мире. Вместе с тем разнообразие конкретного жизненного материала, его кажущаяся безграничность соответствовала сартровской установке на воссоединение исторического и абсолютного, метафизического в человеческой «глобальности».

При всей своей пестроте драматургия Сартра отражает то же движение к осознанию исторической Необходимости, что наглядно и даже прямолинейно выражено в прозаической трилогии. Что ни пьеса, то арена столкновения Свободы и Детерминизма, исторической неизбежности, создающей те условия, в которых вынужден осуществлять свой выбор стремящийся к свободе сартровский герой.

Уже в «Мухах» Орест выбирает свободно, но перед необходимостью рассчитаться со злом, и совершает поступок «справедливый», что само по себе отодвигает героя пьесы от героя «Тошноты», для которого не существовало потребности в поступках «справедливых», то есть имеющих нравственную цель. В дальнейшем чаще всего война определяла в драмах Сартра — как и в прозе — границы абсолютной свободы, вынуждая искать путь соотнесения свободы с необходимостью. Найти даже вынужденное их равновесие было делом отнюдь не простым, Сартр был политиком трезвым, и не только предубеждения или же заблуждения убеждали его в том, как трудны, драматичны пути не метафизического, а социально-политического освобождения личности. В сложности большинства пьес Сартра отразилась сложность послевоенной действительности, в которую с беспокойством всматривался Сартр.

Все более убеждаясь при этом, что литература освоить эту сложность традиционными способами не в состоянии. Художественная, пересозданная писательской субъективностью, реальность кажется ему теперь недостаточной, неадекватной реальности истинной, той «глобальности», которой она себя являет. У Сартра-художника были различные планы, но после «Затворников Альтоны» он заявляет: «С литературой покончено, возвращаемся к философии».

Сартр предпочел разговор прямой, без посредника, который являет собой искусство. Однако и философия явно для Сартра недостаточна. Все, что писал Сартр на заключительной фазе своего движения, прерванной к началу 70-х годов тяжелой болезнью, лишившей его возможности читать и писать, определялось новым центральным понятием — понятием «пережитого», «переживаемого» («vécu»). «Взорванная» войной мысль Сартра в своей эволюции подошла к особому типу размышления о действительности, выходящему за пределы философской системы. Наиболее адекватно этот тип мышления реализовался в последней книге Сартра — «В семье не без урода. Гюстав Флобер с 1821 по 1857» (1971). Задача Сартра необычна: «Сюжет книги — что мы сегодня знаем о человеке?» Сартр был устремлен к «тотальности». Он рассуждал о том, что в наше время «литература должна быть всем», «лишь все прекрасно». А «все» — это не просто свод знаний, это еще и «пережитое», это практика, это политика, это Дело.

Ответить «глобальности» бытия можно, объединив возможности и литературы, и философии, и психологии, и социологии, и политики. Сартр сближает все сферы знания. «Театр философичен, а философия драматична».

Показательно и то, что героем своего последнего «романа» Сартр избрал писателя — и то, что этим героем стала не вымышленная личность, но Флобер. Следовательно, это нечто несомненно объективное — и одновременно столь же несомненно субъективное, творческое, писательское. «Фикцию реальной личности» Сартр намерен был раскрывать с помощью тех методов познания, которые он считал современными.

Первое место в их наборе занял марксизм. «Марксизм преобразил наше мышление»,— писал Сартр, однако полагал, что развитие марксизма остановлено бюрократизацией, превращающей эту философию из живой в мертвую. Кроме того, марксизм точно определяет социальную природу явления, но этим и довольствуется, не пытается проникнуть во внутренний мир. Следует «отвоевать человека внутри марксизма». Для этой цели необходимо привлечь психоанализ, дающий возможность понять формирование индивидуальности в семье, с детских лет, где все и закладывается. Не исчерпаны возможности и экзистенциализма, по убеждению Сартра, хотя в последние годы он предпочитал не называть себя экзистенциалистом — «взорвавшая» мышление война прежде всего «взорвала» сартровский экзистенциализм, разрушила тот философский фундамент, на котором выстраивался роман «Тошнота».

Не все, однако, было разрушено. Сохранила все свое эпохальное значение содержащаяся в «Тошноте» декларация права человека на свободу. И более того — «Человек, приговоренный быть свободным, возлагает тяжесть мира на свои плечи». Свобода не только как право, но и как социальная обязанность, как долг перед другими людьми. Свобода как осознание личной ответственности, ответственности каждого человека за все и за всех. Это не только сохранило свое значение, но обрело новый смысл, необыкновенную актуальность в наше время, в «атомный век», в эпоху тотальных угроз человечеству.

Л. АНДРЕЕВ

■

СЕН-ЖОН ПЕРС

Из трех поэм

С французского

Анабазис

Перевод ГЕОРГИЯ АДАМОВИЧА и ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

Песня

Под бронзовой листвой рождался жеребенок. Человек положил нам ягоды горькия в руки. Чужеземец. Проходивший. И слух, кажется мне, доносится о других областях... «Привет вам, дочь моя, под самым большим из деревьев года».

*

Ибо Солнце входит в созвездие Льва, и Чужеземец вложил палец в рот мертвых. Чужеземец. Смеявшийся. И говорит нам о траве. Ах! сколько дыхания тем областям! Как легки нам наши пути! Какая услада в рожке, и в пере сколько мудрости на позор крыльям!.. «Душа моя, взрослая девушка, имели чуждые вы нашим нравам нравы».

*

Под бронзовой листвой родился жеребенок. Человек положил нам свои горькия ягоды в руки. Чужеземец. Проходивший. И вот великий шум в бронзовом дереве. Смола и розы, дар песни! И гром, и флейты в комнатах! Ах, так легки нам наши пути, а! столько приключений за год, и Чужеземец, ни на кого не похожий, на дорогах всей земли! «Привет вам, дочь моя, под самым прекрасным из платьев года».

Строфика, орфография и пунктуация воспроизводятся по изданию: С.-Ж. Перс. Анабазис. Издательство Я. Е. Поволоцкого, Париж, MCMXXVI.

О творчестве Сен-Жон Перса ст. статьи М. Ваксмахера и Р. Гароди на с. 213.

VII

Не вечно будем мы жить в этих желтых землях, усладе нашей...

Лето, обширнее чем царство, подвешивает к скрижалям пространства несколько этажей климата. Огромная земля на своем гумне катит, полна до краев, свои угли, гаснущие под золой. Цвет серы и меда, цвет вещей бессмертных, вся земля с травами, зажигаемыми соломой минувшей зимы, и из зеленой губки единственного дерева небо берет свой лиловый сок.

Месторождение слюды! Ни одного нет чистого зерна в бородах ветра. И свет, как масло. Сквозь щели век, соединяющие меня с зубцами вершин, я знаю камень, запятнанный жабрами, рой молчания в ульях света, и сердце мое начинает заботиться о семействе акрид.

Самки верблюдов, спокойные во время стрижки, покрытые лиловыми рубцами, пусть спешат холмы под данными полевого неба, пусть движутся в молчании по бледной равнине добела раскаленной и пусть преклонят, наконец, колени в дыму снов, где в мертвой пыли земли гибнут народы.

Большие спокойные линии уходят к синеве невероятных виноградников. В нескольких краях земли зреют фиалки грозы; и эти облака песков, которые плывут, над руслами умерших рек обломками веков...

Тише голос над мертвецами, тише голос днем. Сколько нежности есть в человеческом сердце, неужели найдется ей мера?.. «Я обращаюсь к вам, моя душа! — душа моя, лошадиным запахом омраченная». И несколько летящих на запад огромных земных птиц удачно подражают нашим морским птицам...

На востоке неба, такого же бледного, как священная местность запечатленная бельем слепца, располагаются спокойные облака, там, где вращаются скорпионы камфары и копыта. Дымы, из-за которых с нами спорит дыханье! земля в бородах насекомых, вся ожидание, земля рождает диковины!..

И в полдень, когда подорожник открывает камни могил, человек опускает веки и освежает он в столетьях затылок свой. Всадники сновидений вместо мертвых песков, о тщетные дороги дыханьем обращенные к нам! где найти, где найти воителей, которые будут охранять реки в день их брака?

При шуме великих вод, движущихся по земле, вся соль земли дрожит в сновиденьях. И вдруг, а! вдруг, что эти голоса от нас хотят. Поднимите народы зеркал над покойницкой рек, пусть шлют они призыв векам грядущим! Поднимите камни в честь мою, поднимите камни в молчании и на страже этих мест на огромных дорогах конница из зеленой бронзы!..

(Тень огромной птицы проходит по лицу моему.)

Песня

Остановив мою лошадь под деревом, полным голубок, я свищу таким чистым свистом, что нет берегам обещаний, которые сдержат реки (Листья утром живые, живут по образу славы)...

*

И не то чтобы человек не был грустен, но, встав до зари, осторожно стоя под старым деревом, опершись подбородком на последнюю звезду, видит он в глубине голодного неба великие чистые вещи, которые превращаются в радость...

*

Остановив мою лошадь под воркующим деревом, я свищу еще более чистым свистом... И мир не видевшим этого дня, если умрут они. Но о моем брате, поэте, получены известия. Он опять написал очень нежную вещь. И некоторые прочли ее...

Изгнание

Перевод НАТАЛЬИ СТРИЖЕВСКОЙ

Ливни

Кэтрин и Фрэнсису Бидл

I

Дождь мангровым деревом крону корней раскинул над Городом,
Молокососы-кораллы множат упорно в извести мглистой свои малокровные орды,
Идея нагая, как ретиарий на римской арене, под хлещущим гребнем в сквере косы рассыпала гордо.

Пой, поэма, под громкий гогот торгов и ссоры вод гонг темы,
Пой, поэма, под дробный топот подков от своры вод гон темы:
Ей право первой ночи непорочных Пророчиц,

Расколот золотой кокон и тонет в темном кантоне, в синей трясине ночи,
И у меня на подушке, во мгновение ока, на теплой опушке дремы
Разметалась, ворочается, заголилась бесстыдно роза поэмы.

Боже великий, смеха владыка, земля дымится на вертеле ветра, как мясо вепря,
Вдовые глины под ласкою ливней невинных, луга под босыми ногами бессонных,
Пенные росы, грунтовые воды как вина, глиняный эль, эликсир забвенья.

Господи Боже, Боже великий, смеха владыка, здесь снов земные угодья,
Здесь к непогоде в дюны уходит эхо от многоярусной ярости моря,
Здесь смертный одр земли в развалинах, новорожденный час в свивальниках и в моем сердце просодия невиданной оды.

II

Табор безродный! Отчье кочевье! Мамки-цыганки! Ливни-сивиллы!
О Ливни, влекущие в гущу людского сословья, с кем нынче разделим мы честь наших бдений?
У чьего изголовья чиркнем огнивом, затеплим под вечер журчащие свечи?

Анды безмолвия на моей кровле, ликующий колокол моей крови во славу вашу, Ливни!
Я с вами, постойте: на остриях ваших копий мои алмазные копи!
Пена кипит на губах поэмы, как молоко кораллов!

А у зачина фразы пляшет, словно змею заклиная,
Идея нагая, как нож в кипятке мятежа,
И ритмом старинным, древним мотивом смиряет дикарку-поэму.

Боже великий, смеха владыка, храни меня от восхвалений, песнопений и благоволений.
Боже великий, смеха владыка, сколько обиды на губах ливня!
Какие туманы, барханы обмана друг друга сменяли, какие лужи лжи проплывали под клином дождей журавлиным!

В светлой полночи полдня промолвим полслова,
Смысла бытия отыщем крупицу... Дымок на камнях очага снова курится,
И Ливень на кровле вздыхает сонно и тушит лампу в наших ладонях.

III

Сестры Ассура [1] ведут своих братьев, Ливней великие рати походом на землю:
Хрустальные латы, булат и злато, пальмы султанов на шлемах,
Словно Дидона [2], чей след точно гемма белеет нетленно у стен Карфагена,

Словно супруга Кортеса [3], что смотрит с портрета, хмарью как хмелем, глиняным элем пьяна в пряной лени лета, в апокрифической темени леса...
Амазонки лазури мечи нам пометят ляпис-лазурью, лунной глазурью и жемчугами,
Синью засеют Апрель, столпятся в зеркал амальгаме!

---

[1] Ассур *(библ.)* — второй сын Сима, основатель Ниневии и Ассирии. У ассирийцев — верховное воинственное божество. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Дидона — в римской мифологии царица, основательница Карфагена, дочь царя Тира.

[3] Кортес Эрнан (1485 — 1547) — испанский конкистадор, в 1519 — 1521 гг. возглавил завоевательный поход в Мексику.

Грохот шагов гордых когорт под окнами спален, топот потоков во мгле купален.

Амазонки лазури, о стрелы-струи, звездные сбруи, лучи из луков летят по ветру!

Танцорки лазури, о струи-плясуньи, пляс-переплеск хороводы вод водят по свету!

О вороненый ворох, мороси порох, весталки-возницы с крутой колесницы орлов раздают легионам,

Заросли пик опоясали город, лезвий железный хворост, лозы клинков, серебряный стог — дождя расплетенные косы,

О сноп толедской стали! о стебли сабель! литые колосья проливного покоса!

...И Город хрустальный двоится в мокром сандале, улиц стеклянные бусы, мудрость фонтанов бронзовоустых,

Иностранец читает, ветер листает наших афиш проскрипции,

Ветер по дому гуляет, индианка-служанка с квартирантом ложится.

V

Мы ваших приходов постигли величье в тщедушной и душной тщете столичной жизни, обугленной в тигле будней,

Но резко пахнуло озоном прозрений, смыслом смолистым на мокрую зелень при первых порывах бури,

Вы нам облик людской вернули, вы нас лепите заново, Ливни, и под маску-личину проник запах свежей глины.

Но на высотах орлиных ужель не обрящем память? Иль пропоем забвенью псалом в темной аллее сада, топча листы золотые библии листопада?

Тропы в тюльпанных полях сновидений, озер обмелевших бельма, кость камня в горле колодца ужель недостойны пера стихотворца?

Старинные розы в руках инвалида, дети в дупле столетней оливы, над гроздью муската грузные осы, пчела над левкоем и узкие лестницы в тайных покоях вдовых молний ужель не достойны ни слова?

Нежность агав и алоэ, сладострастье магнолий и безгрешных бесплодье, земля, иссушенная познания зноем.

Зеленоволосые грозы плетут изумрудные косы, глядясь в зеркала банкиров. В батистовой тине, в муслиновом иле тонет облик богини.

Молоденькие идеи со столпами империи сидят за столами ампирными. Безмолвные толпы строятся немо на белых полях поэмы.

Залейте, Ливни, крутые утесы, залейте, залейте кресты и стелы, надгробья Габсбургов, катафалки маршалов, мавзолеи елея, ульи лжи.

Развейте, развейте с крутого утеса прах войн недавнего прошлого, развейте над морем и пепел белых, приплывших когда-то на каравеллах.

И пусть он вечно сидит на железном троне, на четырех ветрах, на чугунной треноге, на голой скале под грозовым небом, обуреваемый своим бредом, что преисполнил народы гневом.

И будет виться над морем вечно дым злодеяний и благодеяний, зола преданий, житий, сказаний — истории головешки,

Пока в лепрозориях и обителях терпкий запах термитов и трав лекарственных дерном ложе стелит по-царски паралитикам и святым старцам...

«Я желал, я желал жить с людьми, но земля с чужестранкой-душой пожелала расстаться...»

VI

. . . . . .

...Пусть слово предшествует мне в пути! Мы сложим песни эпох для странников и песни дорог для бессонных изгнанников.

VII

«Несть числа нашим дорогам, и нет у нас ни приюта, ни крова. К влаге святой припадаем смертных сухими устами. Вы, омывающие трупы в утробных водах утра,— земля покуда в терновых путах войны — омойте также лицо живущих; омойте, Ливни! омойте скорбные лица гневных, омойте нежные лица гневных... ибо узка их дорога, и нет у них ни приюта, ни крова.

Омойте, Ливни, неколебимый престол для сильных. В сиянье силы воссядут в исполинском застолье все те, кого не пьянило вино людское, кто не упивался слезами иль снами, кто сердце не осквернил, чье имя отзвука не находит в грохоте труб иерихонских... в сиянье силы воссядут в исполинском застолье на неколебимом престоле сильных.

Смойте медлительность и колебанья с путей деянья, смойте медлительность и приличья с путей познанья. Смывайте, Ливни! смывайте бельма с глаз благовоспитанных, благополучных, с глаз благоразумных и благонадежных, с глаз благородных и одаренных; смойте завесу и с глаз поэта, и с глаз покровителя, и с глаз праведника и правителя... с глаз всех медлительных, свято блюдущих приличья.

Смывайте, Ливни, прочь благолепие с лиц Благодетелей и благоденствие с Деятелей и сор суесловья и красноречья с уст публичных. Омойте, Ливни, руки судей и законников, и руки бабок повивальных, и руки, саван ткущие покойнику, омойте руки слепого зрячие, омойте руки калеки кряжистые и грязную руку, воздетую над челом человечества, доныне тянущуюся к хлысту и уздечке — при благолепии своих Благодетелей, при благоденствии своих Деятелей.

Омойте, Ливни, омойте свитки истории народов, омойте памяти скрижали: и своды древних летописцев, и своды хроник монастырских, преданья, были и архивы научных изысканий. Омойте, Ливни, омойте хартии и билли, наказы третьего сословья, указы царские и буллы папские, статьи союзных договоров, статьи раздоров; омойте, Ливни, листы столетий, весь свиток длинный, пергамент плотный и переплеты телячьей кожи, темнее камня тюремных камер иль стен приютов для прокаженных, темнее желтой слоновой кости или оскала черепов конских... Омойте, Ливни! Омойте памяти скрижали.

Омойте, Ливни! слова великие в сердцах людских: омойте вечные слова человеческие, омойте вещие слова человеческие; строки пророческие, строфы стройные; святые молитвы, литые гимны. Омойте, Ливни, в сердцах человеческих всю радость речи, звон кантилены и вилланеллы и переливы элегий и рондо; соль парадокса и сладость довода; омойте долгие ночи мечтаний, омойте бессонные ночи познания, омойте, Ливни, празднества разума, омойте лучший дар человеческий в душе человека, полной неутолимых желаний, неутомимой в деянии... омойте, Ливни! дела великие сердец людских».

VIII

Дождь мангровым деревом крону корней уносит из Города, ветром небес занесен к нам смысл-скиталец,
Да не покинет он нас! Но не отринем горькую правду как горсточку праха,
И да пребудет над моей кровлей тот, кому внятно Ливней пришествие, земное странствие в липах лепечущих, символы и предвестия шелеста шествия.

Пустые посулы! Сев, хлынувший всуе! Дым застилает дорогу людскую!
Молния у порога! проводим за черту городскую, вслед поглядим печально на
Великие Ливни,— под плетью Апреля пыльные спины глины,— великие Ливни, как флагелланты [1], исхлестанные бичами, бредут вереницей длинной.

А мы остаемся нагие один на один с землею, с одурью прели и перегноя земли, просыпающейся в испарине.
Парной оазис земли непаханой в зарослях папоротника, останки мамонта, осколки мрамора,
И тело розы, истрепанной ветром, пахнет землей, словно женщина, ставшая женщиной.

Город, ослепший от блеска ста тысяч лезвий, полет соколиный бликом по лабрадорским плитам и небо, в чаши фонтанов разлитое,
И золотой поросенок в тающей стеле солнца на площади сонной, ликующий сурик портала, и у калитки сада черная тень на серебряных лапах встала.
И юные вдовы объяты желанием бурным, в черном крепе, как в склепе, бедер бледные урны.

И ветер бежит по гребням речи, пена кипит на губах поэмы,
Брезжат новые мысли и отступают пред поступью смысла:
«Дивна песнь, дивна песнь, о, как дивна песнь дождей уходящих», но, Ливни! как немо лежит моя ненаписанная поэма!

---

[1] Флагелланты *(лат.)* — бичующиеся, религиозная средневековая секта, проповедовавшая публичное самобичевание ради искупления грехов.

IX

Ночь наступила, закрыты ворота, о сколь тяжелы небесные воды на мокрой латыни лавров!

На остриях ваших копий смысла алмазная россыпь! разбейте оковы, разите драконов духа стоглавых,

Боже великий, смеха владыка, вы разнесете сегодня смуту по всему свету.

*

Да будет вам радость, Боже великий, на иссушенном пороге книги, где мой смех распугает зеленых павлинов славы.

1943

Створы

Перевод МОРИСА ВАКСМАХЕРА

Возглашение

1

И вы, о Моря, прочитавшие самые дерзкие сны, неужто однажды в какой-нибудь вечер вы нас оставите на рострах Города, у казенного камня, возле бронзовой вязи узорчатых лоз?

Он шире, чем ты, о толпа, этот круг внимающих нам на крутом берегу беззакатного века — Море, огромное Море, зеленое, словно заря на востоке людей,

Море в праздничном благодушии, Море, что на ступенях своих возвышается одой, изваянной в камне, Море, канун предстоящего праздника и сам этот праздник на всех рубежах, рокот и праздник вровень с людьми — Море, само как бессонное бденье кануна, как народу явленный знак...

Погребальные запахи розы ограду гробницы не будут уже осаждать; час живой свою странную душу уже больше не скроет меж пальмовых листьев... И была ли когда-либо горечь у нас, у живых, на губах?

Я видел, как дальним на рейде огням улыбалась громада стихии, вкушающей отдых,— Море праздничной радости наших видений, точно Пасха в зелени трав, точно праздник, который мы празднуем.

Море все целиком от границ до границ в ликовании праздничном под соколиным полетом белых своих облаков — как родовое поместье, избавленное от налогов, или угодья владыки духовного, или в некошеном буйстве лугов обширнейший край, проигранный в кости...

Ороси же, о бриз, рожденье мое! И моя благосклонность направится к амфитеатру огромных зрачков!.. Дротики Юга дрожат в нетерпении перед воротами наслаждения. Барабаны небытия отступают перед флейтами света. И со всех сторон Океан, увядшие розы топча,

Над белизною террас меловых возносит свой царственный профиль Тетрарха!

Створы *(морск.)* — опознавательные знаки для определения фарватера.

2

«...Я заставлю вас плакать — ведь преисполнены мы благодарности.

От благодарности плакать, не от страдания,— говорит Певец прекраснейшей песни,—
И от смятения чистого в сердце, чей источник мне неизвестен,
Как от мгновения чистого в море перед рождением бриза...»

Так вещал человек моря в своих речах человека моря.
Так славил он море, славя любовь нашу к морю, и наше желание моря,
И со всех сторон горизонта струение к морю источников наслаждения...

«Я вам поведаю древнюю повесть, древнюю повесть услышите вы,
Я вам поведаю древнюю повесть слогом простым, подобающим ей,
Слогом простым, изящным и строгим, и повесть моя возрадует вас.

Пусть эта повесть, которую люди желают в неведенье смерти услышать,
Повесть, идущая во всей своей свежести к сердцу беспамятных,—
Пусть милостью новой нам она явится, ласковым бризом с моря вечернего в мягком мерцанье прибрежных огней.

И среди вас, кто сидит под раскидистым древом печали и меня слушает,
Мало окажется тех, кто не встанет и не шагнет вслед за нами с улыбкою
В папоротники ушедшего детства и в дальний гул колесницы смерти».

3

Поэзия, чтобы сопровождать движение речитатива в честь Моря.
Поэзия, чтобы сопутствовать песне в ее торжественном шествии по окружности Моря.
Как начало движения вкруг алтаря и как тяготение хора к струящимся токам строфы.

И это великая песня морская, как никогда ее раньше не пели, и Море, живущее в нас, само будет петь эту песню —
Море, которое носим в себе, будет петь, насколько нам хватит дыханья и вплоть до финальных аккордов дыханья,—
Море, живущее в нас, будет петь, разнося по вселенной шум шелковистый своих просторов и дар своей свежести.

Поэзия, чтобы смирять волнение бдений кругосветного плаванья в море. Поэзия, чтобы мы прожили дни этих бдений в наслаждении морем.
И это сны, порожденные морем, как никому они прежде не снились, и Море, живущее в нас, само будет плыть в сновидениях этих —

Море, которое соткано в нас, будет в них плыть до колючих зарослей бездны, Море будет в нас ткать свои часы великие света, свои пути великие мрака —

Море, разгул бесшабашности, радость рождения, ропот раскаянья, Море! Море! в своем приливе морском,

В клокотании пузырей, во врожденной мудрости своего молока, о! в священном клекоте гласных своих — святые девы! святые девы! —

Море — кипенье и пена, как Сивилла в цветах на железном сиденье своем...

4

О Море, так восхваленное нами, да пребудете вы, обиды не ведая, всегда препоясаны восхваленьями.
Так приглашенное нами, гостем почетным да будете вы, о чьих заслугах подобает молчать.
И не о море пойдет у нас речь, но о господстве его в человеческом сердце —
Так в обращении к Князю мы проложим слоновою костью или нефритом
Лик сюзерена и слово придворной хвалы.

Чествуя вас и перед вами в низком поклоне склоняясь без низости,
Я сполна вам отдам благоговенье свое перед вами и качание тела,
И дым удовольствия слегка затуманит рассудок поклонника вашего,
И радость его оттого, что нашёл он удачное слово, его одарит Благодатью улыбки,

И мы почтим вас, о Море, таким приветствием славным, что оно еще долго в памяти вашей пребудет, словно каникулы сердца.

5

...А ведь втайне давно я мечтал об этой поэме, понемногу в свои повседневные речи добавляя мозаику пеструю, ослепительный блеск открытого моря,— так на опушке лесной среди черного лака листвы промелькнет драгоценная жила лазури, так в ячеях трепещущей сети живой чешуею сверкнет огромная рыба, пойманная за жабры!

И кто смог бы меня врасплох захватить, меня и мои потаенные речи под надежной охраной учтивой улыбки? Но в кругу людей моей крови с языка у меня срывались порою счастливые эти находки — может быть, на углу Городского Сада, или у золоченых ажурных решеток Государственной Канцелярии, или, быть может, кто-то приметил, как среди самых будничных фраз я повернулся внезапно и вдаль поглядел, туда, где какая-то птица выводила рулады над Управлением Порта.

Ибо втайне давно я мечтал об этой поэме и улыбался счастливо, потому что ей верность хранил,— ею захваченный, одурманенный, оглушенный, точно коралловым млеком, и послушный ее приливу — как в полночных блужданиях сна, как в медлительном нарастании высоких вод сновидения, когда пульсация вод вдалеке с осторожностью трогает канаты и тросы.

И вообще как приходит нам в голову затевать такую поэму — вот о чем стоило бы поразмыслить. Но сочиненье поэмы доставляет мне радость, разве этого мало? И все же, о боги! мне бы следовало остеречься, пока еще дело не зашло далеко... Ты взгляни-ка, дитя, как на улице, у поворота, прелестные Дочки Галлея, эти гостьи небесные в одеянье Весталок, которых ночь заманила своим стеклянным манком, умеют вмиг спохватиться и взять себя в руки на закруглении эллипса.

Морганатическая Супруга где-то вдали и скрытый от мира союз! О Море, песня венчальная ваша песней такою станет для вас: «Моя последняя песня! моя последняя песня!.. и человек моря для меня эту песню споет...» И я спрошу, кто, как не песня, будет свидетелем в пользу Моря — Моря без портиков и без стел, без Алисканов и без Пропилей, Моря без каменных гордых сановников на круглых террасах и без крылатых зверей над дорогами?

Я возложил на себя написанье поэмы, и я высоко буду чтить свое обязательство. Как тот, кто, узнав о начале великого дела, предпринятого по обету, берется текст написать и толкование текста, и об этом его Ассамблея Дарителей просит, ибо сей труд — призванье его. И не знает никто, где и когда принимается он за работу; вам скажут, что это было в квартале, где живут живодеры, а быть может, в квартале литейщиков — в час народного бунта — между колоколами, призывающими к тушенью огней, и барабанами гарнизонной побудки...

И наутро нарядное новое Море ему улыбнется над крутизною карнизов. И в страницу его, точно в зеркало, посмотрится Незнакомка... Ибо втайне давно он мечтал об этой поэме, в ней видя свое призвание... И однажды вечером великая нежность затопит его, и решится он на признание, и ощутит в себе нетерпение. И улыбнется светло, и сделает предложение... «Моя последняя песня! моя последняя песня!.. и человек моря для меня эту песню споет!..»

■

Литературное наследие

АНДРЕ ШЕНЬЕ

Ямбы

Перевод с французского ГЕННАДИЯ РУСАКОВА

Пушкин назвал Андре Шенье певцом «любви, дубрав и мира». Такова его анакреонтическая лирика. Но Шенье стал также создателем глубоких и страстных «Ямбов» и героем известной легенды о поэте, павшем жертвой революционной нетерпимости. (Эта легенда воплотилась в таких замечательных произведениях, как элегия Пушкина «Андрей Шенье», поэма Гюго из его «Легенды веков», роман Альфреда де Виньи «Стелло».)

Между тем гибель Шенье и создание им на пороге эшафота «Ямбов» не были случайностью; антиякобинские, антиробеспьеровские позиции поэта не явились результатом лишь неожиданного поворота судьбы. При этом он был противником не Революции, а якобинского террора, не участвовал в заговорах, а выражал свои взгляды открыто, как публицист и поэт.

Андре Мари Шенье был сыном либерально настроенного французского дипломата и гречанки, внушившей сыну преклонение перед культурой Древней Эллады. Он родился в Константинополе в 1762 году, вскоре же был привезен во Францию, но, возможно, первые детские впечатления не совсем забылись и помогли ему в дальнейшем столь тонко и столь пластично передать в стихах атмосферу южных рощ, залитых жгучим солнцем, южной неги и едва пробуждающегося любовного волнения. Своими анакреонтическими стихами, так восхищавшими затем поэтов-романтиков (в том числе Батюшкова, Баратынского и молодого Пушкина), Шенье порывал с холодной рассудочностью классицизма, наполнял поэзию неподдельным чувством, используя, правда, лишь язык условной античности, и открывал литературе новые горизонты. Не дожив до начала нового века, Шенье тем не менее стоит у истоков поэзии девятнадцатого столетия.

Шенье при этом был сыном своего времени, он верил в торжество разума, вообще разумного начала в жизни общества. Сочинения философов-просветителей он внимательно читал.

Шенье был в Лондоне, когда пала Бастилия, и тут же, полный надежд и молодого энтузиазма, вернулся на родину Здесь он включился в бурную жизнь первых месяцев революции и создал восторженную революционную оду «Клятва в Зале для игры в мяч». Приветствовав провозглашение «Декларации прав человека и гражданина», Шенье посчитал своим долгом последовательно выступать за законность, за правовое государство, за конституцию. Вот почему он примкнул к клубу фельянов, ратовавших за строгое соблюдение законов и декретов. Считается, что клуб этот был прибежищем крупной буржуазии. Верно. Но также — либерально настроенной интеллигенции, наследницы просветительских идей.

Начинается короткий, но напряженный период в жизни Шенье. Поэт публикует политические брошюры, помещает статьи в газетах и журналах. Постепенно определяется основная мишень его политических выпадов — жирондисты и особенно якобинцы и их вожди — Бриссо, Робеспьер, Колло д'Эрбуа. Что же отстаивает Шенье, в чем упрекает своих оппонентов? Он отстаивает гражданский мир и законность, отстаивает интересы человека, просто человека, вне зависимости от его сословной принадлежности. Он не противопоставляет отдельного человека и народ, понимая, что, с одной стороны, устремления народа складываются из побуждений, чаяний, надежд и желаний отдельных его членов, а с другой, понятие «народ» достаточно расплывчато и абстрактно и может удобно прикрывать намерения политиканствующих демагогов. Выступает Шенье, конечно, против террора, справедливо полагая, что на страхе и на разгуле низких страстей нельзя строить всеобщее благо. «Человек добродетельный и свободный,— писал Шенье в одной из брошюр,— подлинный гражданин, говорит только правду и говорит ее всегда и всю до конца. Отвергая сиюминутную популярность, желая выглядеть значительным в глазах других лишь благодаря своей непобедимой твердости в поддержке всего, что хорошо и справедливо, он ненавидит тиранию и преследует ее, где только она не обнаружится». Шенье судит очень трезво. Он видит, к чему могут привести, говоря словами Пушкина, «порывы буйной слепоты» и «презренное бешенство народа». Оставаясь патриотом, понимая интересы нации, он отстаивает общечеловеческие идеалы, отстаивает гражданские свободы, столь романтически провозглашенные революцией, но понимаемые отдельными ее вождями весьма ограничительно.

Органическим продолжением публицистики Шенье стала его поэзия.

Старательный ученик античных лириков (он им охотно подражал в своих буколиках, элегиях, одах), Шенье выбрал для нового цикла испытанный старинный жанр обличительного стихотворения и ориентировался в этом, в частности, на пример древнегреческого поэта Архилоха. Сам древний жанр предопределил острую публицистичность «Ямбов». Но они стали образцом большой поэзии, продолжив в какой-то мере традиции гражданственной лирики Вольтера и проложив путь поэтам XIX века, прежде всего Барбье и Гюго.

Свой цикл поэт не завершил; он более или менее закончил девять стихотворений, еще шесть остались в набросках. В нашей публикации мы представляем этот цикл полностью впервые в русском переводе (ради этой целостности мы перепечатываем последнее стихотворение из книги «Поэзия Франции XIX в.», М., 1985).

«Ямбы» Шенье полны патетики, их образный строй ярок и подчас даже груб. Широкие обобщения чередуются со страстными проклятиями в адрес конкретных политических деятелей эпохи, которым поэт пророчит скорую гибель. Ратуя за справедливость, за закон («Мой гнев — законности слуга»), поэт впадает порой в такую же нетерпимость, как и его враги-якобинцы. Это, видимо, было неизбежно: насильственный переворот настолько раскрепощает страсти, что этот грандиозный всплеск эмоций захватывает всех, особенно тех, кто не хочет — как это пытался сделать, по его словам, аббат Сьейес — отсидеться и переждать. Однако в стихах Шенье за личной ненавистью и нетерпимостью к произволу нельзя не ощутить боль за родную страну, раздираемую гражданской войной и оказавшуюся в водовороте страстей и своекорыстных интересов.

Но рядом с полными ярости инвективами мы находим в «Ямбах» элегические ноты, выраженные столь сильно и столь искренне, что, видимо, они прежде всего и поразили и пленили поэтов-романтиков. Не случайно так привлекало их также написанное в тюрьме, полное глубокого лиризма стихотворение «Молодая узница»:

Так, пробудясь в тюрьме, печальный узник сам,
Внимал тревожно я замедленным речам
Какой-то узницы... И муки,
И ужас, и тюрьму — я все позабывал
И в стройные стихи, томясь, перелагал
Ее пленительные звуки.

(Перевод А. Апухтина)

Есть в «Ямбах» и точные зарисовки тюремного быта, и трагичнейшие переживания человека в ожидании скорой казни (как, например, в последнем стихотворении цикла):

Погас последний луч, пора заснуть зефиру.
Прекрасный день вот-вот умрет.
Присев на эшафот, настраиваю лиру.
Наверно, скоро мой черед.

Есть в стихах Шенье и минутная слабость, сомнения в правильности избранного поэтом крестного пути, но одновременно — вера в грядущее торжество справедливости, которое будет достигнуто, в частности, и благодаря неумирающему поэтическому слову.

Робеспьер пал 27 июля 1794 года. Шенье был казнен за два дня до этого, 25 июля, в пору последних пароксизмов якобинского террора, особенно бессмысленных и беспощадных. Изданы стихи Шенье были лишь в 1819 году.

Весной 1825 года Пушкин написал в Михайловском свою знаменитую элегию «Андрей Шенье». Стихотворение это вызывало споры. В нем нередко старались увидеть прежде всего автобиографические мотивы: сидящий в темнице поэт в ожидании

неизбежной казни сопоставлялся с опальным поэтом, который живет под надзором полиции в своем имении, принимает гостей, посещает соседей — Осиповых и Вульфов,— ухаживает за Анной Петровной Керн... Различие очевидное, кричащее. Пушкин не сравнивал себя с Шенье, он создал произведение, полное исторических обобщений (где доминирует тема поэта и власти), но о конкретном поэте и о конкретной ситуации. Эта элегия — о трагедии большого поэта, радостно встретившего революционные перемены (что отразилось в 44 стихах пушкинской элегии, которые, как известно, не были пропущены цензурой) и павшего жертвой политического экстремизма. Пушкин вкладывает в уста Шенье яркие слова обличения недавних революционеров, узурпировавших власть — как бы в интересах народа,— но обернувших ее против отдельных граждан, в своей совокупности этот народ и составляющих:

Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных;
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам;
Ты звал на них, ты славил Немезиду;
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-Эвмениду!

В пору народных смут и возмущений поэт может, конечно, и промолчать. Но большой, подлинный поэт именно на этих крутых поворотах истории и становится гражданином. Его выбор редко бывает верен, ибо в обстановке кровавой гражданской войны любой выбор оказывается наихудшим, и в этом состоит трагедия поэта и трагедия его эпохи. И тогда поэт погибает. Так произошло с Андре Шенье. Так написал об этом Пушкин в своей элегии. Уроки истории и уроки поэзии.

А. Д. МИХАЙЛОВ

I

«В его строке — свинец. В его горячих венах
Неистовая желчь течет».
А я двенадцать лет в долинах сокровенных
Копил стиха блаженный мед.
Придет моя пора — и я раскрою улей,
И подтвердит мой каждый слог:
Не мщение, не злость в меня глагол вдохнули.
Когда-то страстный Архилох *,
Обманутый в любви двурушничеством тестя,
Могучим ямбом прогремел.
Мне ни к чему Ликамб, я не для этой мести
Строку оттачивать умел.
Я не метал громов из мелочной гордыни.
Мне лишь отчизна дорога.
А снизойдет к ней мир — и желчь во мне остынет.
Мой гнев — законности слуга.
Мне против грязных гидр, на страх Питонам черным
Огнем и сталью потрясать.
Безжалостно давить, давить гадюк тлетворных —
Чтоб человеку жизнь спасать.

II

Кому ты, Пантеон, распахиваешь своды
И раскрываешь купола?
Что так слезлив Давид, кому несет в угоду
Кисть, что божественной слыла? [1]**

---

* Древние греки считали Архилоха (вторая половина VII века до н. э.) великим лирическим поэтом. Сватаясь к дочери паросского богача Ликамба, Архилох получил грубый отказ. В отместку за это он осыпал Ликамба оскорбительными стихами, написанными новым размером — ямбом. Опозоренный Ликамб покончил с собой. *(Здесь и далее прим. перев.)*

** См. прим. в конце публикации.

О небо! О судьба! Поверить ли фортуне?
О гроб, залитый морем слез!
А как небось Барер стенает на трибуне —
Аж пафос в клочья, на износ! [2]
Ну, шуму по стране! Набат, сердца пылают,
Негодованье души жжет.
Вот якобинцы им рыданья посылают.
Бриссо, который не солжет [3],
Твердит, что углядел, как в смраде испарений
Свернулся пеленою мрак:
Клубилась кровь и слизь каких-то испражнений,
Рожденных мерзостью клоак.
А это к праотцам зловещей, грязной тенью
Душа Марата отбыла...
Да, женская рука и впрямь во дни цветенья
Такую жизнь оборвала! [4]
Доволен Кальвадос [5]. Но эшафот в накладе:
Петле за сталью не поспеть.
Кинжал и Пелетье успел туда ж спровадить [6]...
С Маратом есть о чем жалеть:
Он, как никто, любил чужую кровь, страданья.
Скажи «подлец» — в ответ кричат
«Бурдон!» и «Лакруа!»... Достойные созданья [7]...
Но первым все же был Марат.
Да он и был рожден под виселичной сенью,
Петли надежда и оплот.
Утешься, эшафот. Ты — Франции спасенье.
Тебе Гора вот-вот пришлет
Героев на подбор — шеренгой многоликой:
Лежандр (его кумир — Катон) [8],
Заносчивый Колло — колодников владыка[9],
За ними Робеспьер, Дантон,
Тюрьо [10], потом Шабо [11] — переберешь все святцы:
Коммуна, суд и трибунал.
Да кто их перечтет? Тебе б до них добраться...
Ты б поименно их узнал.
С отходной сим святым, достойным сожалений,
Пришел бы Анахарсис Кло[12],
А может, Кабанис[13], другой такой же гений —
Хотя б Грувель[14], не то Лакло[15].
Ну, а по мне, пускай надгробные тирады
Произнесет добряк Гарат[16].
Но после ты их всех низвергни в темень ада —
Долизывать Марату зад.
Да будет им земля легка в могильном мраке,
Под сенью гробовой доски:
Глядишь, тогда скорей отроют их собаки —
Растащат трупы на куски!

Гражданин Архилох Мастигофор[17]

III

Я слышал — изменив холодному презренью,
Разгорячились вы всерьез[18],
Когда вам «Монитёр» дурацкое творенье
Глупца Барера преподнес.
Труды педанта вас вконец разволновали,
А стыд и страх ввели во грех,
И вы его при всех фракийцем обозвали,—
Мол, перепортил женщин всех.

К тому же говорят... Но я-то полагаю,
Что честь, краса в глазах молвы
Любым наветам вас всечасно подвергают...
Однако, сказывают, вы
Хоть шепотом, но все ж по адресу подонка
К фигурам, истинно мужским,
Добавили «подлец», «сутяжная душонка»
И пару слов, подобных им.
Вам это не к лицу. Пусть он таков, но все же...
Не дело черни подражать.
Забудьте их язык. Бесстыдство речи может
Бесстыдство дела поддержать.

IV

Безвестность подлости казалась им укрытьем...
. . . . . .

Но колченогий слог карающей эподы
Их неминуемо найдет.
Ты, Парос* — диамант, накрытый синим сводом,
Слепящий зрак эгейских вод.
В подземной тишине вершит Природа дело,
Ее работе нет конца.
Зато из недр твоих выходит мрамор белый
Для кропотливого резца.
А чтобы высший срам запечатлели строчки,
Есть мрамор-ямб, есть сталь в пере.
Так прокали его, готовь его к отточке!
Сын Архилоха, встань, Андре!
Не опускай свой лук — он устрашенье сброда.
Пусть, унаследовав твой стих,
Грядущие века, всесущая природа
Заголосят при виде их:
— У, свора подлецов! Чудовищ! Прокаженных,
В пылу резни и грабежей
Привыкших вымещать свой страх на слабых женах,
Не умерщвляющих мужей,
На нежных сыновьях и на отцах несчастных,
Уже бессильных их спасти,
На братьях, чья вина — в усилиях напрасных
От братьев муку отвести!
Жизнь и у вас одна... всего одна, вампиры!
И вы искупите лишь раз
Страдания и прах, рыданья и руины —
Всё, проклинающее вас!

V

Но вот они живут, а наша скорбь, владыка,
К тебе в мольбах не прорвалась.
И лишь поэт, о Бог, могучий в ратной силе,
Пленен, предсмертно одинок,
Приладив на стихи пылающие крылья
Громов, что ты метнуть не смог,
Откликнулся на зов достоинства и чести,
Вверяя судьям сатаны
Лжесудей, чьи суды — резня на лобном месте,
Вина — в отсутствии вины.

---

* На о. Парос, в Эгейском море, добывается знаменитый белый мрамор.

Дай мне, владыка, жизнь! Тогда-то эта свора
Закрутится от стрел моих!
И не укрыться им в безвестности позора:
Я вижу, я лечу, я их уже настиг.

VI

. . . . . .

На двадцати судах с едва прикрытым днищем —
Чтоб выбить посреди реки —
Тех пленников везли в цепях, в последнем сраме...
И всех Луара приняла:
Проконсулу Карье[19], под винными парами,
По нраву скорые дела.
Вот этих слизняков, приказчиков разбоя —
Фукье[20], Дюма[21], как на подбор,—
Где, что палач и вор, равны между собою
Судья, присяжный, прокурор,—
У, как я их хлестал, багровых от разгула,
Когда, вином воспалены
И похотью томясь, они сидят оснуло,
Лоснятся, хвастают, пьяны,
Сегодняшней резней и завтрашним разором,
Перечисленьем подлых дел,
И радуются им, и песни тянут хором!
А для утехи потных тел —
Лишь руку протянул, лишь губы захотели —
Красотки вмиг разгонят хмель:
Поверженных забыв, они из их постели
К убийцам прыгают в постель.
Продажный этот пол слепит приманка славы.
Он — победителю вприклад.
Все, кто б ни победил, у женщин вечно правы:
На шее палачей висят,
В ответ на поцелуй губами ищут губы.
Сегодня наглая рука
Уже не встретит здесь ей недоступных юбок,
Стальной булавки у соска.
Раскаяние — ад, где ищут искупленья.
Но тут не каются, а пьют.
Ночами крепко спят, не зная сожаленья,
И снова кровь наутро льют.
Неужто же воспеть кому-нибудь под силу
То, чем бахвалится бандит?
Они смердят, скоты: копье, что их пронзило,
Само, тлетворное, смердит.

VII

Когда войдет баран в пещерный сумрак бойни
И поглотит его проем —
Отара, пастухи, последний пес конвойный
Уже не думают о нем.
Мальчишки, что за ним, гоняясь, ликовали,
Красоток разноцветный рой —
Они его вчера умильно целовали,
Украсив пестрой мишурой,—
Не вспомнят про него, когда мягка котлета.
Что в бездне помощи искать?
Мне ясен мой удел. Не надо ждать ответа.

Пора к забвенью привыкать.
Как тысячу других, отрезанных от мира,
Назавтра, стадо поделя,
Разделают меня и выкинут для пира
Клыкам народа-короля.
А что могли друзья? Рукой родной и близкой,
Мой истомленный дух леча,
В решетку передать случайную записку
Да золотой для палача...
Живущий должен жить. Не мучайтесь виною.
Живите счастливы, друзья.
Вам вовсе ни к чему спешить вослед за мною.
В другие времена и я
Отвел бы, верно, взгляд от страждущих в неволе,
Не замечая скорбных глаз.
Сегодня мой черед кричать от этой боли.
Да будет жизнь светла для вас.

VIII

. . . . . .

Живем и мы. А что ж. Наверно, так и надо.
Едим и спим в последний час.
Покуда смерть-пастух выгуливает стадо,
Пока топор не выбрал нас,
Тут сплетничают, пьют, мужьям очки втирают,
Ревнуют, пакости творят,
За картами сидят и юбки задирают,
Кропают вирши и острят.
Вон кто-то шар надул: он прыгает, летучий,
Набитый ветром, без помех,
Как речи семисот пошлейших недоучек —
Меж них Барер ученей всех,
А рядом мельтешат, острят и колобродят
Политиканы, болтуны.
Но заскрипела дверь — и на порог выходит,
Среди внезапной тишины,
Казенный поставщик кормов для тигров-судей...
Чье нынче выпало число?
Кто ляжет под топор? И леденеют груди...
И облегченно: пронесло!
Бесчувственный глупец, тебе — назавтра срок!

. . . . . .

IX

Погас последний луч, пора заснуть зефиру.
Прекрасный день вот-вот умрет.
Присев на эшафот, настраиваю лиру.
Наверно, скоро мой черед.
Едва успеет час эмалью циферблата
С привычным звоном пропорхнуть,
За шестьдесят шагов, которым нет возврата,
Проделав свой недолгий путь,
Как непробудный сон смежит мои ресницы,
И прежде чем вот этот стих
В законченной строфе с другим соединится,
Наступит мой последний миг:
Войдет вербовщик душ, посланец смерти скорой.

Под гоготанье солдатни
Он выкликнет меня в потемках коридора,
Где я отмериваю дни,
Оттачивая строк карающие пики —
Коплю бессильные слова,—
И рифма на губах затихнет в полувскрике,
Запястья стиснет бечева.
Через толпу друзей по тесноте прохода
Проволокут меня силком.
Я был одним из них до страшного прихода,
Но я им больше не знаком.
Что ж, я пожил свое. Свобода побуждений,
Мужская честь и прямота,
Святые образцы ушедших поколений,
Блаженства робкая мечта,
Фемиды грозный лик над кровью преступленья,
Высокой жалости урок,
Деянья старины, не знающие тленья,
Горячность дружественных строк —
Их в мире больше нет! На что мне жить на свете,
Где верховодят ложь и страх?
О трусы, только мы одни за все в ответе!
Прощай, земля! Прими мой прах.
Довольно мешкать, смерть! Утишь мои мученья.
Ты впрямь, душа, погребена
Под грузом бед? Но жить — такое наслажденье!
И жизнь моя еще нужна.
Кто честен — тот, судьбой гоним несправедливо,
Уже готовый в землю лечь,
Не опускает глаз, и так же горделива
Его бестрепетная речь.
Но если не дано изменчивой судьбою
Мечом потешиться в бою —
Чернила под рукой, а боль всегда со мною.
Из них оружие скую!
И если, Правота, ни помышленьем тайным,
Ни просто словом невпопад,
Ни жестом, ни хотя б сомнением случайным
Перед тобой не виноват,
И если жжет тебя больнее всякой боли
Тысячеустая хвала
Деяньям подлецов, ревнителей неволи,—
Спаси меня! В разгуле зла
Я мститель твой, я длань, разящая громами!
Уйти, не отстреляв колчан,
Не растоптав в грязи, в стыду, в позоре, в сраме
Мерзавцев, сеющих обман,—
Кладбищенских червей, дорвавшихся до тела
Несчастной Франции? Сюда,
Мое перо, мой крик, мой гнев — пора, за дело!
Когда б не вы — что я тогда?
Вы жаркая смола, питающая пламя,
Хоть факел выгорел до дна.
Я в муках, но живу, я неразлучен с вами.
Надежды мощная волна
Меня несет. Без вас и жизнь — одна отрава:
Тоски ощеренная пасть,
Соратники в ярме, палаческая слава
Лжеца, палаческая власть,

Достойных нищета, изгнанников могилы,
Закона пакостная ложь...
И в этом жить?! Ну нет! Всегда достанет силы
Всадить в себя кинжал! Так что ж?
Неужто никого — почтить хотя бы словом
Полегших жертвами резни
И осушить глаза их сыновьям и вдовам,
Чтоб окровавленные дни
Пугали палачей упорством возвращенья,
Как неизбытая вина,
Чтоб их нашла в аду трехвостка отомщенья,
Уже для них припасена?
Чтоб плюнуть им в лицо, мученье их смакуя?..
Смерть, не стучись! Я отопру.
Страдай, гневись, душа, отмщения взыскуя!
Плачь, Доблесть, если я умру.

Примечания

[1] *Давид, Жак Луи* (1748—1825) — знаменитый французский живописец-классицист, близкий друг Робеспьера, один из видных деятелей Конвента. Его кисти принадлежит картина «Смерть Марата». Прах последнего, по предложению художника, поддержанному Конвентом, был перенесен в Пантеон.

[2] *Барер де Вьёзак, Бертран* (1755—1841) —член Комитета общественного спасения, видный деятель Конвента. Известен своим красноречием, равно как экстремизмом своих заявлений в Конвенте, снискавших ему прозвище «Анакреон гильотины». Участник Термидора, позднее эмигрировал в Бельгию

[3] *Бриссо, Жак Пьер* (1754—1793) — видный политический деятель, депутат Конвента, жирондист. Отправлен на гильотину по решению Конвента.

[4] Имеется в виду Шарлотта Корде, убийца Марата

[5] После убийства Марата ходил слух, что оно организовано жирондистами, укрывшимися в Кальвадосе.

[6] *Лепелетье де Сен-Фаржо, Луи Мишель* (1760—1793) — видный деятель якобинцев. Заколот роялистом, так как был в числе депутатов Конвента, голосовавших за смертную казнь Людовику XVI. В январе 1793 года останки Лепелетье перенесены в Пантеон. Этот эпизод Великой французской революции запечатлен Давидом в картине «Последние минуты Мишеля Лепелетье де Сен-Фаржо».

[7] *Бурдон де ля Кроньер, Леонар* (1754—1807) — член Конвента, враждовавший как с Робеспьером, так и с жирондистами.
Дантонист *Делакруа, Жан Франсуа* (1753—1794) обезглавлен одновременно со своим знаменитым другом.

[8] *Лежандр, Луи* (1752—1797) — якобинец, парижский мясник, один из ближайших друзей Дантона. 9 термидора был среди противников Робеспьера.

[9] *Колло д'Эрбуа, Жан Мари* (1749—1796) — видный деятель якобинской диктатуры, член Комитета общественного спасения. Принимал участие в усмирении мятежа в Лионе, где несколько сот мятежников были расстреляны, так как Колло считал, что гильотина работает слишком медленно. В ведении Колло находились каторжные тюрьмы, на что намекает Шенье. Участник термидорианского переворота. Позднее отправлен на каторгу, где и скончался.

[10] *Тюрьо де ля Розьер, Жак Алексис* (1753—1829) — депутат Конвента, близкий друг Дантона.

[11] *Шабо д'Алье, Жорж Антуан* (1758—1819) — депутат Конвента, член Трибунала. Автор работ по юриспруденции, при Наполеоне — участник разработки гражданского кодекса Франции.

[12] *Дю Валле-де-Грас Клоотс (Кло — у Шенье), Жан Батист* (1755—1794) — якобинец, депутат Конвента. Именовал себя «оратором всего человечества». Немец по национальности, Клоотс принял французское гражданство. Взял имя Анахарсиса — в честь скифского философа (ок. 6 в. до н. э.), долгое время жившего в Афинах. Казнен по приговору революционного трибунала.

[13] *Кабанис, Пьер Жан Жорж* (1757—1808) — врач и философ, друг Мирабо, философа-просветителя Кондорсе. Один из авторов наполеоновской конституции VIII года, следующим образом определивший ее суть: «Все делается для народа и во имя народа, ничто не делается его собственными руками и под его неразумную диктовку».

[14] *Грувель, Филип Антуан* (1758—1806) — литератор и дипломат, секретарь Временного исполнительного комитета. В этом качестве зачитывал смертный приговор Людовику XVI.

[15] *Шодерло де Лакло, Пьер Амбруаз Франсуа* (1741—1803) — писатель (автор романа «Опасные связи») и политический деятель, якобинец. Выступал за низложение и казнь короля.

[16] *Гарат (правильнее Гара), Доминик Жозеф* (1749—1833) — адвокат, профессор истории, в 1793 году был министром юстиции, затем внутренних дел Республики, после 9 термидора оставил пост. Впоследствии стал сторонником Наполеона, который даровал ему титул графа.

[17] Псевдоним, взятый Шенье в честь первого автора ямбов. Мастигофор *(греч.)* — вооруженный бичом блюститель порядка на улицах, в общественных местах и т. п.

[18] Личность адресата этого послания не установлена.

[19] *Карье, Жан Батист* (1756—1794) — якобинец, участник усмирения мятежей в Нормандии и Бретани. Назначенный проконсулом в Нант, прославился своей жестокостью при расправах с мятежниками. Отозванный Робеспьером в Париж, вскоре предстал перед революционным трибуналом, который приговорил его к смертной казни на гильотине

[20] *Фукье-Тенвиль, Антуан Кентен (1746—1795)*— известен своей непримиримостью на посту прокурора Республики. Среди его наиболее известных жертв — Мария Антуанетта, Малерб, Дантон, Демулен Осужден Конвентом и обезглавлен.

[21] *Дюма, Рене Франсуа* (1757—1794) — председатель революционного трибунала, сторонник Робеспьера. После осуждения последнего 9 термидора пытался выступить против Конвента, был схвачен и без суда отправлен на гильотину.

ДЖОЙС ДЖЕЙМС

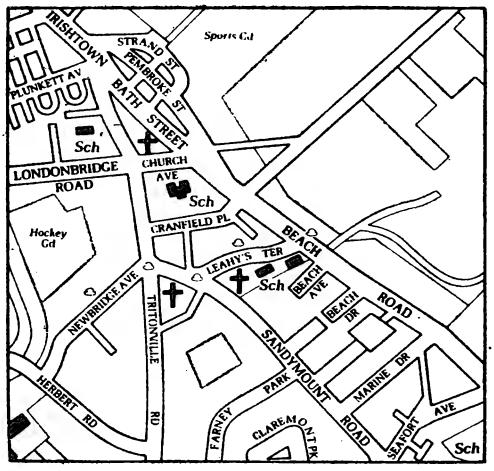
Улисс

РОМАН

Перевод с английского
В. ХИНКИСА и С. ХОРУЖЕГО

Дж. Джойс (портрет кисти Жака-Эмиля Бланша, 1935 г. Национальная портретная галерея, Лондон).

13



Летний вечер уж начинал окутывать мир своей таинственной поволокой. Солнце клонилось к западу, и последние лучи, увы, столь быстротечного дня нежно медлили на прощанье, лаская гладь моря, и песчаного пляжа, и гордый выступ старого Хоута, верно и вечно стерегущего воды залива, и скалы вдоль берега Сэндимаунта, затянутые морской тиной, и, наконец, что всего важней, скромную церковку, откуда в вечерней тишине плыли звуки молитв, обращенных к той, которая чистым своим сиянием как вечный маяк светит людским сердцам, носимым по житейскому морю,— к Марии, Звезде Морей.

Три девушки, три подруги сидели на прибрежных скалах, наслаждаясь чудесным вечером и морским ветерком, несущим приятную, еще не холодящую свежесть. Уж сколько раз забирались они сюда, в свое излюбленное местечко, чтобы уютно потолковать под плеск искрящихся волн и обсудить разные девичьи дела,— Сисси Кэффри и Эди Бордмен с младенцем в колясочке, а также Томми и Джеки Кэффри, два кудрявых мальчугана в матросках и матросских шапочках, на которых было написано одно и то же название: КЕВ[1]

Продолжение. Начало см. в № 1—6, 1989.

[1] Корабль Его Величества.

«Беллайл». Ибо Томми и Джеки Кэффри были близнецы, каких-нибудь четырех лет от роду, большие шалуны и озорники, но при всем том очень милые и забавные мальчуганы с живыми веселыми мордашками. Они возились в песке со своими лопатками и ведерками, строили башни, как все детишки, играли в большой разноцветный мячик, и счастью их не было границ. Эди Бордмен меж тем укачивала в колясочке пухлощекого малыша, и юный джентльмен блаженно посапывал. Ему было всего одиннадцать месяцев и девять дней, совсем еще ползунок, но он уже понемножку лепетал первые подобия слов. Сисси Кэффри наклонилась над ним, чтобы пощекотать складочки на его пухленьком животике и крохотную ямочку на подбородке.

— А ну-ка, детка,— улыбнулась она ему,— скажи громко-громко: дайте мне водички.

И он лепетал за ней:

— Ати ати диди.

Сисси Кэффри нежно потормошила малютку, потому что она обожала детишек, терпеливее всех возилась с захворавшими крошками, и ни за что на свете нельзя было заставить Томми Кэффри принять касторку, если кто-то вместо Сисси попробует его взять за носик и посулить ему лакомую горбушку черного хлеба с патокой. Эта девушка так умела уговаривать! Но, можно ручаться, малютка Бордмен и вправду был очень мил, сущий херувимчик в слюнявчике. А Сисси Кэффри была вовсе не из породы спесивых красоток вроде Флоры Макфлимси*. Получив от природы в дар золотое сердце, большие цыганские глаза с вечной смешинкой в них и губки, подобные спелым вишням, она неудержимо привлекала к себе. И Эди Бордмен вместе с нею смеялась лепету своего крошечного братишки.

Но тут юный Томми и юный Джеки устроили между собой легкую перепалку. Мальчишки — всегда мальчишки, и наши близнецы нисколько не были исключением из этого бесспорного правила. Яблоком раздора явилась песочная крепость, которую выстроил юный Джеки, а юный Томми, полагая, что лучшее — враг хорошего, стремился внести в нее архитектурные усовершенствования в виде большого входа, такого как в башне Мартелло. Томми был упорен, однако и Джеки был волевой натурой, и, верный старому изречению, что для каждого маленького ирландца его дом — его крепость, он ринулся на презренного соперника с таким пылом, что незадачливый узурпатор был вмиг повержен, а с ним — как то ни печально! — и сам предмет спора, крепость. Нужно ли говорить, что вопли побежденного Томми достигли бдительного слуха подруг.

— Томми, ну-ка поди сюда! — строго окликнула его сестра. — Скорей-скорей! А ты, Джеки, как не стыдно, зачем ты его повалил на грязный песок, бедняжку. Вот погоди, я тебе всыплю за это.

Юный Томми, с глазами, полными слез, явился на ее зов, потому что слово старшей сестры было законом для близнецов. После пережитого злоключения он был в плачевном виде. Матроска и штанишки были у него сплошь в песке, но Сисси издавна владела искусством справляться с маленькими житейскими неприятностями, и уже через миг на его ладном костюмчике не осталось ни единой песчинки. Однако в голубых глазах еще стояли большие слезы, готовые излиться наружу, и поэтому она крепко поцеловала его, чтобы бобо прошло, и погрозила пальцем нехорошему Джеки, и сказала, что она еще задаст ему, и негодующе на него посмотрела.

— Противный озорник Джеки! — воскликнула она.

Потом привлекла к себе маленького моряка и доверительно, тихонько спросила:

— А ты у нас кто? Ты у нас детка-конфетка?

— Скажи-ка нам,— вмешалась тут Эди Бордмен,— а кого ты больше всех любишь? Ты Сисси больше всех любишь?

— Не-е,— протянул, хныча, Томми.

— Тогда, значит, Эди? — спросила Сисси.

— Не-е,— тянул Томми.

— А я знаю,— сказала Эди без особого ликования, и ее близорукие глаза бросили хитрый взгляд.— Знаю, кого Томми больше всех любит, он Герти любит.

— Не-е,— тянул Томми, явно готовясь зареветь.

Но Сисси быстрым материнским чутьем живо угадала, что тут неладно, и шепнула Эди, чтобы та отвела его за колясочку, где джентльмен не увидит, и присмотрела, чтобы он не замочил свои новые желтые башмачки.

Но кто же такая Герти?

Герти Макдауэлл сидела невдалеке от своих подруг, задумавшись и глядя куда-то вдаль. Самому пылкому воображению было бы не под силу нарисовать более прелестный образ ирландской девушки. Все знакомые в один голос объявляли ее красавицей, хотя и замечали порой, что она пошла больше в Гилтрапов, чем в Макдауэллов. У нее была изящная тоненькая фигурка, даже, пожалуй, хрупкая, хотя таблетки с железом, которые она начала принимать, весьма помогали ей (в отличие от пилюль Вдовы Велч), уменьшая те истечения, что раньше случались у нее, и снимая чувство разбитости. Восковая бледность ее лица, обладавшего чистотою слоновой кости, была почти неземной, однако губки в своем античном совершенстве заставляли вспомнить розовый бутон и лук Купидона. Ее руки с тонкими пальцами были словно из мрамора, пронизанного голубыми жилками, и такой белизны, какую только могли доставить лимонный сок и Крем Королевы, хотя это была злейшая выдумка, будто бы она надевала на ночь лайковые перчатки и мыла в молоке ноги. Однажды Берта Сапл наговорила это про нее Эди Бордмен, но она просто сочинила, потому что в то время была с Герти на ножах (конечно, и у наших подружек иногда случались свои маленькие размолвки, как у всех смертных) и еще она ей сказала чтобы та ни за что на свете не проговорилась кто ей рассказал а иначе она всю жизнь не будет с ней разговаривать. Нет уж. Каждому по заслугам. У Герти была врожденная утонченность, некая томная hauteur [2], даже нечто царственное, в том не оставляли сомнений изящные линии ее рук и ножка с высоким подъемом. И если бы только ей выпал благой удел родиться в знатной семье и получить тонкое воспитание, Герти Макдауэлл без труда могла бы сравняться с любою из самых блестящих дам всей страны и увидеть себя в роскошном уборе, с диадемой на лбу, и сонмы высокородных поклонников ревниво оспаривали бы честь оказаться у ее ног. Может статься, именно это, возможная и несбывшаяся любовь, и было тому причиной, что ее нежные черты порой обретали какое-то напряженное выражение, исполненное тайного смысла, и ее дивные глаза туманились странной грустью, перед обаянием которой никто не мог устоять. Откуда их колдовская сила у женских глаз? У Герти они светились лазурнейшей ирландской лазурью, оттеняясь лучистыми ресницами и темными выразительными бровями. Однако некогда эти брови не были столь обольстительно-шелковисты. Это мадам Вера Верайти [3] со страниц своего Уголка Красоты в «Новостях принцессы» впервые дала ей совет попробовать краску для бровей, придающую вашему взгляду то загадочное выражение, что так нас чарует у цариц моды,— и Герти, приняв совет, никогда не сожалела об этом. Потом там еще было научное средство как перестать краснеть и каждая может стать высокой увеличьте ваш рост и ваше лицо прекрасно но как же носик? Последнее пригодилось бы миссис Дигнам, у той просто кнопка. Но главною славой Герти были ее роскошные волосы. Тем-

[2] Надменность *(франц.)*.

[3] Истина *(англ.)*.

но-каштановые, слегка вьющиеся от природы. Она подрезала их как раз в это утро, по случаю новолуния, и они мириадами блестящих завитков обрамляли ее хорошенькую головку. Она подрезала заодно и ногти, это в четверг к богатству. И сейчас, когда от слов Эди ее щеки зажглись румянцем, легким и нежным, как лепестки роз, она была столь прелестна в своей милой девичьей застенчивости, что, можно смело ручаться, во всей богохранимой стране Ирландии ей бы не нашлось равной.

Одно мгновение она еще сидела молча, грустно опустив взор. Она собиралась ответить, но что-то удержало слова, готовые сорваться с уст. Ее тянуло заговорить, однако достоинство ей подсказывало хранить молчание. Хорошенькие губки слегка надулись, но тут же она подняла глаза и рассмеялась веселым смехом, свежим, как юное утро мая. Она отлично знала, уж кому знать, почему эта косоглазая Эди сказала так: потому что он с виду охладел к ней, хотя на самом деле это было как милые бранятся. Как это всегда бывает, кой-кто себе места не находил, что парень с Лондон-бридж-роуд, у которого велосипед, постоянно разъезжает у Герти под окнами. Но просто сейчас отец велел ему сидеть дома по вечерам и как следует заниматься, чтобы заработать награду на экзаменах, а потом, после школы, он хотел поступать в колледж Тринити учиться на доктора, как и его брат У. И. Уайли, который выступал на университетских велогонках. Быть может, его не очень-то занимало, что она чувствует, и он даже не подозревал, какая пустота и боль охватывала порой ее сердце, пронзая его до глубины. Но он был еще совсем юн и, как знать, со временем мог бы научиться ее любить. Он был из протестантской семьи, а Герти, конечно, знала, Кто шел первым, и за Ним — Пресвятая Дева, и дальше Святой Иосиф. Но у него была эффектная внешность, это бесспорно, красивый правильный нос, и потом он был настоящим джентльменом во всем, до конца ногтей, уже форма головы выдавала что-то незаурядное, она всегда отличила бы, и особенно заметно сзади, когда он без шапки, и потом он так ловко, не держась за руль, разворачивал свой велосипед у фонарного столба, и его дорогие сигареты так хорошо пахли, и еще они очень подходили друг другу по росту, и вот потому Эди Бордмен и думала, что она такая умная, потому что перед ее жалким садиком он что-то не собирался разъезжать.

Одета была Герти просто, но с безошибочным вкусом, каким владеют верные слуги Ее Величества Моды, потому что у нее было такое чувство, как будто есть крохотный шанс сегодня встретить его. Изящная блузка цвета электрик, которую она сама покрасила лучшей патентованной краской (когда дамский иллюстрированный журнал предсказал, что электрик скоро войдет в моду), с эффектным узким вырезом до ложбинки и с кармашком для платка (но платок портил бы линию, и Герти всегда там держала ватку, надушенную своими любимыми духами), и темноголубая расклешенная юбка длиной три четверти чудесно обрисовывали ее гибкую грациозную фигурку. На ней была премиленькая кокетливая шляпка из черной соломки крупного плетения, контрастно окаймленная понизу синей и канареечной синелью, а сбоку украшенная шелковым бантиком тех же цветов. За этим сочетанием синели она охотилась в прошлый вторник целых полдня, пока наконец не нашла на летней распродаже у Клери в точности то, что нужно, шнур успел в магазине чуточку залосниться, но на вид совершенно незаметно, по два шиллинга один пенс за локоть. Потом она это все приладила своими руками, и сколько радости было, когда она впервые примерила ее и улыбнулась прелестному отражению, которое увидела в зеркальце! И, натягивая ее на большую кружку, чтобы не потеряла формы, она уже твердо знала, что скоро некоторым знакомым придется сбавить свой гонор. Ее туфельки были последней новинкой моды (Эди

Бордмен страшно гордилась, что у нее совсем petite, но такой ножки, как у Герти, у ней не было и не будет, сколько свет простоит), с носками из натуральной кожи и с единственной очень эффектной пряжкой на высоком изогнутом подъеме. Ее юбка открывала точеные щиколотки безупречной формы, а стройные икры, обтянутые тонким чулком с уплотненной пяткой и широкими отворотами для подвязок, виднелись ровно настолько, насколько следует. Что же до белья, то о нем Герти заботилась больше всего, и у кого из тех, кому ведомы трепетные надежды и опасения нежных семнадцати лет (хотя своим семнадцати Герти уже сказала прости), достанет жестокосердия ее упрекнуть в этом? У нее были четыре шикарных гарнитура с чудной кружевной отделкой, каждый из трех предметов плюс ночная сорочка, и причем ленточки у всех разного цвета, розового, голубого, сиреневого и салатного, и когда получала из прачечной она всегда их сама просушивала и подсинивала и гладила у нее такой был кирпичик на чем ставить утюг потому что этим прачкам она нисколько не доверяла насмотревшись как они портят вещи. Она надела голубое на счастье, надеясь наперекор всему, это был ее цвет и еще это счастливый цвет для невесты, если на ней есть где-нибудь голубое потому что когда она в тот день надела зеленое то вышло к несчастью потому что отец засадил его дома заниматься ради этой награды и потому что она подумала может быть сегодня он все-таки выйдет потому что когда она одевалась утром она чуть было не надела эти старенькие наизнанку а это как раз к счастью и к встрече любящих если ты это наденешь наизнанку или если вдруг ленточки там развяжутся значит он про тебя подумал только чтобы день был не пятница.

И однако! Однако! Это напряженное выражение лица! Как будто тайная грусть неотступно гложет его. Вся ее душа видна у нее в глазах, и, кажется, она бы отдала все на свете, чтобы очутиться сейчас одной, в укромной тишине своей комнатки, и, дав волю слезам, не сдерживая томящих чувств, выплакаться как следует, но только, конечно, не чересчур потому что она поняла перед зеркалом как надо плакать красиво. И зеркальце сказало, о, Герти, ты мила. Гаснущий отблеск дня освещает ее лицо, невыразимо печальное и задумчивое. Напрасно томится Герти Макдауэлл. Да, она с самого начала знала, что ее мечтам о замужестве не суждено сбыться, и не трезвонить колоколам на свадьбе миссис Регги Уайли, К. Т. Д.[4] (потому что миссис Уайли будет та, на ком женится старший брат), и в светской хронике не появиться строкам о том, что миссис Гертруда Уайли была в эффектном туалете серых тонов с роскошной меховой отделкой из голубого песца. Он слишком молод, чтобы понять. Едва ли он способен верить в любовь, это удел женщины. В тот давний вечер, на празднике у Сторов (он еще тогда ходил в коротких штанишках), когда они оказались одни, он воровато обнял ее за талию, и она вся побелела как мел. Изменившимся, странно охрипшим голосом он назвал ее малышкой и торопливо, еле скользнув губами, поцеловал (ее первый поцелуй!), но это получилось один только кончик носа, и тут же он заспешил из комнаты, бормоча что-то насчет закусок. Какой-то взбалмошный! Сила характера никогда не была сильной стороной Регги Уайли, а тот, кто сумел бы покорить и увлечь Герти Макдауэлл, уж конечно, должен быть настоящим мужчиной. Вот только ждать, постоянно ждать, пока на тебя обратят внимание, а тут как раз високосный год, который, не успеешь оглянуться, пройдет. Нет, ее идеал возлюбленного — не прекрасный принц, приносящий к ее ногам дивный и редкостный дар своей любви, скорей это закаленный мужчина, невозмутимый и сильный, которому не посчастливилось встретить свой идеал, может быть, у него на висках уже блестит седина, и он бы понял ее, надежно укрыл бы

[4] Колледж Тринити, Дублин.

ее в своих объятиях, привлек бы ее к себе со всею силой своей глубоко страстной натуры и прильнул бы к ее устам долгим, нескончаемым поцелуем. Это было бы нечто райское. Вот о ком затаенно мечтает она в этот летний задумчивый вечер. Всем сердцем своим она жаждет стать его единственной, его нареченной невестой в бедности и в богатстве, в немощах и в здоровье, покуда смерть не разлучит нас, и да будет впредь по сему.

И пока Эди Бордмен возилась за колясочкой с маленьким Томми, она как раз думала о том, придет ли завтрашний день, когда она сможет назвать себя его будущей женушкой. Вот уж тогда пускай они судачат про нее хоть до одури, и Берта Сапл, и Эди, которая такая злючка потому что ей в ноябре стукнет уже двадцать два. Она бы заботилась о нем, создала бы ему все мыслимые удобства, потому что Герти, не обделенная женской мудростью, хорошо понимала, что всякий мужчина любит у себя в доме уют. Ее оладьи, подрумяненные до золотисто-коричневого цвета, и пудинг королевы Анны, хранящий вкус и аромат свежих сливок, всегда вызывали шумные похвалы потому что у нее была легкая рука зажигать огонь, значит засыпаешь тонкую муку с сухими дрожжами и помешиваешь все время в одном направлении, потом молоко и сахар и хорошо взбитые белки хотя когда доходило до еды она не любила стеснялась при людях и думала как жаль что нельзя питаться чем-нибудь таким поэтическим фиалками или розами и она бы чудно обставила их гостиную там были бы всякие картины гравюры и фотография Гарриоуна собачки дедушки Гилтрапа она почти была как человек казалось вот-вот заговорит и на стульях покрышки из узорной набойки и серебряный тостер какие бывают в богатых домах она видела такой на распродаже у Клери. Он будет высокий, широкоплечий (она всегда мечтала, чтобы муж был высокий), с белозубой улыбкой под красиво подстриженными усами, и они поедут на континент, чтобы там провести свой медовый месяц (три упоительные недели!), а потом, когда они устроят себе уютное гнездышко, такой маленький миленький домик, то каждое утро будут завтракать вместе, это будет простой, но безупречно сервированный завтрак, и только две их персоны и никого больше и уходя на службу он крепко обнимет свою милую женушку и на минуту глянет в самую глубину ее глаз.

Эди Бордмен спросила у Томми Кэффри, все ли он сделал, он сказал да, тогда она застегнула ему штанишки и сказала, чтобы он бежал играть с Джеки, только пусть они оба будут теперь хорошие и не ссорятся. Но Томми сказал, что он хочет мячик, а Эди ответила нельзя, с мячиком играет малютка и если у него забрать, начнется сразу концерт, но Томми сказал нет, это его мячик, и он хочет свой мячик, и топнул ножкой. Нет, вы подумайте! Ну и характер! Да, он уже был мужчиной, этот маленький Томми, едва выйдя из пеленок. Но Эди ему ответила нет, нет и нет, и чтобы он прекратил, и сказала Сисси, чтобы та не уступала ему.

— А ты мне не сестра,— заявил неслух Томми.— Хочу мой мячик.

Но тут Сисси Кэффри сказала малютке Бордмену посмотри-ка сюда, посмотри на мой пальчик, и быстрым движением подхватила мяч. Она катнула его по песку, и Томми, одержав победу, со всех ног пустился за ним.

— Главное, чтобы было тихо,— засмеялась Сисси.

Она пощекотала крошке его пухлые щечки, чтобы он поскорей забыл, и принялась с ним играть в сорока-ворона кашку варила, деток кормила, этому дала, и этому дала, и этому дала, и этому дала, а самому маленькому не дала. Но тут Эди расшипелась, что вот так он вечно и вытворяет, что ему вздумается, раз все его балуют без конца.

— Вот погодите,— посулила она,— я еще ему всыплю по одному месту.

— Ата-та по попке,— весело рассмеялась Сисси.

Герти низко опустила голову и густо покраснела, подумав, что Сисси употребляет недопустимые для барышни выражения, каких она сама не произнесла бы ни за что на свете, лучше сгорела бы со стыда, она вся залилась горячим румянцем, а Эди Бордмен сказала, что джентльмен поблизости наверняка все слышал. Но Сисси это не волновало ни на мизинец.

— Ну и пускай! — воскликнула она, тряхнув беззаботно головой и озорно сморщив носик.— Можно заодно и ему по тому же месту. У меня это быстро.

Шальная Сисс с негритянскими кудряшками. Бывает, с ней обхохочешься. Например, скажет, ты выпей лимонаду а я таю с чортом, или нарисует красным на своих ноготках, на одном — кружку, на другом — мужскую физиономию, все, конечно, покатываются, или когда ей захочется в одно место, объявит вдруг, я должна нанести визит мисс Писс. Вот такая вот она вся, Сиссикумс. Ой, а разве забыть тот вечер, когда она напялила на себя отцовский костюм и шляпу, подрисовала жженой пробкой усы и с сигареткой пошла разгуливать по Трайтонвилл-роуд! По части шуток и розыгрышей за ней никому не угнаться. Но при всем том — чистейшая искренность, одно из самых смелых и верных сердец, какие Бог сотворил, не из тех двуличных созданий, что чересчур деликатны для прямоты.

Здесь в воздухе разнеслись звуки пения и органного гимна. То совершались молитва, проповедь и освящение Святых Даров в приюте трезвости для мужчин, которым руководил миссионер, преподобный Джон Хьюз, О. И. Там они собирались вместе, без всякого различия сословий (и это было весьма поучительное зрелище), ибо все они были вынесены мирскими бурями в сей скромный храм на берегу волн, и все, припадая к стопам Непорочной, читали молитву Божией Матери Лоретской, просили ее заступничества, обращая к ней древние, такие знакомые слова, пресвятая Мария, пресвятая и пречистая дева. Какую печаль несли эти звуки бедняжке Герти! Если б только ее отец вырвался из когтей зеленого змия, с помощью ли обета или тех порошков, исцеляющих от страсти к вину, про которые было в «Пирсонс уикли», она бы разъезжала сейчас в своей собственной карете, не хуже кого угодно. Она повторяла это себе несчетное число раз, сидя в грустной задумчивости у догорающего камина, не зажигая огня, потому что она терпеть не могла двойной свет, или мечтательно размышляя по целым часам, глядя из окошка на то, как дождь колотит в ржавый мусорный бак. Но гнусное зелье, разбившее столько очагов, столько семей, бросило мрачную тень на ее детские годы. Шутка сказать, ей даже довелось повидать в своем доме буйства, чинимые от невоздержности, и быть свидетельницей тому, как ее собственный отец, распаляемый губительными парами, совершенно забывал себя, ибо тверже всего на свете Герти знала одно: если мужчина когда-нибудь посмеет коснуться женщины иначе нежели с добротой и лаской, он достоин звания самого низкого негодяя.

Голоса продолжали петь, воссылая молитвы Деве всемогущей, всеблагой Деве. А Герти, погруженная в свои думы, словно не слышала и не видела ни своих подружек, ни резвящихся близнецов, ни джентльмена, который появился со стороны Сэндимаунт Грин — Сисси нашла, что он очень похож на отца,— и совершал небольшую прогулку вдоль берега. Конечно, на людях его никогда не увидишь навеселе, но все равно, он ей не нравился как отец, может, из-за того, что был слишком стар, или еще почему-нибудь, а может, из-за лица (словом, тут явно был случай доктора Фелла *), или же угреватого, бугристого носа, или рыжих усов, уже побелевших под носом. Бед-

ный папа! Она его любила при всех его грехах и ей нравилось когда он пел «О, Мэри, скажи, как тебя покорить» и «Мой домик и любовь моя недалеко от Рочелл» и на ужин были тушеные моллюски и салат под майонезом и когда он пел «Взошла луна» с мистером Дигнамом, который так внезапно умер и уже схоронили, помилуй, Господи, его душу, от удара. Это было в день рождения мамы, Чарли был дома на каникулах, и Том, и мистер Дигнам с женой, и Пэтси и Фредди Дигнам, и они все вместе сфотографировались. Кто бы подумал, что конец уже так близко. А сейчас он в могиле. А мама ему сказала что пусть это ему послужит предупреждением до конца его дней а он даже не смог пойти на похороны из-за своей подагры и ей пришлось сходить в город принести ему с работы письма и образцы линолеума Кэтсби, художественный рисунок, годится хоть для дворца, высокая прочность, и в доме всегда ярко и весело.

Герти была не дочка, а просто сокровище, вторая мать всей семье, помощница и ангел-хранитель, золотое сердечко. Когда у матери случались эти ужасные мигрени, такие, что голова раскалывалась, кто как не Герти всегда натирал ей лоб ментоловой свечкой, хоть ей и не нравилось, что мать нюхает табак, это было одно-единственное, из-за чего у них выходили споры, нюхать табак. Все неустанно ее хвалили за ее милое обхождение. Именно Герти всегда отключала газ на ночь, и Герти же повесила на стенке в одном местечке, где она никогда не забывала посыпать хлоркой каждые две недели, календарь с картиной «В идиллические времена», что им подарил мистер Танни, бакалейщик. На этой картине молодой джентльмен, одетый по-старинному, в треуголке, протягивал своей возлюбленной даме букет цветов через решетку ее окна, со всею галантностью того давнего времени. Сразу ясно, что за этим какая-то история. И как приятно подобраны краски! Она в белом из облегающей мягкой ткани, и поза самая изысканная, а кавалер в наряде шоколадного цвета и выглядел аристократом до конца ногтей. И часто, заходя туда кой-зачем, она мечтательно глядела на них и, засучив слегка рукава, трогала свои руки, такие же мягкие и белые как у той и размышляла о тех временах потому что она нашла в словаре произношения Уокера * который остался от дедушки Гилтрапа что это значит идиллический.

Близнецы теперь играли вполне по-братски, самым похвальным образом, до тех пор, пока юный Джеки, который и в самом деле был отъявленный озорун, от этого никуда не денешься, нарочно не наподдал мячик изо всех сил в сторону затянутых тиной скал. Само собой ясно, что бедный Томми выказал бурное огорчение, но, к счастью, джентльмен в черном, сидевший там в одиночестве, отважно ринулся на выручку и поймал мяч. Оба соперника с истошными воплями тут же принялись требовать любимую игрушку, и, чтобы выйти из положения, Сисси Кэффри обратилась к джентльмену, бросьте его мне, пожалуйста. Джентльмен примерился раз-другой и метнул его по песку в сторону Сисси, но он откатился под уклон и остановился у маленькой лужицы под скалой, в точности подле юбки Герти. Близнецы немедля возобновили свои требования, и Сисси попросила ее стукнуть его к ним, и пусть они ловят, кто поймает, так что Герти отвела ножку, но она предпочла бы, чтоб этот их глупый мяч не закатывался к ней, и попыталась ударить по нему, но промазала, а Эди и Сисси рассмеялись.

— Раз не вышло, пробуй снова,— сказала Эди Бордмен.

Герти улыбнулась в знак согласия и закусила губку. Ее нежные щеки порозовели, однако она твердо решила им показать и потому приподняла чуть-чуть юбку, немножко, но так, чтобы не мешала, и, хорошенько прицелившись, лихо наподдала ножкой по мячу, так что тот отлетел далеко-далеко, а оба близнеца припустились за ним по гальке. Конечно, это была чистейшая ревность, только чтобы

привлечь внимание джентльмена, наблюдавшего неподалеку. Она почувствовала, как жаркий румянец прихлынул и заполыхал на ее щеках, а это всегда был опасный знак у Герти Макдауэлл. Покамест они лишь мельком поглядывали друг на друга, но сейчас она рискнула посмотреть пристальней из-под полей новой шляпы, и ей показалось, что она в жизни своей не видела такого печального лица как то странно искаженное, обессиленное, что встретил ее взор в подступающих сумерках.

Благоухания струились через раскрытые окна церкви, и вместе с ним благоуханные имена той, что была зачата неосквернённо, ковчег духовный, молись за нас, ковчег поклонения, молись за нас, ковчег благочестия несказанного, молись за нас, о роза таинственная. И были там заботой снедаемые сердца, и труждающиеся ради хлеба насущного, и многие, что блуждали и заблуждались, глаза же их были увлажнены раскаянием, но купно и светились надеждой, ибо повёдал им преподобный отец Хьюз то, что сказал Бернард, великий святой, в своей прославленной молитве к Матери Божией: что дарована Приснодеве всякая власть предстательская, и не слыхано от века никем, чтобы она оставила без участия вопиющих к ней.

Близнецы снова безмятежно резвились, ибо в детстве огорчения наши мимолетны, как летний дождик. Сисси все играла с малюткой Бордменом, и тот агукал от удовольствия, поводя в воздухе ручонками. Тик-ток! подавала она голос, спрятавшись за верхом коляски, и Эди спрашивала, а куда делась Сисси, и тогда она вдруг выглядывала и восклицала: ку-ку! а мальчуганчик, я вам ручаюсь, весь расплывался от восторга. Потом она стала просить его: скажи папа.

— Ну скажи, папа, маленький. Скажи па па па па па па па.

И тот старался вовсю, потому, что, все говорили, для своих одиннадцати месяцев он был просто необычайно развит, и притом крупный, здоровенький, прямо на загляденье, такой тебе крошка-очаровашка, и все в один голос предсказывали, что из него вырастет какой-нибудь великий человек.

— Аля ля ля аля.

Сисси утерла ему ротик слюнявчиком и хотела его усадить по-настоящему и чтобы он говорил па па па, но едва она его развернула, она так и ахнула, святой Дионисий, да он же мокрый, хоть выжимай, надо скорей перевернуть под ним двойную пеленку другой стороной. Разумеется, эти формальности туалета вызвали досаду и недовольство его младенческого величества, о чем они и довели до общего сведения:

— Уааа куаакуаакуаа уаа.

И две большие круглые симпатичные слезинки покатились вниз по его щекам. Тут было бесполезно утешать, ну что ты, что ты, малыш, или начинать про всяких там гав-гав и му-му, но Сисси, как всегда, моментально сообразив, сунула ему в рот бутылочку с соской, и маленький язычник вскоре затих.

Герти нестерпимо хотелось, чтобы они забрали поскорей домой своего писклявого младенца, не действовал бы на нервы, и вообще ему уже поздно, а заодно и этих сопливых близнецов. Взор ее устремлен был в морскую даль. Она ей напоминала картины, которые уличный художник рисовал цветными мелками на мостовой и было ужасно жаль что они там останутся и сотрутся, вечер, и плывущие облака и маяк Бейли на мысу, а ты сидишь так вот и слушаешь музыку и доносится аромат это они там ладан жгут в церкви. Но, между тем как она глядела вдаль, сердечко ее так и колотилось. Да, это именно на нее он смотрел, и притом таким особенным взглядом. Его глаза жгли ее, словно хотели проникнуть в самую глубину, прочесть, что у ней в душе. Они были чудесны, эти глаза, они были несказанно выразительны, только можно ли довериться им? Люди бывают такие странные. Она сразу поняла, что он иностранец, по его темным

глазам и интеллигентному бледному лицу, живая копия ее фотографии Мартина Харви *, самого модного актера, если не считать усов но они ей всегда нравились потому что она не была так помешана на театре как Уинни Риппингам та даже предлагала чтобы они с ней одинаково одевались потому что по пьесе но только с ее места было не видно какой у него нос, орлиный или же слегка retroussé [5]. Он был в глубоком трауре, это она увидела сразу, и на лице у него читалась повесть печали и мук. Она бы отдала все на свете за то, чтобы узнать их причину. Его взгляд был таким настойчивым, неотрывным, и он видел как она стукнула по мячу так что мог бы наверно заметить и блестящие пряжки на туфельках если она ими будет задумчиво покачивать вот так вниз носочком. Она была рада, что утром чутье подсказало ей надеть эти прозрачные чулки, тогда ее мысль была что может быть она встретит Регги Уайли, но сейчас все это уже в прошлом. Перед нею явился тот, о котором она столько мечтала. Он и только он имел значение и на ее лице была радость потому что она жаждала его потому что она чувствовала всей душой что он и есть ее неповторимый, единственный. Всем своим сердцем девушки-женщины она стремилась к нему, суженому супругу ее мечтаний, потому что с первого взгляда она уже знала, что это он. И если он страдал, перед другими не был грешен, но лишь другие перед ним *, и если бы даже наоборот, если бы даже он сам прежде был грешник, дурной человек, это ее не остановило бы. Если даже он протестант или методист, все равно, она его легко обратит, если только он по-настоящему ее любит. Бывают раны, которые исцелит один сердечный бальзам. Она была настоящей женщиной, не то что теперешние ветреницы без капли женственности, каких он, наверно, знал, как эти велосипедистки, у которых все напоказ, чего у них нет, и она сгорала от жажды все узнать, все простить, если бы только она сумела так сделать, чтобы он полюбил ее и перестал вспоминать о прошлом. И тогда, может статься, он бы нежно обнял ее, и как настоящий мужчина, до боли крепко стиснул бы ее гибкий стан, и любил бы ее лишь ради нее самой, единственную свою девочку.

Прибежище грешников. Всех скорбящих радость. Ora pro nobis [6]. Как хорошо это сказано, что тот, кто молится ей с верою и усердием, никогда не будет оставлен или отвергнут; и как хорошо подходит, что она гавань и прибежище для скорбящих потому что у нее у самой сердце пронзили семь скорбей. Герти живо представляла себе всю сцену в церкви, светящиеся витражи в окнах, свечи, цветы и голубые хоругви братства Пресвятой Девы, а в алтаре отец Конрой помогает канонику О'Ханлону, уносит и приносит разные вещи, опустив глаза долу. Он выглядел почти как святой, в его исповедальне всегда было так чисто спокойно и мягкий сумрак и его руки будто из белого воска, а если когда-нибудь она станет доминиканской монахиней в этом их белом одеянии то может он приходил бы к ней в монастырь в новену Святого Доминика. В тот раз, когда она сказала ему на исповеди, что у нее это самое, и покраснела до корней волос, боясь, что сейчас он посмотрит на нее, он ей ответил, чтобы она не беспокоилась, это просто голос природы и сказал мы все подчиняемся ее законам в нашей земной жизни и греха в этом нет потому что это исходит от женского естества каким его сотворил Господь, так он сказал, и даже наша Владычица сказала архангелу Гавриилу, да будет со мною по Слову Твоему. Он был такой благостный, такой добрый, что ей очень часто хотелось сделать ему какой-то подарок, может быть, покрышку на чайник, с рюшиками, и вышить на ней цветы, или часы, хотя часы у них есть, она их видела на каминной полке белые с золотом а сверху маленький домик откуда

[5] Вздернутый *(франц.)*.
[6] Молись за нас *(лат.)*.

выскакивала каждые полчаса птичка и звонко выкрикивала она зашла в тот день насчет цветов для сорокачасового поклонения потому что это же трудно выбрать подарок может быть альбом с видами Дублина или каких-то еще мест.

Невыносимые сорванцы-близнецы опять затеяли склоку, Джеки запустил мячом в сторону моря, и оба они помчались за ним. Несчастные мартышки, надоели как лужи осенью. Давно уж пора, чтобы кто-нибудь хорошенько их проучил. Эди и Сисси тут же принялись кричать им вслед, чтобы они вернулись, перепугавшись, что нахлынет прилив и они утонут.

— Джеки! Томми!

И не подумали! Такие умники стали! Тогда Сисси объявила, что это последний раз в жизни она их взяла гулять. Она вскочила и, продолжая их окликать, устремилась за ними под уклон, откидывая на бегу свои волосы, по цвету они у нее были ничего, если бы еще подлинней но только чего бы она ни втирала в них не станем уж уточнять они ни чуточки не росли потому что такие есть так что ей одно оставалось делать самой авансы. Она бежала, по-журавлиному вымахивая ногами, странно как юбка не лопалась, в ней масса была мальчишеского, в Сисси Кэффри, и притом она никогда не упускала случая пофорсить а уж тут она знала что бегает как никто потому и проявила такую прыть чтобы он увидал как у нее подол нижней юбки развевается на бегу да голенастые ноги оголяются выше границ приличия. Просто очень было бы поделом, если бы вот сейчас она зацепилась за что-нибудь этими высоченными гнутыми французскими каблуками, все хочет повыше быть, да шлепнулась в землю носом. Tableau! [7]*. Дивное зрелище, мужчине есть на что посмотреть.

Царица ангелов, царица патриархов, царица пророков и всех святых, так молились они, царица трисвятейшего вертограда, а потом отец Конрой передал кадило канонику О'Ханлону и тот, положив туда ладан, окадил Святые Дары, а Сисси Кэффри изловила близнецов, и руки у нее так и чесались хорошенько надрать им уши, но она не стала, подумав, что, может быть, он смотрит, только на этот счет она очень глубоко ошибалась, потому что Герти, даже не глядя, видела, как он не сводил с нее глаз, а потом каноник О'Ханлон снова отдал кадило отцу Конрою и стал на колени, глядя кверху на Святые Дары, и хор запел Tantum ergo, и она стала покачивать ногой в такт музыке, тантумер госа крамен тум [8]. Три шиллинга и одиннадцать пенсов она отдала за эти чулки у Спэрроу на Джордж-стрит, это было во вторник, нет, в понедельник на Страстной, и до сих пор все петли целы, вот он на что смотрел, прозрачные, а вовсе не на ее замухрышные там ни тела ни линии (какая нахалка!) он же не слепой сам как-нибудь видит разницу.

Сисси поднималась от моря с двумя близнецами и с мячиком и, таща за собой мальчишек, выглядела под стать любой streel [9], шляпка у нее от бега съехала набок, тонкая блузка, купленная всего полмесяца назад, превратилась чуть ли не в тряпку, и для полноты картины сзади торчала нижняя юбка, как рисуют на карикатурах. И вот тут Герти сняла на миг свою шляпу, чтобы поправить волосы. Истинный бог, более изящной, очаровательной головки не красовалось никогда на девичьих плечиках, маленькое сияющее диво, способное свести с ума своей нежной прелестью. Долго пришлось бы пострансствовать по свету, чтобы отыскать что-либо подобное роскоши этих ореховых локонов. Она почти уловила, как быстрая искорка восхищения ответно вспыхнула у него в глазах, и от этого все струнки в ней затрепетали и напряглись. Она снова надела шляпу, опустив поля

[7] Картина! *(франц.)*
[8] Tantum ergo sacramentum — Вот великое таинство* *(лат.)*.
[9] Баба-неряха *(ирл.)*.

настолько, чтобы из-под них можно было наблюдать, и ножка, посверкивая пряжкой, стала покачиваться чуть быстрей, потому что дыхание у Герти перехватило, когда она перехватила это выражение в его глазах. Он смотрел на нее так, как смотрит удав на свою жертву. Женский инстинкт подсказывал ей, что она разбудила в нем дьявола, и при этой мысли горячая алость начала подниматься от ее шеи ко лбу, пока все личико не сделалось пунцовее розы.

Это не укрылось от Эди Бордмен, потому что она все время косилась на Герти, с кривой улыбочкой, в очках, как старой деве положено, а сама делала вид как будто баюкает малыша. Настырней всякого комара, такая она и была и будет, вот потому с ней никто и не мог поладить, потому что она вечно суется не в свое дело. И Эди сказала Герти:

— Интересненько, что это у тебя на уме.

— Что? — отвечала Герти с улыбкой, приоткрывшей белые зубки.— Я просто подумала, что уже поздновато.

Потому что она не чаяла дождаться, когда наконец эти сопливые близнецы, а заодно и младенец, уберутся подобру-поздорову, поэтому она и намекнула вежливо, что уже поздновато. И когда Сисси вернулась к ним, Эди спросила у нее, который час, а мисс Сисс, что за словом в карман не лезет, ответила без пяти поцелуев час целоваться. Но Эди непременно хотела знать, потому что им наказали быть пораньше.

— Погоди тогда,— сказала ей Сисси,— сбегаю спрошу у своего дядюшки Питера, который вон там торчит, сколько на его луковице.

И она направилась к нему, а когда он увидел, как она подходит, то Герти заметила, что он вытащил руку из кармана, как-то занервничал и стал поигрывать часовой цепочкой и разглядывать церковь. Да, у него была страстная натура, но при этом, как теперь Герти видела, он потрясающе владел собой. Только что он был весь под ее обаянием, глаз от нее не мог оторвать — и вот, в один миг, перед вами серьезнейший джентльмен, и каждая черточка его солидной фигуры выражает полное самообладание.

Сисси попросила ее извинить, и не будет ли он так добр сказать ей точное время, и Герти видела, как он достает часы, подносит их к уху, потом поднимает глаза и, кашлянув, говорит, что, к величайшему его сожалению, часы у него остановились, но он полагает, сейчас уже больше восьми, потому что солнце зашло. Он говорил с очень культурными интонациями, размеренным голосом, но, несмотря на это, словно какая-то дрожь проскальзывала в мягком звучании его речи. Сисси сказала спасибо и, вернувшись обратно, высунула им язык и объявила, дядюшка говорит, его луковица слегка протухла.

Потом они запели второй стих из «Tantum ergo» и каноник О'Ханлон снова поднялся и окадил Святые Дары и стал на колени, и тут он сказал отцу Конрою, что от одной из свечек вот-вот могут загореться цветы, и отец Конрой поднялся и поправил цветы и свечу, и она видела, как джентльмен заводит свои часы и прислушивается, идут ли они, и она снова стала покачивать ножкой в такт музыке. Уже темнело, но все-таки ему еще было видно, и он, не отрываясь, смотрел все время, пока заводил часы, или что там он с ними делал, а потом он положил их назад и снова сунул руки в карманы. Она почувствовала некое ощущение во всем теле: покалывало кожу на голове, планшетки корсета раздражали, и она знала что у нее начинается потому что в последний раз это было тоже когда она подрезала волосы в новолуние. Его темные глаза, снова прикованные к ней, впивали все ее очертания, поклонялись ей как божеству, это совершенно буквально. Если вообще когда-нибудь взгляд мужчины может выражать страстное и неприкрытое обожание — сейчас оно было на-

писано на его лице. И эта дань обожания — тебе, Гертруда Макдауэлл, и ты знаешь это.

Эди начала собираться в путь, давно ей было пора, и Герти заметила, что ее намек возымел желанное действие потому что по пляжу было довольно далеко до того места где можно подняться с коляской а Сисси сняла с близнецов беретки и принялась заботливо их причесывать конечно чтобы самой выглядеть симпатичней а каноник О'Хэнлон поднялся риза его встопорщилась колом на спине и отец Конрой передал ему листок с текстом и он начал читать Panem de coelo praestitisti eis [10] а Эди и Сисси тараторили все время про время и приставали к ней но Герти превосходно сумела им дать отпор и отвечала коротко с убийственной вежливостью когда Эди спросила не разбил ли ей сердце ее лучший поклонник внезапно бросив ее. Герти вся сжалась, словно от резкой боли. Глаза ее в тот же миг метнули холодную молнию, вместившую в себя безмерный заряд презрения. О да, это мучило ее, это резало по живому, потому что Эди, эта коварная кошка, отлично усвоила манеру говорить с невинным видом такие вещи, которые, как сама она знала, ранят и убивают. Губы Герти раскрылись, слово уже готово было слететь с них, но ей так и не удалось его сказать, потому что рыдания подступили к горлу, ее гибкому, совершенно идеальному горлу, линии которого восхитили бы любого художника. Он ведать не ведал, как сильно она любила его. Легкомысленный обманщик, ненадежный, непостоянный, как весь его пол, он никогда в жизни не сумел бы понять, сколько он значил для нее, и на мгновение ее глаза уже защипало от слез. Но они так и сверлили ее своими безжалостными глазами, и, сделав героическое усилие, она нарочно для них бросила самый благосклонный взгляд на нового своего вассала.

— О,— с быстротою молнии парировала Герти, смеясь и гордо вздернув головку,— год-то ведь високосный, я и сама могу выбирать, кого захочу.

Она говорила чистым и звонким голосом, мелодичным, как воркованье лесного голубя, и все же в наступившем молчании ее слова падали резко и холодно. Что-то явно слышалось в этом молодом голосе, что давало понять: такая девушка никому не игрушка. А мистера Регги со всем его бахвальством и с капиталами она бы просто отодвинула ножкой, как мусор с дороги, и больше никогда бы не вспоминала, и эту его несчастную открытку разорвала бы на мелкие кусочки. И если бы он когда-нибудь еще осмелился, она бы его наградила таким взглядом, с таким презрением, что он бы умер на месте. У ее ничтожества мисс Эди физиономия весьма вытянулась, стала, можно сказать, темней черной тучи, и Герти насквозь видела, что она готова просто лопнуть со злости, хотя и не подает виду, маленькая kinnatt [11], потому что у ней задели самое больное место, ее мелкую зависть, они же обе знали, что она-то в этих делах при пиковом интересе, навек чужая на этом празднике жизни, и кое-кто еще тоже это отлично знал и видел, так что им теперь только оставалось утереться.

Эди уложила поудобней малютку, готовясь в путь, Сисси собрала лопатки, ведерки, мячик, и было уже совсем пора, Бордмену-младшему подошло время засыпать. И Сисси ему сказала, что где-то тут уже бродит Вилли Закрой Глазки и, значит, малюткам пора бай-бай, но малютка, никак не унимаясь, радостно таращил глазенки и хохотал, так что Сисси стало самой смешно, и она пощекотала слегка его пухленькое брюшко, а он, не нуждаясь в позволении, тут же излил свою горячую благодарность на новенький нарядный слюнявчик.

— Вот тебе на!— расстроилась Сисси.— Приехали с орехами. Совсем слюнявчик испортил.

---

[10] Хлеб небесный Ты дал им *(лат.)*.

[11] Сучка *(ирл.)*.

Этот легкий contretemps [12] потребовал ее внимания, но в два счета она вновь навела порядок.

У Герти вырвалось сдавленное восклицание, она нервно кашлянула, и Эди тут же переспросила что-что, и ей хотелось ответить глухим две обедни не служат, но она всегда соблюдала самые светские манеры и поэтому просто тактично обошла, ответив что это благословение потому что как раз в ту минуту над берегом прозвучал в тишине удар церковного колокола потому что каноник О'Ханлон вошел в алтарь в облачении которое надел ему на плечи отец Конрой и благословлял держа в руках Святые Дары.

Как трогала чувства вся эта сцена в наплывающих сумерках, и Эрина прощальная краса, и наводящий думы вечерний звон *, и юркая тень летучей мыши, что снялась с колокольни, увитой плющом, и с тоненьким жалобно-растерянным криком носилась острыми зигзагами на гаснущем фоне неба. Далеко-далеко светились огни маяков, так красиво, ей бы очень хотелось нарисовать это красками ведь это легче чем человека и скоро уже фонарщик выйдет в свой путь мимо пресвитерианской церкви потом по тенистой Трайтонвилл авеню где прогуливаются парочки потом он зажжет фонарь невдалеке от ее окна тот самый где Регги Уайли всегда разворачивал свой велосипед и все как в книжке «Фонарщик» мисс Камминс, которая еще написала «Мейбл Вохен» и другие истории. Дело в том, что у Герти были свои сокровенные мечты, которых она не открывала никому. Она любила стихи, и когда Берта Сапл подарила ей альбом для записи разных мыслей, очень миленький, в кораллово-розовой обложке, она его спрятала к себе, в свой туалетный столик, который, правда, нельзя было упрекнуть в роскоши, но зато он просто сверкал образцовой чистотой и порядком. Там, в ящике, она сберегала свои девичьи сокровища, там у нее хранились черепаховые гребни, значок Детей Марии, духи «Белая роза», краска для бровей, гипсовая шкатулочка для духов, ленточки, которые она меняла на белье, когда его приносили из стирки, а в альбоме уже были разные красивые изречения она их записывала фиолетовыми чернилами купленными у Хили на Дэйм-стрит и как ей чувствовалось она бы даже могла сама сочинять стихи если бы только умела так хорошо выражаться как в этом стихотворении она его случайно увидела в газете куда были завернуты овощи и оно так понравилось ей что она тут же переписала его все целиком. Оно называлось «Идеал мой, ты лишь греза», сочинил Луис Дж. Уолш * из Маэрфелта, и дальше шло «сумерки, о ты, о скоро ль?» или как-то похоже и часто от прелести стихов, столь грустной в своей хрупкой красе, взор ее застилали тихие слезы потому что она чувствовала что годы ее уходят один за другим и если бы не этот единственный недостаток она бы вообще не знала соперниц все из-за того случая когда она спускалась по Долки-хилл и она всячески старалась это скрывать. Но она чувствовала, дальше так не может тянуться. Если бы только она уловила в его глазах этот волшебный зов, ее бы ничто не остановило. Девушку под замком не удержишь *. Она бы принесла великую жертву. Она бы старалась всеми усилиями разделить его мысли. И она стала бы для него дороже всего на свете и наполнила его дни счастьем. Но тут оставался наиважнейший вопрос, ей просто смертельно надо было узнать, женат он или вдовец, потерявший свою супругу, а может быть, случилась трагедия, как у того знатного дворянина из страны песен, который вынужден был поместить ее в сумасшедший дом, из жалости жестокость проявляя *. Но если даже — что тогда? Такая ли уж большая разница? Глубоко сидящий инстинкт отталкивал ее от малейшей неделикатности, грубости. Ей были отвратительны эти создания, падшие женщины, что прохаживаются по берегу Доддера, не

[12] Затруднение *(франц.)*.

гнушаясь солдатами и мужичьем, забыв про девичью честь и позоря свой пол, их даже забирают в полицию. Нет, нет, что угодно, только не это. Они будут просто хорошие друзья, как взрослые брат с сестрой, и больше ничего такого, вопреки всем обычаям Общества с большой буквы. А может быть, он носил траур в память о былой страсти, владевшей им в давно минувшие дни. Ей думалось, она поняла. Она постаралась бы его понять, потому что мужчины, они настолько отличаются. Старая любовь все ждала, ждала, простирая тонкие белоснежные руки, с мольбою устремляя голубые глаза. Сердце мое! Она пошла бы за своей любовью, своей мечтой, не оглядываясь, следуя только голосу сердца, которое говорило ей, что он — все для нее, единственный в целом мире, ибо одна любовь правит всем. Больше ничто не важно. Будь что будет, она порвала бы все оковы, все запреты, она была бы свободна.

Каноник О'Ханлон положил Святые Дары обратно в дарохранительницу и преклонил колена, хор запел «Laudate Dominum omnes gentes» [13], и он запер дарохранительницу потому что обряд благословения был окончен и отец Конрой подал ему шляпу а Эди, противная кошка, спросила ты что не собираешься идти но тут Джеки Кэффри закричал:

— Ой, Сисси, погляди!

И все посмотрели, может быть, это зарницы, но Томми тоже это увидел, там, над деревьями, за церковью, красное и синее и зеленое.

— А, это фейерверк,— сказала Сисси.

И все они побежали по пляжу, чтобы поспеть увидеть над церковью и над домами, всей гурьбой, Эди с коляской, в ней малыш Бордмен, Сисси и Томми и Джеки, она их держала за руки, а то могли упасть на бегу.

— Герти, иди сюда,— позвала Сисси.— Это фейерверк в честь благотворительного праздника.

Но Герти была тверда. Она не намерена бегать за ними как на веревочке. И она отвечала, что, если им нравится, они могут скакать как угорелые, а она посидит, ей и отсюда хорошо видно. Глаза, что были прикованы к ней, волновали ей кровь и сердце. На миг она глянула прямо на него, и взоры их встретились, и словно молния озарила все ее существо. Жгучая страсть была на его лице, безмолвная как могила, и эта страсть покорила ее ему. Наконец-то они были одни, без людской зависти и докуки, и она знала, что этому человеку можно довериться на жизнь и на смерть, что он верен и тверд и что он человек чести до последнего дюйма. И руки и лицо его были в возбуждении, и ее охватила дрожь. Она сильно откинулась назад, стараясь разглядеть фейерверк, обхватила колени руками, чтобы не потерять равновесие, и совершенно никто не мог увидеть, только она и он, когда она совсем открыла свои хорошенькие ножки, вот так, они были нежно упругие, изящно округленные, словно выточенные, и ей казалось, будто она так и слышит его неровное тяжкое дыхание и гулкий стук его сердца, потому что она уже знала насчет таких вот мужчин, страстных, с горячей кровью, потому что Берта Сапл однажды ей рассказала под самым страшным секретом, чтобы никогда никому, про их квартиранта из Комиссии по Перенаселенным Районам, он вырезал из журналов картинки с полуголыми шансонетками и с танцовщицами, задирающими ноги, и она сказала он занимался кое-чем нехорошим можешь сама догадаться чем иногда у себя в постели. Но тут ведь совершенно другое потому что огромная разница потому что она почти чувствовала как он привлекает ее лицо к своему, почти осязала первое быстрое обжигающее прикосновение этих красивых губ. И потом, есть ведь и отпущение грехов, если только ты не позволила этого самого до свадьбы и еще пусть были бы священники женщины им бы не нужно

[13] Хвалите Господа все люди Его *(лат.)*.

было все говорить словами они бы так поняли а у Сисси Кэффри тоже иногда бывает такой блаженный вид с совершенно блаженными глазками так что и ты, моя милочка, а эта Уинни Риппингам что просто помешана на фотографиях актеров и потом это все из-за того что как раз это самое начинается вот это из-за чего.

И Джеки Кэффри закричал, смотрите, там еще, и она еще отклонилась назад, и подвязки у нее были голубые, это подходило к прозрачному, и все увидели и закричали смотрите, смотрите, вон там, и она еще и еще сильней отклонялась назад, чтобы разглядеть фейерверк, и что-то непонятное носилось в воздухе, темное, туда и сюда. И она увидала большую римскую свечу, которая поднималась над деревьями, выше и выше, и все в восторге затаили дыхание, молча и напряженно следя, как она поднимается все выше, выше, и ей приходилось все дальше и дальше запрокидываться назад, почти ложась на спину, чтобы следить за ней, еще, еще выше, почти скрылась из глаз, и лицо ее залилось дивным пленительным румянцем от такой позы, и теперь он мог увидеть еще много нового, батистовые панталоны, материя прямо ласкает кожу, и лучше чем те зауженные зеленые за четыре одиннадцать, а эти беленькие, и она ему позволяла и видела что он видит а свеча поднялась так высоко что на мгновение совсем исчезла и все мускулы у нее дрожали из-за того что так запрокинулась а перед ним было полное зрелище гораздо выше колен такого она еще никогда никому даже на качелях или переходя вброд но ей не было стыдно и ему тоже не было что он так неприлично впился глазами он же не мог устоять перед таким дивным зрелищем когда перед ним все так открыто как у тех танцовщиц что задирают ноги совершенно неприлично а мужчины смотрят на них и он все смотрел смотрел. Ей хотелось закричать, позвать его задыхающимся голосом, протянуть к нему свои тонкие белоснежные руки, чтобы он пришел, чтобы она ощутила его губы на своем чистом лбу, крик любви юной девушки, слабый сдавленный крик, исторгнутый у нее против воли, звенящий сквозь все века и эпохи. И тут взвилась ракета, на мгновение ослепив, Ах! и лопнула римская свеча, и донесся вздох, словно Ах! и в экстазе никто не мог удержаться, Ах! Ах! и оттуда хлынул целый поток золотых нитей, они сверкали, струились, ах! и падали вниз как зелено-золотые звезды-росинки, ах, это так прекрасно! ах, это дивно, сказочно, дивно!

И как росинки, они растаяли в сгустившихся сумерках — и настало молчание. Ах! Она поспешно выпрямилась и бросила на него быстрый несмелый взгляд, полный кроткого протеста, мягкого застенчивого упрека, и под этим взглядом он покраснел словно девушка. Спиною он прислонялся к скале. Леопольд Блум (ибо это был он) стоит молча, потупив голову под ее чистым невинным взглядом. Какой же он гнусный тип! Снова за старое? Юная неиспорченная душа воззвала к нему, а он, жалкое существо, как же он на это откликнулся? Проявил себя как последний подонок! Причем не кто-нибудь, он! Но в этих глазах светилось безграничное милосердие, они и его готовы были простить, пускай он сбился с пути, блуждал и грешил. Разве девушка должна говорить? Нет, тысячу раз нет. Это их секрет, их личная тайна, которую скрыли сумерки и которую будут знать лишь они одни — да маленькая летучая мышь, что мягко носилась туда-сюда, а летучие мыши умеют хранить секреты.

Сисси Кэффри свистнула по-мальчишечьи, показать свои необыкновенные способности, и громко позвала:

— Герти! Герти! Мы уходим, пошли! Мы еще оттуда, сверху, посмотрим.

И тут у Герти мелькнула мысль, одна из маленьких уловок любви. Ее пальцы скользнули в нагрудный кармашек, вынули надушенную ватку, и она помахала ею, как бы в ответ, конечно, следя за ним, и потом сунула обратно. Хотя не слишком ли далеко до него. Она

поднялась. Так это прощание? О, нет. Ей нужно идти, но они еще встретятся, снова встретятся здесь, а до той минуты она будет мечтать об этом, мечтать завтра о том, что привиделось накануне. Она выпрямилась во весь рост. Их души слились в последнем, долгом и томном взгляде, и глаза его, полные странным сиянием, проникли в глубь ее сердца и сами, словно завороженные, не могли оторваться от ее лица, нежного как цветок. Она слабо улыбнулась ему, улыбкой нежной и всепрощающей, улыбкой, готовою перейти в слезы,— и они расстались.

Медленно, не оглядываясь назад, она шла по неровной полосе пляжа туда, к Сисси, Эди, к Томми и Джеки Кэффри, к малышу Бордмену. Заметно стемнело, а на пляже там и сям попадались камни, обломки дерева, скользкие водоросли. Она двигалась со спокойным достоинством, свойственным ей всегда, однако осторожно и очень медленно, потому что — потому что Герти Макдауэлл...

Туфли жмут? Нет. Она хромая! О-о!

Мистер Блум смотрел, как она ковыляет прочь. Бедняжка! Так вот она почему осталась сидеть, когда все помчались. Я так и думал, тут что-то не то, по всему ее виду. Покинутая красотка. Когда такое у женщины, это в десять раз хуже. Зато делаются обходительней. Хорошо, что еще не знал, когда она устроила свою выставку. Но все равно, горячий чертенок. Не возражал бы. Из разряда диковинок, как с монахиней, или с негритянкой, или когда она в очках. Та косоглазенькая, кстати, весьма субтильна. Наверно, месячные скоро, это подзуживает их. У меня сегодня ужасно болит голова. А куда я его сунул, это письмо? Тут, все в порядке. Всяческие бредовые прихоти. Полизать монетку. Та монахиня в монастыре Транквилла рассказывала, что у них одна девица обожает запах нефти. У старых дев, думаю, уже помешательство под конец. Сестра, как ее? А у скольких женщин в Дублине это сегодня? Марта, эта. Что-то такое в воздухе. Луна влияет. А тогда почему не у всех женщин менструации в одно время, фазы-то у луны те же? Наверно, еще зависит от даты рождения. А может, все начинают одинаково, а после выходят из графика. У Молли и Милли иногда совпадает. Как бы там ни было, я-то воспользовался случаем. Правильно, что не стал утром в бане, над этим ее дурацким я тебя проучу посланием. Это мне в утешение за тот трамвай утром. Болван Маккой привязался со всякой чушью. А эта его жена ангажемент в провинции чемодан, голосишком пополам перепилит. Признателен за вашу небольшую услугу. Притом дешево. По первому требованию. Потому что им самим хочется. Естественная потребность. Каждый вечер их целые косяки из контор. Лучше воздерживаться. Когда за ними не бегаешь, сами липнут. Так и бери тепленькими. Жаль, они сами себя не видят. Грезы о чулочках с аппетитной начинкой. Где это было? Ах, да. Картинки в райке на Кейпл-стрит, только для мужчин. Что подглядел Том. Шляпа Вилли и как девочки позабавились с ней. Их правда снимают в этаком виде или тут трюк? Lingerie[14] придает эффект. Ласкал ее формы под легким дезабилье. Их это самих возбуждает. Я вся чистенькая, иди запачкай меня. Любят наряжать друг дружку перед великой жертвой, Милли была в восторге от новой блузки у Молли. Для начала. Все наденет, чтобы потом все снять. Молли. С чего я купил ей сиреневые подвязки. Да и мы тоже: какой он галстук надел, и брюки с манжетами *, и носки красивые. Пришел он в новых гетрах в тот первый вечерок. Нарядная рубашка и на кудрях — чего бы там? — венок. Говорят, потерять шпильку — потерять поклонника. Пришпиливают. Эх, у Мэри панталоны на одной булавке. Нарядилась для кого-то как модная куколка. Во многом их шарм за счет моды. Как только раскусят моду, она меняется. А на Востоке не так: Мария, Марфа *, что сейчас что тогда. Ника-

[14] Белье *(франц.)*.

кие серьезные предложения не отвергаются. Она вовсе не торопилась. Спешат они только на свидание. В жизни не позабудут. Наверно, просто так вышла, поискать счастья. Все они верят в случай, это у них в натуре. А другие все ее норовили подколоть. Школьные подружки ходят, обнявшись или переплетя пальцы, целуются каждую минуту и нашептывают друг дружке всякую чепуху под страшным секретом где-нибудь в монастырском садике. Монашки в строгих наколках, лицо вымыто известковым молоком, трясут своими четками, злобятся на все, чего им не полагается. Колючая проволока. Не беспокойся и пиши мне. А я тебе. Только будешь ли? Молли и Джози Пауэлл. Пока не найдет себе, а там видятся раз в год по обещанию. Tableau! Господи, нет, вы посмотрите, кто это! Ну как, как ты там? Что у вас делается? Целуются я так рада целуются что я тебя встретила. Вот-вот пробуравят друг дружку, выискивая изъяны в наружности. Ты выглядишь изумительно. Души-сестры нежно оскалились в улыбке. Так-так, а зубы-то у тебя все? Щепотку соли одна другой пожалеет.

Эх!

Когда у них это дело, они словно сатанеют. Мрачное дьявольское выражение. Молли говорит, любая вещица кажется в тонну весом. Или вдруг почеши мне пятки. Ага, ага, вот так! Ах, как чудесно! Со мной такое тоже бывает. Полезная передышка своего рода. Интересно, не вредно ли в эти дни быть с ними. С одной стороны, безопасно. При них молоко скисает, скрипичные струны лопаются. Где-то еще читал, в саду цветы вянут. Говорят, если увидишь женщину с увядшим цветком, значит, она кокетка. Все они. Пожалуй, она заметила, что я. Когда на это настроен, почти всегда это подвернется. Понравился я ей, что ли? Они всегда смотрят, как одет. Если он за кем ухаживает, тут же это определят: при воротничке, при манжетах. Кстати, у петухов то же самое, и у оленей, у львов. И иногда вдруг им нравится, если галстук или еще там что не в порядке. Брюки? А вдруг бы я в тот момент когда я? Нет-нет. Надо деликатно. Не любят, когда грубо набрасываются. Поцелуй во тьме и вечная тайна. Что-то она нашла во мне. Интересно, что. Уж лучше я чем какой-нибудь рифмоплет, волосенки мажет медвежьим салом, над десным оком завиточек приклеен. Для помощи джентльмену в литературных. В моем возрасте уже надо следить за внешностью. В профиль я к ней не поворачивался. Хотя тут не угадаешь. Хорошенькие за уродов выходят. Чудище и красавица. Потом, я уж не совсем, как-никак Молли. Сняла шляпу показать волосы. Поля широкие. С такими покупают прятать лицо, если кого знакомого встретит, опустит голову или станет нюхать букетик ах как пахнет. От волос во время любви. Очески Молли я продал за десять шиллингов, когда бедствовали на Холлс-стрит. А что такого? Или допустим, он ей даст денег. Что такого? Одни предрассудки. Она стоит и десять, и пятнадцать, и фунт. А? Уж как-нибудь стоит. А то все за так. Почерк, и тот нахальный. Миссис Мэрион. Адрес-то я не забыл на письме, а то, может, как с той открыткой, что послал Флинну? А однажды пошел к Дримми и галстук забыл надеть. Но тогда это сцена с Молли меня расклеила. Нет, я помню. Ричи Гулдинг, он не такой. Все взвесит. Странно, мои часы остановились в полпятого. Пыль. Маслом из акульей печенки их смазывают. Я бы и сам мог. Дешевле. Может, это точно в момент, когда он с ней?

Да, он был с ней. В ней. Она с ним. Заделано.

Эх!

Мистер Блум аккуратно расправил влажный подол рубашки. Все эта хромая бестия. Становится липко, зябко. Последствия не очень приятны. Что делать, надо же как-то разрядиться. Их это не смущает. Может даже им льстит. Потом домой, к вечерней булочке с молочком, перед сном прочтет молитву с детишками. Что, не такие

они? Увидишь ее какая есть, и все испорчено. Тут требуются декорации, костюм и грим, позы, музыка. И имя важно. Амуры актрис. Нелл Гвин, миссис Брейсгердл, Мод Брэнском *. Поднимается занавес. Лучезарное серебро луны. Выступает дева с задумчивым лоном. Приди в мои объятия, сладость моя. Но все-таки чувствуется. Придает силы человеку. Тут-то и весь секрет. Хорошо, я там у стенки отлил, выйдя от Дигнама. Все этот сидр. Иначе не вышло бы. А после тянет запеть. Лакауз эсант, тара-тара. Допустим, я бы заговорил с ней. О чем только? Лучше не начинать разговор, если не знаешь, чем кончить. Задай вопрос, они тебе другой. Хороший выход, если видишь, завяз. Выигрыш времени. Зато потом то же самое. Конечно, это приятно, если ты ей: добрый вечер, и сразу видишь, она тоже идет навстречу: добрый вечер. Ох, но как вспомню тот вечер, когда чуть-чуть не заговорил с миссис Клинч на Аппиевой дороге, принял ее в потемках за. Ужас! А в другой вечер девка на Мит-стрит. Заставлял ее повторять всякую похабень. Она коверкала, конечно. Моя жожо, называла ее. Редко найдешь, которая бы. Хо-хо! Пока не свыклась, ей, наверно, ужасно, когда заговорит с кем-то, а тот ноль внимания. Поцеловала руку, когда дал ей лишних два шиллинга. Автоматы. Нажмешь кнопку — птичка чирикнет. Но все-таки лучше б не называла сэр. А какие у нее губы в темноте, о! Женатый мужчина со свободной девицей. Вот что им самое приятное. Отнять у другой ее мужчину. Или хоть послушать про это. Во мне нет такого. Не стал бы связываться с чужой женой. Объедки с чужой тарелки. Как у типа в трактире Бертона, хрящи непрожеванные. А презерватив все еще у меня в бумажнике. Из-за чего половина проблем. Но может же однажды стрястись, правда? Входишь. Все приготовлено. Я тут вздремнула. Что? Хуже всего начало. Меняются как по волшебству, едва увидят, что не в их вкусе. Вопросы: а вы любите грибы, это значит, знала кого-то, кто. Или: а как вы думаете, что он, кто-то там, этим хотел сказать, когда вдруг раздумал и перестал. Но если уж ты всерьез, так и говори, мол, хочу, или в этом роде. Раз уж решил. И она. Вроде обидь ее. А потом загладь. Сделай вид, как будто чего-то до смерти хочешь, потом как бы откажись ради нее. Это им льстит. Наверняка она думает про кого-то другого все это время. Ну и что? Как выучилась думать, с тех пор и думает, не про того, так про этого. Первый поцелуй все решает. Роковой миг. Пружинка какая-то разжимается. Вся сразу млеет, хоть держится, а по глазам видно. Первый порыв не сравнить ни с чем. Помнится до смертного часа. У Молли, это когда ее лейтенант Малви поцеловал за садами, под Мавританской стеной. Пятнадцать, по ее словам. Но уже груди были вполне. А после крепко заснула. После обеда в Гленкри, когда ехали домой через гору Фезербед. Скрипела зубами во сне. Лорд-мэр на нее очень поглядывал. Вэл Диллон. Апоплектик.

Вон она там, с ними, глядят фейерверк. И у меня фейерверк. Подымется ракетой, опадет плетью. А ребятишки, похоже что близнецы, только и ждут каких-нибудь происшествий. Хочется быть взрослыми. Наряжаются в мамашины платья. Будет время, еще поймут, как все на свете устроено. А эта растрепанная чернушка с негритянскими губами. Так и знал, что она умеет свистеть. Подходящие губы для этого. Как у Молли. Та шикарная шлюха у Джеммета, странно, отчего у нее такая вуаль короткая, только до носа. Будьте добры, вы мне не скажете время? Скажу в свое время, где-нибудь в укромном местечке. Если толстые губы, то каждое утро сорок раз говорить: пруды, призмы *. И очень ласковая с младенцем. Со стороны видно. Конечно, они чувствуют животных, птиц, маленьких детей. Это по их части.

Когда шла по пляжу, не оглянулась. Не снизошла. Те приморские красотки. Красивые у нее глаза, ясные. Это скорей белки соз-

дают впечатление, зрачки не так важно. А все-таки знала она, что я? Наверняка. Так кошка вспрыгнет, где не достать собаке, и глядит на нее. Женщины всегда остерегаются таких как наш Уилкинс в школе, рисует Венеру, а у самого так и выпячивается. Может, это и есть невинность? Бедный кретин! Жене его авансом полное обозрение. Они в жизни не сядут на свежевыкрашенную скамью. Все вокруг обшарят глазами. Заглянут под кровать неизвестно зачем. Все время ищут чего-то остренького. И сами востры как иголки. Говорю Молли, что этот встречный на углу Кафф-стрит был приятной наружности, показалось, он ей понравился, а она отвечает, у него же вместо руки протез. И правда. Как это у них так выходит? Секретарша у Роджера Грина поднималась по лестнице через две ступеньки, чтобы, кто сзади, видели бы всю канцелярию. Передается от отца, то бишь от матери, к дочери. В крови у них. Милли, например, сушит свои платочки на зеркале, чтоб не гладить. Лучшее место для рекламы, если что-нибудь дамское, это на зеркале. Или когда послали ее забрать шотландскую шаль от Прескотта, не забыть, кстати, про объявление для него, на обратном пути спрятала сдачу в чулок! Догадливая плутовка. Никто ее этому не учил. Идет с какой-нибудь ношей, несет изящно, легко. Такие мелочи привлекают мужчин. Когда руки красные, поднимет в воздух, помашет, чтобы кровь отлила. Это кто ж научил тебя? Никто. Мне няня сказала. Их и учить не надо! Однажды, когда годика три было, уселась за туалетным столиком Молли, на Западной Ломбард-стрит, уже съезжать собирались. Я класивая! Моллингар. Кто знает? Так на свете устроено. Молоденький студент. Во всяком случае, уже на своих ногах, не то что другие. Но та, это штучка. Боже, до чего мокро. Черт, еще как. Ножки кругленькие. Чулочки прозрачные, натянутые — вот-вот лопнут. Не то что то чучело. А. Э. Чулки гармошкой. Или та, что на Грэфтон-стрит. В белых. Фу! Толстомясая.

Взорвалась с шумом шутиха, разбрызгивая трескучие искры. Трах-тарарах! И Сисси с Томми и Джеки побежали смотреть, следом Эди с коляской, а за ними и Герти, огибая скалу. Оглянется? Оглянись! Взгляни! Посмотрела. Словно почуяла. Миленькая, я видел твои. Все-все видел.

О, господи!

По крайней мере, мне полегчало. А то после Кирнана, после Дигнама совсем сник. Признателен я вам за облегченье *. Из «Гамлета». О, господи! Тут все было сразу. Возбуждает. Когда она навзничь, даже кончик языка засвербило. Вскружат голову бедняжке. Это он верно. Мог бы худшего дурака свалять. Лучше так, чем трепаться ни о чем. Тогда я тебе скажу все. А пожалуй, у нас и было какое-то общение. Кстати, а вдруг она и есть? Да нет, они ее звали Герти. Ну и что, могло быть фальшивое имя, как у меня, и адрес Долфинс-барн липовый.

Она звалась в девицах Джемма Браун
И приглашала в гости в Айриштаун.

Это место меня навело на такие мысли. Все они одним миром мазаны. Об чулки вытирают перья. Но мячик будто знал подкатился к ней. Пуля сама цель знает *. Конечно, я и в школе-то не умел кидать прямо. Вечно куда-нибудь по кривой. А грустно, что им всего-то отпущено два-три года, а там пойдут кастрюли да скоро папины штаны будут Вилли впору да присыпка для малыша после того как высадили сделать а-а. Житье не сахар. Зато спасительно. Не даст сойти с пути истинного. Естество. Обмывают младенцев, обмывают покойников. Дигнам. Вечно облеплены детишками. Головенки с кокосовый орех, еще мозжечок не затянулся, как есть мартышки, в пеленках кислое молоко, разложившийся творожок. Не надо было давать тому ребенку пустую соску. От этого у них только газы. Мис-

сис Бьюфой, Пьюрфой. Стоило бы зайти в больницу. Там ли еще эта медсестра, Каллан. Иногда заходила приглядеть за ребенком, когда Молли работала в кафе. А этот молодой доктор О'Хейр, смотрю однажды, она чистит ему пальто. Когда-то миссис Брин с миссис Дигнам были такие же вот, на выданье. Самое худшее по ночам, как миссис Дуган рассказывала в «Городском гербе». Муж притащится на бровях, от него смердит кабаком как от хорька. А ты дыши всю ночь этим вонючим перегаром. Наутро спросит: никак я был под хмельком с вечера? Но все-таки неправильно все валить на мужей. Тут как аукнется, так и откликнется. Рыбак рыбака видит издалека. Женщины не без греха тоже. И вот уж тут Молли вне конкуренции. Южная кровь. Мавританская. К тому же лицо, фигура. Руки ласкали ее пышные. С другими никакого сравненья. Запрет жену дома как скелет в гардеробе. Позвольте вам представить мою. И выплывает нечто неописуемое, не знаешь, каким словом назвать. Всегда видно по жене, где слабые места у мужчины. С другой стороны, судьба, уж кого полюбишь. У каждой пары есть свой секрет. Иной давно пошел бы ко дну, если бы жена его не взяла в ежовые рукавицы. Или, скажем, жена — малявочка, и муж — коротышка. Созданы друг для друга. А дети, глядишь, получатся вполне ничего. Ноль да ноль единица. Или еще богатый старик под семьдесят и рядом с ним юная, краснеющая. Женился-вздурился, наутро каялся. Фу, как мокрое неприятно. Липнет. Хорошо не залуплен. Давай отлепи-ка. М-ме!

Или наоборот, сам каланча, а жена ему до пупка. В длинном и кратком варианте. Огромный и крохотная. Очень что-то странное с моими часами. Наручные вечно портятся. Может, есть какие-то магнитные волны от людей, ведь именно в это время он. Да, я думаю, сразу. Кот со двора — мышки за пирушку. Помню, на Пилл-лейн я смотрел. И что сейчас, тоже магнетизм. За всем скрывается магнетизм. Земля, например, притягивает и сама притягивается. Отсюда происходит движение. А время? Тоже понятно, раз есть движение — на него нужно время. Значит, если где-то что-то там остановится, то и вся эта астролябия постепенно. Уж так устроено. Магнитная стрелка может сказать, что делается на солнце, на звездах. Простой кусочек железа. Когда подносишь магнит к железу. Ближе. Ближе. Хоп! В точности, женщина и мужчина. Магнит и железо. Молли и он. Разоденутся, строят глазки, делают намеки, позволяют себя разглядывать, поддразнивают, ну погляди хорошенько, мужчина ты или нет, и уж тут, это как тяга чихнуть, ножки, глядишь, глядишь, и если ты только не деревяшка. Хоп! Прощайся со всем.

Интересно как у нее самочувствие в тех местах. Стыд, это только при других. А так ее дырка на чулке больше волнует. Молли, голова вздернута, губы сжаты, это она на конной выставке, из-за того фермера в сапогах со шпорами. На Западной Ломбард-стрит были художники. У одного замечательный голос. Джульини * так начинал. Понюхай-ка мою мазню. Как цветы. И правда. Фиалками. Наверно, от скипидара в краске. Чего только не пускают в дело. А когда этим занималась, возила по полу шлепанцем, чтобы они не услышали. Мне кажется, из них очень многие неспособны кончить. Продолжают часами. Это как будто по всему телу и сзади до поясницы.

Погоди-ка. Хм-хм. Точно. Ее духи. Вот она что махала рукой. Оставляю на память, чтобы ты думал обо мне, когда я уже далеко, под одеялом. Что же это такое? Гелиотроп? Нет. Гиацинт? Хм-м. Пожалуй, роза. Такое она и должна любить. Дешево и сердито, но быстро портятся. Молли поэтому предпочитает опопонакс. Очень идет ей, когда с маленькой добавкой жасмина. Как низкие и высокие ноты в ее голосе. Она с ним познакомилась на танцевальном вечере, танец часов. В жару запахи сильней. Она была в своем черном, на нем сохранились еще духи от прошлого раза. Черное — хороший

проводник. Или плохой? То же самое для света. Может, есть связь. Например, если спустишься в темный погреб. Вообще загадочно. Почему я только сейчас почуял? Движется медленно, но верно, как и она сама. Ведь это, если представить, миллионы и миллионы крохотных зернышек летят по воздуху. Именно так. Потому что Острова Пряностей, кстати, вспоминал сингалезов утром, они чувствуются по запаху за много миль. Сейчас скажу, что это такое. Это как тонкое кружево или паутинка, что их окутывает с головы до ног, тонкое-тонкое, как эта, как ее, кисея, и они беспрерывно ткут это из себя, тонкое как воздух, всех цветов радуги, сами того не чувствуя. И на всем, что она снимет с себя, оно остается. Подошвы ее чулок. Теплая туфелька. Корсет. Панталоны: слегка взмахнет ножкой, чтобы сбросить. Пока, до встречи. Кошка тоже любит зарыться в ее белье. Узнал бы ее запах из тысячи. И вода в ее ванне. Напоминает землянику со сливками. Интересно, откуда идет. Оттуда, или из подмышек, или между грудей. Такое впечатление, будто изо всех дырок и уголков. Гиацинтовые духи делают на эфирных маслах, кажется. Мускусная крыса. У ней под хвостом мешочек, там зернышки, и от каждого одного запах может стоять годами. Собаки друг друга сзади. Фук-фук. Наше почтение. Вам также. Как вам нюхается? Фук-фук-фук. Отлично, благодарю. Животных ведет чутье. А присмотрись, у нас то же самое. Например, некоторые женщины так отпугивают, когда у них месячные. Подойдешь поближе, почуешь такое, что хоть топор вешай. Похоже на что? Может, на тухлую селедку? Бр-р! Просьба на этот газон не ступать.

А они от нас, может быть, чуют мужской запах. Хотя что там? Перчатки, пропахшие сигарой, у Длинного Джона на столе. Дыхание? В нем только то, что съел или выпил. Не тут. В смысле, мужской запах. Скорей связан с этим делом, потому что у священников, которые обходятся без, у них другой. Женщины вьются вокруг них, как мухи над патокой. В алтарь не пускают — подберутся иначе, любой ценой. Запретный поп сладок. Ах, отче, а вам не хотелось бы? Пусть я буду первой. Это как-то расходится по всему телу и все пропитывает. Источник жизни. И запах такой интересный, странный. Как сельдерейный соус. А ну, дай-ка.

Мистер Блум сунул свой нос. Фук-фук. За. Фук-фук. Пазуху своего жилета. Миндалем, что ли. Нет. Лимоном. Ах ты, да это ж мыло.

А кстати-кстати, лосьон-то. Я помню, еще что-то в голове было. Не зашел, и за мыло не заплатил. Не люблю таскаться с бутылочками, как та карга утром. Хайнсу пора бы уже отдать три шиллинга. Можно упомянуть просто Маэра, чтоб напомнить. Хотя, если он поможет с тем объявлением. Два и девять. Что он теперь обо мне подумает. Завтра зайти. Сколько я должен вам? Три и девять? Два и девять, сэр. Ах, да. В другой раз может не отпустить в кредит. Вот так и теряют клиентов. В трактирах та же история. Иной дождется, пока счет стал в локоть длиной, и перекочует в другое заведение, а это будет сторонкой обходить.

Опять этот важный, что уже проходил. Каким его ветром? Едва туда и уже обратно. К ужину минута в минуту. Гладкий, так и лоснится: недурно подзакусил. Теперь наслаждается природой. Его молитва после еды, пройти пешком милю. Наверняка счетец в банке, казенная служба. Можно пойти за ним по пятам, поставить в глупое положение, как меня мальчишки сегодня. Но это чему-то учит. Что видит взор идущих мимо. Лишь бы женщины не смеялись, а остальное какая важность? Можно таким путем разведать. Или попробуй так угадай, кто он. «Таинственный незнакомец на пляже», премированный рассказ мистера Леопольда Блума. Гонорар гинея за столбец. Как сегодня этот на кладбище в коричневом макинтоше. Хотя его фортуна натерла себе мозоли. Кажется, у здоровых рассасыва-

ются. Свист, говорят, насылает дождик. Верно, идет где-нибудь. В «Ормонде» соль влажная. Тело чувствует перемену в воздухе. У старушки Бетти суставы ноют. Матушка Шиптон* пророчила насчет кораблей, что смогут в один миг вокруг света. Нет. Это к дождю. Королевская предсказательница*. И дальние холмы как будто стали ближе.

Хоут. Маяк Бейли. Два, четыре, шесть, восемь, девять. Гляди-ка. Он должен мигать, иначе подумают, это дом. Спасатели. Грейс Дарлинг*. Люди боятся темноты. И светлячки, велосипедисты, им тоже пора включать свет. Лучше всего сверкают драгоценные камни, алмазы. Женщины. Свет как-то успокаивает. Ничего нехорошего не случится. Конечно, сейчас лучше, чем в старину. На большой дороге. Кишки тебе выпустят ни за что ни про что. Бывают два типа, когда с кем-то столкнешься. Угрюмые и любезные. Пардон! Нет-нет, ничего. Для поливки растений сейчас лучшее время, сразу после захода. Еще немного светло. Красные лучи самые длинные. Вэнс нас учил, как однажды Жак-звонарь голубой схватил фонарь: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. А вот и звезда. Венера? Еще пока не скажешь. Вон и вторая, а ночь считается, когда три. Ночные облака, они там были все время? Словно корабль-призрак. Нет. Погоди. Может, это деревья? Оптический обман. Мираж. Здесь страна заходящего солнца. Солнце гомруля садится на юго-востоке. Родимая земля, спокойной ночи*.

Роса выпала. Милочка, тебе вредно сидеть на камне. Белые выделения. Ребеночек не сможет родиться, разве что будет такой силач, пробьется с боем наружу. И сам могу схватить геморрой. Липуч как простуда летом или как лихорадка на губах. А еще хуже, если порежешься бумажкой или травинкой. Трение сидения. Было бы недурно побыть той скалой, на которой она сидела. Ах, милая крошка, ты и сама не знаешь, как ты была прелестна. Мне уже начинают нравиться в таком возрасте, зелененькие. Клюют на все, что им предлагают. Думаю, только в этом возрасте любят сидеть, поджав ноги. Сегодня в библиотеке, дипломницы. Блаженны стулья под ними. Но тут и вечер влияет. Они все это чувствуют. Знают свой час, раскрываются как цветы, подсолнухи, земляные груши, в бальных залах, люстры, фонари на аллеях. Какой-то ночной цветок у Мэта Диллона в саду, где я поцеловал ее в плечо. Хорошо бы иметь ее портрет маслом, во весь рост, какой она была тогда. И тоже был июнь, когда я за ней ухаживал. Возвращается год. История повторяется. О горные вершины, я к вам вернулся вновь*. Жизнь и любовь путешествуют вокруг нашего маленького шарика. Что же на этот раз? Грустно, конечно, что она хромая, но надо остерегаться, слишком уж не впадать в жалость. Они на этом играют.

На мысе Хоут сейчас все тихо. И дальние холмы как будто. Там, где мы. Рододендроны. Может быть, я осел. Ему достаются сливы, мне косточки от слив. Моя доля. А старый холм этого навидался. Меняются имена — и только. Влюбленные знай чмок-чмок.

Устал я что-то. Хватит уже сидеть? Ох, погоди. Выпила из меня мужскую силу, негодница. Она меня целовала. Молодость моя. Больше уж не вернется. Раз в жизни. И у нее. Съездить бы туда завтра. Нет. Это уже не то. Как ребенку второй раз в тот же дом. Хочешь нового. Ничто не ново под солнцем. Долфинс-барн, до востребования. Так ты несчастлив в семейной? Мой противный, мой миленький. В Долфинс-барн играли в шарады у Люка Дойла. Мэт Диллон со своим выводком дочерей: Тайни, Этти, Флуи, Мейми, Луи, Гетти. И Молли с ними. В восемьдесят седьмом это было. За год до нашей. Старый майор, любитель пропустить рюмочку. Интересно что она единственный ребенок и я тоже. Все возвращается. Думаешь, убежал и налетаешь на самого себя. Кружной путь домой самый короткий. И в точности, когда она с ним. Цирковая лошадь по

арене кругами. Мы разыграли Рип ван Винкль *. Рип — большой репей. Ван — ванна у них в доме. Винкль — бутылка вина и бумажный куль. А в конце я представил возвращение Рипа ван Винкля. Она смотрела, облокотясь на буфет. Мавританские глаза. Проспал двадцать лет в Сонной Пещере. Все изменилось. О нем забыли. Молодые состарились. Ружье заржавело от росы.

Фрр. Что это тут летает? Ласточка? Никак, летучая мышь. Подслеповата, думает, что я дерево. А нюха разве у птиц нет? Метемпсихоз. Они верили, что от горя можно превратиться в дерево. В плакучую иву. Вон, вон полетела. Ишь ты, козявка-нищенка. Где она живет, интересно. Колокольня виднеется. Верней всего, там. Висит вверх ногами и дышит святостью. Видимо, звон вспугнул. А месса, кажется, кончилась. Все было слышно. Молись за нас. Да молись за нас. Да молись за нас. Повторение, это ценный прием. Как в рекламном деле. Покупай у нас. Да покупай у нас. Окошко в доме священника светится. За скромным ужином. Помнится, я ошибся в оценке, когда работал у Тома. На самом деле, там двадцать восемь. У них два дома. У Габриэла Конроя * брат викарий. Фрр. Снова она. И почему они шастают по ночам, как мыши. Какая-то помесь. Птицы вообще вроде скачущих мышей. А что их пугает, свет или звук? Лучше не двигаться. Всякий инстинкт, это как у той птицы, когда захотела пить, догадалась набросать в кувшин камешков *. Похожа на человечка в плаще и с крохотными ручонками. Тонкие косточки. Чуть ли не видно, как поблескивают, такие голубовато-белесоватые. Цвет зависит от освещения. Например, погляди на солнце, только не щурься, а как орел, и после на свой башмак: покажется желтое пятно. Хочет поставить свой штамп на всем. Скажем, этот кот на лестнице утром. Какого-то торфяного цвета. Говорят, будто не бывает трехцветных. Неправда. В «Городском гербе» был тигровый кот, рыжий, черный и белый, и на лбу метка как буква эм. Шкура пятидесяти цветов. Хоут только что засветился как аметист. Маяк сверкнул. Так вот этот мудрец, как бишь его, своим зажигательным стеклом. А бывает, вдруг загорится вереск. И не от того, что турист бросил спичку. А от чего? Может, от ветра сухие стебли трутся один о другой и загораются. Или разбитая бутылка в кустах, луч солнца упадет — она как зажигательное стекло. Архимед *. Эврика! Память пока работает.

Фрр, еще раз. Кто знает, чего они без конца летают. За насекомыми? На прошлой неделе пчела влетела в комнату, гонялась за своей тенью на потолке. Может, та самая, что меня ужалила, вернулась проведать. И птицы тоже. Никогда не узнаешь. Или о чем они говорят. Как наше чириканье. А он сказал а она сказала. Какие им нужны нервы, лететь через океан и обратно. Массами гибнут, штормы, телеграфные провода. И у моряков ужасная жизнь. Громадины, океанские пароходы, прут, пыхтя, сквозь ночную тьму, мычат как морские коровы. Faugh a ballagh! [15] С дороги, так вашу перетак! А другие суденышки, парус что детская рубашонка, как пробки прыгают на волне, едва посильней задует. Взять, кто женаты. Не бывают дома годами, мотаются по разным концам земли. У нее нет концов, круглая. Жена в каждом порту, так про них говорят. Суровая у ней жизнь, если не позволяет себе, пока Джонни не явился домой. Если он вообще появится. Пропахший всеми портовыми закоулками. И за что любить море? А они любят. Подняли якорь и в плаванье, на нем иконка или наплечник на счастье. Ну и что. А у отца бедного папы над дверью висели эти, как же их, тефилим, нет, как-то иначе, и полагалось до них дотрагиваться. Исход из земли Египетской и в дом рабства. Что-то в них есть, во всех этих суевериях, не знаешь ведь, уходя в путь, что тебе там грозит. Ухватившись за

[15] Дай дорогу!*(ирл.)*

доску или верхом на бревне, в жилетике надувном, цепляется за свою горемычную жизнь, глотает морскую воду, и такова его последняя выпивка, перед тем как акулы разорвут. Интересно, рыбы страдают морской болезнью?

А чуть позже — дивная гладь, на небе ни облачка, полное спокойствие и безмятежность. Команда и груз мелким крошевом в брюхе у морского царя. С высоты мирно глядит луна. Не моя вина, храбрецы.

Последняя запоздалая ракета благотворительного базара Майрас взлетела в небо для сбора средств на нужды больницы Мерсера и, падая вниз, рассыпалась гроздьями лиловых звезд, среди которых сверкала одна серебряная. Они плыли по небу, опускались, гасли. Час сумерек, час объятий, обетов. Почтальон с вечернею почтой снует от домика к домику, радуя обитателей знакомым двойным постукиваньем, и светлячок-фонарик на поясе у него мерцает то тут, то там в кустах молодого лавра. Фонарщик, подняв высоко свой пальник, зажигает фонарь, стоящий на Лихи-террас в окружении пяти молодых деревьев. Мимо освещенных экранов окон, мимо неотличимых садиков несется, удаляясь, пронзительный и жалобный крик: *«Ивнинг телеграф», экстренный выпуск! Итоги скачек на Золотой Кубок!* и из дверей дома Дигнамов выбежал мальчуган, окликая вдогонку. Летучая мышь, попискивая, металась взад и вперед. Прилив, пенистый, грязносерый, набирал силу, подкрадывался к дальним пескам. Хоут укладывался спать, его, старика, утомил долгий день и чмоканья в рододендронах, и он с приятностью чувствовал, как ночной ветерок ерошит, почесывает его папоротную шкуру. Он улегся, но выставил сторожко красное недреманное око, дыша медленно, глубоко, дремля и бодрствуя в то же время. И вдалеке на отмели Киш плавучий маяк мигал, подмигивая мистеру Блуму.

Несладко тем парням, которые там. Сиди, как на привязи. Ирландское Управление Маяков. В наказание за грехи. И береговая охрана. У тех ракеты, багры, буйки, лодки спасательные. Когда ездили на морскую экскурсию на «Короле Эрина», бросили им тюк старых газет. Медведи в зверинце. Вшивая прогулочка. Пьянчуги вылезли протрясти печенку. Блюют через борт, кормят рыбок. Морская болезнь. Все женщины с перепуганными лицами. А Милли как ни в чем не бывало, хохочет. Голубой шарфик вьется по ветру. Не знают, что такое смерть, в эти годы. Притом желудки еще здоровые. Зато их пугает потеряться. Когда мы спрятались за дерево в Кромлине. Я был против. Мама! Мамочка! Детки в лесу. Еще любят пугать их масками. Или подкидывать в воздух и ловить. У-у, сейчас как брошу и разобьешься. Что тут забавного? А сами они играют в войну. Со всей серьезностью. Как это можно целиться в человека из ружья? Бывает иногда само выстрелит. Бедные дети. Ничем не болела, только крапивница и краснуха. Принес, помню, каломель. Как полегчало, уснула рядышком с Молли. У них зубы совсем одинаковые. Что в них любят? Свое подобие? А ведь как-то утром гонялась за ней с зонтиком. Может быть, только так, не больно. Я щупал у нее пульс. Бьется. Была маленькая ручонка — теперь большая. Дражайший папулька. Рука говорит все, когда ее трогаешь. Любила считать пуговицы у меня на жилете. Помню ее первый корсетик. Так смешно было. Грудки уже начинались. Кажется, левая чувствительней. У меня тоже так. Ближе к сердцу? Если в моде пышная грудь, вату подкладывают. В период созревания боли по ночам, стонала, я просыпался. А как испугалась, когда природа в первый раз заявила ей о себе. Бедный ребенок! И для матери это странный момент. Вспоминает свое девичество. Гибралтар. Вид от Буэна Виста. Башня О'Хара. Птичьи крики над морем. Мартышки, один старый самец сожрал все свое семейство. Заход солнца, выстрел из пушки — сигнал всем вернуться в крепость. Смотрела на море, когда дала мне

ответ. Вечер как сегодня, только ясней, безоблачней. Я всегда думала, что я выйду за лорда или за богача со своей яхтой. Buenas noches, señorita. El hombre ama la muchacha hermosa [16]. Тогда почему же я? А ты очень отличался от других.

Чего я прилип к этой скале как улитка. Такая погода отупляет. Судя по свету, около девяти. На «Лию» или «Лилию Килларни» уже поздно. Домой. Хотя нет. Вдруг еще не легла. Зайду в больницу, проведаю. Надеюсь, она уже родила. Длинный денек мне выдался. Марта, в баню, на похороны, дом Ключей, музей и богини, дедалово пение. Потом этот горлопан у Барни Кирнана. Но я там перед ними не сплоховал. Пьяные пустозвоны. Как я сказал про его бога, его аж перекосило. Ударом отвечать на удар — ошибка. Или нет? Нет-нет. Лучше бы разошлись по домам да там посмеялись над собой. Одно желание, собраться всем в кучу да наподдать. Как малые дети, боятся одни остаться. А если бы он ударил меня. Посмотрим с его точки зрения. Тогда ничего ужасного. Может, он и не хотел причинить боль. Тройное ура Израилю. Тройное ура его невестке, которую он расхваливал, с тремя последними зубами во рту. Тот же тип красоты. Милейшее общество для светского чаепития. Сестра жены дикаря с Борнео приехала в наш город. Представь-ка себе такое рядышком с собой поутру. На вкус и на цвет товарища нет, как сказал Моррис, облобызав корову. Но визит к Дигнамам меня совсем доконал. Дом в трауре страшно угнетает, потому что никогда не известно. Но ясно, что деньги ей требуются. Надо зайти к «Шотландским вдовам» *, раз обещал. Странное название. Подразумевает, что непременно мы раньше. Какая-то вдова возле Крамера — когда это было, в понедельник? — так на меня посмотрела. Схоронила беднягу-мужа и здравствует себе на страховку. Лепта вдовицы. А что такого? Чего ты от нее хочешь? Должна как-то устраиваться, чтоб жить дальше. Вот на вдовцов ужасно смотреть. Ходит словно потерянный. У несчастного О'Коннора жена и пятеро детей отравились моллюсками. Сточные воды. Совсем пал духом. Пусть бы какая-нибудь сердобольная купчиха в шляпе кастрюлей его пригрела. С физиономией как луна, в широченном фартуке, и прочно на буксир горемыку. Женские панталоны серой фланели по три шиллинга за пару, фантастическая дешевка. Говорят, дурнушку полюбишь — не разлюбишь. Только ни одна себя такой не считает. Люби, лги и будь красивой, потому что завтра умрем. Уж несколько раз его видел, все бродит, доискивается, кто же сыграл с ним шутку. К. к: ку-ку. Такая судьба. Выпало ему, могло мне. Часто с какой-нибудь торговлей бывает так. Словно злой рок привяжется. Что-нибудь снилось мне этой ночью? Постой. Какая-то путаница. Она в красных шлепанцах. Турецких. И в мужских брюках. А положим, она попробует? Понравилась бы она мне в пижаме? Ужасно трудно сказать. Наннетти уехал. С почтовым. Сейчас уже где-то у Холихеда. Надо пробить эту рекламу для Ключчи. Хайнса обработать и Кроуфорда. И гарнитурчик для Молли. Ей-то уж есть на что его натянуть. А что это там? Может, деньги?

Мистер Блум нагнулся и подобрал листок бумаги с песка. Поднес к глазам, пристально поглядел. Письмо? Нет. Ничего не разобрать. Надо бы идти. В самом деле. Только устал, не пошевельнуться. Из старой тетрадки. Все эти лунки, гальки, кто их сочтет? Можно найти что угодно. Бутылку с запиской о зарытых сокровищах, брошенную при кораблекрушении. Почта для посылок. Детишки любят бросать всякие вещи в море. Доверчивость? Хлеб, отпущенный по водам. А это что? Так, чурочка.

Ох! Измочалила меня эта дева. Уже не чувствуешь себя молодым. А придет она сюда завтра? Ждать ее где-нибудь весь век. Должна вернуться. Убийцы всегда. А я?

[16] Добрый вечер, сеньорита. Мужчина любит красивую девушку *(исп.)*.

Подобрав маленькую чурку, мистер Блум вяло потыкал ею в песок. А если написать что-нибудь для нее? Может, и сохранится. Только что?

Я.

Все равно какой-нибудь косолапый утром наступит. Бесполезно. Или же смоет. Прилив доходит сюда. У ее ног была лужица. Наклониться, увидеть там свое лицо, в темном зеркале, дохнуть на него, пойдет рябью. Кругом скалы, покрытые царапинами, рисунками, надписями. Ах, эти ее прозрачные! И они не знают, к тому же. Что он означает, тот свет. Я назвала тебя противным мальчишкой, потому что мне совершенно не нравится.

ЕСТЬ. А *.

Места нет. Ну его.

Мистера Блума башмак медленно затер буквы. Песок гиблая штука. На нем ничего не растет. Все вянет. Здесь нечего опасаться больших судов. Одни только баржи Гиннесса. Вокруг Киша за восемьдесят дней. Как будто нарочно сделано.

Он отбросил свое стило, и чурка торчком воткнулась в вязкий песок. А мог бы попусту неделю стараться чтобы вот так. Случай. Мы больше никогда не увидимся. Но это было чудесно. Прощай, милая, спасибо тебе. Я почувствовал снова молодость.

Если бы чуточку вздремнуть. Сейчас около девяти. Ливерпульский давно ушел. Уже и дымка не видно. И она пусть тоже. Впрочем, она уже. Белфаст. Я не поеду. Спешить туда, оттуда спешить в Эннис. Пускай уж он. Просто прикрою на минутку глаза. Не спать, только подремать. Сон никогда не повторяется точно тот же. Опять летучая мышь. Никакого вреда. Я только чуть-чуть.

Ах милая все твои беленькие девичьи до самого верха я видел шлюха брейсгердл меня заставила люби липнет мы вдвоем противный Грейс Дарлинг она с ним в пол в постели метим псу хвост безделушки для Рауля какими духами твоя жена черные волосы вздымались ее окру сеньорита юные глаза Малви пухленькие грудки репей ван Винкль красные шлепанцы она заржавело спал странствовал годы снов вернуться закоулки Агендат чаровница-баловница мне показала свои на будущий год в панталончиках вернуться на будущий в свои будущий свои будущий.

Летучая мышь мелькнула. Туда. Обратно. Туда. Мистер Блум с приоткрытым ртом, зарыв левый ботинок в песок, накренясь набок, посапывал. Я только чуть-чуть. Издалека донесся во тьме бой часов, и в их мерном бом-бам отчетливо слышалось

Ро-га
Ро-га
Ро-га.

Пробили и часы на каминной полке в доме священника, где каноник О'Ханлон, отец Конрой и преподобный Джон Хьюз, О. И. подкреплялись бараньими отбивными под острым соусом, пили чай с бутербродами и беседовали про

Ро-га
Ро-га
Ро-га

потому что в этих часах выскакивала птичка из домика и так выкрикивала и Герти Макдауэлл ее заметила когда была здесь потому что она моментально все замечала, такой уж она была, Герти Макдауэлл, и она тут же заметила что этот иностранный джентльмен, который сидел на камнях и смотрел, что у него были

Ро-га
Ро-га
Ро-га.

(Продолжение следует)

Комментарии

XIII. Навзикая

Место действия — берег Сэндимаунта. Здесь утром бродил Стивен Дедал, погруженный в размышления о природе времени, об искусстве, философии, религии. Теперь сюда пришел Леопольд Блум отдохнуть после трудного дня — похорон знакомого, встреч в редакции, ссоры с ирландскими националистами, посещения вдовы Дигнама. Его тоже одолевают думы, но иные — не дает покоя мысль о неверности Молли. Он твердо знает, что около пяти часов дня у нее был любовник.

Действие в этом эпизоде происходит на нескольких уровнях. Один — сугубо бытовой: молоденькие дублинские девушки пришли скоротать вечерок на берег моря, привели с собой младших братишек. Детвора бегает, играет, шумит, девушки оживленно обсуждают городские новости, сплетничают, судачат, говорят об обновках и кавалерах. Одновременно в церкви идет вечерняя служба. Оттуда доносятся слова молитв и песнопений, в основном обращенных к Деве Марии. Эти высокие слова перемежаются с любовными мечтаниями двух главных героев эпизода — Леопольда Блума и Герти Макдауэлл, дублинской красотки-хромоножки. Блум и Герти незнакомы, но соблазнительный вид молоденькой девушки приводит Блума в сильное возбуждение.

В основу образа Герти Макдауэлл и «происшествия» на берегу моря Джойс положил реальный автобиографический эпизод. В 1918 г. (в то время ему было около тридцати семи лет, и он жил в Цюрихе), возвращаясь как-то домой, он встретил миловидную темноволосую прихрамывающую молодую женщину. Джойс последовал за ней, выяснил, что незнакомка живет неподалеку от него, что ее зовут Марта Флейшман, что у нее есть любовник-инженер. Джойс начал писать письма Марте, оставлял их на пороге ее квартиры, молил о встрече, на которую она неохотно согласилась лишь 2 февраля 1919 г. Напомним, что 2 февраля — это день рождения Джойса. К этой дате он относился с особым чувством, настаивал, чтобы его книги выходили именно в этот день. С другой стороны, на 2 февраля приходится праздник Сретения, который в некоторых англиканских церквах отмечается благословением горящих свечей. Джойс, столь любивший символику и символы не только в литературе, не мог пропустить представившейся возможности: он явился к Марте Флейшман, церемонно неся зажженную свечу. После этой встречи он, правда, стал реже писать свои страстные и странные письма, а свидания и вовсе прекратились. Отчасти из-за того, что о романе узнал настоящий любовник Марты, а может быть, Джойс попросту утратил интерес к этому эротическо-интеллектуальному эпизоду. Этот «роман» и странен, и характерен для Джойса. По свидетельству всех близко знавших его людей, он был хорошим семьянином, искренне любил Нору Барнакль, при этом, хотя она не давала ему никаких поводов, безумно ревновал ее, писал отчаянные, часто оскорбительные письма.

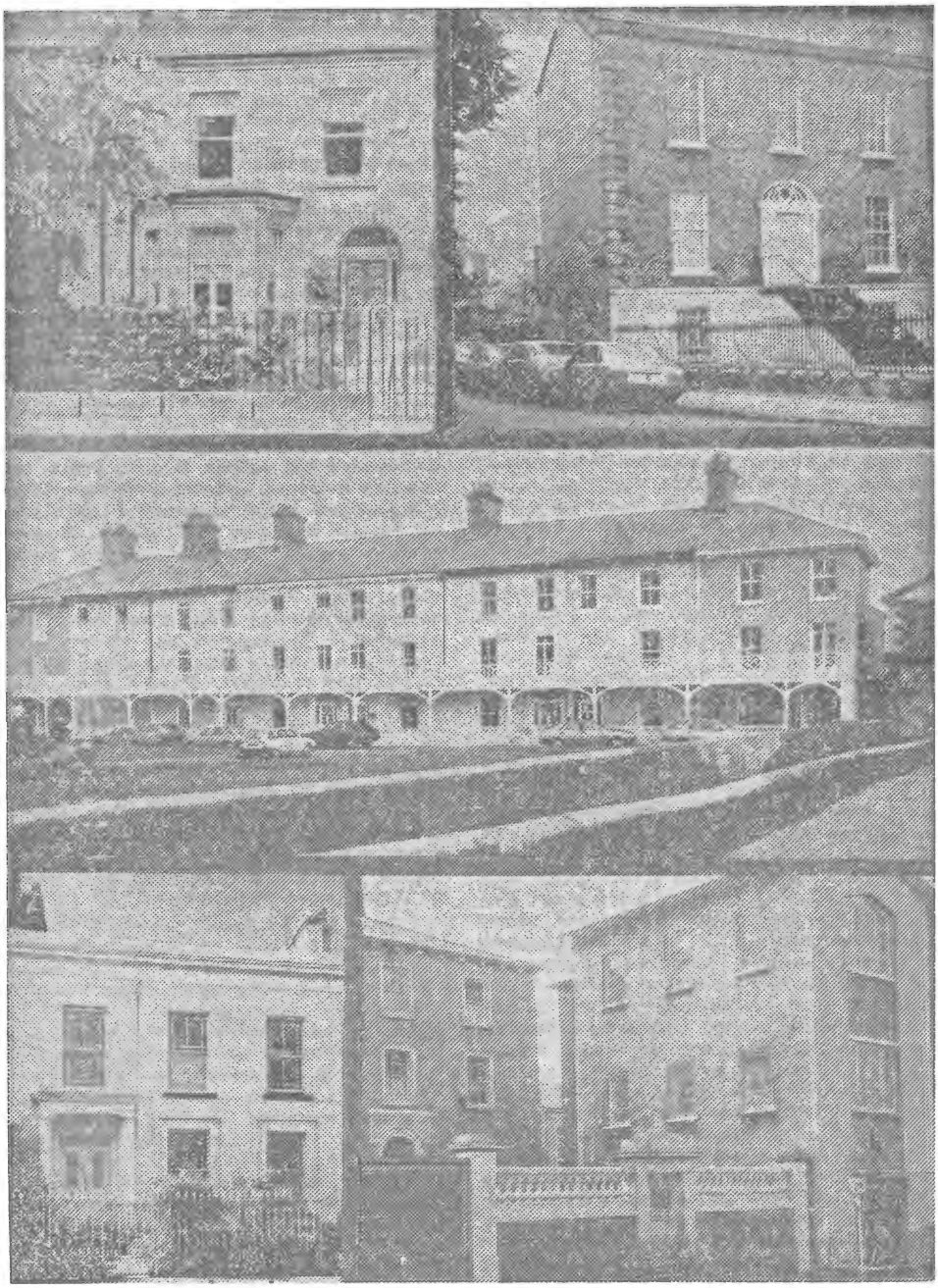
Эпизод с Мартой Флейшман он утаил от Норы. Марта же по чистой случайности сохранила письма Джойса к ней: ей было невдомек, что их автор — мэтр европейского модернизма. Правда, в старости, которая оказалась у нее трудной, эти письма ей очень помогли. Видный американский литературовед Ричард Элман нашел в конце 60-х гг. Марту Флейшман, объяснил ей, каким сокровищем она владеет, и за весьма значительную сумму купил у нее письма, тем самым обеспечив «странной возлюбленной» Джойса безбедную старость.

Свою Герти Макдауэлл Джойс отчасти списал с Марты Флейшман, а весь цюрихский эпизод навел его на мысль о «Навзикае», над которой он и начал работать «по свежим впечатлениям» в 1919 г. Для своей героини он выбрал имя из очень популярного и очень сентиментального романа «Фонарщик» (1854) английской писательницы Марии Камминс (1827—1866). В романе рассказывается борющая за душу история Герти Флинт, бедной девушки, в душе которой кипят страсти. Но она, добродетельная христианка, обуздывает их. Герти случайно встречает на своем пути старого слепого джентльмена, которому сердце подсказывает, какая чистая благородная душа скрывается за скромной одеждой Герти. Он платит за обучение Герти, она становится настоящей леди, выходит замуж за друга детства, бедного рабочего паренька, который благодаря своему труду, настойчивости и благочестию становится тоже настоящим джентльменом и замечательным мужем Герти. Это классическое дамское чтение Джойс безжалостно пародирует в «Навзикае».

Джойс дал довольно развернутое описание стиля, который он создал для «Навзикаи»: «Жеманно-слащавый, мармеладно-сюсюкающий, фимиам смешивается с культовыми песнопениями в честь Девы Марии, с мастурбацией, запахом моллюсков, красками на палитре художника, болтовней и устрашающим многословием».

«Многословие» — не случайное слово в этом перечислении. Технику эпизода Джойс определил как постоянное распухание, «опухолеобразование». В самом деле, текст как бы «распухает» за счет вводимых в него скрытых цитат, которые, видимо, были на слуху у читателей начала века — строчек из популярных песенок, фраз из дамских журналов, которыми (Джойс это знал наверняка) зачитывалась Марта Флейшман, малозначительных, хрестоматийных цитат из Шекспира, Киплинга, Томаса Мура. В свое время они производили комический эффект. Безусловно, смешно, когда дублинские девушки, глупые и необразованные, говоря о самых заурядных вещах, фактически цитируют литературные произведения. Но современный читатель уже не увидит ничего смешного во фразе: «Раз не вышло, пробуй снова». А ведь это прямая цитата из стихотворения никому не известного теперь Уильяма Хиксона (1803—1830).

Работая над «Навзикаей», Джойс не раз писал в Дублин своей тетке, прося ее при-

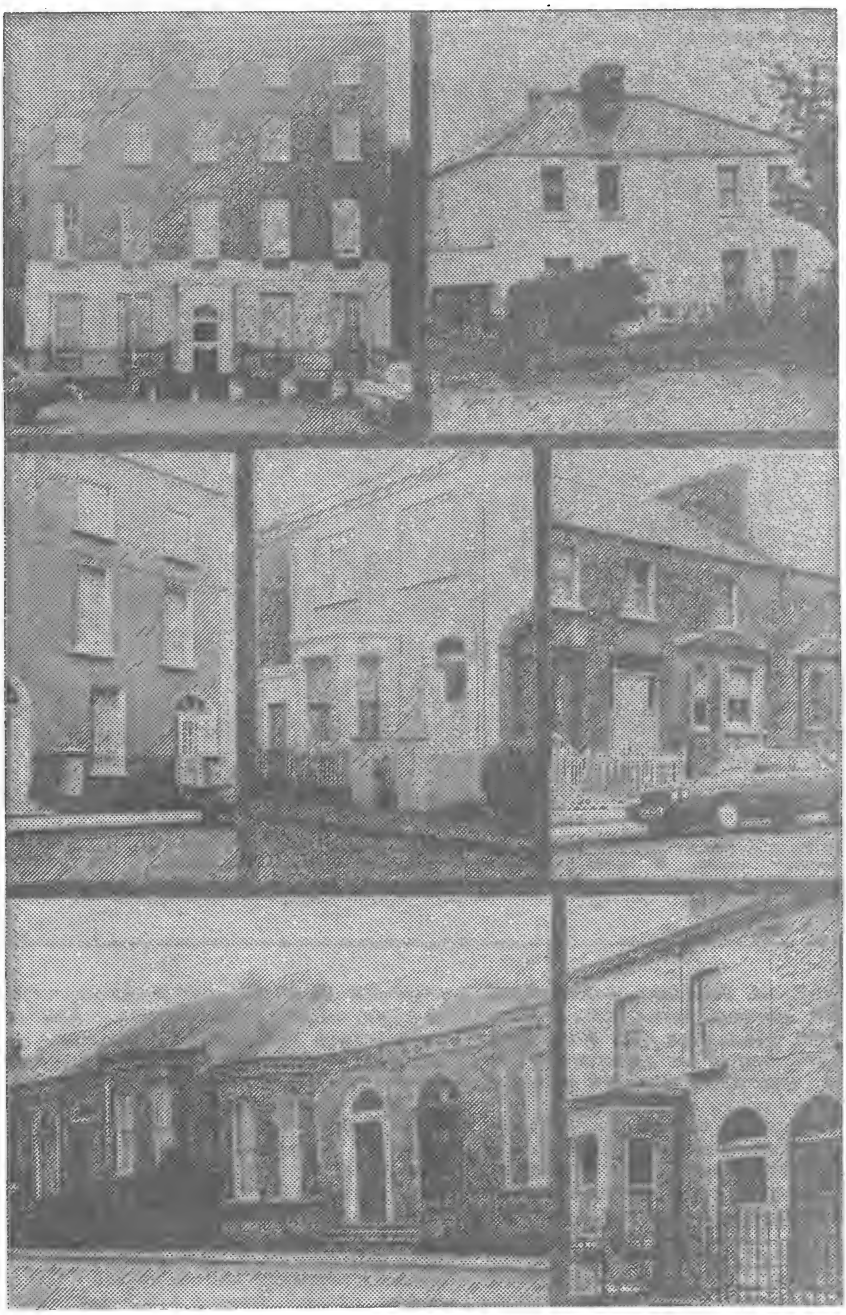


За свою не очень долгую жизнь (1882—1941) Джойс успел поменять 200 адресов. В своем добровольном изгнании он метался по Европе—Лондон, Париж, Триест, Цюрих, Пола, Рим, снова Цюрих... Но и за дублинский период своей жизни — с 1882 по 1912 г., когда он последний раз посетил родной город, Джойс сменил около 20 адресов.

1 | 2
3
4 | 5

Поэтому джойсовские места в Дублине не только те, что остались навеки запечатленными на страницах «Улисса», но и те, по которым можно восстановить его собственную дублинскую одиссею. Это (1) — дом в фешенебельном предместье Дублина Ратгаре, где 2 февраля 1882 г. родился Джойс, (5) здание школы Христианских братьев и (6) знаменитый иезуитский колледж Бельведер, где учился Джойс.

Джойсовская семья часто переезжала. Редко где они задерживались больше чем на год. Такая «охота к перемене мест» диктовалась ухудшающимся год от года материальным положением семьи. Вполне приличное состояние, доставшееся отцу Джойса, Джону Джойсу, таяло на глазах в



дублинских ресторанчиках и пивных. Дублинцам нередко приходилось наблюдать, как семья Джойсов везла по улицам города свой нехитрый скарб. Адреса с каждым разом становились все менее респектабельными, но даже квартирные хозяева в самых «непрестижных» районах Дублина теряли терпение: счета порой не оплачивались месяцами. Чтобы не видеть каждодневного падения своей семьи, Джойс ушел из дому и поселился с приятелями в экзотической башне Мартелло (см. «ИЛ» № 1, стр. 178).

К сожалению, не все джойсовские дома сохранились. Нет больше знаменитого дома № 7 по Экклс-стрит, где жил приятель Джойса Дж. Бирн, которого писатель навестил со своим сыном Джорджо в 1912 г. Этот дом стал в «Улиссе» домом Леопольда Блума. Он был снесен во время очередной реконструкции города. Но в целом, несмотря на неумолимый бег времени, Дублин сохранил черты города, в котором жил Джеймс Джойс. Дублин рубежа веков считался вторым по красоте и значимости городом Британской Империи — широкие улицы, скверы, изящные четы-

рех- и пятиэтажные дома. Далеко не во всех джойсовских домах устроены музеи, не всюду висят и мемориальные доски. Но цена «недвижимости» значительно возрастает при упоминании — «В этом доме жил Джеймс Джойс».

слать ему дамские журналы, дешевенькие молитвенники, которые могли быть у девушек типа Герти Макдауэлл. Ему было важно точно знать, растут ли деревья за сэндимаунтской церковью и видны ли они с берега.

Органы, которые по выбору Джойса символически представляет текст, это глаз и ухо, что довольно странно, если вспомнить о содержании эпизода (в самом деле местами сомнительном и рискованном). Формально в тексте не раз упоминается глаз, взгляды, мелькают всевозможные звуковые образы: пение в церкви, плач детей, шум волн, ветра. Весь эпизод очень живописен по цветовой гамме. Может быть, глаз становится одним из символических образов эпизода и по чисто личным причинам. К этому времени Джойс уже знал, что ему грозит слепота, перенес глазную операцию. Известно, что в пору жизни в Дублине нередко, когда боль в глазах становилась особенно невыносимой, он приходил посидеть на берегу.

С другой стороны, видимо, хорошо знакомый и любимый берег соединился в его сознании с другим, мифологическим, берегом, на котором прекрасная принцесса Навзикая — само совершенство, не оскверненное никаким физическим изъяном,— встречает Одиссея, выброшенного бурей на сушу. Одиссей наг, измучен, в нем трудно признать царственного правителя Итаки. Однако Навзикая дает ему одежду, приказывает смазать его тело благовониями, и он покидает берег «другим человеком». Другим покидает берег и Блум — Одиссей. Встреча с Герти Макдауэлл, современной Навзикаей, вдохнула в него психологическую мужскую уверенность, которую убила Мэрион — Калипсо.

Но именно из-за этого и разразился скандал сразу же после того, как эпизод «Навзикая» появился на страницах журнала «Литтл ревью». Эпизод запретили в США. Сотрудников журнала вызвали в суд и обвинили в оскорблении общественной нравственности. На защиту текста поднялись писатели, художники, врачи, психологи. Говорили о новом искусстве, кубизме, психоанализе Фрейда, о том, что на дворе XX век. Но увы! Дело было проиграно из-за панталон Герти Макдауэлл. Правда, этой детали женского туалета было суждено сыграть и другую историческую роль. Молоденькая американка Сильвия Бич (о ней уже шла речь выше) поняла, что скандал будет лишь способствовать успеху романа, и приняла дерзкое по тем временам решение печатать «Улисса» полностью. Посту-

пок был замечательный, но в самом деле отчаянный: ведь впереди были еще более «безнравственные» эпизоды — «Цирцея», «Пенелопа»,— и уже маячил настоящий судебный процесс над романом.

Остается добавить, что время действия эпизода — 8 часов вечера. Искусство — живопись. Символические цвета — серый и голубой. Символика голубого цвета особенно многозначна: это цвет невинности, чистоты, верной любви, символический цвет Девы Марии. Символический образ всего эпизода — Дева: Дева Мария, дева Герти.

Флора Макфлимси — героиня стихотворения «Нечего надеть» (1857) американского поэта, юриста по образованию Уильяма Аллена Батлера (1825 — 1902). В стихотворении высмеивается модница, которую помешательство на нарядах в конце концов доводит до нищеты.

Джон Фелл (1625—1686) — декан Крайст Черч в Оксфорде, придерживался весьма реакционных взглядов. Известна история о том, как доктор Фелл потребовал от поэта Томаса Брауна (1663—1704), чтобы тот мгновенно написал свой вариант эпиграммы Марциала (1, 33). Браун тут же написал эпиграмму, в которой объявил, что терпеть не может доктора Фелла, хотя и не знает почему.

Джон Уокср (1732 — 1807) — английский лексикограф, автор многих словарей, в том числе и словарей произношения, которые были весьма популярны в XIX в.

Джон Мартин Харви (1863 — 1944) — английский актер, продюсер, часто бывал в Дублине. Однако в 1910 г. во время дублинских гастролей его ожидал грандиозный провал: «Ричарда III» освистали ирландские националисты, требовавшие, чтобы в репертуаре были ирландские пьесы.

...перед другими не был грешен, но лишь другие перед ним — ср. Шекспир, «Король Лир», акт III, сц. 2.

Tableau (франц.) — букв.: картина. Кроме того, это название игры, в которой одни участники принимают определенные позы, а другие угадывают их значение.

Вот великое таинство — гимн, принадлежащий св. Фоме Аквинскому. Поется после того, как выносятся Святые Дары.

...и Эрина прощальная краса... вечерний звон — строки из стихотворений Томаса Мура.

Луис Дж. Уолш (1880—1942) — английский куплетист, которого обожали молоденькие девицы.

Девушку под замком не удержишь (1803) — название пьесы Джорджа Колмена (1762 — 1836), которое постепенно превратилось в расхожую поговорку.

...из жалости жестокость проявляя — ср. Шекспир, «Гамлет», акт III, сц. 4.

Брюки с манжетами — «писк» мужской моды в 90-гг. XIX в.

Мария, Марфа — сестры, дом которых посетил Христос. Марфа весь вечер прислуживала гостю, а Мария, примостившись у его ног, слушала его проповеди и, по словам Иисуса, «выбрала благую участь».

Нелл Гвин, миссис Брейсгердл, Мод Брэнском — английские актрисы. О Нелл Гвин речь уже шла раньше. Эни Брейсгердл (1663 — 1748) — звезда театра эпохи Реставрации. О ее личной жизни ходило немало сплетен, на самом деле она вела весьма скромный образ жизни. Мод Брэнском (1875 — 1910) отличалась удивительной красотой. Только в 1897 г. было продано двадцать восемь тысяч ее фотографий. Один из ее поклонников говорил: «Красота и Мод Брэнском — это одно и то же». Поводом для скандала послужил развод актрисы с Александром Ганном. На суде она обвинила его в садизме.

Если толстые губы, то каждое утро сорок раз говорить: пруды, призмы — ср. Диккенс, «Крошка Доррит» (1857), кн. II, гл. 5.

Признателен я вам за облегченье — ср. Шекспир, «Гамлет», акт I, сц. 1.

Пуля сама цель знает — эти слова приписывают королю Вильгельму III (1650 — 1702). Они стали заглавием популярной песенки Генри Бишопа на слова Чарльза Дибдина.

Антонио Джульини (1827 — 1865) — итальянский оперный тенор. Родился в очень бедной семье. Его выступления имели шумный успех в Дублине. Закончил свои дни в сумасшедшем доме. Дублинцы рассказывали о Джульини бесчисленные истории, многие из которых были апокрифическими.

Матушка Шиптон — мифическая пророчица. Трудно сказать, существовала ли она в реальности. По некоторым сведениям, она жила в тюдоровской Англии (1486? — 1561?) и предсказала смерть кардинала Волси и других приближенных короля Генриха VIII. «Пророчества матушки Шиптон» были опубликованы лишь в

Джойс с женой Норой, детьми — Лючией, Джорджо (слева направо) в Париже (1924).

1641 г. Но настоящее признание ее пророчества получили в XIX в. Блум путает: в ее книге нет никаких пророчеств насчет кораблей. В его сознании соединились какие-то слова из книги пророчеств матушки Шиптон и строчка из популярного стихотворения некоего Хиндли о мыслях, которые мгновенно облетают мир.

Королевская предсказательница — Блум соединяет название серии «Королевское чтение» (первые книги вышли в 1870 г.) и предсказания матушки Шиптон о королевском дворе и его высоких особах.

Грейс Дарлинг (1815—1842) — дочь смотрителя маяка Уильяма Дарлинга на Фарнских островах. 7 сентября 1838 г. здесь потерпел крушение пароход. Грейс и ее отец самоотверженно спасали потерпевших кораблекрушение. Грейс стала национальной героиней. У. Вордсворт посвятил ей стихотворение «Грейс Дарлинг» (1843), включенное в серию «Королевское чтение».

Родимая земля, спокойной ночи — пародия на известные слова из первой песни «Чайльд Гарольда» Байрона: «Плывем на Запад, солнцу вслед, /Покинув отчий край./Прощай до завтра, солнца свет, /Британия, прощай» (перев. В. Левика).

О горные вершины, я к вам вернулся вновь — строка из трагедии ирландского драматурга Джеймса Шеридана Ноулза (1784 — 1862) «Вильгельм Телль» (1825), акт I, сц. 2.

Рип ван Винкль — герой одноименной новеллы из «Книги эскизов» (1819 — 1820) Вашингтона Ирвинга. Рип ван Винкль проспал 20 лет и, проснувшись, с удивлением увидел, что ружье его заржавело, да и все вокруг изменилось. В этой же книге есть новелла «Легенда Сонной ложбины», которую ассоциативно вспоминает Блум.

Габриэл Конрой — главный герой самой известной новеллы Джойса «Мертвые» в сборнике «Дублинцы».

...как у той птицы, когда захотела пить, догадалась набросать в кувшин камешков — см. басню Эзопа «Ворона и кувшин».

Так вот этот мудрец... своим зажигательным стеклом... Архимед — по некоторым преданиям, Архимед сумел поджечь римский флот с помощью зеркал, повернутых к солнцу под определенным углом.

Дай дорогу! — боевой клич ирландских повстанцев.

«Шотландские вдовы» — страховая компания в Дублине.

ЕСТЬ. А. — ср. Откровение св. Иоанна Богослова, 1, 8: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь». Альфа также знак рыбы, традиционного символа Христа.

Е. ГЕНИЕВА

◆

Антирубрика

ЖАН ЖИРОДУ

НА ВОЛОСКЕ

Рассказ

Перевод с французского И. В. РАДЧЕНКО

Еще не остыв от объятий госпожи Шерлок Холмс, я столкнулся на улице — такова уж моя планида — с ее супругом.

— Вечер добрый,— приветствовал меня прославленный сыщик.— Отужинаете со мной? Тысячу лет вас не видел!

Должно быть, я не сумел скрыть волнения. Холмс лукаво улыбнулся.

— Понимаю, понимаю. Господин спешит к даме сердца.

Скажу «нет» — получится, что я скрытничаю. Скажу «да» — выйдет, что я его избегаю. И потому я пробормотал (видимо, чересчур уж поспешно), что дама может и подождать: мол, приду не в восемь а в девять, а если это ей не по душе, могу и вовсе не приходить.

В ответ Шерлок обнял меня за плечи и пристально взглянул в глаза:

— Ах, оставьте. Мой дорогой, вы попались на удочку. Я же вижу, что вы идете со свидания!

Дрожь пробежала по моему телу и вышла наружу через волосы, отчего те стали дыбом.

По счастью, он добавил:

— Ну да будет нам шутить. Пойдемте-ка лучше в ресторан. Извините, что не могу пригласить вас к себе, но меня сегодня не ждут. У горничной выходной.

Я полагал, что все самое страшное уже позади. Правда, за супом мой друг то и дело погружался в задумчивость, однако я отнес это на счет проделок какого-нибудь карманника или сутенера. Вдруг Холмс легонько толкнул меня ногой.

— Вот и доказательство,— произнес он.

Опять за свое!

— Неоспоримое, неопровержимое доказательство того, что вы именно идете со свидания: ваши ботинки застегнуты наполовину, следовательно, либо вас застали врасплох — а эта гипотеза несостоятельна, поскольку галстук ваш женская рука завязала любовно и неспешно,— либо в доме вашей подруги не пользуются крючками для обуви. Это может быть, например, английский дом[1].

— У всякой женщины есть шпильки,— ввернул я с натужной улыбкой.— А шпилька легко заменит застегивательный крючок.

— У вашей подруги шпилек нет,— отрезал Холмс.— Вы, возможно, не знаете, что англичанки образовали лигу противниц шпилек. А кроме того, шпилек не употребляют женщины, носящие парик. Уж это мне доподлинно известно, поскольку моя жена из их числа.

— Ах вот оно что,— протянул я.

Ему явно нравилось меня мучить. Вдобавок этот дуралей посадил меня спиной к окну, из которого немилосердно сквозило: холодный воздух пробрал меня до мозга костей, и я чихнул. Когда я доставал носовой платок, из моего кармана выпал маленький — чуть больше листочки, чуть меньше ладони — платочек с кружевами. Шерлок положил его на стол и вновь углубился в наблюдения.

— Это женский платок,— изрек он наконец.

Лицо его расплылось в улыбке.

— Дитя! — бросил он.— Вы выдали себя платочком. После той истории с Отелло носовые платки сделались достоянием оперетты. Впрочем, я не любопытен... Вы позволите осмотреть платок?

Я пролепетал что-то несуразное, вроде: «Осматривайте, он чистый» — и принялся было насвистывать, дабы выглядеть непринужденнее. В наступившей тишине можно было бы услышать, как пролетит муха, однако эти поганые насекомые, как нарочно, все где-то затаились. Зато сердце мое, включенное на четвертую скорость, ревело, точно мотор. Шерлок отпил глоток бордо, затем еще один, а затем ткнул указательным пальцем в платок.

[1] Англичане и англичанки, как известно, предпочитают полуботинки на шнурках, именуемые «Ришелье».

— Это жена человека подозрительного и хитрого,— вывел он.— Инициалов нет.

У меня словно камень с души свалился, и я выпил залпом два стакана воды. Холмс понюхал платок сам, а потом, поднеся его к моему носу, спросил:

— Чем пахнет?

От платка разило духами «Конго», да так нещадно, что кулика двухнедельной выдержки, которого нам подавали, можно было вполне принять за голубя. Да и охота в этот день только открывалась.

— Чем пахнет? — промямлил я.

К счастью, Холмс никогда не слушает собеседника. Задавая вопрос, он сам для себя формулирует ответ.

— Лично я,— рассудил он,— не чувствую никакого запаха. Следовательно, он пахнет духами, к которым я привык. Скажем, «Конго»: ими душится моя жена.

Если вы еще не прошли сквозь огонь, воду и медные трубы, вам не понять, какие муки претерпевал я в эти минуты. В наступившей тишине я ощутил, как столб воздуха, давящего мне на плечи, стал вдвое тяжелей. Я склонился над тарелкой в надежде пробудить у себя аппетит. Шерлок тем временем продолжал меня изучать.

— Волос,— промолвил он.

Заглянув в его тарелку, я попытался возразить:

— Это не волос. Это, скорее всего, порей.

Вместо ответа он привстал, протянул ко мне руку, двумя пальцами — большим и указательным — подцепил на моем воротнике и предъявил мне мягкую шелковистую золотую ниточку, иначе говоря, волос, из тех, что так хорошо смотрятся на плече возлюбленного, когда к нему припадает женская головка.

— Ну,— протянул он,— что это?

— Это...— сколько ни старался я придать голосу безразличие, ответ прозвучал вызывающе: — Это, как вы изволили заметить, волос!

Он положил его на белую скатерть. Я изо всех сил чихнул в сторону волоса, надеясь, что мой погруженный в задумчивость палач объяснит этот чих сквозняком. Волос приподнялся, извиваясь, точно змея на хвосте, однако со стола, паршивец, не слетел.

— Чихните еще раз,— скомандовал Холмс, сразу же разгадав мой маневр.

Это было уже слишком. Я возмутился:

— Чихайте сами, если вам угодно.

Он чихнул. Волос приподнялся, извиваясь, и т. д. (смотри выше).

— Сомнений быть не может — это волос от парика,— заключил он.— У него клейкое основание.

Волос упал поперек стола и замер: теперь нас разделял труп. Мертвый волос, казалось, стал еще длиннее, чем прежде.

Шерлок опорожнил стакан и — несмотря на все мои попытки подлить ему шабли, впрочем преотвратного,— стал смотреть сквозь него как в лупу.

— Это волос моей жены,— изрек он наконец.

— Ого-го! — Я напустил на себя игривость, пытаясь скрыть охвативший меня ужас.— Госпожа Холмс очень красива. Вы мне льстите.

Он же смотрел на меня с состраданием:

— Мне жаль вас, друг мой... Эта потасканная ирландка...

Нет, лучше смерть, чем неизвестность. Я, признаться, не люблю, когда меня поджаривают на медленном огне. Да еще в присутствии дурака-официанта, который, подавая, подслушивает вас. Непрошеного свидетеля я отослал.

— Ну а вы,— прошипел я, вставая и пронзая Шерлока взглядом.— Извольте объясниться!

Я, как говорится, брал быка за рога, прямо-таки лез на рожон. Противник мой, однако, не изменил своей почтительной иронии.

— Итак,— произнес он,— вы идете со свидания и, завидев меня, смущаетесь, следовательно, вы заинтересованы в том, чтобы я не узнал, кто именно дарит вам свою благосклонность. Ваши ботинки не застегнуты... И все это — в день, когда моя горничная отсутствует, а жена остается одна. Вы достаете платок, принадлежащий моей жене. Я обнаруживаю на вашем плече волос из ее лучшего парика. Следовательно..

Сердце мое застучало так, что чуть не оборвалось. Но чем быстрее оно билось, тем медленнее тянулось время.

— Следовательно,— продолжил Холмс, глядя на меня, как удав на теленка, которого он собирается проглотить.— Следовательно... Вывод сделайте сами.

И я сделал вывод! Откинувшись на стуле, я лихорадочно сжимал рукоятку револьвера, отличного двенадцатизарядного браунинга. Как глупо, что я никогда его не заряжаю!

— Следовательно...— хладнокровно заключил Холмс.— Заметьте, дорогой друг, что я не держу на вас зла. Вы... любовник моей горничной!

— Официант! — заорал я.— Куда же вы запропастились, черт побери? Битый час не могу дозваться! Шампанского!

◆

МАКС ГАЛЛО

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАКСИМИЛИАНУ РОБЕСПЬЕРУ О НОВЫХ ЩЁГОЛЯХ

Фрагменты книги

Перевод с французского Л. ТОКАРЕВА

Гражданин Робеспьер!

Я не хотел тревожить твой сон.

Ибо с того дня 4 мая 1789 года, когда ты вошел в Историю вместе с другими депутатами Генеральных штатов, которые шествовали в Версале по Парижской улице, тебе не давали покоя.

10 термидора 1794 года тебе отрубили голову, но продолжали тыкать в тебя пальцем, вспоминать тебя, — чаще проклиная и обвиняя, реже — хваля,— будто жаждали оправдать пророчество, оброненное тобой в последней речи: «Смерть — начало бессмертия».

Однако некоторые полагали, что через двести лет после взятия Бастилии мы наконец сможем беспристрастно и зорко вглядеться в огромное зарево «твоей» революции.

Полагали, что к двухсотлетию, которое вскоре будут торжественно праздновать повсюду, Французская революция, чей призыв к Свободе, Равенству и Братству глубоко проник в умы людей всех континентов, чью «Марсельезу» распевали на всех языках, и ее клич, брошенный в лицо властям, был подобен трепещущему на ветру знамени бунта, что «нашей» революции — этому перелому в национальной истории — уже не стать предметом ни одного катехизиса.

Лет пятнадцать назад мудрецы, избавившиеся от революционных страстей своей юности, уверяли нас: «Спор (о революции — *М. Г.*) в его политико-театральном аспекте в действительности представляет собой фарс или схватку призраков. В плане политики ничто и никто не угрожает в сегодняшней Франции делу Французской революции: после поражения фашизма позиция правых сил уже не определяется отрицанием революции 1789—1794 годов и Республики. В университетской науке у «марксистской» (точнее, якобинской) историографии положение более прочное, чем когда-либо: у нее свои предшественники, традиции, каноны, своя вульгата, и нельзя утверждать, что она поощряет вкус к дерзости или нонконформизму. Короче говоря, Французская революция «властвует» в обществе и особенно в университетах».

И автор, невозмутимый иконоборец, заключал свой прогноз безапелляционным утверждением: «Тем самым я лишь хочу сказать, что любой исторический спор по поводу Французской революции больше не преследует никакой реальной политической цели» (Франсуа Фюре. «Революционный катехизис». Журнал «Анналы», март — апрель 1971 г.).

Отдельные люди могли этому верить в 1971 году, и, окажись их анализ ситуации истинным, я не стал бы, гражданин Робеспьер, тревожить твой сон.

Но тебе, гражданин, прекрасно известно, что события никогда не развиваются по предначертаниям мудрецов.

Кстати, достаточно было проследить борьбу идей в десятилетие 1971—1981 годов, чтобы понять, что Французская революция и на этот раз не смогла вырваться из магнитного поля идеологических сил, которые — не важно, к счастью нашему или к сожалению,— составляют основу политических споров.

Разумеется, всегда можно устало и горестно рассуждать о том, что столкновение «синих» и «белых» историков только вредит пониманию революции, а идеологические «крайности» лишь подкрепляют друг друга своими непримиримыми страстями: «оказывают взаимную помощь, стремясь обеспечить себе гегемонию в собственном лагере» (Фюре, 1986 г.).

Но сей глубокий, исполненный горестных сожалений вздох разочарования, что доносится из благоразумного «болота», никому не мешает.

© Éditions Albin Michel S. A., 1986.

Все разоблачают «ленинистско-псевдонародную» вульгату, «якобинских» историков, капуцинов марксизма, чья «историография, проникнутая духом манихейства, сектантства и консерватизма, подменяет понятие оценочным суждением, причинность — конечной целью, дискуссию — авторитарным суждением» (Фюре).

Каждый спешит забить свой гвоздь, и вот уже «приличный» профессор, член Института [1], а не какого-нибудь Центрального Комитета, бичует Революцию, как «немыслимый регресс в самом черном десятилетии (1789—1799) нашей истории».

Он же утверждает, что если «мы никогда не держали в руках письменного приказа Гитлера об истреблении евреев, зато располагаем декретами Барера и Карно [2], относящимися к Вандее. Кстати,— уточняет он,— всякий раз, проходя мимо лицея Карно, я плюю в его сторону» (Пьер Шоню, член Института).

А «болото» уже волнуется: «В лучшие дни большевистской революции 1793 год казался предтечей 1917 года. В конце же XX столетия, когда умерла коммунистическая утопия, террор есть первый шаг к ГУЛАГу» (Фюре, журнал «Нувель обсерватёр», 1986 г.).

«Болото» надеялось, что наступит затишье. Но ветер попросту подул в другую сторону.

Значит, Революция и через два века после извержения вулкана не перестает обжигать нас...

Упоминание твоего имени, Максимилиан Робеспьер, и через двести лет дорого обошлось левым силам, ибо правые по-прежнему хорошо умеют им пугать.

Однако моя цель вовсе не в том, чтобы, взывая к тебе, подготовить защитительную речь.

К тому же зачем тебе адвокат? Ведь судят не тебя, а Революцию, потому что— и можно лишь пожалеть об этом — именно ты, твое имя символизируют Революцию в ее напряженной борьбе и величии, в ее противоречиях, мелочности и преступлениях.

Жорес не побоялся о тебе написать: «Да, в нем уживались священник и фанатик, у него была невыносимая претензия на непогрешимость, гордыня ограниченной добродетели, тираническая привычка обо всем судить по мере собственного разумения, и даже в своих личных страданиях — чудовищная сердечная черствость человека, одержимого идеей и в конце концов начинающего отождествлять себя самого со своей верой, интересы своего честолюбия — с интересами общего дела...»

По-моему, Жорес не разгадал твоих душевных терзаний, твоего возрождавшегося на каждом шагу пессимизма, твоей околдованности поражением, которая — это очевидно — возникла еще в детстве и лишь подкреплялась усталостью вкупе с теми чрезмерными усилиями, что ты вместе с другими членами Комитета общественного спасения был вынужден предпринимать на протяжении многих месяцев.

Ты держал Революцию на вытянутой руке... И 9 термидора был побежден — в результате нервного истощения. Ты отдал всего себя, все отдал истории.

Вот видишь, гражданин Робеспьер, я тебя хорошо знаю. И тебе известно, что никогда я не воздвигал тебе алтаря.

Ты был всего лишь человеком, нередко одиноким, но твоя судьба слилась с судьбой решающего периода Революции.

Все дело именно в этой Революции, и каковы бы ни были твои недостатки, если придется делать выбор, я повторю слова Жореса, который, обращаясь к памяти монтаньяров II года Республики и рассказывая их историю, писал:

«Здесь, под солнцем июня 1793 года, подогревающим вашу жестокую борьбу, я на стороне Робеспьера и в Якобинском клубе сяду на скамью рядом с ним».

Но кто теперь посмеет написать такое?

Мода — либо соотношение политических и интеллектуальных сил, либо, еще проще, комфорт, осторожность, иллюзия или изящество стиля,— наоборот, внушает, что ни в коем случае не следует делать выбор между двумя совершенно одинаковыми и в равной степени несущими ответственность лагерями.

«Существуют два верных способа ничего не понять во Французской революции: первый — это проклинать ее, второй — это ее прославлять,— пишет Франсуа Фюре.— Тем, кто ее проклинает, суждено равнодушно отнестись к бурному зарождению демократии. Однако им было бы затруднительно предложить нашему обществу иные основополагающие принципы, кроме свободы и равенства. Те, кто ее прославляет, не способны ни объяснить, ни даже разглядеть трагедий Революции — разве что могут прикрыть их дебильной ссылкой на «обстоятельства». Они не замечают изначальной двойственности этого события, объемлющего и провозглашение прав человека, и террор, и свободу, и деспотизм» («Нувель обсерватёр», 1986 г.).

Вот нас и предупредили, гражданин Максимилиан:

если мы отвергнем тезис, согласно которому уже в 1789 году террор и свобода были связаны, сплетены в такой тугой узел, что его не распутать и не разрубить;

если мы будем выдвигать на первый план то, каким ты был, твой характер, идеи твоей эпохи, средства, коими ты располагал, будем представлять людей такими, какими они были и как реагировали на события после тысячелетий покорности и варварства, монархии и божественного права;

если, в общем, мы будем говорить об этом, о «политике наихудшего», избранной двором, о войне и ее последствиях, то при-

[1] Французский Институт (основан в 1795 г.) состоит из Академий надписей и литературы, наук, искусств, этических и политических наук и Французской академии. *(Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, прим. ред.)*

[2] Бертран Барер (1755—1841) и Лазар Карно (1753—1823) — депутаты Конвента и члены Комитета общественного спасения; после 8—9 термидора — противники Робеспьера.

дется бессильно прятаться за «обстоятельства» подобно детям, которые кричат, когда их застают на месте преступления: «Это не я, это он виноват...»

Вот так, гражданин, даже лучшие открывают спор о Французской революции.

И все-таки, разве можно молчать? Разве можно не воззвать к тебе? Ибо что слишком — то слишком.

Наступает время, когда надо, сохраняя рассудок, давать ответ.

На авансцене действительно толпятся некие субъекты, щёголи нового рода, что, закутавшись в тогу претенциозной учености, на все голоса поют нам, что революция — это «машина террора», творящая «первый идеологический геноцид».

Можем ли мы оставить без ответа подобные высказывания?

Они разыгрывают из себя людей благородных, с безутешной совестью; послушать их, так они «хотят отомстить за Вандею и послужить Франции».

И это они беспристрастные историки?

Они превозносят «просвещенное правление Людовика XV» (Шоню), ту дивную власть, что позволила колесовать Каласа [3], казнила протестантских пасторов, подвергала пыткам невинных и четвертовала цареубийцу Дамьена! [4].

Прекрасная эпоха, великая справедливость, поистине «просвещенное правление»!

Зато у этих господ нет достаточно крепких слов для палачей сентября 1792 года [5].

Ну, разумеется, кто стал бы защищать эту небольшую когорту убийц, сводимых с ума «обстоятельствами», угрозой прусского вторжения, реальностью войны и предательств, одержимых дикими страстями, не нашедшими выхода на протяжении веков?

Но почему, господа, радетели за добро и справедливость, вы умалчиваете о тех «отрядах Солнца» [6], которые на юго-востоке Франции развязали «белый террор» и принялись резать — даже без видимости суда — якобинцев, заключенных после твоего падения, Робеспьер, в тюрьмы Экса или Марселя?

Тем лучше, если осуждаются варварство, насилие, преступление, скорое на расправу правосудие, кто же станет жалеть об этом? Но тогда, господа, не надо предвзятости. Нельзя выбирать из душегубов! Тогда обличайте не только санкюлотов и «синих» [7], но также щёголей, золотую молодежь, наемных убийц, продавшихся аристократам, беспощадных шуанов.

Разоблачайте, господа, все виды насилия, или же позвольте мне заподозрить вас в том, что вы — всего-навсего пристрастные лицемеры, прекраснодушные люди, которые, возмущаясь одной частицей своего сердца, с блистательным безразличием позволяют изничтожать представителей противоположного лагеря.

А то и с удовлетворением наблюдают за наказанием «слуг дьявола», которых, впрочем, «спасают» при помощи гораздо большего греха.

Поэтому в эпоху «просвещенного правления Людовика XV» иногда бывало, что палач не спешил, вешал приговоренного, а потом отпускал петлю, чтобы преступник смог еще выслушать капуцина, который советовал ему испросить милосердия Божьего.

Мне хотелось бы, чтобы подобные обряды вызвали у вас возмущение. Но вы слишком озабочены отлучением всех, кто хотел их изменить, и не вспоминаете о добром старом времени при Людовике XV, прозванном Возлюбленным, когда пытки были в порядке вещей.

Среди вас есть и такие, кто, боясь безвестности, если только они не пытаются любой ценой откреститься от собственного прошлого (одно время их считали «ангажированными» сторонниками левых сил) или отличиться, чтобы выглядеть лучше всех, утверждают, будто «ядерный страх есть следствие нового риторического языка, выдуманного литераторами-неудачниками, Робеспьером и Сен-Жюстом...» (Жан-Поль Долле. Журнал «Магазин литтерер», 1986 г.).

Да, так и написано, гражданин Максимилиан, именно ты несешь ответственность за Хиросиму и Нагасаки, за распространение ядерных боеголовок, за «першинги» и СС-20!

Разве не ты употребил «устрашающую формулу: «Смерть—начало бессмертия»?

Этого довольно, чтобы обвинить тебя в желании погубить человечество.

Не имеет значения, что ты произнес эту фразу 8 термидора II года Республики, зная, что ты обречен, и, может быть, желая смерти. Ты хотел успокоить себя, взывая к суду будущего.

Так нет же, гражданин. Если верить этому «мыслителю» образца 86 года, ты породил ядерный страх и грыз ногти с досады, что не написал великого романа!

Суди сам, гражданин Робеспьер, с чем мы пришли к двухсотлетней годовщине Французской революции!

В 1791 году утверждали, что на самом деле твое имя Робер-Пьер и происходишь ты от цареубийцы Робера Дамьена.

В 1986 году говорят, что ты, пожалуй, ядерными взрывами поднял бы на воздух всю планету. Ты мог бы оказаться предком Сталина и Гитлера.

Ты можешь представить себе это, гражданин Максимилиан?

Разумеется, к оскорблениям и клевете тебе не привыкать.

Тебя уже превращали в «жалкого рохлю», напудренного развратника, гомосексуалиста-преступника, потому что ты был

---

[3] Дело Жана Каласа (1698—1762) — кальвиниста, казненного по ложному обвинению в убийстве сына, который якобы пытался перейти в католицизм.— образец религиозной нетерпимости.

[4] Робер Дамьен (1715—1757) — солдат, легко ударивший ножом Людовика XV, чтобы напомнить тому об истинных обязанностях короля.

[5] Резня 1792 года началась с уничтожения 2 сентября восставшим народом заключенных парижских тюрем.

[6] Вооруженные банды, расправлявшиеся в 1795 году с якобинцами.

[7] «Синие» (по цвету формы) — солдаты Республики.

якобы ревнивцем и импотентом. Теперь поднялись на ступеньку выше. И вот ты, в бункере твоей революции, оказываешься параноиком и неудачником, готовым решиться на ядерное заклание человечества, чтобы забыть о неудовлетворенном литературном самолюбии!

Ну, а «синие», солдаты Республики, кто же тогда они, если не эсэсовцы?

Кстати, нас уверяют, что в Вандее на мундирах «синих» красовался череп, как и у верных слуг фюрера. А наш историк из Института пишет: «Садистские действия колонн Тюро [8] равны действиям СС, аппарата ГУЛАГа и красных кхмеров».

Беспристрастное, как и полагается видному университетскому ученому, суждение, оценка научная и нисколько не анахроничная!

И вот эти господа дают уроки объективности, аполитизма, исторической науки!

Но самое серьезное заключается не в этом.

В конце концов, начиная с июля 1789 года, всех людей, ввязавшихся, подобно тебе, гражданин Робеспьер, в схватки эпохи, боровшихся против Двора и вековой мощи существующего строя, осыпали оскорблениями и ложью.

Правда — так обстояло вплоть до 1970-х годов,— раздавались и другие голоса. Люди пытались опровергнуть клевету и установить факты.

Сегодня — если не учитывать коллоквиумов, где вырабатывается ученая, тщательно документированная история, а также работ нескольких историков,— именно приверженцы самых реакционных тезисов контрреволюции (я к этому еще вернусь) оказались в привилегированном положении.

Все дело в конъюнктуре, гражданин Робеспьер.

Они оплакивают и прославляют убитых шуанов. И хорошо, что оплакивают. Мертвые имеют право на утешение многолетней преданностью.

Но кто вспоминает о парижских демонстрантах, расстрелянных без предупреждения, о зарезанных «синих», о республиканцах, которых ловили и убивали, о якобинцах, приконченных в тюремных камерах?

Кто помнит о попытке предательства, о выборе наихудших мер, обдуманных и осуществленных монархом, давшим, однако, клятву восторженным и наивным гражданам? [9]

Пришла пора снова сказать об этом.

Не для того чтобы, подобно «щёголям», выражать свои мысли с сумасшедшей безудержностью, с таким презрением, таким фанатичным ослеплением, таким исполненным ненависти высокомерием, какого, по-моему, никогда не видали и в худшие времена «ленинистско-псевдонародной вульгаты», но чтобы восстановить последовательность событий, ответить на пристрастные россказни, замаскированные под исторические труды, хотя они представляют собой всего лишь повторение старых контрреволюционных перегибов.

И надо будет также четко выявить ответственность всех участников событий 1789 года.

Ибо неверно — пусть каждый и несет за них свою долю,— что ответственность эта была поделена поровну. И здесь делаем выбор не мы, а сама история.

Эта задача не терпит отлагательства, потому что, как в самые мрачные периоды истории нашей страны, Революция оказывается перед судом и, несмотря на внешние признаки, сам дух Республики ставится под сомнение.

Но прошу вас, господа, не забывайте о логике.

Если санкюлоты — убийцы, если солдаты II года — эсэсовцы, если Республика повинна в «геноциде», тогда нужно стереть с фронтонов общественных зданий слова «Свобода, Равенство, Братство».

Почему бы к примеру, не заменить их словами «Труд, Семья, Родина?» [10]

Почему бы не придушить Республику, эту «нищенку», рожденную во времена жуткого упадка, и не назвать наш режим «Французским государством»?

Многие из этих господ — в чем я уверен — предложили бы поступить именно так, но сие уже было однажды проделано в 1940 году, при весьма специфических обстоятельствах.

Родную землю оккупировал враг. Таким образом воплотилось в жизнь заветнейшее желание короля Людовика XVI и аристократов, которые руководили шуанами на Кибероне [11], облачившимися в мундиры чужой, английской армии и сражавшимися против армий нации.

Как видишь, традиция очень живучая, гражданин Робеспьер.

Но эти господа не задерживаются на периоде 40-х годов, который должен был бы вызывать у них полное удовлетворение.

Неужто он их смущает?

В конце концов, если «преступница» — Революция и ее дочь — Республика, их символы будут изгнаны с фронтонов государственных учреждений, а их сторонники — из дворцов и со своих должностей, разве не будет это благом для страны?

Разве преследование левых сил, республиканцев и франкмасонов не было все-таки средством покончить с этой «крохотной, но опасной раковой опухолью нашей истории» (Пьер Шоню)?

Быть может, гражданин, их смущает присутствие нацистов, а не то они взяли бы на

---

[8] Луи Тюро де Гарамбувиль (1756—1816) — один из начальников Национальной гвардии; главнокомандующий Западной армией, создавшей в 1794 году в Вандее безжалостные «адские колонны».

[9] 14 июля 1790 года, в день Федерации, Людовик XVI дал клятву Нации — «следить за соблюдением законов».

[10] С июля 1941 года — девиз правительства Петена, призванный заменить национальный лозунг «Свобода. Равенство. Братство».

[11] На полуострове Киберон (Бретань) в июне 1795 года при поддержке англичан высадились эмигранты-роялисты. Были разбиты республиканскими войсками генерала Л. Гоша.

себя ответственность за тот «здоровый» момент нашего прошлого.

Верно, что с такой точки зрения история второй мировой войны еще не окончательно «пересмотрена». На это требуется время. Нельзя одним махом убедить общественное мнение в том, что газовых камер не существовало, а истребление евреев было обманом. Университетские умы тут, разумеется, кипят вовсю. Другие «историки» пытаются взвалить на Сопротивление ответственность за развязывание так называемой «гражданской войны», которая, по их словам, расколола покоренную нацию. Разве не верно, если следовать их доводам, что «сопротивляться» — означало провоцировать, как они доказывают, оккупантов и вишистскую милицию, вступать в порочный круг репрессий и гибели заложников? И не будем забывать о «преступлениях» эпохи «Освобождения»...

Короче говоря, пересмотр идет полным ходом, но пока не завершен. С тех черных лет прошло всего-навсего менее полувека, а чтобы стереть из памяти людей шесть миллионов жертв и все Орадуры, нужен гораздо больший срок.

Может быть, лет двести.

Ведь хватило же некоторым двух столетий, чтобы забыть о веках угнетения и представить революционные события 1789 года, заложившие основы Декларации прав человека и гражданина, началом... угнетения.

Сейчас, однако, эти господа умалчивают о 40-х годах — времени официального триумфа тезисов, которые они сегодня отстаивают.

Вот почему столь интересно поразмышлять о судьбах историографии Французской революции.

В 1939 году, например, к ее 150-летней годовщине, «Жё сюи парту» — этот блестящий антисемитский еженедельник, которому предстояло прославиться между 1940—1944 годами,— посвятил специальный номер убийце Марата Шарлотте Корде и вандейским крестьянам. И выдающиеся историки Бернар Фаи и Пьер Гаксотт издавали тогда серию исследований, чтобы указать — и они туда же! — на «раковую» опухоль революции, которая воздвигла «стену между прошлой и сегодняшней Францией».

И когда в 1940 году правительство Виши — Французское государство, уже не Республика — стало хозяином того, что осталось от страны, оно решило сжечь экземпляры книги, написанной историком Жоржем Лефевром к 150-летию Революции! Он ведь славил в ней «великих предков»!

С одной стороны, ученые и добросовестные «ревизионисты» действительно изничтожают — по справедливости, гражданин Робеспьер, по справедливости! — догматизм тех марксистов, что не читали Маркса, тех сухих историков, что превратили революцию в смену этапов, будто история — а история революционного взрыва более, чем любая другая,— не была прежде всего серией «неожиданностей». Не вращением шестеренки — буржуазная фаза, народная фаза и т. д.,— но именно сплетением инициатив, противоречий, приливов и отливов, слепых заблуждений и страстей, несомых великим потоком глубинной Истории, то есть всевозможных историй, умонастроений, разных сословий, укладов экономики....

Итак, сомнительного достоинства сооружения — популистско-ленинистская и якобинско-большевистская «вульгаты» — под ударами критики рухнули.

Рухнули совсем легко потому, что исчерпавший себя советский миф и несостоятельность в 70-х годах коммунистических партий, утративших свою «историческую творческую силу», оставили последних университетских представителей марксиствующей историографии в одиночестве на кафедрах или наедине с архивными папками.

Тщетно они отстаивали, прикрываясь своими категориями (буржуазная революция, переход от феодализма к капитализму и т. д.), свою идею революции. Для них 1789 год был преамбулой революции 1917 года, а большевики — наследниками якобинцев 1793 года (Матьез. «Большевизм и якобинство», 1920 г.).

Такова была атмосфера 70-х годов.

В 1965 году два историка, некогда связанных с коммунистической партией (Фюре и Рише), опубликовали книгу «Французская революция», которая порывала с «вульгатой». В 1971 году они разоблачили популистско-ленинистский «революционный катехизис», что явилось неизбежным поражением сторонников так называемой «марксистской» историографии, объявлявшей себя продолжательницей Французской революции (так индейцы племени хиваро сохраняют голову врага, высушивая ее).

И это более напоминало разгром, нежели просто поражение, ибо все сообщество интеллектуалов сменило униформу.

Были выброшены кепка Ленина, кожаная куртка Троцкого, китель Сталина, френч Мао, и все облачились в белоснежные сорочки защитников прав человека.

От революции, о которой мечтали, потом от революции, которую предали, они перешли к революции, которую ненавидят.

И тогда как московские процессы объясняли тем, что и «во время Французской революции карали предателей» (Жан Брюа, 1936 г.) (и наоборот: Ленин был тобой, Робеспьер, а ты уже был Лениным или Сталиным), террор II года Республики превратили в «матрицу» ГУЛАГа.

Вот почему, гражданин Робеспьер, в один прекрасный день тебе предъявили обвинение в том, что ты несешь ответственность за ядерную угрозу и грядущие геноциды.

Ведь вместо того, чтобы заняться «деидеологизацией» истории Французской революции и добиваться последовательного возврата к хронологии, к исследованию преемственности событий, чтобы выявить — или восстановить — ее причины, погребенные под горами всевозможных оправда-

ний, все безудержно предались новым речам.

Террор, например, предстает теперь не чем иным, как «волей к выработке, благодаря убийству врагов, доказательств реальности революции» (Клод Лёфор).

Поэтому процесс Революции, отказавшись от «дебильного» объяснения «обстоятельствами», снова выхолостили, лишили корней.

И отныне все свелось лишь к абстрактным материям и речам.

Послушаем же этих «беспристрастных», «аполитичных» историков, которых, если им поверить на слово, заботит только одно — установление истины.

Для них «глубинная логика революционного феномена, возникшего в 1789 году, есть логика устранения». Значит, Революцию делали ради уничтожения Другого.

Разве уже не 14 июля был убит г-н де Лоне, комендант Бастилии? А когда толпа отправляется в Версаль, чтобы привезти в Париж короля и королеву, это уже подтверждение факта: террор встал на повестку дня.

Итак, не может быть никакого выбора между «периодами», между «революцией либеральной» и другой революцией — «экстремистской». Все — Террор.

Рассказав — на свой манер — о сентябрьских убийствах 1792 года, один из «новых» историков делает вывод: «Революция — это целое. Каждый волен принимать или отвергать ее наследие но всякий, кто одобряет это великое потрясение, должен безоговорочно принять варварское и кровавое насилие, придающее революции завершенность. Каждый француз, который испытывает восторг, читая великих левых ораторов Учредительного собрания, вспоминая о взятии Бастилии или победе при Вальми[12], как бы выпивает стакан человеческой крови, что, может быть, вовсе не пришлось делать мадемуазель де Сомбрёй. Но здесь по крайней мере есть над чем задуматься» (Фредерик Блюш. «Сентябрь 1792 года: мотивы одной бойни», Лаффон, 1986 г.).

Видишь, какая ловушка, гражданин Робеспьер.

Тот, кто отказывается выпить «стакан человеческой крови», который убийца в сентябре 1792 года протянул мадемуазель де Сомбрёй [13] (а согласится на это разве чудовище), спасает тем самым свое достоинство человека перед лицом палачей и должен отвергнуть всю Революцию в целом: и 1789 год, и Декларацию прав.

И — да здравствует король!

Ловко, не правда ли, гражданин Робеспьер?

Значит, это и есть историческая правда, дозволенный нам выбор.

И все остальное в том же духе.

Там — надо выпить стакан крови, здесь — признать геноцид. Ибо геноцид творили не только в Вандее, но и по всей Франции: «Полмиллиона женщин, детей, стариков, а кое-где и мужчин, были убиты за одно-единственное преступление — преданность вере отцов» (Пьер Шоню).

Кто же учинил это? Наши признанные университетские знакомцы отвечают: революция, которая была преступлением безбожников, дьявола. Более того, «революция нас разорила. Она остановила рост экономики, отбросила нас назад» (все тот же Шоню).

Право слово, гражданин Робеспьер, «твоя» революция — это какой-то разбой, какая-то бездна!

Слушай дальше: «Революция, искажающая мысли, навязывающая модель идеологии, развязывающая самую кровавую из всех религиозных войн в нашей истории, прежде всего представляет собой интеллектуальный феномен. Именно на уровне мыслей, их распространения и манипулирования ими надлежит исследовать то, что и завязалось на уровне мыслей».

Значит, надо будет отыскивать «вожаков», «испорченных», «лжемыслителей», «завистников», «неудачников» — всех, ставших дурными пастырями и «манипулировавших» мыслями чтобы обмануть народ. С какой же целью?

Можешь сам догадаться, гражданин.

Ведь, если послушать этих «историков», «революция, будучи ложью, повсюду и без конца проливала кровь, а теперь проливает чернила во Франции, над некогда богатейшей провинцией христианского мира» (Шоню).

Однако достаточно хоть малой толики знаний или мужества, чтобы доказать очевидное: они лишь слово в слово повторяют все то, что самые «крайние», самые ограниченные, самые злобные из контрреволюционеров, самые пристрастные из историков Революции взапуски твердили с первых дней июня 1789 года.

Когда г-н профессор Шоню, как всегда высокомерно, заявляет, словно вдруг снисходя до нас с откровением, что Революция — это «раковая опухоль», что, будучи ложью, она «повсюду и без конца проливала кровь», вспоминаются строки, которые ультрароялист Больё написал в 1820 году в своей «Истории революции»: «Французская революция представляется воображению в виде длинной змеи, например, страшного удава, который, отравив своими ядами землю, где он прополз, похоже, отдыхает. Но остерегайтесь подходить к нему. Он спит притворным сном, сном вероломства. Если он и отдыхает, то лишь для того, чтобы накопить свежего яда».

Вероломство? Ложь? Разрушение богатейшей провинции христианского мира, геноцид?

Ультрареакционеры научили мыслить этих «историков», которые намереваются

---

[12] 20 сентября 1792 года в битве при Вальми французская революционная армия одержала первую победу над австро-прусскими войсками.

[13] Дочь управляющего Дома инвалидов маркиза Шарля де Сомбрёй (1769—1795), арестованного по подозрению в попытке защитить королевскую семью в Тюильри 10 августа 1792 г., якобы выпила поднесенный ей «сентябрьскими палачами» стакан крови, чтобы спасти отца.

провозгласить истину о Революции в тоне отлучения от оной всех остальных.

На самом деле их анализ не дает ни единого нового аргумента, а в их ненависти нет ничего неожиданного.

Борьбу начали полемисты, которые все лето 1789 года и вплоть до 1792-го мужественно сражаются с пером в руках, защищая королевскую власть.

Это либо священники, вроде Руайу или де Фонтене, либо журналисты, вроде дю Розуа, Риваролля или Сюло. Они издают газеты живые и резкие по тону, такие, как «Деяния апостолов», «Национальная политическая газета», «Всеобщая газета, или Друг короля». Кстати, они и себя называют «Друзьями короля». И гордятся своими взглядами.

Они упорно метят в тебя, гражданин Робеспьер. Ты и Марат, а заодно все члены Учредительного собрания, депутаты Законодательного собрания — каждый день вы подвергались их нападкам.

Что писали они, начиная с 1789 года?

Что Революция вышла из заговора масонов, что якобинцы образуют секту и можно их опознать по «стрижке в скобку, по их бешеным жестам и лицам».

Что якобинец «по натуре своей напоминает тигра и белого медведя. Внешность у него скотская и грубая, походка тяжела. Вид угрюмый, рожа мерзкая, волосы короткие. Жестокий и хищный, он убивает ради наслаждения убивать».

Здесь ненависть живет в каждом слове, ибо то было время беспощадной борьбы. Полемисты призывают к убийству, к возмездию.

Они объясняют «революционное движение» главенствующей ролью масонских принципов.

«Равенство между братьями... всюду разрушительное братство всех сословий; все политические договоры, все социальные организации равны...»

Тем самым, согласно «Друзьям короля», масонство было первопричиной «распадения» общества. И «якобинские клубы» действуют по образцу масонских лож. «Они руководят мнением черни, властвуют над управителями, диктуют приговоры судьям».

Вот что печатали в роялистских газетах, одновременно разоблачая губительное влияние «философии», роль «зависти», «ревности», те низкие инстинкты, которые натравливают неудачников, заурядных людей и лжемыслителей против всего, что являет собой порядок, иерархию, тысячелетнюю красоту аристократии и монархии.

Все это написано талантливо. А систематически будет изложено в 1797 году в большой книге аббата Баррюеля.

Этот труд, «Записки по истории якобинства», сразу стал «бестселлером» всей эмиграции, каждого врага революции в Европе, всех тех, кто верит, будто революция — плод масонского заговора.

«В середине столетия встретились три человека,— объясняет Баррюель.— Все трое питали глубокую ненависть к христианству: то были Вольтер, д'Аламбер и Фридрих II, король прусский...»

Они замышляют заговор, плодят секты иллюминатов[14] по всей Европе, вербуют сторонников и выбирают местом действия Францию...

«День восстания был назначен на 14 июля 1789 года... В этот день требования свободы и равенства стали раздаваться вне масонских лож. Шифрованная передача сообщений была у иллюминатов так хорошо налажена, что все бандиты и все братья восстали в одну и ту же минуту».

Вот что пишет Баррюель, вот какова история 1789 года с точки зрения контрреволюционеров. И сам Баррюель только черпает свои идеи в полемической, роялистской прессе, которая измышляет эти пояснения, ежедневно бравирует своей ненавистью в борьбе между королевской властью и теми, кто жаждет иного — прежде всего и только лишь конституционной монархии, а после и теми, кто рвется защищать первые завоевания.

Разумеется, все это выдумки.

Разумеется, книга Баррюеля — «вымышленное» повествование, пристрастное и пропагандистское. Но аббат утверждает, будто он «опирался на факты и имеет доказательства», свидетельствующие, будто все происшедшее «творилось величайшими злодеями».

В самом начале революции, в 1789 году, уже существуют «Друзья короля», их манера переживать и понимать события.

Баррюель — первый, кто обобщил их писания, но в 1790 году другой человек, обобщавший факты, использовал те же источники. В своих «Размышлениях о Французской революции» англичанин Эдмунд Бёрк тоже утверждает, подобно Риваролю, «Друзьям короля» и Баррюелю, что революция вышла из заговора парижских философов-атеистов. И добавляет, что этих одержимых отвлеченностями и духом системы людей увлекла надменная метафизика, потому-то они забыли о действительности, отвергли требования прагматизма, порвали с прошлым.

Они «безумцы», эти французские философы! Как отличается их революция от революции английской — скромной, основанной на опыте, укрепляющей, обживающей и приемлющей традиции, то есть революции образцовой. Английская революция вдохновляет революцию американскую и опровергает отклонение с пути праведного, бред, крайности, как сказали бы сегодня — «заскоки» Французской революции.

«Вы могли бы,— писал Бёрк, обращаясь к французам 1790 года,— если бы захотели, воспользоваться нашим примером и, добившись своей свободы, придать ей достойный облик...»

Как и «Друзья короля», у которых он заимствует эту мысль — с исторической точки зрения недоказуемую,— Бёрк утверждает, будто у Франции была старая, по-

[14] Иллюминаты — члены тайного общества, возникшего в 1776 г. в Баварии, близкого к организациям масонов.

рожденная монархической традицией «конституция». Конечно, положения ее устарели, «но у вас оставались еще обломки старых стен и полностью сохранившийся фундамент этого древнего и почтенного замка... Вы могли бы восстановить стены и начать строить на старом фундаменте...»

Увы, этого не случилось!

Одержимые «отвлеченностями и духом системы», который породили секта философов, якобинские и прочие клубы, эти ложные, сухие и абстрактные умы, французы порвали с прошлым. Пагубные заскоки и разрыв с прошлым были не результатом событий, не реакцией на политику наихудшего и т. д., но следствием «безумных и ложных идей».

«Прежние Генеральные штаты давали вам все преимущества,— продолжает Бёрк,— однако вы предпочли действовать так, словно вас не коснулось просвещение и вам надо было все создавать заново».

Бёрк, как мы видим, уже отвергает «дебильное» объяснение событий обстоятельствами. Все дело — в «теории», «отвлеченностях», в идеологическом бреде.

С одной стороны—естественная, умеренная, справедливая, совершенная английская революция.

С другой стороны — порожденная духом системы, философами и сектами, сотканная из крайностей и безрассудств, злокозненная Французская революция.

Источник сведений — статьи роялистских публицистов, находившихся в гуще событий. И два человека, обобщающих факты,— Баррюель и Бёрк. Вскоре появится и Жозеф де Местр. А сие значит, что все уже сказано. Английская революция — это «норма». Французская революция — «идеологическое безумие».

Издательство «Коперник» представляет нам еще одного героя новой историографии Огюстена Кошена: «Кошен попытался показать, что французский народ никогда не был соучастником того, что Поль Бурже называл «преступной идеологической и грабительской затеей, построенной на софизмах и убийствах и логически завершившейся террором» [15]. Кошен также был первым историком, подчеркнувшим важную роль, которую сыграли в предреволюционные годы ученые общества, отметившим основную роль «культурной власти» в потрясении социальных устоев».

Позиция г-на социолога Жана Беклера, автора предисловия к «Духу якобинства» Кошена, столь же абсолютно ясна, но поскольку он претендует на объективность университетского ученого, то пользуется другим языком.

Кошен, объясняет он, выявил «оригинальную черту Французской революции и главенствующее измерение демократической современности, то, что сегодня мы назвали бы идеологическим тоталитаризмом».

«Можно ли праздновать годовщину Французской революции?» — спрашивает себя в одном примечательном тексте Мона Озуф, одна из тончайших аналитиков революционной атмосферы.

«Ибо Французская революция представляет собой событие... которое раскололо надвое историю Франции, а также французов», тогда как «годовщина» стремится к примирению сторон.

Впрочем, как праздновать эту «революцию — больше проблему, нежели очевидность»? — задает она и другой вопрос.

И к чему, ведь «логичность «защиты Республики», придававшая смысл празднованию столетия Революции, изжила себя», а «что касается революционной логики, то... слово «революция», когда коммунистические эксперименты потерпели фиаско, полностью лишилось духовной притягательности...»

Но и вопрос Моны Озуф поставлен так же, как подают новые субъекты, титулованные щёголи, «великие историки» широкой публике накануне двухсотлетней годовщины историю 1789 года, все события революции — не как «проблему», исследование (каковым и должна быть любая история) действительности и французского общества, а как «очевидность».

Ведь им, наследникам Баррюеля и Бёрка, известно, что 1789 год, подготовленный горсткой вожаков, обернулся-де толчком назад, экономической разрухой, террором, геноцидом.

Короче говоря, попавшая к ним в лапы Революция — это, оказывается, зло. А если кого и надо прославлять, так святую мученицу Марию-Антуанетту, кого и надо превозносить, так Шарлотту Корде, истинную Жанну д'Арк, и кого по совести надо оплакать, так «доброго Людовика XVI». А «синих» остается лишь проклинать.

Революция — только ложь и геноцид. Она — «раковая опухоль», что разъедает наше настоящее, «ибо семя ненависти оплодотворило XX век»,— делает вывод автор книги «Франко-французский геноцид» Рейнальд Сеше.

Вот ты, гражданин, и увидел в натуре «научный» метод наших великих историков и великих первооткрывателей. У них всегда под рукой горючий материал.

И посему опровергнуть их невозможно.

Они начинают с того, что положа руку на сердце и со слезами на глазах уверяют, будто сентябрьская резня 1792 года, террор гильотина вызывают у них отвращение, будто необходимо исследовать этот преступный «тоталитаризм». И нам нечего возразить на сию обвинительную речь. Действительно, как защищать столь варварскую политику?

Но они не умолкают и продолжают разматывать клубок своих примеров. Вот они изучают ход законных, спокойно проходящих выборов, которые организовал король и правила которых никто не нарушал. Эти выборы возмущают их больше, чем террор. Их суждения пропитаны презрением к этой «раздробленной и сбитой с толку толпе», которой манипулирует «горстка всесильных личностей».

[15] Стоит отметить в цитате из Бурже сплошь сегодняшнюю лексику — «идеология», «софизмы», а в итоге «логически» — террор. Бурже — вот еще один предшественник наших мыслителей и щёголей. *(Прим. авт.)*

Эти выборы и Генеральные штаты — нелепы!

Возмущение историков вызывают не террор или сентябрьская резня. Их возмущает демократия. Ведь демократия может обернуться для них только крахом, потому что в ее лоне процветает «homo ideologicus», тем самым развращая «ошалевшую массу».

Гражданин Робеспьер, здесь ты сталкиваешься с двумя главными понятиями новых щёголей.

«Homo ideologicus» — это вожак, думающий не то, что думают они.

«Ошалевшая масса» — это народ, несколько часов, дней или месяцев разделяющий идеи и планы homo ideologicus.

Этими двумя понятиями они объясняют все: 1789 год, год 1936 и год 1981. Даже год 1917.

Они поносят, презирают реальность, не понимают, каким образом рождает идеи жизненный опыт миллионов людей, как идеи воплощаются, уточняются, гармонично совпадают — часто на очень недолгое время — с чаяниями общественных групп, которые воспринимают их и с их помощью неуклюже, яростно, слепо пытаются хотя бы ослабить сковывающие их цепи.

Именно таких людей — сеятелей идей, надежды и справедливости — они и клеймят как «homo ideologicus».

Именно мужчин и женщин, разделяющих надежду — часто иллюзорную и всегда хрупкую,— на чуть лучшее будущее, на более дешевый хлеб, на время, вырванное у повседневного труда, чтобы жить чуть «посвободнее»,— таких они и зовут «ошалевшей массой».

И неужели под тем предлогом, что некоторые (Клод Морган в 1939 году) действительно писали, будто «дух Сен-Жюста вдохновляет сегодня нашего товарища Сталина», мы должны отдать двухсотлетие в руки тех, для кого история Революции уже начертана Бёрком, Баррюелем, Тэном или Кошеном?

Homo ideologicus и «ошалевшая масса» — уж не при помощи ли этих двух музыкальных ключей намерены они осмыслить бесчисленные песни, то слитные, стройные, то взаимодополняющие, то диссонирующие, но всегда звучащие патетической симфонией Революции?

Чтобы воссоздать «сложность» события и «отмечать» его как «проблему», прежде всего нельзя позволять догматикам задавать тон.

И вовсе не потому, что Сталина какое-то время изображали новым воплощением Сен-Жюста, стоит опровергать догматиков иного сорта, которые пишут: «До первого ГУЛАГа додумались террористы 1793—1794 годов» («Фигаро», 30 ноября 1984 г.).

Что за странный исторический метод у наших новых господ.

Я показал тебе, гражданин, где они черпали свое вдохновение. Каких авторов переписывали, слегка подновляя синтаксис и словарь.

Но их подход к Революции не становится от этого менее характерным.

Революция, с их точки зрения, подобна «огненному шару», явившемуся невесть откуда,— в нем уже заключены вся ее «логика» и все ее истоки,— она словно некий «метеорит», упавший на благодатную почву Старого режима. Революции предшествовали лишь маленькие метеориты-провозвестники, тоже залетевшие неведомо откуда, то есть «ученые общества», «масонские ложи».

Поэтому Революция, понимаемая и изображаемая как «однородная структура», и ученые общества неотрывны друг от друга, вылеплены из одного теста... Homo ideologicus, говорю я вам, ничем не обязан своему окружению, экономическим и социальным реальностям, развертывание Революции никак нельзя объяснить «дебильным оправданием обстоятельствами».

Ни одного «отрадного местечка» не найти в этой «культуре хаоса». Она поглотила нас. Революционеры — это «спонтанное поколение». Все берет начало в этой культуре хаоса, объясняется ею, разрешается в ней. Революция — метеорит, порожденный другим метеоритом, «философизмом»,— возникла, как и следовало ожидать, в головах нескольких неудачников.

Вот почему, гражданин Робеспьер, ты считал, что нужно бороться с реальными угрозами, что перед тобой враги, которых следует сразить. «Победить или погибнуть»,— говорили тогда. «Отечество в опасности», «Свобода или смерть» — такие провозглашались лозунги.

Но это было ошибкой, иллюзией. Ты был всего лишь игрушкой своей собственной «логики». Ты, как и волонтеры 1792 года, которые столкнулись при Вальми с прусской армией, все пали жертвами этого обмана, своего «революционного невроза», своих «психических расстройств».

Вы, чтобы осуществиться в качестве революционеров, испытывали потребность иметь врагов. Следовательно, вам необходимо было их выдумать.

Вы выдумали Людовика XVI.

Вы выдумали графа д'Артуа и его заговоры.

Вы выдумали Ларошжаклена и эмигрантов, которые высаживались на Киберон, переодевшись в форму английской армии.

Вы выдумали князей и королей.

Благодаря своему «бреду» вы чувствовали, что живете: вы становились «революционерами».

Вы убивали не для того, чтобы уничтожать — варварским способом, кто ж с этим спорит? — врагов, которые хотели вас свалить, вы убивали невинных, чтобы «самоутвердиться», укрепить себя в мыслях о том, что вы — революционеры.

Но поскольку речь идет лишь о «воображаемом» продукте «логики» Революции, которая единственно в этой «логике» и отыскивает свое происхождение, свою судьбу, свои пределы и свои принципы развития, то все люди, борющиеся против Революции, как бы не существуют. Они существуют как нечто реальное лишь в мрачных и преступных грезах идеологов.

Они могут быть только «жертвами», безвинными мучениками,— ведь враги если и существуют, то лишь в больных головах «революционных идиотов»!

Противники Революции, «версальцы» года 1789-го и года 1871-го признаны невиновными, непорочно чистыми.

Это Революция придумала их ненависть, чтобы утвердиться, тогда как совершенно очевидно, что доблестные караульные гвардейцы в замке Версаля нежно отнеслись к парижанкам, толпа которых 5 и 6 октября 1789 года пришла сюда требовать выхода короля.

А офицеры полков «национальной» гвардии, что усмиряли парижскую чернь в один из дней мая 1871 года, пылали любовью к Варлену, которого расстреляли, и к Валлесу, за которым охотились.

Итак, история Революции больше не является сложной «проблемой», конфликтными и трагическими отношениями между членами одной, растерзанной, человеческой общности. История Революции — как и любая история, достойная этого имени,— больше не образует сумму всех взаимодействий и не является проявлением берущих начало в далеком прошлом самых различных причин. Для новых господ история Революции представляет собой развитие болезнетворного зародыша, появившегося на земле Французского королевства невесть почему.

Я догадываюсь, что нашим новым господам, нашим «бонапартам» эрудиции, желающим, чтобы их «метод» возобладал, а их доказательства стали неопровержимы, необходимо, чтобы Старый режим, Франция Людовика XVI были тем раем, той самой богатой провинцией христианского мира, на которую — о, проклятие! — пали семена «ученых обществ» и где развился революционный рак.

Им необходимо, чтобы ясное небо умиротворенной монархии прорезал дьявольский метеорит Революции.

Добиться признания этого — дело тонкое.

Начиная с 1789 года, все говорят о «кризисе» Старого режима. Все современники — от Тюрго в 1776 году до маршала де Кастри в 1785-м — предупреждали суверена: «Хватит одной искры, чтобы поджечь и уничтожить страну».

Возмущения, страсти, скандалы, мятежи, фронда, затем восстание нотаблей и парламентов, суровые репрессии, повышение цен, катастрофические неурожаи накануне 1789 года, усиление имущественного неравенства, привилегии, повсюду привилегии (чтобы получить звание офицера, с мая 1781 года уже требуется четыре колена дворянской родословной), защита всеми средствами этих привилегий дворянством, зачастую оказывающимся в безвыходном положении, одним словом, «аристократическая» реакция — таков Старый режим.

И вечно неравенство перед налогом.

И вечны произвол и еще большее неравенство перед судьями.

На вершине системы — король, по божественному праву воплощающий «идеологический тоталитаризм».

Поэтому в царствование Людовика XV и казнят протестантских пасторов, колесуют Каласа, отрубают голову шевалье де ла Барру, который не снял шляпы перед процессией Святых Даров.

Но будем милосердны и не будем углубляться в историю монархии, не станем говорить здесь о прекрасных, умильных воспоминаниях, каковы бойня в Варфоломеевскую ночь, отмена Нантского эдикта, драгоннады и т. д.

Гражданин Робеспьер, ты, который знал как адвокат о беззаконии судебной процедуры и произволе правосудия, ты полагал, что все это очевидно.

Ты считал, будто с провозглашением Декларации прав человека и гражданина, переделкой всей судебной системы, что решено было осуществить с августа 1789 года, История показала, на чьей стороне были сторонники правового государства.

Ты думал, что благодаря тетрадям наказов, отлично разработанным курсам цен и заработной платы, очевидной реакции аристократии, увеличению числа восстаний судьбу Старого режима легко прогнозировать.

Кризис разъедал систему, полностью основанную на привилегиях и неравенстве и неспособную к преобразованиям.

Ты помнишь, гражданин, что в 1787 году один наблюдатель писал: «Как река не может течь вспять, так же совершенно немыслимо, чтобы Франция навела порядок в своих делах и внесла последовательность в свои планы» (посланник короля Пруссии в Париже).

И будущее, как тебе думалось, подтвердит это предсказание.

Ты ошибся, гражданин Максимилиан.

Наши щёголи, чтобы подкрепить свою мысль о «революции-метеорите», все это изменили.

Прежде всего они, прикидываясь простаками, почти не говорят о Старом режиме.

Каково происхождение Революции? На это они не хотят тратить время. Homo ideologicus — вот и весь их ответ. Что вы морочите нам голову Старым режимом. Террор, убийства, геноцид — вот что надлежит исследовать.

И оставьте же Старому режиму его «сладкую жизнь».

Ну а король? Королева? Их политика? Поговорим лучше об их мученичестве. Ах, как трогательна исполненная достоинства прекрасная Мария-Антуанетта (на киноэкране — Мишель Морган), бросающая вызов своим пошлым обвинителям, которые жаждут крови и говорят гнусности!

Когда убивают женщину, это действительно чудовищно.

И к чему, гражданин, вспоминать Старый режим и его служанок, повешенных, сожженных заживо, клейменных каленым железом за то, что они украли какую-нибудь жалкую тряпку? Или о тех женщинах, которые в Париже попали в облаву, потому что не имели работы, и были сосланы на край света? У тебя, гражданин, дурной вкус homo ideologicus!

Королева, как говорят, держалась с достоинством, заслуживающим восхищения.

Это правда.

А ты все не перестаешь удивляться.

Когда один из наших щёголей рисует Старый режим, поверь мне, картина стоит того, чтобы на нее взглянуть.

Кризиса никакого нет, забыты бесчисленные свидетельства о трудностях в конце правления Людовика XVI.

Разве Артур Юнг, английский путешественник, не совершил длительную поездку по Франции перед 1789 годом, оставив наблюдения, примечательные по ясности понимания, тонкости и уму? Но Артура Юнга отвергают.

«Папа» щёголей Фредерик Блюш «приглашает нас совершить по Франции более приятное путешествие, нежели путешествие Артура Юнга».

«Приятное» — вот подходящее слово и найдено. И в подтверждение цитируется заслуживающий доверия свидетель Сенак де Майян (противник Неккера, эмигрировавший в 1791 году, автор нескольких произведений против Революции... следовательно, наблюдатель беспристрастный!), который писал: «Именно в ту эпоху — в эпоху Людовика XVI — наши нравы были самыми кроткими, общество излучало обаяние, а все составляющие его классы наслаждались максимумом свободы, который предполагает монархическое государство».

Раз это говорит Сенак де Майян, значит, гражданин, так оно и было...

Поверь мне, гражданин Робеспьер, что наш щёголь все ясно видит.

Ты часто говорил о королевском правосудии, о кошмарных наказаниях, о колесовании. Ты отметил, что даже в 1785 году сожгли живьем какого-то вора-мятежника. И что в 1780 году отмена «предварительного допроса» не привела к отказу от отрубания кистей рук, от «сочетания колесования и сжигания».

Но почему же вы, ты и другие «идеологи», восстали против такого правосудия?

Как пишет наш «папа» щёголей: «Широкая публика и главным образом народные классы почти не интересуются смягчением судебных нравов».

Почему бы не оставить тело повешенного болтаться на виселице целых восемнадцать месяцев? Таков прекрасный спектакль, который продолжался в Гере с января 1778 по июль 1779 года.

Он «зрелищен и увлекателен для толпы».

Но разве этого мало?

Есть кое-что похлеще, гражданин, и идеологи никогда об этом не говорят. «Папа»-щёголь напоминает нам, что «приговоренные к смертной казни находят здесь (в публичном предании человека мукам.— *М. Г.*), то повод похорохориться, то предлог отсрочить наступление смерти».

Черт побери, ну, разве кто-нибудь еще посмеет критиковать подобные наказания или жаловаться на правосудие Старого режима, которое так нежно относилось к тем, кого убивало, поскольку оно позволяло обреченным выставлять себя напоказ?

Разве что homo ideologicus? Но ведь всем известно, чего добивается и чего заслуживает этот тип.

И точно так же, как видишь, если ты разоблачаешь варварские убийства, если ты без колебаний соглашаешься, что «сентябрьский террор — это темное пятно» (Мона Озуф), тебе все равно не простят напоминания о герцоге Брауншвейгском и «обстоятельствах».

Необходимо, чтобы «убийство» было выводом из единственно возможной безумной «логики» революции или результатом цинизма ее вождей.

Ты, может быть, считаешь, что мы также должны объяснять эти убийства более медленно протекающей и более глубинной историей: историей уходящего в прошлое склада мышления, в которую внесет ясность исследование, обратившееся к изучению поведения людей в том XVIII веке, когда оставляют висеть на перекладине повешенного человека восемнадцать месяцев кряду; когда осужденному публично вырывают язык; когда толпа присутствует при смертных казнях и наслаждается четвертованием, зрелищем тела, которому переламывают кости ударами железного прута, и видом сжигаемой заживо женщины. И разроет неостывший пепел костра, чтобы отыскать в нем кусочки костей и превратить их в реликвии.

Ты считаешь, что такая «этнология» сможет объяснить поступки «сентябрьских убийц», о которых рассказывают, будто они пожирали сердце и печень убитых ими аристократов.

Что под этим углом зрения Революция была всего лишь кровавым переломом, благодаря которому обнажилось общее состояние нравов.

Что в стране, где осужденному публично отрубают кисть руки, происходили варварские и первобытные ритуальные сцены, в ходе которых отдельные индивиды дикими способами осуществляли насилие, скрытое в тех обществах, что еще не вышли из предыстории цивилизации.

По этой мерке мы в самом деле смогли бы, гражданин, заново написать историю Революции. Следовало бы сделать это. И в этом случае обстоятельства действительно предстанут как «дебильное оправдание» или пена жизни.

Но кто напишет это?

Снова вытаскивают на свет Тэна, смешанного с Лёнотром, и вновь пугают нас ужасами,— очевидными! — чтобы заставить забыть о ходе событий, герцоге Брауншвейгском, да, именно о нем и о 10 августа, и указать на единственную их виновницу — Революцию.

Подобная история, которая топчется на месте, отступает назад и превращается в пропаганду под предлогом внесения в нее ясности, ничего не дает. Или, вернее, дает: она снимает ответственность с одного из действующих лиц, того, в чьих руках в начале пьесы находился выбор сюжета трагедии. А другого заранее осуждает.

Подобная история, гражданин Робеспьер, мажет историческую действительность кро-

вью для того, чтобы лучше вербовать сторонников в стан новых «мстителей».

И вот почему все мы останемся в «предыстории» человека, останемся дополнительными жертвами ее хаотического развития.

В Вандее творились ужасы. «На гражданских войнах убивают, что лес вырубают».

Но, доискиваясь правды о событии — особенно если оно отягчено пролитой кровью,— не следует начинать с умалчивания фактов, некоторых важных «деталей».

Чем объяснить то, что автор книги «Франко-французский геноцид» даже не намекает на систематические убийства шуанами «синих», совершавшиеся в начале восстания, до всяких репрессий со стороны республиканцев?

Разве убитые республиканцы не имеют права на память?

Итак, где же следы убийств «патриотов» в самые первые дни вандейского мятежа, 10 и 11 марта 1793 года?

Однако можно насчитать сотни «синих», которым хладнокровно перерезали горло и которых сваливали в канавы, которых связывали «гроздьями» по четверо, приканчивали и бросали в колодцы, а некий очевидец даже утверждает: «Вандейские женщины с жестокостью каннибалов... собственноручно вырывали половые органы у наших несчастных солдат».

Разве неуместно вспомнить, что все это происходило в марте месяце 1793 года?

Что в Вандее еще не было ни одной «адской колонны» [16], что Республика еще не учинила ни единого побоища? И что разгулу варварства с первого дня мятежа положили начало именно вандейцы.

Таковы факты, они не оправдывают ничего из происходившего позже, зато многое помогают понять. Тогда как, умолчав о них, очень просто сделать вывод об односторонней виновности «синих», об идеологическом «геноциде».

Разве свидетельство охваченного возмущением и страхом патриота, который увидел в Машкуле канавы, что были заполнены трупами его братьев по оружию, не объясняют частично те события? «Никогда, друг мой,— писал он,— я не видел более ужасного зрелища. Проживи я хоть сто лет, и тогда оно будет стоять у меня перед глазами, и мое отвращение к злодеям, сотворившим сии жестокости, будет вечным...»

Зачем же умалчивать об этом, гражданин? Подобные факты не стирают ошибок Республики — в них одна из причин вандейского мятежа — и преступлений, которые будут совершены во имя нее.

Но наши щёголи не стремятся к пониманию обстановки.

Их возмущение избирательно. Поэтому связь событий — манифест герцога Брауншвейгского [17] или избиение «синих» в марте 1793 года — их не устраивает.

Поэтому они и не желают заниматься исследованиями по этнографии культуры, которые должны быть проведены на материале Революции.

Правда, подобные исследования должны дать ответ на вопрос, почему человечество медленно, несмотря на все препятствия, идет к бóльшей сознательности. И Французская революция, невзирая на варварство, которое ей было свойственно, есть один из этапов этого процесса. Следовательно, щёголи отбрасывают Революцию.

И отрицают связь событий, которая ведет к выявлению «ответственности сторон» или хотя бы к их равновесию.

Ведь для наших щёголей есть добрые и злые, «белые» и «синие», порядок и беспорядок, «раковая опухоль» революции и «богатейшая провинция христианского мира».

Щёголям кажется, будто «белые» и «синие» не связаны ничем, даже взаимной ненавистью и яростной борьбой, вынуждающих и тех, и других участвовать в общем движении, независимо от убеждений и собственной воли.

Для наших щёголей единственно реальные понятия — это Добро и Зло, Бог и Дьявол, Король и Революция.

Их взгляды — полная противоположность позиции Жореса, который писал: «История — это странная схватка, где люди, борющиеся друг против друга, часто служат общему делу. Политическое и социальное движение — равнодействующая всех ее проявлений. Все классы, все тенденции, все интересы, все идеи, все коллективные или индивидуальные силы пытаются пробиться, развернуться, подчинить себе историю».

А щёголям нужно лишь выплеснуть свою порцию ненависти.

Они забывают о 98 погибших во дворе Бастилии, о призывах разрушить Париж, с которыми обращались к народу роялисты и герцог Брауншвейгский.

Они забывают о «синих», зверски убитых в Машкуле.

Поэтому они могут, подобно господину профессору Шоню, всякий раз, проходя мимо, плевать в сторону лицея Карно, названного в память депутата Конвента. Каждый пыжится как может!

И они могут рассуждать о геноциде в Вандее.

Но зато какой прекрасный консенсус и какое благоговейное молчание вокруг могилы Наполеона!

О! Мне хорошо известно, что эта фигура и его царствование сложны. Ведь говорят же о Бонапарте как о «Робеспьере на коне».

Что он, как якобинец, приказал расстрелять герцога Энгиенского и объявлял себя наследником Революции. И что Карно, тот

[16] См. примечание 8.

[17] 25 июля 1792 года главнокомандующий австро-прусскими войсками герцог Брауншвейгский объявил, что Париж будет разгромлен, если под угрозой окажутся «безопасность и свобода» королевской семьи. Манифест дошел до Парижа 1 августа и послужил поводом к восстанию 10 августа.

самый Карно, который заставляет плеваться г-на профессора Шоню, находился на службе у Наполеона даже в период Ста дней.

Я знаю все это и знаю, как Наполеон шлифовал легенду о себе, чтобы предстать в мемуарах сторонником Революции.

Шлифовал так старательно, чтобы щёголь всегда мог сказать: «И этого Людоеда породили вы».

Однако, гражданин, самое важное здесь знать не то, к какой традиции примыкал Наполеон и что он укреплял. Ведь очевидно, что он упрочил завоевания Революции.

Но у нас вызывает удивление ненависть, которой окружены два-три года истории Франции — 1792—1794,— и те равнодушие, понимание, благожелательность, нежность или восторг, с какими «хорошие» историки изучают шестнадцать лет нашей истории (1799—1815), и все то, что породили эти годы. И нас удивляет, каким образом одни и те же люди преображаются в беспощадных цензоров, едва речь заходит о Конвенте...

Итак, каким событиям Французской революции наши щёголи хотят вынести приговор? Какую часть прошлого Франции стремятся извратить? Какой импульс — подавить, какой крик — придушить?

Не жестокость и преступления, не преследования, не беззаконие и несправедливость жаждут они вырвать с корнем. В Революции для всего этого найдется немало причин, кто же спорит?

Они разоблачают не произвол и разбой власти или вооруженную силу, к которой люди прибегают, пытаясь сломить закон или общество.

Они хотят реабилитировать отнюдь не тех, кого несправедливо преследовали, унижали и оскорбляли, или вернуть человеческое достоинство тем, кому в нем было отказано жизнью.

Если было бы иначе, они выглядели бы неутомимыми борцами, стремящимися поведать не только о жизни шуана, но и о судьбах бедняка и голодного, о гибели якобинца, зарезанного во время «белого террора» в Марселе[18]. И стали бы обвинителями (столь же неподкупными, как и ты, гражданин Робеспьер) насилия и военной диктатуры, будь эта последняя даже коронована в соборе Парижской богоматери.

Но нет, у них вызывает отвращение только одно, вполне определенное насилие — то насилие, чьи истоки кроются в жажде равенства.

Подобное насилие и рождает у них ненависть и страх. Революция сроднила принцип равенства с нацией, сделав его краеугольным камнем нашей истории, и это по-прежнему приводит их в ярость. Точно так же приходил в ярость еще Бёрк.

В их глазах Равенство — непотухающий вулкан, что может в любое мгновение проснуться вновь, ибо с него ведет начало наша современная история.

Со словом «Свобода» они делают что хотят. Перекрашивают его в экономический «либерализм» и постоянно пользуются им как оттоворкой.

И от слова «Братство» отделываются так же.

Но вот в чем дело, гражданин: год 89-й, а потом год 93-й — и ты был одним из организаторов событий — объединили слова «Свобода» и «Братство» со словом «Равенство».

Ты понимаешь, почему им безразлично, что Бонапарт задушил Свободу, поставив под ружье целые поколения и обескровив страну.

Наполеон — это порядок. Он посадил Равенство под замок, приковал его к Гражданскому кодексу. Громадный прогресс, ничего не скажешь.

Но это Равенство стояло в строю и шагало в ногу. Стоит рухнуть Империи и распасться ее Великой армии, стоит возникнуть Республике, как их вновь охватывает паника: Равенство может сойти со страниц Гражданского кодекса, вступить в жизнь, и принцип его завоюет новые пространства.

Вот почему они плюют, по столь изящному выражению г-на профессора Шоню, на 1789 год, на Карно или на тебя, гражданин Робеспьер.

Итак, накануне двухсотлетия Революции они, может быть, впервые надеются добиться успеха.

Ибо в течение двадцати лет они бьют с удвоенной силой. А победа социалистов в 1981 году омолодила их ненависть и оживила их страх.

Они снова подняли на ноги всех своих мыслителей.

Мы слышим, как они цитируют Гюстава Лебона: «Народ, беспрестанно требующий равенства, почти созрел для того, чтобы принять рабство». Или Бердяева: «Во имя свободы творчества, расцвета жизни и высших ценностей я смею утверждать, что надо оправдать неравенство. Я по-прежнему верю, что равенство — идея бесплодная, что социальная справедливость должна основываться на достоинстве отдельной личности, а не на равенстве» (процитировано Луи Повелем в журнале «Фигаро магазин», 1981 г.).

Им действительно необходимо убедить людей, будто равенство — зло, а неравенство — благо. И это дает возможность заодно уничтожить налог на крупные состояния! Получить маленькие чаевые с больших идей!

В 1789 году французская нация приняла жестокое крещение. И Равенство держало Республику над купелью.

Если ни один человек больше не будет оспаривать сей принцип, нация спустя два века наконец-то придет в «нормальное состояние».

А для этого надо прежде всего и окончательно ликвидировать 1789 год. Усвоить уроки Эдмунда Бёрка.

И убедить всю страну, что Революция — это «основополагающее преступление», как квалифицировал ее один публицист.

[18] «Белым террором» (в противоположность «красному террору» монтаньяров) окрестили репрессии против санкюлотов на юго-востоке Франции (в Лионе, Марселе, Авиньоне) и в Париже. Вторая волна «белого террора» прокатилась летом 1799 года по Вандее, Нормандии, и югу страны.

Тогда-то, убедившись, что ты, гражданин Робеспьер, был «литератором-неудачником», который мстил за свои комплексы несчастным французам, убедившись, что Революция была делом нескольких озлобленных вожаков, способных дать фору эсэсовцам и мучителям всех времен, окончательно уверовав, что в Революции — истоки тоталитаризма,— а значит, и ГУЛАГа,— мы бы покончили со своими «гражданскими войнами».

Мы созрели бы для спокойного подчинения существующему порядку вещей.

То есть были бы согласны принять под флёром изменчивой видимости незыблемость иерархии, а значит — закон сильнейших.

Однако не думай, гражданин Робеспьер, будто я тоскую по Революции.

Когда раскалывается земля, на поверхности клокочет лава, сжигая все на своем пути.

А я думаю, что худший из компромиссов лучше разрушения и убийств.

Гражданин, мне кажется, ты думал точно так же и, вопреки мрачным легендам, выступал за компромисс.

Но ты противостоял политике наихудшего, и настал момент, когда пришлось выбирать между капитуляцией и контрреволюцией. И ты выбрал сопротивление.

Некоторые думают, что при такой альтернативе лучше капитулировать, что таким образом мы сохраним больше жизней, а следовательно, и будущее, даже если, капитулируя, мы выдаем палачам миллионы людей, связанных по рукам и ногам.

Это, гражданин, зависит от обстоятельств, и каждый определяет свое поведение в зависимости от того, кто он такой и во что верит.

Пусть все-таки раз и навсегда будет ясно: выносить другому смертный приговор — гнусно.

И пусть уроком двухсотлетия будет вывод — нужно любой ценой сохранить гражданский мир.

Но это подразумевает, гражданин, действительное представление о нашей Революции. Ее жестокости. Причинах ее взрыва. Даже ответственности сторон. И условиях тяжкого, жесткого навязывания «компромисса» защитниками политики наихудшего.

О позднейших попытках Республики законным путем ввести принцип равенства в общественную деятельность, обеспечить динамичность нации при отказе от резких надломов. И об условиях сохранения нашей самобытности.

И этот урок тоже должно усвоить. Республика как средство расширить равенство шансов и прав, привести в движение людей и мысли — это всегда новая идея и режим, в сущности своей не завершенный.

Во всяком случае, гражданин, знай, что мы не изменили своим убеждениям.

Поскольку на тебя еще будут клеветать, будут искажать Революцию, мы, говоря словами Жореса, решительно сядем на скамью рядом с тобой.

Даже если мы оспариваем отдельные твои решения, ясно видим твои слабости, недостатки и мотивы твоих поступков.

Мы не создаем твоего культа, но все-таки хотим принять на себя нашу долю оскорблений и плевков, что адресованы тебе и сквозь тебя целят в Революцию, жарким пламенем опалившую твою холодность. Революция не погибла, ибо она — пылающий очаг живого Равенства.

И мы готовы ответить фальсификаторам.

Всегда почетно, гражданин Робеспьер, быть рядом с теми, кто провозгласил Декларацию прав человека и гражданина, дал народу Республику.

И кто совсем просто решил, что нашими основными принципами будут Свобода, Равенство и Братство.

Слова?

Да, слова, но с ними люди «шли на штурм неба».

Ю. КАГРАМАНОВ

«МИНУТЫ РОКОВЫЕ» И 200 ЛЕТ

Книга Макса Галло, с отрывками из которой знакомит читателя «ИЛ», вышла в 1986 году, то есть уже в преддверии двухсотлетия Великой французской революции. Очевидно, это обстоятельство наложило на нее свой отпечаток, придав ей в известной степени характер «юбилейной» речи. В подобных случаях уместен особенный пафос, как бы напрямую связывающий французов с их революцией, событием действительно исключительным — по недавнему выражению издателя «Фигаро» Жана д'Ормессона, «самым важным в истории после смерти Христа».

Люди, совершившие революцию, сами себе отдавали отчет в том, что они круто изменили ход всемирной истории. Отсюда, наверное, и та особая патетика, что отличала годы 1789-й и последующие. Ее, мне кажется, хорошо передал Анджей Вайда в своем фильме «Дантон» (вышел во Франции в нача-

ле 80-х). В этом фильме вожди революции не столько говорят, сколько декламируют, сопровождая свою речь энергичным выбросом руки или иным характерным жестом, выразительным телодвижением и т. д. Патетика, переходящая в аффектацию. И тут, я думаю, сказалась не только традиционная галльская склонность к театральности. И не только, что называется, техническая необходимость (во времена, когда не было ни телеэкрана, фиксирующего малейшие движения мышц лица, ни микрофона, передающего все модуляции голоса, политическая «сцена» не могла обойтись без нарочитой экспрессивности). Главная причина все-таки другая: высокое напряжение революционной драмы. Внутренний накал общества, с нарастающей скоростью устремляющегося как бы навстречу неведомой среде обитания.

За пятилетие 1789—1794 история «пробежала» во Франции путь, на который в иных краях потребовалось столетие, а то и больше. Ее бег зафиксирован в объемистом «сценарии»; все последующие революционеры в Европе и во всем мире имели его перед глазами. И наша Октябрьская революция совершалась не без оглядки на якобинцев. Портреты Робеспьера и Марата зачастую можно было увидеть рядом с портретами Маркса и Ленина. В ходу были многочисленные параллели между деятелями их и нашей революции: Троцкий — Л. Карно (впрочем, Троцкого нередко сравнивали также с Дантоном), Дзержинский — Фукье-Тенвиль, Лариса Рейснер — Теруань де Мерикур и т. д. Напрашивались на параллели и противники революции: например, Фанни Каплан — Шарлотта Корде.

Конечно, более чем где-либо опыт Великой французской революции изучался и осмысливался на ее родине. Вот уже два века как ее «минуты роковые» являются темой бесчисленных исследований, романов, кинофильмов, а порою также и поводом для тех или иных полемических выступлений на злобу дня. И надо заметить, что давно уже революция не вызывала среди французов таких ожесточенных споров, как в последние годы. О том, насколько раскалялись страсти, читатель сам может судить, познакомившись с книгой Галло.

Острополемические строки Галло направлены главным образом против «новых щёголей», как он их называет,— историков, публицистов и т. д., начисто отрицающих за революцией какое-либо позитивное значение. С их точки зрения, вся революция, от первого до последнего ее часа, есть одна грандиозная ошибка. Хуже того — преступление. И все участники ее — вольные или невольные преступники, независимо от того, каких политических взглядов они придерживались; в этом смысле они не видят существенной разницы между умеренными и радикалами, скажем, между Лафайетом и Робеспьером, между 1789 годом, когда была принята знаменитая «Декларация прав», и 1793-м, когда установилась якобинская диктатура. Они ставят знак равенства между революцией и террором, хотя был длительный период, примерно первые три года, когда террора практически не было (были лишь отдельные, сравнительно немногочисленные случаи стихийных расправ с теми, кого считали контрреволюционерами).

Галло совершенно прав, когда замечает, что «новые щёголи» не в состоянии объяснить, почему же все-таки произошла революция. Для них это что-то вроде грома, разразившегося средь ясного неба — в почти благополучной, по их представлениям, стране. Ответственность за столь противоестественное атмосферное явление возлагается ими на оторванных от жизни интеллектуалов, поборников «Просвещения» (в кавычках), извлеченного ими, так сказать, из собственной головы — наподобие того, как фокусник в цирке извлекает изо рта бесконечную цветную ленту. Непосредственной же причиной революции объявляется «масонский заговор», будто бы тщательно подготовленный где-то в полумраке таинственных лож.

Странно, что подобные взгляды разделяют, хотя бы отчасти, и некоторые вроде бы почтенные представители исторической науки. Ведь именно во Франции за последние десятилетия получила развитие — и заняла господствующие позиции в академическом мире — так называемая глубинная история, изучающая «инфраструктурные», неспешные, из века в век тянущиеся процессы экономического, социального и духовного порядка. То есть процессы, представляющие собой как бы «геологическую» подготовку взрывных явлений, именуемых на поэтическом языке «минутами роковыми». На фоне такой, я бы сказал, внушающей доверие обстоятельности вы-

глядят особенно несерьезными попытки объяснить грандиозный феномен революции какими-то более или менее случайными причинами. Лишний раз подтверждается, что в иных случаях история — не столько наука, сколько «политика», обращенная в прошлое.

Что касается масонов, то они, как мне кажется, в известной мере сами виноваты в том, что их вот уже двести лет в чем только не обвиняют. Они так долго и упорно напускали на себя таинственный вид, играя в свои эзотерические игры, что на них в конце концов стали смотреть как на взаправдашних заговорщиков. Конечно, отдельные ложи вполне могли служить очагами каких-то заговоров локального, что ли, характера, но подобные, весьма редкие случаи вовсе не характерны для масонства в целом. Когда-то, в ходе работы над одной исторической темой, мне пришлось близко знакомиться с масонством (в хронологических рамках XVIII века), и я убедился, насколько это неопределенное, расплывчатое в идеологическом и организационном смысле явление. Позволительно сказать так: ложи XVIII века — просто «мехи», в которых «вино» было самое разное (подозреваю, что и в дальнейшем дело обстояло подобным же образом).

Возлагая вину за революцию на безответственных интеллектуалов и заговорщиков, «новые щёголи», действительно, возвращаются в этом отношении к точке зрения «партии Кобленца» (город Кобленц в Трире начиная с 1789 года был средоточием самой непримиримой «белой», как ее стали называть [1], то есть контрреволюционной, эмиграции). Не лишен некоторой парадоксальности факт, что в наши дни — да еще как раз к двухсотлетнему юбилею — данное направление в литературе о Французской революции (в особенности в выступлениях историко-публицистического характера) едва ли не задает тон.

Так что у читателя не должно создаться впечатление, что Галло избрал для полемики недостаточно значительного противника. Нет, противник как раз очень серьезный. Но тут дело вот в чем. Полемизируя с теми, кто представляет революционеров в черном свете, сам-то он представляет их, и в первую очередь Робеспьера, скорее в розовом свете.

Франсуа Фюре как раз прав, когда предлагает избегать крайних позиций, одна из которых заключается в том, чтобы проклинать революцию, а другая — прославлять ее, не замечая трагической ее стороны.

Конечно, революционный террор никоим образом нельзя изображать как одностороннее и ничем не спровоцированное «злодейство». Надо видеть обстоятельства, в которых он возник и развивался. Надо учитывать и отчаянное положение, в какое попала Республика летом 1793 года, и угрозы герцога Брауншвейгского, и многое другое. В Вандее, например, именно «белые» (шуаны) положили началу кровопролитию, о котором в подобных ситуациях можно сказать: страшно дело до почину. Это ведь только в традиционных и более или менее законопослушных обществах действует принцип «око за око». А в обстановке растущей взаимной ненависти, взаимных страхов и ползущих отовсюду слухов, один чудовищнее другого, потерю ока стремятся возместить сторицей, противная сторона отвечает тем же — происходит эскалация, за которую каждая из конфликтующих сторон несет ответственность.

Все это так. И тем не менее есть вещи, которые Галло намеренно обходит. Положим, что там, где речь идет о несомненных врагах революции, террор в той или иной степени оправдан. Но ведь дело в том, что в списке его жертв несомненных врагов с течением времени становилось все меньше и меньше. Их место занимали люди, «влюбленные в революцию» нисколько не меньше, чем Робеспьер и Сен-Жюст, но по своим взглядам чем-то от них отличавшиеся. Сначала это жирондисты и среди них, между прочим, цвет тогдашней французской интеллигенции — лучшие философы, ученые, юристы и так далее. Потом летят головы членов своего же, Якобинского клуба, различных его «фракций» (если употребить современный термин). Гибнет на гильотине большинство вождей революции, в том числе Дантон — фигура, по своему значению примерно равная самому Робеспьеру. Гибнут не только вчерашние единомышленники, но и личные друзья, например, Камиль Демулен и его жена Люсиль (на свадьбе которых Робеспьер был шафером).

---

[1] По цвету бурбонского знамени. Точнее, знамя было такое: лилии на белом поле. Позднее «белыми» стали по аналогии называть контрреволюционеров в России. *(Здесь и далее прим. автора).*

Наряду с активными участниками революции в списки репрессированных попадают и те, кто не примыкает ни к какому лагерю и ведет себя по отношению к власти вполне лояльно, но, к несчастью для себя, становится жертвой доноса. Достаточно, чтобы такой обыватель чем-то вдруг не показался какому-нибудь «надежному» гражданину, и он тотчас же попадает в категорию «подозрительных». А «подозрительный» (согласно знаменитому «декрету о подозрительных» от 17 сентября 1793 года) — уже преступник, подлежащий заключению в тюрьму. И таких «подозрительных» по стране набралось сотни тысяч!

Да и в Вандее, где противник был реальный, а не выдуманный, террор принял несравненно большие масштабы, чем того требовала необходимость. Поставив себе целью сказать веское «последнее слово», якобинская власть учинила там невиданную резню. Ее жертвами стали, по наиболее распространенным сейчас оценкам, от двухсот до четырехсот тысяч человек (по данным историка и демографа Пьера Шоню, даже еще больше: до шестисот тысяч). Значительный процент среди них составляли старики, женщины и дети.

Европейские карикатуристы того времени изображали террор в виде Молоха, требующего все новой и новой пищи; возвышаясь над толпою маленьких, одержимых политическими страстями людишек, чудовище без разбору заглатывало «белых» и «синих» и всяких серо-буро-малиновых. Действительно, в этом явлении было что-то мистическое, не объяснимое никакими политическими соображениями. Складывалось впечатление, что Молох повел себя независимо от тех, кто однажды поставил его на ноги... «Машина государственного террора,— говорит по этому поводу доктор исторических наук А. В. Адо,— будучи созданной, обрела собственное бытие, собственную внутреннюю инерцию, она неумолимо функционировала, уничтожая одного за другим и собственных создателей»[2].

Подобные «сюжетные повороты» хорошо нам знакомы по нашей собственной недавней истории.

Почему то направление в литературе о Французской революции, с которым полемизирует Галло, за какие-то считанные годы обрело силу и влияние? На это есть целый ряд причин; коснусь только одной из них, зато, как мне кажется, самой существенной.

Лет тридцать с небольшим назад подавляющая часть французской левой интеллигенции (а почти вся интеллигенция во Франции была тогда левой) не знала или не хотела знать правды о том, что представляла собой сталинщина. Одни безоговорочно поддерживали сталинский режим, другие (как, например, Ж.-П. Сартр, кумир левых интеллектуалов) подвергали его очень осторожной, тщательно взвешенной критике, но в общем тоже расценивали, как передовой и во многих отношениях долженствующий служить примером для других. То, что Галло называет «ленинистско-псевдонародной вульгатой» и что на самом деле было сталинской «вульгатой», почти безраздельно господствовало в те годы на страницах левых изданий.

Прозрение началось во второй половине 50-х годов, когда уже нельзя было «не верить» в существование теневой, «изнаночной», фантасмагоричной в своей чудовищности стороны режима. Но так как расставаться с дорогими иллюзиями было трудно, то завершилось оно лишь где-то в 70-х — с появлением на Западе книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и некоторых других публикаций на ту же тему. Зато разочарование было теперь самое полное. На сталинщину ведь смотрели как на последнее воплощение идеи революционного преобразования мира, выпущенной на волю в 1789-м, и теперь камни полетели в саму идею. Переоценке была подвергнута формула просветительства, в том виде, в каком ее вывели философы XVIII века. Многие левые интеллектуалы сожгли все то, чему поклонялись, и даже не поклонились тому, что сжигали. В этой обстановке идейного разброда и смуты, продолжающейся по сей день, укрепилось и чисто негативное отношение к Великой французской революции, объединившее правых и вчерашних левых.

В революции стали видеть только террор и ничего, кроме террора, а на робеспьеровских «сбиров» указывать как на предшественников «сталинских палачей». «ГУЛАГ,— пишет в этой связи

[2] Цитирую по стенограмме выступления за «круглым столом» Института всеобщей истории, посвященному 200-летию Французской революции.

Ф. Фюре,— заставил переосмыслить якобинский Террор в силу идентичности обоих проектов»[3]. Некоторые философы (главным образом из вчерашних левых) стали делать акцент на том, что уже просветительская мысль XVIII века заключала в себе, в потенции, тоталитарный «проект» (наряду с либеральным) и что ответственность за ГУЛАГ несут не столько Сталин, Ленин или Маркс, сколько Вольтер и Руссо. Это их ученики открыли долгий мартиролог жертв во имя «передовой идеи», который так стремительно рос в XX веке и еще неведомо когда закроется. Ибо сталинщина еще не окончилась со смертью Сталина. Например, «красные кхмеры» даже превзошли его в масштабах своей маленькой страны, уничтожив ради «светлого будущего» чуть ли не сорок процентов всего населения. Якобинский террор, говорят упомянутые философы, оказался вроде матрешки, из которой со временем стали выскакивать новые матрешки, одна страшней другой.

Момент истины в приведенном рассуждении, наверное, есть. И все же оно слишком схематично. Спрямляя связь причин и следствий, оно не учитывает множественность факторов, определяющих то или иное историческое событие. На самом деле все сложнее.

Не забудем, что драматические события нашего столетия и Великую французскую революцию разделяют обширные пространства XIX века (закончившегося, как известно, в 1914-м). Правда, тогдашние революционеры зачастую обращаются к нашему веку как бы через голову XIX. Но ведь и XIX по праву считается их детищем. Об этом веке много чего можно сказать и хорошего и дурного, но одного, я думаю, отнять у него нельзя: это был наиболее гуманный век, в сравнении как с предыдущими временами, так и с последующими. Жестокость в том объеме, в каком она была известна раньше и вновь открылась позже, оказалась тогда за чертой допустимого. И память о терроре 93-го, естественно, стала вызывать содрогание — зачастую даже у самых-самых левых[4]. И в то же время век этот, о чем не раз уже было сказано, весь прошел под знаком Великой французской революции.

Французы быстро забыли о новом календаре и о робеспьеровском «культе Верховного существа», о том, что город Лион однажды был переименован в Свободную Коммуну, а парижский Монмартр — в Монмарат (в честь Марата) и т. д. и т. п. Зато расцвела героическая «иконография» революции, в самом верху которой, наверное, надо поместить возвышенное изделие Рюда — Делакруа (я имею в виду два знаменитейших произведения: рельеф «Марсельеза» Рюда, установленный на Триумфальной арке, и картину Делакруа «Свобода на баррикадах»). Аллегорическая женская фигура. Олицетворение Революции. Вся — полет; вся — огонь!

Недавно я перечитал «Девяносто третий год» Гюго (роман вышел в 1874-м, то есть спустя 81 год после описываемых событий) и первое, что подумал, было: родится ли у нас до конца нынешнего столетия роман о гражданской войне, в котором примерно так же были бы распределены свет и тени? У Гюго ведь что самое главное? Высокие человеческие чувства оказываются сильнее идеологий. Душевное благородство выше соображений политики. Милосердие сильнее жестокости.

Но сейчас я хочу обратить внимание на другое. Гюго не стенает по поводу террора, не проклинает его, скорее воспринимает как нечто исторически неизбежное, хотя и достойное глубокого сожаления. А ведь действие происходит не где-нибудь, а в Вандее! Но у Гюго все так построено, что в самом средоточии зла оказывается добро — оно пробивается наружу и берет верх; происходит превращение «меченосцев в светоносцы» (это относится к обеим воюющим сторонам). К тому же Гюго пишет трагедию, а разве трагедия обходится без крови? Тем более такая — как принято писать, всемирно-исторического значения? Революция, говорит якобинский командир Говен (очевидно, выражая мысль самого автора),— «это гроза. А гроза знает, что делает».

Какая завидная уверенность: гроза знает, что делает! Может ли ошибаться аллегорическая фигура Рюда — Делакруа? Восходящие потоки воздуха увлекают вперед и вверх, доверие к истории почти безграничное: несмотря на отдельные и нетипичные срывы, кажется, что

---

[3] François Furet. Penser la Révolution française. Paris, 1978, p. 26.

[4] Революции XIX века, включая Парижскую Коммуну, не «произвели» ничего похожего на якобинский террор. Контрреволюционный террор (например, после разгрома Коммуны) едва ли превосходил по жестокости действия солдат на поле боя — скажем, в войне с партизанами.

все идет к лучшему. А раз все идет к лучшему, значит, и тот факт, что гроза многих побила, получает некое «высшее» оправдание.

Учтем и то, что настоящее отделяет от «грозового» прошлого уже солидная временна́я дистанция. Наступает последняя четверть XIX века — эпоха «буржуа с зонтиком». События Великой французской революции представляются столь же величественно-грозными, сколь и отдаленными. Не только «последний из романтиков», как именуют Гюго, оживляет память о них. После всех перипетий политической борьбы 93-й год получает как бы официальное признание, хотя и с некоторыми оговорками. Бородатые витии Третьей республики, все эти фрейсине и жюли ферри, апеллируют к Робеспьеру и Дантону как деятелям, стоящим у истоков французской демократии и своим прямым предшественникам.

Кстати говоря, такой «статус» сохраняется за ними до сих пор, в особенности когда у власти находятся социалисты. И, читая Галло, надо иметь в виду, что он защищает от нападок не просто симпатичного ему исторического деятеля, но первого по значению из Основоположников республики. Наверное, и этим тоже объясняется его несколько избыточное громогласие: нельзя допускать, чтобы на Основоположника падали слишком уж резкие тени.

И еще один момент, думается, надо принять во внимание. XIX век создал «задел» гуманности, исключавший, как тогда казалось, возвращение к «эксцессам» 1793-го. Последние объясняли еще не изжитым во времена революции средневековьем, то есть тем, что осталось за гранью двух веков и к чему возврата уже как будто быть не может.

Действительно, близость средневековья давала себя знать в годы революции далеко не лучшим образом. Прислушайтесь к «Са ира́» («Ça ira») — самой популярной песне первых лет революции. В ней есть что-то мрачноватое, что-то напоминающее об архаических жертвенных плясках; в этом смысле она совсем не похожа, например, на «Марсельезу» и, наверное, на все последующие революционные песни. Известны случаи, когда народ и впрямь устраивал ритуальные пляски вокруг повешенных «аристократов» (так называемые «виселичные фарандолы» в Провансе). Существовала устойчивая, уходящая в глубину веков привычка к жестоким публичным казням, вроде колесования или четвертования, и даже публичным пыткам (якобинцы, между прочим, пыток не применяли). Правда, во второй половине XVIII века подобные казни можно было наблюдать все реже и реже, и все же они оставались достаточно привычным зрелищем. На таком фоне даже гильотина воспринималась как относительно гуманное изобретение. Да она и была придумана как раз с целью облегчения участи приговоренных к смерти.

Настоящий переворот, как пишут историки, в «структурах чувствительности» произошел в конце XVIII — начале XIX века. Еще около 1770 года многие дамы света с видимым удовольствием присутствовали на публичных казнях (Дж. Казанова, оставивший в своих «Мемуарах» вполне гедонистическое описание жесточайшей казни одного солдата, покушавшегося на Людовика XV — дело было в 1757 году,— выразил не только свой личный взгляд на подобные «представления»). А в 1810-м или, во всяком случае, в 1820-м их внучки падали в обморок при одном только упоминании о вещах куда менее жестоких. Новая чувствительность в той или иной степени овладела всеми слоями населения. Была ли в ней, как иногда считают, некая благостность, недооценка реально существующего в мире зла? Думаю, что, напротив, следует видеть в ней историческое завоевание, результат благоприятного сочетания социокультурных факторов, позволивших в известной мере усыпить зло.

И вот что в плане нашего разговора самое важное: своим рождением новая чувствительность, если не прямо, то косвенно, обязана Великой французской революции. Несмотря на все пароксизмы террора.

Опыт XX века показал, однако, что «задел» гуманности, наработанный предыдущими поколениями, оказался — увы! — далеко не таким прочным, как это было принято думать. В тектонические разрывы, образовавшиеся в пластах общества и культуры, хлынула темная энергия варварства, пробудились разного рода демоны, казавшиеся навеки уснувшими. Это продемонстрировал, в частности, и опыт революции и гражданской войны в России. Еще более драматическими оказались последующие события: обратное превращение «свето-

носцев в меченосцы» привело к невиданным в истории гекатомбам — наверное, никакой, даже самый мрачный пророк не в силах был их предвидеть.

Теперь говорят, что по меркам XX века Французская революция была не такая уж кровопролитная. Что ж, вероятно, с этим можно согласиться. Обычно число жертв якобинского террора оценивают в 35—40 тысяч. К ним надо добавить число убитых в Вандее и еще несколько десятков тысяч «синих», погибших от рук контрреволюционеров. Даже если не считать убитых в войне с внешним врагом (а это несколько сот тысяч), цифра, в общем, получается внушительная (учтем, что тогдашнее население Франции — около двадцати семи миллионов)[5]. И все же революция в России, по-видимому, даже в процентном отношении стоила еще больших жертв. А уж сталинский террор, тем паче, оставил якобинцев далеко позади.

Французские авторы обычно сравнивают якобинский террор именно со сталинским. Действительно, общего немало. Даже в методах, к каким прибегали репрессивные органы: фальсификация политических процессов, практика «амальгамы» (по одному «делу» проходят самые разные, подчас даже никак не связанные друг с другом люди), замена судов скорыми на расправу «тройками». Добавим к этому крайнюю жестокость «правосудия» и организацию массовых репрессий во внесудебном (то есть даже без видимости судебного разбирательства) порядке. Наконец, и это, наверное, самое характерное: как при Робеспьере, так и при Сталине террор в какой-то момент обретает свою собственную динамику, в известной мере независимую от изначально данного ему импульса.

Сравнивая, надо, однако, помнить и о принципиальных различиях: якобинский террор, как к нему ни относиться,— революционный террор. А сталинский?

Сейчас у нас многие считают, что сталинский террор — простое продолжение революционного, что история такого учреждения, как ВЧК-ОГПУ-НКВД, есть одна история, без каких-либо разрывов или существенных переломов. Такой точки зрения придерживается, например, уважаемый мною писатель В. Солоухин. Возражая против выделения сталинских репрессий, как незаконных и необоснованных, Солоухин ставит следующий вопрос: «Начиная с какого года репрессии нужно считать незаконными и необоснованными, а до какого года их можно считать и законными и обоснованными?»[6]

Но революция сама по себе есть оправданное беззаконие, поэтому говорить о незаконных и необоснованных репрессиях применительно к 1917—1921 годам можно лишь в очень ограниченном смысле. До законов ли, когда земля под ногами ходит! Другое дело, когда гражданская война окончилась и произошел поворот, по выражению Ленина, к «гражданскому миру». Но тогда и репрессивный аппарат резко сократил свою деятельность. Новая волна репрессий поднялась в конце 20-х, только это была уже другая волна. Разумеется, многое, очень многое связывает ее с деятельностью ВЧК периода гражданской войны — тут спорить не о чем. Но нельзя не видеть и принципиальных отличий, их разделяющих.

Есть очень существенная разница между «святыми палачами» типа Сен-Жюста и просто палачами. Могут возразить, что, с точки зрения жертвы, тем более невинной жертвы, ее трудно уловить. Уверен, что это не так. Обычное экзистенциальное, даже, если угодно, театральное («мир—театр»!), чутье подсказывает, что не все равно — где, когда и отчего умирать. Во всяком случае, лично я предпочел бы десять раз быть расстрелянным (если бы так сложилась судьба) где-нибудь в ковыльной степи или за невзрачной околицей какого-нибудь захолустного городка — но в гражданку! — чем один раз сдохнуть по-собачьи в сталинском лагере.

Ошибался француз Клод Морган, когда писал в 1939 году (по случаю стопятидесятилетия Великой французской революции): «Дух Сен-Жюста вдохновляет сегодня нашего товарища Сталина». Не видел он того, что мы и сегодня лишь с трудом начинаем различать (то же можно сказать и о зарубежных исследователях, десятки лет занимающихся данной проблемой). А именно, что сталинщина явила собою первое по времени (хотя и не последнее) сочетание левацкого революционизма (троцкистского типа) с самой махровой контрреволю-

[5] Все цифровые данные привожу по книге: René Sédillot. Le coût de la Révolution française. Paris, 1987.

[6] «Наш современник», 1988, № 12, с. 186.

цией. Нашим мозгам — позитивизмом, что ли, подпорченным — трудно как-то воспринимать подобные вещи. Вот древние греки были в этом отношении раскованнее: могли же они помыслить такое, например, существо, как химера (пасть — львиная, изрыгающая огонь, туловище — козье, хвост — драконий). Тут могут сказать, что химера все-таки — плод фантазии. Но разве мало в нашем XX столетии реализовалось такого, что прежде казалось совершенно химерическим!

Если все-таки искать аналогию сталинщине во французской истории, то я думаю, что надо будет остановиться на диктатуре Наполеона Бонапарта. Когда в истории что-то повторяется, то повторяется иначе и в ином контексте, ином сочетании. Если сталинский террор имеет много общего с якобинским террором, то сталинский режим уместнее сравнивать с бонапартизмом. Хотя, конечно, это весьма отдаленная аналогия. В сталинщине много такого, что характерно только для XX века. И такого, что характерно только для нашей страны. К тому же если во Франции политическая история реализуется, как известно, в классически ясных и четких формах, то сталинщина явила собою в этом отношении прямо противоположную картину: здесь особенно важны всякие полутона, трудно фиксируемые и таинственные переходы от одного качества к другому, то, что художники называют «сфумато» (неясность, размытость очертаний).

Непрозрачная, не проясненная до конца сталинщина загромождает теоретические горизонты и в то же время (по закону, по которому не только причина рождает следствие, но и следствие оказывает обратное воздействие на причину) отбрасывает чудовищную и, так сказать, дополнительную тень в прошлое, на нашу революцию и даже дальше — на Великую французскую революцию. Хотя это феномены и сами по себе чрезвычайно сложные, предстающие одновременно «в солнечных лучах и в тенях ада» (если воспользоваться строкой Эдгара По).

Мы нуждаемся в новом взгляде (или взглядах) на революцию, свободном и от «масскультовской» идеализации, и от односторонней романтизации. Романтическое в революциях есть — оно воспринимается как их непосредственными участниками, так и теми, кто подобно Гюго в «Девяносто третьем годе», пытается представить их ретроспективно. Но с ним соседствует соблазн ложной «красоты» ниспровержения и разрушения всего и вся, то, что на религиозном языке называется «прелестью». Самый высокий пример в этом роде — «Двенадцать» Блока (правда, впереди своей «апостольской» дюжины Блок усмотрел Христа, но где был в действительности на таком — метафизическом, потаенно-духовном — уровне Христос, а где Антихрист, сказать очень трудно: все в этой революционной метели слишком перепутано).

С другой стороны, в нашем обществе сейчас подспудно нарастают сомнения в том, что революции, и в частности наша революция, вообще были нужны. Сомневающихся подводят эмоциональные оценки тех или иных «фрагментов» прошлого, вырванных из общего контекста. Подводит отсутствие или недостаток историзма, понимания того, что революции, особенно такие великие революции, как французская и русская, суть результат длительных процессов, развивавшихся в недрах старого общества.

«Революция в умах» совершилась во Франции задолго до того «рокового» утра 14 июля, когда Камиль Демулен, выступая в саду Пале-Руояль, призвал народ идти на штурм Бастилии. В России Февральская революция оказалась неожиданной для всех, и в то же время не было события более ожиданного, более назревшего. Ибо старый порядок давно и основательно прогнил, сверху донизу, и нуждался не в отдельных частных реформах, а в общей решительной переделке. (Правда, на останках прогнивших деревьев выросли изысканные орхидеи — плоды «серебряного века» культуры,— но они только подтверждали, что определенная эпоха практически уже завершилась). Примерно так же обстояло дело и во Франции в конце XVIII века.

Недаром обе революции начинались как почти всеобщий праздник. На первом их этапе в какой-то момент даже «верхи», в значительной своей части, заражаются общим одушевлением. Придворные Людовика XVI, в их числе иные принцы крови, нацепляют двухцветные (революционные) кокарды и братаются с «мужланами» из Сент-Антуанского предместья. Офицеры личной охраны

Николая II, узнав об отречении, вместе с солдатами поют «Марсельезу»— многие, как утверждают свидетели, с видимым энтузиазмом. Едва ли не все слои населения жаждут не просто удовлетворения своих частных требований, но общего обновления и свежего воздуха.

В России, правда, уже знали, по опыту Великой французской, что за праздником может последовать и похмелье. Сразу после Февральской революции, кажется, почти все стремились к тому, чтобы избежать гражданской войны, не доводить дело до кровопролития. Но логика борьбы — «кто кого съест»— брала свое. Как и во Франции, революцию «заносило» все дальше и дальше в сторону братоубийственной войны. То есть самой страшной из войн, какие только возможны. Логика борьбы вела и к борьбе, лишенной логики, разгулу «революционной» стихии, которая, подобно слепому Самсону, принялась яростно сотрясать стены — нет, не чужого «капища», а своего собственного дома.

Трудно не согласиться с Н. Бердяевым: «...революция (имеются в виду две Великие революции.— Ю. К.) ужасна и жутка, она уродлива и насильственна, как уродливо и насильственно рождение ребенка, уродливы и насильственны муки рождающей матери, уродлив и подвержен насилию рождающийся ребенок»[7].

Нередко указывают на то, что в качестве своих «агентов» революции зачастую выдвигают людей, в обычных условиях несостоявшихся, в чем-то ущемленных или, скажем, чересчур замкнутых, а то и озлобленных и жестоких. Это верно, в каждой революции таких людей немало, и они весьма и весьма способствуют тому, что, так сказать, сумма уродливого и насильственного оказывается значительно больше, чем она могла бы быть. Но нельзя объяснять все негативные стороны революции психологией тех или иных ее участников.

Нельзя, например, как это делает Вайда в своем «Дантоне», напрямую связывать террор с психологией таких людей, как его Робеспьер. У Вайды Робеспьер — болезненного вида аскет, постоянно страдающий лихорадкой, высокомерный «умник», сухарь, которому ничего не стоит послать на гильотину кого угодно на свете. Читатель мог видеть, что и Ж. Жорес (процитированный Галло) не слишком лестного мнения о вожде якобинцев, даром что готов «сесть на скамью рядом с ним». Между тем у Робеспьера был ряд неоспоримых достоинств: глубокая честность, самоотверженность, готовность поступиться чем угодно ради «блага нации», как он его понимал. Не зря Робеспьер пользовался уважением в народе, где его прозвали Неподкупным.

Если уж касаться психологии, то не менее, а может быть и более, характерны для революции (как на уровне рядовых участников, так и на уровне «генералов») люди совсем иного типа, чем тот, о котором только что шла речь,— лично добрые, великодушные, наделенные разнообразными достоинствами. Трагедия революции в том, в частности, и состоит, что такие люди, руководствуясь «высшими» соображениями, проявляют избыточную жестокость. Кстати говоря, Дантон, которому Вайда в своем фильме явно симпатизирует — в исполнении Жерара Депардьё это жизнерадостный здоровяк, душа нараспашку, плоть от плоти народной,— этот самый Дантон не менее Робеспьера настаивал на пролитии крови, когда речь шла об общих политических противниках. (Дантону принадлежит знаменательная фраза: «Лучше быть гильотинированным, чем гильотинировать другого»; в этих словах выразилось вполне христианское чувство, но — увы! — оно проявилось у Дантона тогда, когда он сам был уже обречен.)

Хочу поправиться: слово «соображения» в предыдущем абзаце, наверное, неточно. Не соображения, даже с эпитетом «высшие», но ослепляющие видения Идеальных городов будущего — вот что заставляло смотреть на живое, наличное человечество как на какой-то «полуфабрикат», что ли, которым ради блага потомков можно в известной части и пожертвовать (это относится к обеим Великим революциям). И только когда видения меркли, вчерашние энтузиасты принимались считать жертвы и хвататься за голову. Маркс и Энгельс писали в «Святом семействе», что в период Великой французской революции «политическое просвещение» «хотело превзойти само себя и ударялось в фантастику»[8]. Но разве не то же самое случилось и у нас? Только что фантасти-

[7] Н. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955, с. 108.

[8] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, с. 136.

ка была иная. Робеспьеристы мечтали о какой-то будущей разновидности идеализованной античной республики, где жили бы сплошные добродетельные цинциннаты и катоны. Мечтою нашей революции было всемирное братство пролетариев, некое общежитие глобального масштаба, из которого были бы изгнаны зависть, корысть, индивидуализм во всех его проявлениях и т. д.

При всем различии двух Великих революций есть и другие моменты, их объединяющие. Это, например, стремление к насильственному опрощению (и самоопрощению), во Франции идущее от руссоизма, а у нас — от народнической и соседствующих с нею идеологий. Это мистификация «воли народа», к которой прибегали и якобинцы, в известной мере поправшие принципы свободного народного волеизъявления. Это столь же понятный психологически, сколь и безумный порыв начать строительство нового общества с нуля, принимая наличное, «освободившееся» от груза истории человечество за «чистую доску». Сейчас нередко забывают, что Великая французская была почти столь же разрушительной, как и наша революция. Разница в том, что у французов континуумы, скажем так, их культуры оказались сильнее образовавшихся разрывов (чего у нас, по ряду причин, не произошло). Выражаясь метафорически, «трещина на столике Антуанетты», куда вогнали «штыка революции клин» (Маяковский), не превратилась в зияющую расселину, на долгие десятилетия отрезавшую от жизни многое из того, что было в «старой культуре» ценного и даже совершенно необходимого.

Я потому упираю сейчас на негативные моменты, что о них раньше не принято было говорить. Любая принципиальная критика в адрес революции рассматривалась как политически вредоносная и начисто исключалась из поля зрения. Даже если революция эта считалась буржуазной и ее отделяли от нас без малого два столетия.

Замечу, что Галло зря ставит на одну доску «белых» публицистов типа Ривароля и таких авторов, как Эдмунд Бёрк и Жозеф де Местр. И тот и другой — достаточно серьезные мыслители. Бёрк — англичанин, тори, о Французской революции судит скорее с эмпирической точки зрения; де Местр — француз (кстати говоря, масон, притом высокого ранга!) и, говоря современным языком, историософ, идеализирующий европейское средневековье. «Размышления о Французской революции» Бёрка (1790) и «Размышления о Франции» де Местра (1796) — две книги, по праву вошедшие в историю; от них ведет отсчет традиция западного консерватизма. В обеих книгах много тенденциозных выпадов против Французской революции (особенно у де Местра, порядком натерпевшегося от нее и потому озлобленного), зачастую они оставляют впечатление косности, какой-то заскорузлости. И вместе с тем в них есть и разумные вещи. Когда Бёрк и де Местр указывают на опасность «механического» подхода к общественным явлениям, на то, что природа человека сложна, что новации требуют проверки временем, что в обществе большую роль играют «органические» связи, то к ним стоит по меньшей мере прислушаться.

Односторонность «органической» критики проявлялась в том, что она поистине органически не принимала ничего нового. Во всяком случае, это относится к де Местру, называвшему «новых людей» исчадьями ада, «злосчастным племенем размножившихся Фигаро» (знаменитая пьеса Бомарше, впервые поставленная в 1784 году, действительно сыграла немалую роль в подготовке революции). А вот Пушкин с его безошибочным вкусом назвал Фигаро «чудесным героем». Уточню: зрелый Пушкин, чьи взгляды были скорее консервативными. И в то же время де Местр остро чувствовал ценность старого — такого старого, которое, как вино, со временем не становится хуже и даже, наоборот, выигрывает в крепости.

Между прочим, и Бёрк (за исключением его эстетических сочинений) и де Местр, так же как и их продолжатели, остаются у нас практически неизвестными фигурами. Это ненормальное положение. Не нужно бояться «органической» критики. Ретроградная в плане политики, она содержит немало конструктивного в плане культуры. Более того, отдельные ее мотивы стали сегодня едва ли не общим местом. Вообще всякий тезис порождает антитезис, который заслуживает такого же внимания. Читая, например, в «Волшебной горе» Томаса Манна бесконечные диалоги, которые ведут прогрессист Сеттембрини и консерватор, или, точнее, ультраконсерватор Нафта (продолжающий в XX столетии «линию» де Местра), не пропускаем

же мы тексты, вложенные автором в уста Нафты. Пора и обществоведению перестать отворачиваться от подобных вещей [9].

Необходимость и неизбежность Великой французской революции (как и позднее русской) не может быть оспорена (по-своему это признавал даже де Местр: революция, писал он, есть действие «Промысла во тьме»). Но что надо разрушать и что надо стараться сохранить (или восстанавливать, коль скоро оно второпях разрушено) — вопрос очень сложный, на который и сегодня вряд ли кто-то может дать исчерпывающий ответ. Опыт истории показывает, что, безоглядно устремляясь вперед, можно неожиданно для себя откатиться назад, даже очень далеко назад. Это значит не то, что не надо было устремляться вперед, а то, что не надо было терять головы.

Добавлю, что поставленный выше вопрос не является чисто историческим. Наверное, революции такого характера и масштаба, как Великая французская и наша, нигде уже больше не повторятся. Хотя бы потому, что нигде не осталось на Земле сколько-нибудь значительного места, где не было бы «взорвано» так называемое традиционное общество. Но продолжается спор двух начал, одно из которых можно назвать Принципом органического развития, а другое — Принципом рациональной организации. Поистине это Великий спор, по отношению к которому каждая из двух революций, при всем их глобальном значении, может рассматриваться как «частный случай». В этом плане и научно-техническая революция — «частный случай», тот именно, который сейчас приобретает для нас особенную остроту и значение.

В заключение хочу привести слова, в которых, как мне кажется, удачно выразилась и зрелая дистанцированность от бурных событий уже далекой истории, и одновременно чувство живого участия в них. Вот что написал выдающийся французский историк-гуманист Марк Блок: «Две категории французов никогда не поймут истории Франции: те, кого не волнует память о коронации в Реймсе, и те, кто без трепета читает о празднике Федерации»[10]. Коронование в Реймсе — самое пышное торжество в средневековой Франции; там, к примеру, благодаря народной героине Жанне д'Арк был коронован Карл VII. Праздником Федерации революционная власть постановила считать великий день 14 июля — день взятия Бастилии, символ национального единения и демократии.

---

[9] Де Местр представляет для нас интерес и по другой причине. Прожив пятнадцать лет, с 1802 по 1817 год, в России (в качестве посланника Сардинского королевства), он в ряде своих сочинений, в частности в «Санкт-Петербургских вечерах», обращался к проблемам русской истории. Его размышления на эту тему привлекли к себе внимание П. Я. Чаадаева и Л. Н. Толстого.

[10] Марк Блок. Апология истории. М., 1973, с. 174.

◆

МИР ТЕМНЫХ ПРОРОЧЕСТВ И ДОБРЫХ НАПУТСТВИЙ

МОРИС ВАКСМАХЕР

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБЬ ДУШИ

Открывая книги поэм Сен-Жон Перса[1], с первых страниц погружаешься в странный и удивительный мир — мир бескрайних океанских просторов и безлюдных прибрежий, мир древних селений и городов, мир давно канувших в Лету и воскресающих перед нашим взором цивилизаций, накатывающих одна на другую, как волны прибоя, мир воинов, мореплавателей, поэтов, кочевников, взыскующих справедливости, красоты, совершенства, мир темных пророчеств, античных богов, мощных языческих песнопений — и полных тревоги призывов к высокому, достойному человека деянию, призывов, которые всегда благородны и человечны, но зачастую при этом загадочны и невнятны.

Есть в поэзии Сен-Жон Перса какое-то особое свойство, некий волшебный секрет, мерцающий вдалеке и одновременно как будто бы близко и вовлекающий нас в неспешное движение гулких и раскатистых строф. И дело, должно быть, не только в непривычности образов и метафор этой поэзии, не только в философской значительности ее глубинного смысла, не только в невероятном, поистине роскошном богатстве и красочности ее — местами опять же загадочной — лексики и не в причудливости и вместе с тем соразмерности синтаксических построений,— дело, пожалуй, еще и в структуре стиха, в самой его музыке, в щедрости ритмов, где при полной раскованности долгих, протяжных периодов отчетливо проступает прочная метрическая основа и из ритмических недр пробивается на поверхность стиха мерная пульсация традиционной французской силлабики. (Вспоминаю, как в Москве начала 60-х годов, в конференц-зале Союза писателей, выступил с сообщением о метрике Сен-Жон Перса видный французский поэт Пьер Эмманюэль; анализируя тексты Сен-Жон Перса, он убедительно показал их ритмическую упорядоченность и продуманную стройность, показал, что в ряде случаев структуру этих верлибров можно свести к чередованию двенадцати- и тринадцатисложных — порою даже с цезурой — строк, иными словами, к классическому александрийскому стиху).

На эту основу в стихах Сен-Жон Перса ложится все то, что составляет неповторимость и новизну их живой поэтической плоти.

Первая часть псевдонима «Сен-Жон Перс», который избрал себе в начале 20-х годов французский дипломат Алексис Сен-Леже Леже (1887—1975), до этого подписывавший свои поэтические произведения подлинным именем,— это англизированная форма (Saint John) имени Святого Иоанна, Иоанна Богослова, традиционно считающегося автором Откровения Иоанна, или Апокалипсиса. Второй своей частью, «Перс», этот составной, слегка зашифрованный псевдоним обязан Персию — Авлу Персию Флакку, римскому поэту-сатирику I века новой эры. «Оба они, автор Апокалипсиса и Персий...— замечает Н. И. Балашов,— были современниками Нерона, проклинали разложившуюся цивилизацию императорского Рима, прочили ей гибель и призывали к внутреннему самоусовершенствованию»[2].

Таким образом, и сам псевдоним, выбранный поэтом, проливает дополнительный свет на отношение Сен-Жон Перса к современной ему цивилизации, к культурному наследию веков, к своим творческим задачам и целям.

[1] Подборка его произведений публикуется в этом номере.

[2] История французской литературы, т. IV. М., Издательство АН СССР, 1963, с. 177.

Публикуемая в этом номере подборка глав из трех поэм Сен-Жон Перса — из «Ана́басиса», «Ливней» и «Створов» — отражает различные периоды творческой эволюции автора; эти поэмы свидетельствуют и об удивительном единстве его принципиальных художнических решений.

«Анабасис» представлен зачином, одной из глав и финалом. Вышедшая в свет в 1924 году, поэма вскоре была целиком переведена на русский язык Георгием Адамовичем и Георгием Ива́новым, поэтами русского «серебряного века», оказавшимися после революции за рубежом; их перевод был издан в Париже в 1926 году. У нас в стране эти тексты печатаются впервые.

Глубокого смысла исполнено название поэмы. «Анабасис» Сен-Жон Перса — это не только исход, и не поход «в глубь страны», и не прорыв к вожделенному морю, каким он был для десяти тысяч греков в «Анабасисе» Ксенофонта Афинского. «Анабасис» французского поэта — мучительное и радостное путешествие в глубь собственной души, трудный маршрут постижения истины, долгая дорога открытий, ведущая от ценностей западной цивилизации, трактуемых поэтом как ложные и пустые, к высотам мысли и духа, завещанным человечеству великими цивилизациями минувших столетий, и прежде всего Древним Востоком.

Перевод «Анабасиса», выполненный Георгием Адамовичем и Георгием Ивановым,— один из самых ранних переводов Сен-Жон Перса на другие языки (первым стал перевод на немецкий отрывка из книги «Хвалы» 1911 года, осуществленный в 1925 году Райнером Мария Рильке; через четыре года после Адамовича и Иванова к тому же «Анабасису» обратился в Великобритании Томас Стернз Элиот). Здесь, пожалуй, стоит добавить, что впоследствии Сен-Жон Перса переводили или о нем писали такие деятели культуры XX века, как австриец Гуго фон Гофмансталь, англичанин Уистен Хью Оден, американец Арчибалд Мак-Лиш, немец Вальтер Беньямин, итальянец Джузеппе Унгаретти, швед Артур Лундквист, колумбиец Хорхе Саламеа и многие другие.

К сожалению, у нас приступили к переводу Сен-Жон Перса на русский с немалым опозданием, сорок с лишним лет спустя после Г. Адамовича и Г. Иванова,— в книге «Я пишу твое имя, Свобода. Французская поэзия эпохи Сопротивления» [3], были напечатаны переводы П. Гурова и В. Козового. Позже переводы из Сен-Жон Перса публиковались в ряде советских антологий. Существует также отдельная книжка переводов Г. Погожевой [4].

Вслед за «Анабасисом» в подборке даны главы из «Ливней». Эту поэму Сен-Жон Перс впоследствии включил в большой цикл «Изгнание», куда вошли поэмы «Изгнание» (1941), «Ливни» (1944), «Снега» (1944) и «Поэма для чужестранки» (1943) (в таком порядке расположены эти поэмы внутри цикла «Изгнание» во французских изданиях сочинений Сен-Жон Перса, начиная с 1953 года). Как и все вещи этого цикла, писавшиеся в годы войны и немецкой оккупации, когда видный французский дипломат Алексис Леже, известный своими антигитлеровскими настроениями, был уволен правительством Петена с государственной службы, лишен французского гражданства и обречен на изгнание,— поэма «Ливни» опалена жгучей горечью поражения, но эмоциональная доминанта поэмы все же иная: презрение к подлости и предательству, вера в торжество справедливости. «Ливни» — это гимн свободной стихии, исполненный спокойного достоинства призыв, обращенный к очистительной грозе, которая смоет скверну с лика планеты и с измученных человеческих душ; страстное заклинание сил природы оборачивается здесь добрым напутствием беспокойному, извечно творящему жизнь духу созидания.

Заключают подборку «Створы» (1957), представленные пятью главами первой части этой поэмы; перед нами еще одно многоголосое песнопение во славу Моря, во славу содружества человека и природы, во славу поэтического творчества.

Внимательному читателю будут заметны различия в подходе переводчиков к своей задаче.

Завороженные поэтической мощью Сен-Жон Перса, новизной его образов, свежестью метафор, Г. Адамович и Г. Иванов, словно боясь расплескать эту свежесть, стремятся почти буквально перенести в текст своего перевода «Анабасиса» не только стилистику французского оригинала, но и характер его художественной пластики, самую фактуру стиха — вплоть до рисунка построения фраз, вплоть до конкретных словесных решений.

Современные переводчики избрали несколько иной путь. Главное для Натальи Стрижевской — средствами русского стиха воспроизвести богатейшую ритмическую и звуковую палитру «Ливней», ошеломляющих полифоничностью. Автор этих строк пытается в стилевом и композиционном многообразии «Створов» уловить и выявить присущее этой поэме интонационное единство.

Об основных вехах пути Сен-Жон Перса, лауреата Нобелевской премии 1960 года, об эстетических и философских корнях его творчества и о том, какое место занимает эта поэзия в общем контексте культуры нашего века, читатель может узнать, прочитав в этом номере работу Роже Гароди.

Французский писатель, публицист, философ и общественный деятель, Роже Гароди долгое время входил в состав руководящих органов Французской коммунистической партии. В 1968 году он выступил с критикой советской политики в отношении

[3] М., «Художественная литература», 1968; составление и статьи об авторах С. Великовского.

[4] Сен-Жон Перс. Избранное. М., «Молодая гвардия», 1983.

Чехословакии, в 1970 году был исключен из партии.

Статья «Сен-Жон Перс» представляет собой раздел из той книги Р. Гароди, о которой два десятилетия назад у нас много говорили и писали, но которую в ту пору мало кто мог прочитать. Это книга «О реализме без берегов», посвященная творчеству Пикассо, Сен-Жон Перса и Кафки. Она вышла в 1963 году в Париже с предисловием Арагона, разделявшего концепцию Гароди.

Книга Роже Гароди «О реализме без берегов» была издана в 1966 году в русском (почему-то анонимном) переводе издательством «Прогресс». Снабженная многозначительным грифом «Для научных библиотек», она незамедлительно была упрятана в спецхран и все эти годы оставалась практически недоступной. Думается, сегодняшний читатель явственно ощутит печать времени, которой отмечена работа французского исследователя, что проявляется порой в терминологии Гароди, во многом характерной для зарубежного (да и советского, разумеется, тоже) марксистского литературоведения тех лет, и в самом подходе автора к ряду рассматриваемых в этой книге проблем. Однако труд Роже Гароди подкупает нас и сегодня отменной эрудицией, великолепным знанием материала и, главное, личной увлеченностью автора творчеством французского поэта. Он подкупает искренним желанием обратить это творчество на пользу демократии и общественного прогресса.

РОЖЕ ГАРОДИ

СЕН-ЖОН ПЕРС

Глава из книги «О реализме без берегов» [1]

Один из персонажей Клоделя (Кёвр в «Городе») дает следующее определение поэзии:

Мой сын! Когда среди людей я был
поэтом,
Я изобрел свой стих — без рифмы, без
размера,—
И в тайниках души я постигал
Высокое призванье человека, его
едино-двойственный порыв
Вобрать в себя весь мир — и воссоздать
в понятном слове[2].

В этом определении и заключена проблема, которую ставит поэзия Сен-Жон Перса, или, вернее, брошенный ею вызов: какую связь установить между внешним миром, жизнью, «вбираемой в себя» человеком, и тем словом, что воссоздает в его поэтическом творчестве этот мир и его собственный опыт?

Изучить поэзию Сен-Жон Перса — значит прежде всего исследовать законы этой метаморфозы, этого претворения.

* * *

Задача эта особенно трудна, поскольку речь идет о поэте, который упорно отрицал, что между его общественным положением и его поэтическим творчеством существует какая-то связь. И если бы мы поверили ему, мы не смогли бы установить никакой связи между жизнью Алексиса Леже, который долгое время, при разных правительствах был фактическим творцом французской внешней политики, и поэмами Сен-Жон Перса.

«Главное, пусть меня избавят от всяких ссылок на мою дипломатическую деятельность,— писал он в 1948 году Макс-Полю Фуше.— Я недаром принял литературный псевдоним и всегда строго следовал принципу раздвоения личности. В сущности, установление какой бы то ни было связи между Сен-Жон Персом и Алексисом Леже неизбежно искажает видение читателя, существенно вредит его восприятию моей поэзии».

Нам придется все-таки отклонить эти требования, нарушить этот запрет, чтобы попытаться раскрыть смысл творчества одного из крупнейших поэтов нашего времени.

Ибо то, о чем свидетельствует само творчество, важнее воли автора. А очевидно, прежде всего, следующее: весь материал, на котором строится поэтический мир Сен-Жон Перса (я говорю именно о материале, а не о законах его построения), заимствован из жизненного опыта Алексиса Леже. Выбор образов и слов для их выражения, сам принцип этого отбора и манера выражения всего того сказочного богатства впечатлений, воспоминаний и стремлений, из которых создается поэма,— все это тоже почерпнуто из его жизни.

Это детство принца с Антильских островов, с маленького клочка земли, затерянного в Карибском море, «там, где вода была от солнца зелена́» (I, 17) [3]. Здесь, на этом волшебном островке, прошли его юные годы, среди богатств, созданных природой и людьми, среди его роскоши и самых экзотических и таинственных красот. Как шхуна, заброшенная ураганом на самую середину острова, он жил среди буйной тропической растительности, которая и создала этот причудливый мир его детства [...]

Не только его детство принца, но и профессия принца, позволявшая ему совершать долгие путешествия через пустыню Гоби или плавания по Индийскому океану и стоившая ему изгнания в Америку (ког-

---

[1] Roger Garaudy. D'un Réalisme sans Rivages. P., Plon, 1963. Глава публикуется с некоторыми сокращениями. *(Здесь и далее прим. ред.)*

[2] Здесь и далее перевод стихов М. Ваксмахера; они были опубликованы в русском издании книги Р. Гароди 1966 года.

[3] Здесь и далее — цифры в скобках обозначают тома и страницы французского издания сочинений Сен-Жон Перса (Saint-John Perse. Oeuvre poetique. P., Gallimard, 1960).

да Петен отправит его в отставку), раздвинули диапазон его впечатлений и знания о нашей планете. Профессия принца, принца-путешественника, который бороздит моря и объезжает страны, собирая следы и свидетельства величия человека, оставшиеся от прошлых культур и исчезнувших цивилизаций, и размышляя попутно о силе власти и об изгнании, о море и пустыне, о гневе, надежде и песне, которая слагается из всего этого в душе человека.

Сам язык поэта несет на себе отпечаток его жизни: от выбора красок и растений, окружавших его в детстве, вплоть до образов и лексики, со словами и оборотами, заимствованными в правительственных канцеляриях и надписях, высеченных на стелах.

Но — и это поможет нам понять, почему Сен-Жон Перс требует провести столь резкую грань между миром, в котором он жил, и миром, который он создал,— верно также и то, что, хотя материал в обоих случаях один и тот же, законы, управляющие жизнью этих миров, не только различны, но и прямо противоположны: этот человек един и раздвоен. Его жизнь — единое целое, но закон ее — противоречие.

* * *

«Я всегда строго следовал принципу раздвоения личности»,— писал Сен-Жон Перс. Этот разорванный надвое человек принадлежал своему времени, времени раздвоенных людей [...]

Он возглавлял французскую дипломатию перед второй мировой войной — как раз в те годы, когда Франция перестала быть великой державой. Он пережил этот упадок, эту агонию. Мы не собираемся анализировать здесь его собственную роль или его ответственность за это. Отметим только, что в основе понимания его поэтического творчества лежит осознание им этого банкротства. Разделяя взгляды Бриана, чьим ближайшим сотрудником он был и чьим последователем хотел стать, Леже с 1933 года следит за «разгулом гитлеризма» [4].

Те классовые силы и их соотношения, те самые, что приводят к предательству национальных интересов и поражению 1940 года, никогда не фигурируют в политической диагностике дипломата, но поэт восстает против этой машины, перемалывающей людей, машины, в которой генеральный секретарь Кэ д'Орсе является как-никак одним из важных винтов. Он ощущает всю тяжесть отчуждения человека, ставшего игрушкой непонятных и враждебных ему внешних сил, грозящих ему уничтожением. Он ставит под сомнение целый век истории человека. Катастрофа 1940 года грубо открывает ему глаза на этот глубокий разлад, на это отчуждение. Так рождаются самые прекрасные поэмы Сен-Жон Перса. Его первой реакцией был разрыв, отказ. «И больше нет для нас согласья с тем, что было»,— писал он в «Ветрах» (II, 109).

«О, мы слишком большие надежды возлагали на шаг человека по камню! О, мы верили слишком наивно, что под личиною прячется человек!» (II, 167).

«Целый век затуманен угасаньем истории» (I, 178).

«И разве не видите вы, что все рушится вдруг, что и мачты, и реи, и такелаж, и все паруса валятся прямо в лицо *гигантским полотнищем веры усопшей* (курсив здесь и далее мой.— *Р. Г.*), гигантским полотнищем суетной ризы и обманчивой оболочки? И что время пришло наконец бежать с топорами на палубу?» (II, 31).

«Все предстоит заново переделать. Заново все сказать. И острой косою взора пройтись по всему, чем *владеем*» (II, 21).

Последняя мысль весьма характерна и отнюдь не случайна; *имуществу* противопоставляется *бытие*. В своей поэме «Створы» он пишет: «Но гордиться жизнью своей еще не вошло в привычку, эта гордость пока на подходе, мы ее не *имеем* еще» (II, 243).

Это центральная тема, тема отчуждения, главный закон которого Карл Маркс сформулировал так: «Чем ничтожнее твое *бытие*... тем больше твое *имущество*...»[5]. Мир имущества, собственности, мир отчуждения, где человеческие отношения принимают видимость внешних по отношению к человеку *вещей*, непонятных, враждебных ему и господствующих над ним, этот «овеществленный» мир давит всей своей тяжестью на человека и препятствует расцвету его бытия.

Этим противоречием пронизан весь буржуазный гуманизм, от Гёте до Сен-Жон Перса [...]

Драма Сен-Жон Перса — это драма раздвоения личности, ставшая неизбежной в силу самих законов того мира, где он живет, и его класса: свою общественную деятельность он не может сделать предметом своей поэзии, а свою поэзию не может претворить в действие. Его жизнь не может быть ни поэтизацией этой деятельности, ни претворением в действие этой поэзии.

Такая раздвоенность отражает раздвоенность целой исторической эпохи, двойственный характер всего буржуазного гуманизма, крайним завершением которого является поэтическое творчество Сен-Жон Перса. Его поэзия — это оборотная сторона его деятельности, ее противоположность и ее двойник в одно и то же время. Горький урок «Анабасиса» — это невозможность быть завоевателем в этом мире, но зато... «от поэта, моего далекого брата, пришли долгожданные вести» (I, 162). Там, где кончается действие, начинается песнь: «И садится сказитель у подножья столетней сосны» (I, 157) [...]

* * *

Творчество Сен-Жон Перса — завершающая ступень поэтической эволюции, начавшейся на заре XIX века. До того художник не ставил под сомнение существование мира внешней или внутренней при-

[4] Речь в Нью-Йоркском университете 28 марта 1942 года по случаю 80-й годовщины со дня рождения Аристида Бриана («Cahiers de la Pléiade», p. 163).

[5] К. Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 года. К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., Госполитиздат, 1956, с. 602.

роды, служившей моделью, реальность которой искусство должно было воспроизводить с помощью своих средств.

Романтизм подвергает сомнению эту аксиому.

Художник становится все равнодушнее к предмету, тому, как его определяют, фиксируют, омертвляют традиция, общество и его язык. Неизменным следствием этого растущего безразличия к объекту является все большее значение субъекта. Задача творчества — не столько рассказывать о мире, сколько создавать другой мир. Поэзия, согласно этимологии этого слова, становится истинным творчеством. Лирическое воображение учится у Бога продолжать дело созидания.

Природа, конечно, поставляет краски, формы, внешний облик вещей, но только в качестве сырья. Отрицая обязанность *воспроизводить* что бы то ни было, копировать предметы, художник отрывает эти элементы реального от их привычного, общепринятого смысла и строит из них другой мир.

Правда, отворачиваясь от реальности, которую они отвергают, художники и поэты бессознательно повинуются глубинному закону исторического развития и его внутренних противоречий.

Лотреамон, страстно жаждущий «антинеба», или Рембо, клеймящий «время убийц», ищут выхода из этого противоречия между реальной жизнью и поэзией. Рембо, не имея возможности жить жизнью человека и поэта во Франции, где торжествуют версальцы, предпочтет замолчать и влачить в Хараре жалкое существование авантюриста. Нерваль кончит безумием и самоубийством. Бодлер будет искать иных миров, не имея сил жить в этом мире, подобно своему альбатросу или печальному лебедю Малларме. Жарри, создавший образ папаши Юбю с его утробным смехом, поставит перед «патафизикой» д-ра Фаустроля задачу изучения «законов, управляющих исключениями, и объяснений Вселенной, дополняющей наш мир».

Какими бы различными и неравными ни были их таланты, все они, от романтиков до сюрреалистов, принадлежат к одному поколению, к одному роду, для которого все, что существует, попросту обыденно. Величие они видят в отказе от всякой утилитарной и позитивистской концепции общества (не сознавая, что в основе своей это — капиталистическое общество) и в создании человечной вселенной. К этому поколению, к этому роду принадлежит и Сен-Жон Перс.

Достигая конечных постулатов, делаясь формой присутствия человека в мире, поэзия заменяет им философию.

* * *

Все начинается с отрицания и бунта, с осознания того, что этот мир чужд человеку: «Я тянулся, тянулся к людям, хотел обитать под их кровом, но земля извергла на нас свою чуждую душу» (I, 201), с осознания, «что этот мир безумен и нелеп!» (I, 139). Этот мир торгашей, где «и целые страны, проданные с торгов к началу инфляции солнца, и укрощенные плоскогорья, и провинции, поднявшиеся в цене под возвышенный запах роз» (I, 142). «А потом явились мужи коммерции и обмена. Мужи далеких маршрутов, напялившие перчатки ради обмана. И за ними — мужи юстиции и виртуозы полиции...

И за ними — посланники папы в поисках жирных приходов...

Ну и грезили мы среди этих курносых богов!» (II, 70, 71).

«Прочитаны книги, заколочены наглухо сны — разве не так? Где же надежда, где выход?.. Благородство — отменная ложь, первородство — предательство!..

И честь покидала умы самые знаменитые...» (II, 185, 186).

В глазах Сен-Жон Перса весь мир шатается и трещит по швам. И это его мир. Перс не пытается бежать, укрыться в каком-нибудь искусственном раю.

Этот человек, не верящий в Бога, не может, в отличие от Клоделя, искать смысл мира вне его самого.

Однако он ни на минуту не теряет веры в жизнь, в человека и в его будущее. На гребне катастрофы он сохраняет высший оптимизм, уверенность в конечной победе человека, его цивилизации, его завоеваний. У него мы опять встречаем тот пророческий энтузиазм, отличавший некоторых романтиков накануне 1848 года, предельно гуманную веру Эдгара Кине[6] в его «Агасфере» и — уже ближе к нам — эпическое чувство величия человека, вдохновлявшее Уолта Уитмена и Верхарна.

Эта вера уходит корнями в те далекие времена, когда человек жил в согласии с миром вещей, когда существовало исконное единение с материей, которое положило начало славе человека и которое Перс обрел впервые в раю своего детства: [...] «Прекрасную родину снова надо завоевать, прекрасную родину Короля, который с детства ее не видел, и залог ее неприступности — в песне моей» (II, 145).

Поэзия Сен-Жон Перса начинается с этого крика радости, с этой любви к жизни, которые, будь он верующим, вылились бы в благодарственную молитву и которые навсегда останутся «Хвалами», как он и озаглавил свой первый поэтический сборник. «Это такое прекрасное название,— писал он Андре Жиду,— что, соберусь я издать один том или несколько, я никогда не захочу другого» [7].

Высшая добродетель — это прежде всего страстная приверженность к силам жизни в ее изменениях: от брожения внутри нас всех жизненных соков до космического ощущения огромного подъема человеческой энергии, которое одухотворяет историю человека и дает ему веру в великое будущее.

И действительно, поэтическое творчество Сен-Жон Перса кажется цельным, как одна большая поэма, единая эпопея о человеке, вобравшая в себя весь его опыт и все его цивилизации, «легенда веков» по мерке нашего века, позволяющая нам ощутить и пережить бурю на море истории и с чувством гордости и радости бы-

---

[6] Французский историк (1803—1875), вместе с Ж. Мишле — один из яростных противников клерикализма.

[7] "Cahiers de la Pléiade", X, 1959, p. 26.

тия участвовать самим в этом стремительном движении.

В первоначальной форме эта счастливая уверенность человека есть уверенность в существовании прекрасного цветущего мира, жажда отдаться потоку жизни во имя «тайного закона *наслаждения*, который составляет самую сущность поэтического начала» [8] [...]

Но для Сен-Жон Перса пора энтузиазма, возникшего не без влияния Андре Жида, лишь отправной пункт. Отношения между человеком и природой для него не пассивны. Он не просто поддается опьяняющему воздействию этого мира; более активную и более высокую форму единения человека с природой представляет собой действие.

Действие есть закон этого находящегося в вечном движении мира людей и вещей.

Центральным моментом в мировоззрении Сен-Жон Перса является гераклитовская идея становления, непрерывного уничтожения и возникновения живых существ. Космическими масштабами, формами пророчеств, прорицаний оракула поэма Гераклита ближе всего к творчеству Сен-Жон Перса [9].

«Мир единый из всего,— говорит Гераклит,— не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим... Потребность создает мир, пресыщение сжигает его... По какому бы пути ты ни шел, границ души ты не найдешь... Для бодрствующих существует единый и всеобщий мир; спящие попадают каждый в свой собственный мир... Государь, чей оракул находится в Дельфах, не говорит и не скрывает, но знаками указывает».

Таковы фрагменты из Гераклита Эфесского, напоминающие манерой мышления и стилем изречения на древних стелах-памятниках исчезнувших цивилизаций,— фрагменты, которые Сен-Жон Перс как бы расшифровал и воссоздал в своих стихах, вдохнув в них новую жизнь и молодость.

Человек обладает волнующей бесконечностью моря и ветров. Сами названия крупнейших произведений поэта, поэм о море и о ветре,— это аллегории человека, не знающего пределов. «Речь пойдет не о море, но о том, что господствует море в человеческом сердце» (II, 135). «Великие Странники грезы и дела, Собеседники, жадные до далеких далей...» (II, 67). «Дерзкие авантюристы души» (II, 81). «Искатели вольных дорог и вод» (II, 67) [...]

Море — главная тема творчества Сен-Жон Перса, такого же певца моря, каким был создатель «Одиссеи». Море — это призыв и потребность, это бесконечность и беспредельность.

Море — это призыв к открытию новых земель для новых конкистадоров: «О море Бальбоа!.. Море искрящееся, гимн силы и пышности, куда человек выпускает вечером трепетного коня... Но если мне все известно, значит, вся моя жизнь — только чреда возвращений к известному?..

О память, ты нас обгоняешь всегда, ты первой ступаешь на неведомый берег, где мы никогда не бывали» (II, 98, 99).

Море — это потребность человека, не знающего пределов, «...человека, который не хочет с самим собою мир заключить» (I, 36). Человека без Бога, всего лишь человека, но не ведающего границ: «Ну, а дальше, а дальше — есть ли что-нибудь кроме тебя самого, есть ли что-нибудь кроме существа человеческого?.. Полночь в море после Полудня... И человек — одиноодинешенек, точно солнечные часы, тонкий столбик на скатерти вод...» (II, 101).

Вся поэма — быть может, в этом и есть главное ее назначение — «наперекор шепотку сомненья» (II, 34) прославляет желание, жажду бесконечности и полноты [...]

Море — это безграничность, подобная любви. Как сюрреалисты, как Арагон, который писал: «Любить — значит прежде всего выйти за пределы самого себя» [10], Сен-Жон Перс видит в любви посредника, посредничество между человеком и миром вещей и истории: «О жабры меж морем вещей и мною!..» (II, 252).

У Перса образы моря и любви всегда тесно связаны друг с другом, как вестники одной и той же бесконечности.

«Одиночество в сердце мужчины. Странный мужчина, безбрежный, возле женщины — возле берега» (II, 228).

«И человек, гонимый от камня к камню, вплоть до последних шпор шифера или базальта, склоняется над античным морем и видит в аспидном блеске веков гигантскую женскую плоть в беспрерывных конвульсиях, в миллионах струящихся гребней — словно чрево богини разверзлось на миг во всей своей наготе» (II, 301, 302).

Любовь к женщине и любовь к морю, одинаково бесконечные, суть символ и залог созидания плодородия.

«Вот. Поднимается ветер. И скребница атлета уже по теченью плывет. Если море взялось за оружье, оно возражений не терпит!.. Назовем ли великой любовь, которая действовать ленится?» (II, 265).

«Любовь — это тоже деянье! Я призываю в свидетели смерть, ибо только любовь смеет с нею помериться силой... Ни слава, ни власть не знают соперников, равных по мощи своей человечьему сердцу» (II, 268).

Поэт умеет возбудить в нас жажду необычного, захватить нас, открыть в нас новую энергию для нескончаемой работы, для преодоления преград и границ.

Им движет жажда полноты, а не стремление к бегству. Потребность во всем, чего еще не хватает человеку. И этому сопутствует абсолютная вера в человека и его будущее, побуждающая без страха взирать на «вновь рожденную землю под ее грозовым гербом, открывшуюся с высоты» (II, 40) [...].

Наперекор всем лжепророкам сомнения, абсурда и отчаяния, которых сейчас услужливо предлагают молодежи в качестве наставников, Сен-Жон Перс, опираясь на многовековое восходящее движение человека и видя в гераклитовских превращениях природы возвышающий эпос о человеке, его творческой деятельности, требу-

[8] "Message pour Valéry Larbaud".

[9] Имеется в виду сочинение Гераклита «О природе».

[10] Aragon, J'abat mon jeu, p. 128.

ет, чтобы искусство говорило о величии и радости, чтобы оно воодушевляло и звало к действию:

«Пускай же пред ликом морским нам будут обещаны волны новых творений — творений прекрасных и долговечных, творений живых и прекрасных — великих мятежных творений, великих дерзких творений, способных насытить самый неистовый голод, и *воссоздать, и вернуть нам вкус к бытию, достойному человека*...

О, если бы нас, погрязших в трясине безликости, высокий слог поразил, пришедший от моря, пришедший издалека, о, если б крылатый размер пристрастил нас к великому повествованью о мире и о вещах, о мире, который таится за миром зримых вещей, о, если бы вздыбилось в нас дыханье глубинное и привольное, подобное морю и его чужестранным огромным вздохам!..

Кто для нас возродит, в могучем движении царственных вод, великое слово, взятое у народа?» (II, 178, 179).

Но это возвеличивание человека и его деятельности у Перса не есть возвеличивание одиночки, и все меньше и меньше — это можно проследить от «Анабасиса» до поэм «Ветры» и «Створы» — оно становится возвеличиванием завоевателя и вождя. Конечно, Перс в отличие от Элюара не мыслил себе перехода «от горизонта одного к горизонту всех». Народный путь борьбы никогда не был его путем.

Но, несмотря на глубокий аристократизм его взглядов на жизнь и собственное творчество Сен-Жон Перс — поэт прежде всего эпический. А великие эпопеи — от великих мифов Индии до скандинавских саг, от Библии до «Илиады» и «Песни о Роланде» — никогда не были сочинениями одиночек, а являлись творениями народа, которые поэт может лишь воспринять.

Только душа всего народа может возвыситься до уровня великих потрясений природы и истории, раскрыть их великий смысл и донести их отзвук до грядущего.

Человек, намеревающийся создать такую поэму, не может быть одинок. Он должен быть со всеми. Его должны нести все. «Человека еще осаждают толпами новые мысли, и он подчиняется могучему натиску волн рассудка» (I, 209). «И Поэт — тоже с нами, с людьми, на главной дороге времени.

Мчится поезд нашего времени, мчится поезд великого ветра.

У Поэта одна забота: разъяснение посланий» (II, 86).

«Крик! Пронзительный возглас Бога! Так пускай он застигнет нас в шумной толпе, а не в комнатах.

И пускай, повторенный толпою, он в нас отзовется и раскатится в нас до самых далеких пределов нашего слуха...» (II, 87).

[...] Эти поэмы потому полны такой уверенности, в них потому звучит песнь нашего века, идущего к новой эпохе мировой истории, что Сен-Жон Перс умел «прислушиваться к отдаленному гулу народов и бессмертных их языков» (II, 299), сохранять в памяти следы древних цивилизаций, всего, что свидетельствует о восходящем движении человека в каждую эпоху, и подхватить «этот крик человеческий, в котором порою не слышно ничего человеческого» (II, 143)...

Так вся история, подобно могучей волне, несет нас к высокому будущему. И не одних, а вместе со всеми. Послушайте:

«...Натянутый лук толпы нас держит еще тетивою своею. И ты, что танцуешь танец толпы, ты, высокое слово отцов,— о племенное Море на песчаной равнине,— станешь ли ты для нас молчаливо-загадочным морем, сновиденьем далеким, еще более дальним, чем сновиденье сармата?» (II, 169).

Влекомый этим порывом, поднявшимся из глубины веков, из накопленных битв и труда человечества, опираясь на этот далекий эпос, Сен-Жон Перс зовет и приветствует рождающийся новый мир. Послушайте его:

«И поэт постоянно с вами. С вами мысли его, как безмолвная стража. Так пускай же до темноты, пускай же он ловит ревнивым взглядом грядущее счастье людей!

Я ради вас заселю бездну его очей. *А те мечты, на которые он дерзнет,— вы претворите в деянье*» (II, 116).

Ибо «дело касается человека», и именно это «свидетельство за человека» (II, 77) я хочу в первую очередь отметить в творчестве Сен-Жон Перса [...].

«Это надежда, чьи семена брошены в почву глазами,— никогда еще людям никто не дарил подобной надежды,—

И это — вызреванье внезапное мира другого в сердце полуденном нашей ночи...

Всего золота ваших Банков и подвалов вашего Государства не хватит на то, чтобы купить эти бесценные акции.

...вспомним про берег другой! И поклонимся черному Солнцу, пылающему внизу!» (II, 83).

Я не знаю, какое будущее так горячо и уверенно приветствует Перс, я не знаю даже, что это за золотые преграды и со стороны каких государств он отметает с таким гневом и какое черное солнце он призывает взойти. Но в его поэмах, прославляющих величие человека, призывающих непременно быть в толпе, среди людей, и провозглашающих веру в будущее человечества, я лично как борец вижу выражение конкретных надежд тех людей в странах Азии, Африки и Латинской Америки, которые уже поднялись и никогда больше не склонят своих голов, тех, кто выковал в себе великую решимость порвать с доисторическим прошлым человека и построить для него социалистическое будущее.

Для меня не важно, если Сен-Жон Перс намеревался разбудить в человеке другие мечты и наметить перед ним другие перспективы; важно, что во мне он пробуждает именно эти мечты и рисует именно эти перспективы, воспевая и создавая мужественное братство тех, кто верит в будущее, несмотря на все, что нас разделяет, вопреки сомнениям, абсурду и отчаянию.

Я люблю поэта, который так вспоминает прошлое:

«Когда люди на вольном ветру еще уме-

ли жить безоглядно и карабкаться в горы» (II, 70).

Я люблю поэта, который так приветствует будущее:

«Солнце рождается! Крик Короля!.. Капитана и Губернатора на передний рубеж! [...]

Я среди тех, кто первым приветствовать будет вторжение нового бога...» (II, 73).

Сен-Жон Перс хочет, чтобы его поэма создала образ новой, идеальной цивилизации, возникшей на основе вершинных исторических эпох,— цивилизации, которая отразила бы всю историю человека, его завоеваний и подвигов, все человеческое величие во всех его проявлениях.

Это не только прославление активного образа жизни, но и гегелевская воля к созданию всесторонне развитой личности, обогащенной всей историей человечества, личности, находящей в прошлом знаки и пророчества неизбежного преодоления настоящего и черпающей в этой эпопее новые силы для восходящего движения. Стиль этой поэзии — это стиль жизни. Почему бы такой поэзии не рождать во мне, борце, чувства, отличные от чувств, вдохновлявших ее автора?

Какое мне дело, что автор, быть может, отворачивается от будущего, построение которого составляет смысл моей жизни,— если сложенные им песни сопровождают нас на нашем собственном пути: его глаза обращены к восходящему солнцу, мы же — мы делаем незаметную работу ради наступления того дня, что предвидеть, возможно, не в состоянии ни поэт, ни пророк [...].

Я вовсе не привлекаю здесь на нашу сторону человека, который от нас, марксистов, так далек — далек не только как дипломат с Кэ д'Орсе, но и своим творчеством. Однако в этой героической симфонии движения человечества, какой является поэзия Сен-Жон Перса, чувствуется та же страстная любовь к человеку, тот же оптимизм, то же понимание жизни как восхождения и то же прославление безбрежного человека, которые так близки и дороги нам самим, так созвучны нашим мыслям и нашей повседневной борьбе.

Вот что для нас общее:

«Движутся по равнине огромные синие майские тени, перегоняя в молчании небо на землю... Ибо мы — пастухи грядущего...» (II, 339).

«Мы поднимаем в руках, в теплых своих ладонях — словно выводок новых крыльев — опечаленное человечье сердце, в котором и жажда, и пламя, и столько тайной любви...

Слушай, о, слушай, ночь,— в пустых монастырских дворах и под гулкими арками, среди священных руин, среди городов, муравейников древних,— слушай державную поступь бесприютной души.

Словно крадется по бронзовым плитам опасный лесной зверь.

Славный век, вот и мы! Измерь человечье сердце» (II, 343).

Да, мне по душе не ведающий посредников гуманизм этого певца счастья и величья. Он несет в себе все прошлое человека и не может довольствоваться настоящим.

Поэзия для него — то, что выражает сущность человека и мир в процессе становления.

Вся его поэтика вытекает из этого требования.

* * *

[...] Задача слова — не копировать вещи, не брать их себе за образец, а напротив, взрывать их определения, ломать их утилитарные границы, их привычные значения, высекать из них, как искры из кремня, непредвиденные возможности и обещания, тот удивительный скрытый смысл, который они несут в себе и который превращает, казалось бы, самую обычную реальность в материал для мифотворчества.

Реальность содержит в себе нечто большее, чем непосредственная видимая повседневная деятельность, нечто большее, чем те пути, которые эта деятельность уже проложила в ней, чем те прочные связи и сочетания, вложенные в нее привычкой.

Вещи — лишь часть того, что они означают. Уже для Бодлера чувственная вселенная была кладовой образов и знаков, словарем форм, из коих игра соответствий позволяет извлекать неожиданные звучания.

Соответствие между различными ощущениями, возникающее, когда Сен-Жон Перс вспоминает «тех рыб, которые уплывают, словно тема по мере развития песни» (I, 41). Соответствие между вещами и нашими желаниями: «Мудрость дня обретает форму прекрасного дерева» (I, 58). Соответствие между вещами и их смыслом в пределах Вселенной: «...Вопрошая всю землю на всей ее протяженности, дабы проникнуть в значенье великого этого хаоса, вопрошая

Русло, небесные воды и земные тихие пристани вдоль темной реки — не получая ответа и по этой причине порой приходя в раздраженье...» (II, 82).

Эта тема смысла является господствующей в поэтике Сен-Жон Перса, как и в поэтике Поля Клоделя. С той, однако, существенной разницей, что для католика Клоделя этот смысл уже вложен во Вселенную и человеку остается только расшифровать его в божественной книге, тогда как для гуманиста и атеиста Сен-Жон Перса в мире нет иных ценностей, кроме деяний и творений человека [...]

Человек черпает поддержку и вдохновение только в своих прежних подвигах, только в своих прошлых деяниях. [...]

Поэзия, назначение которой состоит в том, чтобы постичь этот смысл и передать заключенное в нем послание или откровение, не может выливаться в традиционные классические формы метрического и рифмованного стиха. Эта речь оракула или пророка неизбежно принимает форму библейского стиха: от стиха Библии до стиха Заратустры, от стиха Клоделя до стиха Сен-Жон Перса.

Стиль этого памятника человеческого величия, вобравший в себя мудрость и верования всех времен и народов, все обряды и мифы, все созданное и завоеванное человеком, воспроизводит его героическое становление как цельный эпос путем разгадки следов и памятников прошлого. Та-

кой стиль никогда не казался Персу ни слишком высокопарным, ни слишком торжественным, ни слишком пышным. Нам эти заклинания иногда кажутся чересчур напыщенными и торжественными, «языком, населенным пророчествами» (II, 13). Но разве можно выразить это рождение нового бытия каким-либо иным стилем, кроме величественного стиля *творения?*

«Слава моя на песках! Слава моя на песках!.. И это отнюдь не ошибка, о Пилигрим,—

Возжелать обнаженную местность, чтобы собрать по частям в пустыне изгнания поэму великую, рожденную из ничего, поэму великую, сделанную из ничего...

Свистите над миром, пращи, пойте над водами, раковины!

Я основал над бездной и брызги пены морской, и зной раскаленных песков. Я буду ночами спать в цистернах и утлых лодках,

— По всем захолустным и пошлым углам, где ютится величие» (I, 168—169).

Поэт свидетельствует о границах человека так, словно это голос самого бытия. [...] В «Створах» выражена суть поэтики Перса:

«Ах, мы знали слова для тебя и не знали достаточно слов,

И любовь нас смешала с толпой этих слов,

И нет у нас больше слов, не знаки они теперь, не убранство,

Они теперь — сами вещи, которые названы ими, они теперь сами вещи, которые украшены ими,

Или, точнее: вслух читая тебя, повествование наше, мы становимся словно тобою, повествованием нашим становимся,

И тобою становимся мы, а ведь прежде ты был с нами несовместим,— текстом становимся, и фактурой его, и его движеньем морским,—

И огромной ритмической мантией, в которую мы облачаемся...» (II, 307—308).

Это эллиптический, почти непонятный язык намеков, язык прорицаний или заповедей, язык обрядов с присущими ему перечислениями, молитвами, заклинаниями, язык, в котором образ и ритм, смысл и звук образуют единое целое.

Это присущее поэзии Сен-Жон Перса удивительное слияние музыки и мысли требует от нас присутствия и движения. Это, несомненно, не единственный, но важнейший критерий поэзии. Движение поэмы диктует нам ритмическую, музыкальную схему, которая влечет нас за собой с какой-то неотвратимой неизбежностью. Стоит ей прерваться или просто споткнуться, отклониться — и вот, как говорил Поль Валери, «разбилось, раскололось нечто, подобное чарам или хрусталю». Послушайте еще раз эту поэму о море:

«...Море Ваала, море Маммоны, море любого прозванья и века!

Единоутробное море нашей мечты, ибо истинная мечта не может прожить без тебя,—

Ты — открытая рана меж ребер, и античный хор у наших дверей,

И оскорбленье, и блеск, и веселье, и бред...» (II, 310).

* * *

[...] Быть может, Сен-Жон Перс дорог нам прежде всего как тот (и здесь мы процитируем его самого, чтобы оставить за ним последнее слово):

«...кто видит в своих сновиденьях иные законы земных путешествий и странствий и кто щупом упорным ищет в далеких глубинах красную глину, чтобы облик мечты изваять» (I, 181),

«...кто ловит в тревожной прохладе, поднимающейся из бездны, дуновение новых идей и кто в рог свой отважно трубит перед вратами грядущего» (I, 187).

Перевод с французского

◆

Критика

К 100-летию со дня рождения ЖАНА КОКТО

Автопортрет (1916).

Н. МАВЛЕВИЧ

РАЗРУШИТЕЛЬ ХОРОВОДОВ

Жан Кокто (1889—1963)[1] обладал редким в наш век даром: он умел и любил абсолютно все делать сам. Ему было мало сочинить пьесу, он еще сам писал декорации и афиши, придумывал костюмы, а то и взбирался на сцену. Он был поэтом, прозаиком, драматургом и издателем, художником, музыкантом и критиком. В кинематографе — Кокто увлекся им с детской восторженностью — он стал сценаристом, режиссером и актером. Конечно, фильм не может состоять из одних монологов, а раздваиваться не дано было даже Жану Кокто, при всей его универсальности, поэтому приглашались и другие исполнители, зато, если они приходились Кокто по душе, он гордился ими так, будто сделал их из собственного ребра и вдохнул в них собственную живую душу. Мог ли этот человек предоставить кому-нибудь живописать свою жизнь и толковать свои произведения?! К счастью, природа отпустила ему долгий век, и он успел рассказать о себе, своих идеях и друзьях столько, что на долю биографов осталась лишь скучная хронология (которой сам он откровенно пренебрегал). Кокто написал множество предисловий к своим и чужим книгам, произнес множество речей, без устали пропагандируя свою эстетику и упорно заявляя: «У меня нет никакой эстетической программы». И это, как ни парадоксально, верно: у Кокто не было программы — все программы, системы, школы ему претили. «Я стремлюсь только выдержать линию», — говорил он. «Линия» — любимое словечко Кокто и ключевое понятие его беспрограммной эстетики. Что оно означает? «Под линией я понимаю непрерывность личности... стиль души». Вот пример образных определений Кокто, столь неожиданных и столь точных, что кажется, будто он, стреляя наугад, каждый раз попадает в яблочко.

«Порядок в обличье хаоса» — тоже один из его излюбленных образов. Так назвал он речь, которую произнес в мае 1923 года в знаменитом Коллеж де Франс, одном из старейших высших учебных заведений Франции. В этой речи оратор намеревался выразить некий новый дух в искусстве, подчеркивая, по своему обыкновению, что нарочно не дает ему логического определения, «иначе он бы поблек». В то время Кокто был признанным кумиром молодежи, аудитория слушала его, ловя каждое слово. Никаких пояснений не требовалось, ибо все упоминаемые имена, события, произведения были злобой дня. Теперь же, шестьдесят с лишним лет спустя, без комментариев не обойтись, хотя трактовать и комментировать Кокто — дело неблагодарное.

[1] На русском языке издан роман Ж. Кокто «Тома-самозванец» (с предисловием А. В. Луначарского), ряд стихотворных произведений. «ИЛ» печатала стихи Ж. Кокто в переводах М. Кудинова и П. Антокольского, а также пьесу-монолог «Человеческий голос». В «Библиотеке «ИЛ» вышла книга Кокто «Портреты-воспоминания».

Настоящая публикация сопровождается рисунками Ж. Кокто, которые у нас воспроизводятся впервые. *(Здесь и далее — прим. автора вступления и перевода.)*

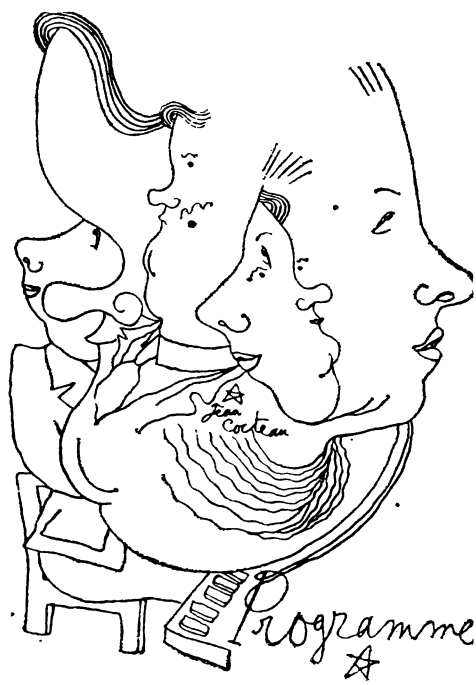
Кокто всю жизнь обожал бунтарей, а тогда, в 1923 году, самым главным и самым знаменитым бунтарем в Париже был он сам. Начало такой репутации положила скандальная премьера балета «Парад» (1917 г., музыка Эрика Сати, либретто Жана Кокто, декорации Пабло Пикассо, исполнение труппы «Русский балет» Сергея Дягилева). Публика, воспитанная на акварельных мелодиях Равеля и Дебюсси, с трудом осваивавшаяся с неистовой «Весной священной» Стравинского (четырьмя годами раньше этот балет, автором либретто которого также был Кокто, произвел не меньшую сенсацию), была шокирована балаганом, устроенным на сцене тремя известными художниками при помощи знаменитых танцоров. От них ждали совсем иного, как-никак Сати — друг Клода Дебюсси. Позднее Кокто скажет о музыке Сати: «Она слишком проста для слуха, привыкшего к пряным созвучиям. Его гений является обнаженным... Нагота — высшее целомудрие Сати». «Парад» с его нарочитой геометрически-кубической простотой был принят в штыки. В следующем году Кокто публикует эссе «Петух и Арлекин». Оно стало манифестом кружка молодых композиторов (Л. Дюрей, Д. Мийо, А. Онеггер, Ж. Орик, Ф. Пуленк и Ж. Тайфер), вошедшего в историю музыки под именем «Шестерки». Они пошли по дороге, проложенной Сати, к классической наготе. К новому порядку, принятому за хаос. Произошло как раз то, о чем Кокто говорит в своей речи: «Критиков и светских снобов с большим трудом обучили правилам головоломной карточной игры. Только они возгордились тем, что что-то усвоили, как все меняется: теперь играют в чехарду». Впрочем, прочитав «Петуха и Арлекина», возмутился даже Игорь Стравинский, хотя по прошествии нескольких лет он сам обратится к классической манере и напишет на либретто Кокто оперу «Царь Эдип». В речи Кокто рассказывает о том, как он и шестеро музыкантов обосновались в баре «Гэйа», об их встречах и вечеринках, об атмосфере, в которой родились пантомима «Бык на крыше» (1920 г., музыка Мийо, либретто Кокто, декорации Дюфи, исполнение клоунов Фрателлини), музыкальная комедия-гротеск «Свадьба на Эйфелевой башне» (1921 г., текст Кокто, музыка «Шестерки»).

Однако, будучи в первую голову как-никак поэтом и писателем, а уж затем всем остальным, Кокто не мог удовлетвориться ролью вдохновителя музыкального переворота. Поэзия также нуждалась в обновлении, или, во всяком случае, в нем нуждалась поэзия Кокто. Казалось бы, прошло совсем немного лет со времени монпарнасского братства, когда он был тесно связан с Аполлинером, Жакобом, Сандраром — наследниками поколения «прóклятых поэтов» (так с легкой руки Поля Верлена стали называть предтеч новой поэзии XX века: самого Верлена, Артюра Рембо, Изидора Дюкаса, написавшего под псевдонимом графа Лотреамона мрачные «Песни Мальдорора», и др.). Но вот «прóклятые» стали достоянием салонов, а их наследники превратились в мэтров. То, что было криком души, стало приемом, литературу, по выражению Кокто, «засыпало холодным снегом». Поэма «Мыс Доброй Надежды», написанная за несколько лет до обращения к неоклассицизму и посвященная авиатору Р. Гарро, была первой попыткой Кокто нащупать свой собственный путь в поэзии. Он отрекался от «цветов зла» — их яд испарился, колючки отсохли, а сами они заняли место в ряду безделушек, украшающих светские гостиные, — и обращался к давно вышедшей из моды прекрасной розе.

Но для того чтобы эти порывы обрели кристаллическую ясность, понадобилось событие, которое сам Кокто был склонен считать неким знамением,— встреча с Реймоном Радиге. Макс Жакоб прислал его к Кокто, чтобы тот помог начинающему поэту сделать первые шаги на литературном поприще, и, разумеется, никак не предполагал, что этот пятнадцатилетний мальчик сам окажет столь значительное влияние на мастера. Возможно, появись Радиге чуть раньше или чуть позже, он не оставил бы такого следа ни в творчестве Кокто, ни в истории французской литературы, но этот юный последователь госпожи де Лафайет и Стендаля был совершенным воплощением носившихся в воздухе идей.

Лето 1921 года Кокто и Радиге проводят вместе. Радиге пишет роман «Одержимый», а Кокто — большое эссе под названием «Профессиональная тайна» (отрывки из него опубликованы на русском языке в журнале «Театральная жизнь», 1987, № 14). Высказанные в нем рассуждения о таланте, вдохновении, поэзии, стиле мож-

Ж. Орик и Ф. Пуленк. Обложка концертной программы.



но, пожалуй, считать наиболее полным и законченным выражением взглядов Кокто на искусство. В декабре 1923 года, через несколько месяцев после выступления Кокто в Коллеж де Франс, Радиге, едва успев закончить второй роман, внезапно умирает.

Итак, речь Кокто посвящена одному из поворотных пунктов в его творческой биографии и в художественной жизни Франции. Но в ней заложен еще и иной, более общий смысл. Кокто был современником и участником едва ли не всех литературных течений своего века, так что публика не без оснований «навешивала на него все этикетки разом», но ни одна к нему не приєтала. Кокто нельзя назвать ни экспрессионистом, ни дадаистом, ни сюрреалистом. Все эти и другие течения увлекали его до тех пор, пока были естественным, живым выражением души художников. Но «великий человек — как эпидемия». Он быстро обрастает школой, и тут же естественность исчезает, поэзия каменеет. Кокто по натуре первооткрыватель, ему скучно «разрабатывать жилу». Он не следовал моде, а убегал от нее. Однажды он сказал, что подлинный поэт — это всегда «разрушитель хороводов». Таким и был Кокто, и единственный закон, который он признавал в искусстве,— это закон вечного обновления, позволяющего сохранить верность себе. Именно поэтому Жан Кокто называет своими учителями Пикассо и Сати, гениев, способных делать «резкие повороты», неукоснительно соблюдая главное — линию, непрерывность личности, стиль души...

ЖАН КОКТО

О ПОРЯДКЕ В ОБЛИЧЬЕ ХАОСА

Речь в Коллеж де Франс 3 мая 1923 года [1]

Господа, поблагодарив Коллеж де Франс за оказанную мне высокую честь, я хотел бы прежде всего сказать вам, как я взволнован нашей встречей в этих священных стенах. Весьма знаменательное признание. Можете считать его первым проблеском совершенно нового духа, рождающегося у нас на глазах. Еще вчера, еще сегодня утром волнение было не в моде.

Всякий раз, когда искусство приближается к высшему совершенству, именуемому классицизмом, оно перестает волновать. Это переходный этап. Время, когда ледяная змея выползает из пестрой кожи.

Но после долгих мук, долгого затворничества обнаженное искусство набирает силу и противопоставляет богатству наряда богатство духа.

Наступает великая минута. Скупость оборачивается достоинством. Чувство не выходит из берегов, не разменивает яркие цвета на лавину призрачных оттенков. Оно выражается сдержанно, чуть искажая безупречные пропорции,— иначе они были бы мертвыми.

Однако довольно. Боюсь, как бы моя речь не превратилась в лекцию. Такой тон коробит меня самого. Хватит. Давайте просто поболтаем.

В каждом из нас сидит пружина. Ее непременно надо заводить до отказа, но при этом не сломать. Пока пружина раскручивается, работает управляющий нами механизм. Все решает последний поворот ключа. Тут нужно инстинктивно чувствовать, когда остановиться. Что я имею в виду? Круг представлений, который определяет и связует воедино самые разные наши действия и поступки. Каждый новый завод пружины — очередное повторение того же круга. Не повторяться нельзя. Стоит повернуть ключ еще на пол-оборота — и начнешь заговариваться. Еще чуть-чуть — и пружина лопнет.

После «Профессиональной тайны» я решил молчать. То есть писать только стихи или романы — это ведь совсем другое дело. Я почувствовал, что исчерпал запас идей, кочевавших из предисловия в предисловие, из брошюры в брошюру, и, глядя, какие неожиданные плоды приносят они что ни день (позвольте причислить к ним и ваше любезное приглашение), счел за благо предоставить им действовать самостоятельно.

Держать их под контролем слишком утомительно. Радиоуправление рассчитано на большие расстояния. Вблизи волны только накладываются одна на другую, создают шум и мешают спать соседям.

Трудно представить себе, сколько недоразумений может вызвать одна-единственная фраза, какая-нибудь прописная истина, которую публика примет за парадокс. Вот вам пример.

В «Петухе и Арлекине» я говорил, что обогнавших время не бывает, а бывают только отставшие. Это очевидно. Но я высказал это в 1917 году, когда все говорили загадками. И вот, вместо того чтобы понять меня так, что гений, каким бы удивительным он ни был, приходит всегда в свой час, и когда этот час бьет, все часы в мире начинают отставать,— сочли, будто я обвиняю кого-то в отсталости и отказываю кому-то в новаторстве. Дикая привычка выворачивать все шиворот-навыворот, в которой повинна «темнота» поэзии Рембо, Малларме, Дюкаса, темнота мнимая, потому что в конечном счете она прозрачна, как алмаз.

Счастье, что я догадался принять невинный вид, прежде чем закричать, как ребенок из сказки Андерсена: «А король-то голый!»

Подобные возгласы никого не устраивают. Ни короля, ни придворных, ни народ, ни

[1] Перевод сделан по изданию: J. Cocteau. "Le rappel à l'ordre", P., 1926. D'un ordre considéré comme une anarchie. Печатается с небольшими сокращениями.

мошенников, которые, как вы помните, ткут материю, невидимую для дураков.

Увы! Сколь часто и восторг публики оказывается плодом недоразумения. Напишите: «Волосы не должны торчать на голове» — и вы будете иметь колоссальный успех у лысых.

Господа! Сегодняшняя и вчерашняя простота — разные вещи, и в наши дни в доказательство своей старомодности Альцесту пришлось бы декламировать сонет Оронта[2], вместо того чтобы петь «Свою красотку я люблю».

Перечитайте «Смешных жеманниц». Странное дело! Оказывается, именно смешной язык, на котором говорят девицы и Маскариль, и оплодотворил словесность. Самый простой из нынешних писателей еще более напыщен, чем Горжибюс или несносные шаркуны, дурачащие его дочь и племянницу. Не забудьте, что Като и Мадлон довольно неудачно подражают благородному стилю, а Маскариль — только шут[3]. Нетрудно догадаться, что язык, над которым издевается Мольер, был прародителем того, на котором заговорят Малларме, Марсель Пруст, Андре Жид, Жироду, Жак Ривьер[4]. Он высмеивал новое точно так же, как это делают обозреватели наших журналов в конце каждого года.

Судя по всему, Мольер — образец чисто французского ума, который убивает своей прямолинейностью и неповоротливостью.

И наша простота так же возмутила бы своей сложностью тень Мольера, как она возмущает своей примитивностью наш молодой авангард. Вообразите мое положение. С одной стороны — тень Мольера, то есть публика. С другой стороны — негодует молодое поколение. И вот приходится идти по проволоке в одиночку и знать, что все только и ждут, чтобы ты сломал себе шею.

Прекрасно, не правда ли? Порой низменные стороны моей натуры начинают вопить и требовать, чтобы я спустился на землю. Но вскоре сдаются.

Я не принадлежу ни к какой школе и не создаю своей собственной, поэтому публика, обожающая этикетки, навешивает их на меня все разом.

Так в свое время меня объявили дадаистом, хотя сами дадаисты терпеть меня не могли.

Но вернемся к не слишком удачному образу эквилибриста. Вы скажете: «Одиночка недолго остается одиночкой. Скоро появится школа одиночек или школа хождения по проволоке». Что ж, возможно. Но это была бы опасная школа, а потому она привлекла бы не много желающих.

Если же ученики все-таки объявятся, я сумею быстро разочаровать их.

Каким образом?

Ах, господа, для этого достаточно вывернуть карманы, закатать рукава и выложить карты. Профессиональную тайну можно разболтать без всякого риска. Нужно ведь еще суметь ею воспользоваться.

Итак, вот мой секрет: надо отказаться от стилей-масок и сохранить стиль-лицо.

Это позволяет круто сворачивать в сторону от того, что было создано прежде, и превращать каждое новое произведение в дебют. Таким способом не добудешь славы. Слава — особа рассеянная. Ей нужно, чтобы старых знакомых было легко опознать с первого взгляда. Но даже если изображение на лицевой стороне ковра, вытканного художником по моему методу, будет небезупречным, добротность его основы все же стоит больше любых красивых узоров. (...)

Скажу вам, кто мои учителя: Эрик Сати и Пикассо. Им я обязан больше, чем любому писателю. Влияние писателя может быть навязчивым, как тик, а удивительная свободная дисциплина этого музыканта и этого художника не позволит вам ослабеть. Ослабеть в данном случае — значит не суметь вырваться.

Сколько раз упрекали Сати и Пикассо в том, что они не знают, куда идут. То вдруг Пикассо отрекается от кубизма. То Сати поворачивает назад. И к ним снова относятся как к дебютантам. Вот это и есть чудо.

Сати говорил мне: «Все великие художники — любители». А посмотрите-ка, сколько вокруг нас других, тех, что дослуживаются до известности прилежным корпением над письменным столом, хотя сами же издеваются над буржуа с его меркантильностью.

Я готов согласиться, что, когда смотришь издалека, творчество художника предстает чем-то единым и чрезвычайно трудно разглядеть те резкие повороты, которые обозначают обновление гения. Но если обратиться к нашим современникам, мы найдем наглядные примеры: взять хотя бы Игоря Стравинского, который, ошарашив музыковедов «Весной священной», тут же круто изменил направление и оставил их с носом.

Как видите, господа, я то и дело сбиваюсь с одного на другое. Признаться, это входило в мои расчеты. Я боюсь лекций. И не гожусь в лекторы. Как-то нелепо вещать перед аудиторией. Другое дело — беседовать по-дружески. Дружба мне больше по душе, чем менторство.

Как-то, рассказывая о своем посещении Виктора Гюго в Брюсселе, Бодлер сказал: «Гюго пустился в один из тех монологов, которые он называет беседой».

Конечно, приглашать к беседе, стоя на кафедре, не совсем честно. И все же, если я вас запутаю, прерывайте меня, не стесняйтесь, и я постараюсь выразиться яснее, хотя я неважный импровизатор.(...)

Эпоха бывает темной только для темных умов. Наша, как раз потому, что она столь богата, слывет головоломкой. Одни путаются в ней, другие бегут от нее в прошлое, третьи ловят рыбку в мутной воде. И лишь немногие ориентируются в ней. Однако с птичьего полета она видна, как на карте.

Кажется, еще Гийом Аполлинер говорил о свете «столь нежном, что можно взглядом проникнуть в самую его глубину». Но сам он умер, не успев насладиться светом. Этот отшельник, осколок восемнадцатого века, жил на бульваре Сен-Жермен в маленькой квартирке, уставленной африканскими статуэтками и увешанной жуткими картинами.

---

[2] Персонажи комедии Мольера «Мизантроп».

[3] Горжибюс, Като, Мадлон, Маскариль — действующие лица «Смешных жеманниц».

[4] Жак Ривьер (1886—1925) — французский писатель и критик.

Никто не чувствовал себя так неловко в своей эпохе, как он, выступавший в ее первой шеренге. Он терпел ее, мистифицировал, изящно украшал ее цветами. Но предчувствовал близкий спад. Однажды, когда мы прогуливались с ним возле министерства колоний, где он работал, он признался, до чего ему тошно. Тошно потому, что тот самый модернизм, апостолом которого он себя считал, ужасно раздражал его. Открыв шлюз, он проклинал наводнение: он-де просто хотел пошутить. Его притягательная сила в контрасте: он анархист по долгу и романтик по натуре. Взгляните, как дрожит капля чернил на кончике его пера. Упав на бумагу, она расплывается в пятно-звезду. Творения этого великого поэта подобны таким изысканным кляксам.

И все-таки, несмотря на подспудное влечение к порядку, Аполлинер любил все причудливое: негритянские безделушки, африканские фигурки, нью-йоркские афиши. Он был космополитом. Я — нет. И с какой же тоской смотрел я, как все вокруг меня засыпало холодным, холоднее смерти, снегом. Литературу собирались высмеять и уничтожить. Это безумное самоубийство завораживало меня голубыми глазами Аполлинера. Но вот за дело взялись лихие писаки и под предлогом искоренения морали принялись разрабатывать жилу, которую отыскали в фарсах Альфреда Жарри[5].

Я сочинил тогда «Мыс Доброй Надежды». Эта эпическая поэма — винт аэроплана, плетеный канат, попытка покончить с расписным веером Малларме, ангельскими кудрями Рембо, с конструированием натюрмортов. Я чувствовал себя в полном одиночестве. Клуб самоубийц-дадаистов был для меня единственно приемлемой группировкой. Но я не годился для той деятельности, которой они предавались. Музыка указала мне путь. И я написал «Петуха и Арлекина».

Когда «Петух и Арлекин» вышел в свет, возникла опасность, что наш кружок, чего доброго, примут всерьез, а это смерти подобно. Как-то утром я с грустью размышлял об этом, как вдруг Дариюс Мийо сказал мне: «Тут есть один бар, как раз для тебя». Речь шла о баре «Гэйа» на улице Дюфо. Он всегда пустовал. Жан Винер, товарищ Дариюса по консерватории, великолепно играл там американскую музыку. Он и предложил мне через Мийо устроить там нашу штаб-квартиру. Я не колебался ни секунды. Бар принадлежал Луи Мойзесу, теперь он хозяин «Быка на крыше» на улице Буасси-д'Англа.

Я неплохой джазист и горжусь этим, джаз, как и рисование, мой конек, как скрипка у Энгра[6]. Когда Винер садился за фортепьяно, а негр Венс брал саксофон, джаз опьянял меня больше вина, которое, кстати говоря, я плохо переношу. В джазе у вас вырастает два десятка рук, вы чувствуете себя богом грома.

Посетители повалили валом. И мы стали жертвой своего рода музыкального шовинизма. Говорили, что мы изменили самим себе, записались в клоуны, в балаганные шуты. Рассказывали, да и до сих пор поговаривают, будто я открыл дансинг. Я безнадежно погубил свою репутацию. Зато наше дело было спасено!

Вряд ли стоит подробно рассказывать, как чудесно сложилась судьба молодых музыкантов. Вам известен их талант и их успех. Так вот, бар сыграл в этом немалую роль.

Дух обновления сказывался во всем: в блюзах и сонатах, в фокстротах и песнях, в «Быке на крыше» и «Свадьбе на Эйфелевой башне». Наступила наша весна. Обычно такие молодые побеги в искусстве возбуждают любопытство снобов, будоражат молодежь и повергают в уныние критиков. Между тем уж критики-то должны бы понять, что в этом свидетельство их победы, а не поражения. Они выиграли дело и потому начинается новая борьба. Но нет, вместо того чтобы усмехнуться (каждому свой черед), это почтенное сословие возмущается.(...)

Посмотрите, что происходит сегодня. Критиков и светских снобов с большим трудом обучили правилам головоломной карточной игры. Только они возгордились тем что что-то усвоили, как все меняется: теперь играют в чехарду.

Поскольку я все время перескакиваю в рассказе из одного времени в другое и лишь перекатываю с боку на бок тугой клубок, который хотел бы размотать перед вами, то я уж не стану утомлять вас описаниями болезненного переходного возраста. Нет ничего менее ясного и простого, чем тот момент, когда рождается простое и ясное состояние духа. Но все же можно проследить нить событий.

Макс Жакоб предложил основать антимодернистский союз. Я призывал отречься от небоскребов и вновь вернуться к розе. Но это было неверно истолковано. Вернуться — не значило оживить старый цветок. Наоборот, я хотел вырастить новый.

Всему свое время, и после попойки наступает похмелье. Мы хватили лишку и теперь мучились. Мы стали писать правильные стихи, изгонять редкие слова, экстравагантность, экзотику, телеграммно-афишный стиль и прочие американские штучки.(...)

Появился Реймон Радиге. Ему было пятнадцать лет, а он выдавал себя за восемнадцатилетнего, чем навсегда запутал своих биографов. Он не стриг волос. Был близорук, почти слеп и очень молчалив.

Когда он в первый раз пришел ко мне от Макса Жакоба, мне сказали: «Там в прихожей какой-то мальчишка с тросточкой».

Он жил в Парк-Сен-Мор, на берегу Марны, и мы называли его «марнским чудом». Но дома он ночевал редко, спал где придется: на земле, на столах, в мастерских у художников Монмартра и Монпарнаса. Время от времени он доставал из кармана грязный смятый клочок бумаги, расправлял его и читал стихотворение, свежее, как гроздь смородины, как морская раковина.(...)

Я потому останавливаюсь на фигуре Радиге, что он кажется мне лучшим выражением того духа, которому я намеренно не даю определения,— иначе он бы поблек.(...)

---

[5] Альфред Жарри (1873—1907) — французский писатель, автор сатирических пьес, героем которых был папаша Юбю, пародия на буржуазную лицемерную добропорядочность.

[6] Жан Огюст Доминик Энгр (1780—1867)— французский художник, был к тому же неплохим скрипачом.

Реймон Радиге.

Дух, о котором я говорю, не был моим или чьим-либо еще ни было изобретением. Скорее сам этот дух побудил нескольких музыкантов, художников, писателей собраться вместе и образовать дружеский кружок, далекий от какой бы то ни было доктрины.

Вы вправе спросить: «Что это за «мы», которое вы так часто произносите, вместо того чтобы сказать «я»? Не уловка ли это, чтобы выдать ваши личные взгляды за общие?» Так вот.

Каждый раз, когда я говорю «мы», я вспоминаю традиционные субботние встречи. В 1919-м, 20-м и 21-м годах каждую неделю мы встречались то на Монмартре, то на площади Мадлен. Мы—музыканты и я—устраивали обеды, чтобы регулярно видеться. Впоследствии на наши субботы стало приходить гораздо больше народу. Мы никогда не говорили об искусстве. После обеда шли к Мийо, он сочинял в то время музыку к «Быку на крыше» и играл ее в шесть рук с Ориком и Артуром Рубинштейном. Поль Моран[7] и Люсьен Доде[8] были за барменов. Лед приносили в салфетке. По дороге он таял и холодил нам руки. Когда он кончался, Моран собирал снег с подоконника и продолжал взбалтывать коктейли. Мы устраивали шуточные переодевания, катались по крохотной столовой на велосипеде,— конечно, в пересказе все это кажется чепухой, но никакое литературное кафе не могло бы оказать такого зажигательного действия на наши умы, хотя все они отличались друг от друга.(...)

Субботние обеды прекратились по многим причинам. Из двух главных первая — смерть Фоконне[9] — печальна. Вторая скорее забавна: наши сборища слишком посерьезнели. Моран придумал название: Общество Взаимного Восхищения — ОВВ. Мы заговорили о тиражах наших книг. Гольшман[10] стал устраивать у нас свои концерты, Морис Мартен дю Гар и Марсель Раваль[11] — вербовать сотрудников для своих журналов. А я почувствовал, что во мне проснулись замашки моего деда, строгого блюстителя ритуала семейных обедов. Чуть что не так — и я уже хмурил брови. Дружеские пирушки превратились в тягостную повинность. Мы ликвидировали ее в два счета.

Долой же всякие семейные обеды и каноны. Пикассо никакой не кубист, Малларме — не маллармист, Дебюсси — не дебюссист.

Музыковеды считают, что уязвили меня, назвав хулителем Клода Дебюсси. Они не могут понять, что интересы дела и личное уважение — разные вещи, что масштаб «Петуха и Арлекина» не позволяет мне разменяться на мелочи и вынуждает атаковать корифеев.

Я высоко ценю именно те произведения, на которые нападаю, и мое негодование обращено не на них, а на их потомство, в котором они предстают изрубленными на кусочки, вываренными и разжеванными в жвачку.

Великий человек — как эпидемия. Его жертвы собираются в одном месте. Получается школа — этакая больница, копаться в которой мне совсем неинтересно.

Средние игроки ничего не смыслят в игре мастеров и потому злятся.(...)

Но я еще не кончил о Радиге. Его книгу «Одержимый» я хотел привести как пример одной из наших побед. Когда после отчаянной шумихи он вышел на сцену с этим бесстрастным романом, эффект был невероятный.

[7] Поль Моран (1888—1976) — французский писатель, друг Кокто.

[8] Люсьен Доде — сын писателя Альфонса Доде, друг Кокто.

[9] Фоконне — театральный художник, автор костюмов к «Быку на крыше».

[10] Владимир Гольшман — дирижер, выступавший с труппой Дягилева в 1919—1921 гг., в Париже были очень популярны его концерты. Впоследствии работал в Америке.

[11] Французские журналисты.

Жорж Орик.

Все в этой истории странно и забавно.

Начиная с рекламы издателя, способной провалить любой дебют. Грассе [12] действовал очертя голову; он влюбился в книгу до безумия. Стал «одержимым». Это уже само по себе небывалая вещь. И из лучших побуждений он заменил одно зло другим: клеймо молчания клеймом шумихи. Всякое сильное произведение обречено быть заклейменным, но в разные времена неизменная ненависть, с какой его встречают, выливается в разные формы. Появление «Одержимого», книги, возмутительной тем, что в ней не было ничего возмутительного, едва не сошло слишком гладко. Но шумная реклама на американский лад устранила эту опасность, вернула фишку, как в детской игре, к началу кона и заставила ее, как положено, преодолевать препятствия.

Новым оказалось и то, что, несмотря на всеобщее недовольство, книга ходила по рукам, вопреки укоренившемуся представлению, будто шедевр должен ждать признания сто лет.

Мне посчастливилось видеть, как Радиге писал ее летом 1921 года, словно штрафное каникулярное задание. Ему шел тогда восемнадцатый год. Не больше и не меньше. Я подчеркиваю это, потому что в этом вундеркинде поразительно мало отклонений от нормы. Феномен Рембо до известной степени объясняется кошмарами и чудесами детства. За руками этого звездного фокусника никак не уследишь. Радиге же работает на виду, с засученными рукавами.

Рембо в точности отвечает представлениям публики о гении как о чем-то ослепительном и драматичном. Радиге выпало счастье родиться позже того времени, когда избыток ясности и банальности навлекал на себя громы и молнии. Поэтому он может поражать своей обычностью, спокойствием гения, который выглядит как высшая степень таланта, и только.

Вы уже поняли, к чему я клоню. И угадали прямую линию, обросшую словесными зигзагами.

Видите ли вы эту прекрасную линию(...)? Мученики проклятой литературы, крестники Поля Верлена, позволят нам замкнуть круг.

Не подумайте, что таких, как мы, много. Шаблонные представления о бунте (Рембо сказал бы «привычные, как застарелый зуд») все еще мешают понять, что ныне анархия выступает в облике смиренной голубки.

Я словно снова иду по проволоке, один. И словно слышу голоса доброжелателей: «Остерегайтесь, Радиге молод, вы вскружите ему голову. Вспомните, как в кафе «Ротонда» юный чемпион-шахматист проиграл последнюю партию, ослепленный вспышками фотографов». Опасения напрасны. Никакие фотографы не вскружат голову нашему чемпиону, ибо музы поразили его тем безумием наизнанку, которое есть сама мудрость.

Если бы белоколонные храмы были только архитектурой, их судьба была бы довольно жалкой, но в храме живет богиня. Богиня — Поэзия. И я хотел бы, чтобы мои друзья-космополиты воздвигли в этом храме ее разрисованную статую с огромными эмалевыми глазами. Ужасную, как убранный красными перьями бог войны из Британского музея. Ведь поэзия, как я ее понимаю (надеюсь, я могу сказать, как мы ее понимаем), вовсе не такова, какой представляют ее неоклассики. Она, как ни странно, позволяет мне восхищаться одновременно графиней де Ноай [13] и Тристаном Тцара [14].

Поэзия — род электричества. И этот ток я ощущаю в них обоих. Ну, а какой формы электрические лампочки и абажуры — это уже другой вопрос.

Не думайте, будто я им пренебрегаю. Теперь как раз пришел черед заняться абажурами. Меня всегда злит, когда восхищаются светильниками без разбору: исправными и неисправными. Но это уже следующий этап новизны.

Увы! «Дочь Миноса и Пасифаи» [15] Расина всегда будет казаться прекраснее, чем бодлеровская «Служанка скромная с великою душой» [16].

И все же, хотя мне не по душе так называемый «идейный стих» (например: «На дряхлый наш словарь колпак надвинул красный» [17] у Гюго. Стих Бодлера я не назову идейным, потому что в нем форма и смысл едины), но все же верх дурного вкуса — это не он, а мелодичный стих и мелодичная проза. Стоит какой-нибудь газете обратиться к читателям с просьбой выбрать лучшие, по их мнению, отрывки из Ренана [18], как все дружно цитируют мелодичные фразы. Доведись мне участвовать в этом опросе, я бы сказал: «Фраза Ренана хороша тогда, когда меня волнует ее мысль».

Прекрасный французский язык не течет, не льется наподобие итальянского. Он компактен. Будь то язык Бенжамена Констана, Стендаля, мадам де Лафайет, Монтеня, Паскаля, Монтескье, Рембо, Малларме,— он всегда легок, точен, искрист и плотен, как снежный комок.

Точные определения поэзии, ее музыки, ее образов смешны и нелепы. Поэзия — карточный фокус, который проделывает душа. Она — в нарушении равновесия, в божественных каламбурах.

«Свадьба на Эйфелевой башне» — сложная система передач, с помощью которой я перенес поэзию на сцену. И горжусь тем, что впервые показал — не понятый никем, даже поклонниками пьесы — поэзию в театре, ведь обычно, создавая поэзию для театра, допускали ошибку: плели тонкое кружево, забывая, что на него будут смотреть издалека. Я сплел кружево из веревок, и меня никто не понял. Аплодировали фарсу, сатире, а я хотел вовсе не этого. Я отказался от всякой образности, всяких словесных ухищрений. Осталась только поэзия. То есть для современного слуха не осталось

---

[12] Бернар Грассе (1881—1955) — знаменитый парижский издатель, выпускавший в свет книги Радиге.

[13] Анна де Ноай (1876—1933) — французская поэтесса, последовательница романтической школы.

[14] Тристан Тцара (1896—1963) — глава школы дадаистов.

[15] Строка из трагедии Расина «Федра».

[16] Начальная строка стихотворения Бодлера («Цветы зла», цикл «Парижские картины», CIX), перев. П. Якубовича.

[17] Строка из стихотворения Гюго «Ответ на обвинение», перев. Э. Линецкой.

[18] Эрнест Ренан (1823—1892) — французский писатель и историк.

ничего. Англосаксы принимают «Свадьбу» за нонсенс.

Стоит ли особенно удивляться тому, что новая красота поначалу невидима? Макс Жакоб этим летом писал мне: «Ты вечно жалуешься, что тебе трудно пишется, а теперь радуешься ангелу, который вот уже четвертый день помогает тебе. Остерегайся. Не доверяй ангелам, часто ими прикидываются демоны».

Так и вышло. Я пишу с трудом, а тут вдруг какое-то наитие. И что же: оказалось, моя работа годится только на растопку.

Что не поддается сравнению, то обескураживает. Сравнение лежит в основе самого механизма удовольствия. Порой работа удовлетворяет нас потому, что напоминает нечто, запавшее прежде в душу. Но наша собственная новизна, которой не на что опереться в памяти, выбивает у нас из-под ног почву, ставит отдельно от целого мира. Она смущает и разочаровывает нас точно так же, как разочарует и смутит читателя.

В зависимости от духа времени новое покажется нам или слишком диким, или слишком пресным. Мы недоверчиво осматриваем этого лысого младенца — совсем не таким рисовалось нам наше чадо. Суметь, преодолевая отвращение, убедить себя в своей правоте очень трудно.

Послушайте, как расхваливает картину торговец, чтобы продать ее: «Этот Пикассо — вылитый Джотто. Этот Джотто прямотаки — Пикассо. Этот Ренуар — настоящий Ватто. Этот Ватто — Ренуар. Этот Сезанн — Эль Греко. Этот Эль Греко — Сезанн. Этот Гойя — Мане. Этот Мане — Гойя».

Для критиков шедевр — произведение, которое можно с чем-то сравнить, которое имеет вид шедевра. Однако подлинный шедевр не таков. Он обязательно кривоног, невзрачен, в нем все неправильно, но в свое время именно его восторжествовавшие ошибки и канонизированные изъяны и сделают его шедевром. «Одержимый» дорог мне не тем, чем он напоминает «Адольфа»[19], а тем, что́ критики считают его недостатками.

Когда-нибудь в Лувре повесят кубистское полотно Пикассо. Но все мы вроде того моряка из старого романса, у которого на левом плече сидел попугай, а на правом — обезьяна. Пока Пикассо напоминает Энгра или Коро, наш попугай в восторге. Но стоит ему отойти от образцов, как наша обезьяна приходит в ярость. Задушим же этих мерзких тварей.

[19] «Адольф» — роман французского писателя Бенжамена Констана (1767—1830).

Позвольте рассказать вам по этому поводу анекдот об автомобилистах в Китае. Знаете? Когда они проезжали по одной китайской деревне, у них прохудился бак с бензином. Стали искать мастера и нашли такого, который не мог починить бак, но брался за два часа сделать точно такой же. И вот автомобиль снова в пути. Среди ночи — новая авария. Китаец сделал все как было, и дырку тоже.

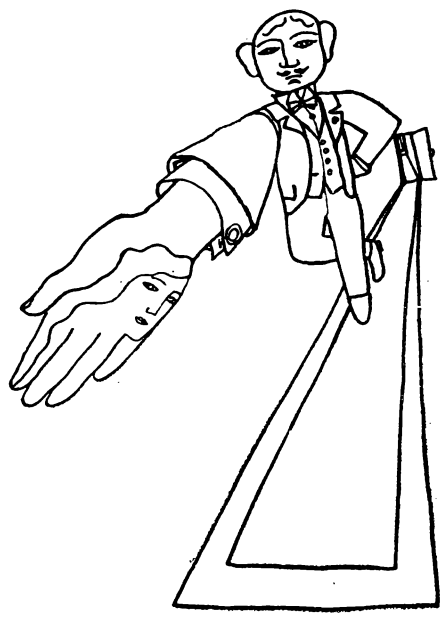
Господа, не подумайте, что я призываю идти назад или копировать дырку. Стройность, которую я возвещаю, увы, будет казаться нестройной, так же как моя гармония нескладной, мой Парфенон — перекошенным.

Но облик мира меняется, а вместе с ним и нос Клеопатры[20].

Перевод с французского Н. МАВЛЕВИЧ

[20] Намек на изречение Паскаля: «Нос Клеопатры: будь он чуть покороче — облик земли стал бы иным» («Мысли», 162), перев. Э. Линецкой.

Иллюстрация к одному из изданий книги «Профессиональная тайна».



◆

Резонанс

Тема для дискуссии: СВОБОДА И РЕВОЛЮЦИЯ

Великая французская революция как классический образец социального переворота дает богатый материал для осмысления опыта, обретенного человечеством в ходе революций и гражданских войн. Главный, мучительный для всех нас вопрос — это несоответствие задач, которые ставит восставший народ, достигаемым в ходе революции результатам. Во все времена и эпохи революция порождалась мощным, всеохватным импульсом к справедливости и свободе, однако удержать свободы, завоеванные ценой громадных жертв, народу всякий раз оказывалось не под силу. В предлагаемых для обсуждения статьях авторы — литературовед, преподаватель ВГИК М. Толмачев и политолог, сотрудник Института США и Канады В. Сергеев — пытаются исследовать механизм данного явления. При этом рассматривается лишь один аспект этой многогранной, поистине неисчерпаемой темы: метаморфозы, происходящие в ходе революции с печатью и словом, роль которых в воздействии на общественное сознание многократно возрастает в период социальных потрясений.

М. В. ТОЛМАЧЕВ

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СВОБОДА ПЕЧАТИ

Свобода печати провозглашалась в той или иной форме всеми европейскими революциями нового времени, и тем не менее нет картины более сложной и противоречивой, чем процесс осуществления этого принципа в ходе революции. Рождая беспрецедентную свободу печати, революция затем неминуемо отказывается от нее и вводит цензуру, небывалую для «старого режима». В результате свободе печатного слова наносится такой удар, от которого она не может оправиться и после окончания периода революционной диктатуры. Постреволюционные, в особенности «цезарианские», «бонапартистские», режимы умело используют эту обессилевшую, низведенную до рептильного состояния прессу в роли проводника своей политики, восхвалителя всех начинаний государственной власти. Провозглашенная революцией свобода печати приходит лишь с падением вышедших из гражданской войны авторитарных режимов. С особой четкостью данный процесс выявил себя во время Великой французской революции, где с 1789 года политическое развитие проходило в своих классических формах.

Само понятие «свобода печати», как и вообще политическая журналистика, появилось во Франции вместе с революцией. Когда перед лицом надвигавшейся экономической катастрофы король Людовик XVI был вынужден объявить о созыве Генеральных штатов — а постановление Государственного совета от 8 июля 1788 года призвало «всех ученых и просвещенных людей» высказаться по этому поводу,— Парижский парламент, высшая судебная инстанция страны, в постановлении от 5 декабря 1788 года потребовал свободы печати «как единственной гарантии всех прав».

Несмотря на то, что первая французская газета была основана Теофрастом Ренодо еще в 1631 году, во Франции XVIII века газеты влачили довольно жалкое существование. Не установился или, во всяком случае, был довольно далек от современного сам тип этого издания. Вольтер определил его как «сообщение о государственных и общественных делах», но в действительности читателю предлагалось несколько разнородных фактов из

области административной деятельности, сообщения о книжных новинках, отчеты о выставках и спектаклях, светская и придворная хроника. Отношение к периодическим изданиям со стороны властителей умов того времени было самым пренебрежительным; устами Руссо им отводилась роль пустого развлечения для праздных людей: «Что такое периодическое издание? Эфемерное, лишенное всяких достоинств, не приносящее пользы произведение, чтением которого пренебрегают серьезно образованные люди и назначение которого тешить тщеславие глупцов и женщин, ничему их не научая».

Когда просветителям требовалось провести политическую кампанию, они прибегали, подобно Вольтеру, выступившему в защиту Каласа и Де ла Барра, к памфлету и к письмам, перечитывавшимся и обсуждавшимся в кругу единомышленников и в литературных салонах; до широких слоев населения эти обращения, естественно, не доходили.

Несмотря на большую активность общественно-политической мысли, в предреволюционной Франции регулярно выходило всего три газеты — «Газета Франции» («Газетт де Франс»), основанная еще Ренодо, «Французский Меркурий» («Меркюр де Франс»), которую начал выпускать в 1672 году Донно де Визе, и «Парижская газета» («Журналь де Пари»), первая французская ежедневная газета, увидевшая свет в 1777 году. Из них политических вопросов, и то лишь отчасти, в порядке конкуренции с двумя старейшими изданиями, касалась одна только «Журналь де Пари». В целом же политика была отдана на откуп или слухам, или брошюрам и памфлетам тайных отечественных типографий и издателей Лондона, Женевы и Амстердама.

Положение резко изменилось в 1789 году. Поначалу, как бы в ответ на призыв Государственного совета ко «всем ученым и просвещенным людям» выразить свои пожелания правительству в связи с созывом Генеральных штатов, на страну буквально обрушилась волна различных речей, брошюр, всевозможных изданий, обращенных не к хранителю государственной печати, как это было предусмотрено, а к общественному мнению: советы в них подавались не королевской власти, а всей нации в целом. Это был подготовительный этап свободы печати, когда гласность делала свои первые шаги и осуществляла себя «явочным» порядком. В 1788 — 1789 годах, вплоть до открытия Генеральных штатов, памфлеты выполняли роль отсутствующих оппозиционных политических газет: в них призывалось к уничтожению привилегий дворянства и духовенства, равномерному налогообложению, сокращению расходов двора, ликвидации феодальных повинностей, финансовой, экономической и правовой реформам, созданию ответственного правительства. Напуганные потоком этой пропагандистской литературы, король и премьер-министр Неккер пытались остановить его течение, но из этого ничего не вышло: грубые полицейские меры вызвали всеобщее возмущение, и правительство вынуждено было отступить.

По мере приближения даты открытия Генеральных штатов вождям третьего сословия становилась все более очевидной задача создания новой массовой формы общественной агитации. Время не только салонного обсуждения политических вопросов, но и обращенных к более или менее просвещенной публике брошюр и памфлетов уходило в прошлое. Необходим был новый тип печатного издания, с частой периодичностью, ориентированный на самую широкую, просто грамотную публику, держащий ее в курсе политических событий, освещающий их в нужном для издателя свете, подводящий читателя к нужным для издателя выводам. Этим типом издания стала политическая газета, рожденная приближавшимися революционными событиями.

Первая попытка в этом направлении принадлежала журналисту Бриссо де Варвилю, в будущем одному из видных деятелей жирондистской партии. 16 марта 1789 года он издал проспект газеты «Французский патриот», которую намеревался выпускать два раза в неделю; за этим проспектом последовал 1 апреля более развернутый второй с весьма красноречивым эпиграфом: «Свободная газета — это часовой на страже интересов народа».

Бриссо, пожалуй, первым сформулировал роль газеты как средства политического воздействия на массы, как способа воспитания их в определенном политическом направлении. «Газета,— писал он,— это единственный способ просвещения многочисленной, стесненной в развитии своем, не привыкшей к чтению нации, стремящейся выйти из состояния невежества и рабства...»

Проспект, в котором, в частности, обещалось держать читателей газеты в курсе событий «нынешней революции» (любопытно отметить, что термин употреблен

за четыре месяца до взятия Бастилии по отношению к процессу, начатому по инициативе, хотя и вынужденной, верховной власти), вызвал смятение в правящих кругах. Управление по печати запретило распространение как проспекта, так и газеты на том основании, что на их издание не было «ни испрошено, ни выдано какого-либо разрешения». Тем не менее до открытия Генеральных штатов Бриссо удалось выпустить один номер «Французского патриота». Впоследствии в своих записках он объяснял его первоначальное запрещение происками газет, имевших королевскую привилегию (разрешение), в частности, доносом, исходившим от «Журналь де Пари», а прекращение издания после первого номера — цензурными рогатками. Поскольку в момент прекращения «Французского патриота» уже заседали Генеральные штаты, Бриссо обратился к ним со специальной памятной запиской, в которой, по его словам, «отмечал скандалезные цензурные злоупотребления и доказывал необходимость объявить полную свободу печати».

У нас нет свидетельств прямой реакции Генеральных штатов и их преемника Национального собрания на памятную записку в виде принятия особого положения или закона о печати. Свобода печати была осуществлена самой жизнью в ходе развития революции и затем закреплена лишь в самых общих чертах как свобода слова в статье XI «Декларации прав человека и гражданина».

2 мая 1789 года, за три дня до открытия Генеральных штатов, специально выпущенный проспект объявил о предстоящем выходе газеты «Генеральные штаты». Издателем ее стал депутат третьего сословия от Прованса граф Мирабо, находившийся тогда в апогее своей популярности. Газета должна была выходить три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам, и состоять из трех частей — отчета о заседаниях штатов, краткого обзора наиболее интересных сочинений по современным вопросам и сообщений с мест, адресованных издателю. Дерзкий тон первых двух номеров газеты, от 5 и 6 мая, встревожил правительство, и издание было немедленно запрещено как вышедшее без разрешения, а также «предосудительное как по форме, так и по содержанию». Тогда Мирабо решил воспользоваться своей депутатской неприкосновенностью и под предлогом необходимости постоянного общения с избирателями возобновил газету под названием «Письма графа Мирабо к своим избирателям». На этот раз власть была не в силах помешать изданию, и затем, когда уже отпала необходимость в защитной маскировке, оно приняло с 20-го номера наименование «Курьер Прованса» (всего было издано 350 номеров газеты).

Пример Мирабо не остался без подражания. В частности, 29 августа 1789 года адвокат Готье де Биоза, депутат третьего сословия от Оверни, основал «Газету дебатов и постановлений». Будучи поначалу небольшим утренним листком, сообщавшим избирателям о ходе работы Национального собрания, это издание стало впоследствии могущественной «Газетой дебатов» («Журналь де деба»).

Таким образом, можно считать, что ежедневная и выходящая два-три раза в неделю французская пресса родилась из общественного интереса к событиям революции и стремления депутатов информировать своих избирателей о них под определенным углом зрения.

Падение Бастилии и принятие 26 августа 1789 года «Декларации прав человека и гражданина» открыло во Франции путь практически любым публикациям. Свобода печати отныне — впервые в истории — становится правовым понятием. Статья XI Декларации провозглашала: «Свободная передача мыслей и мнений является одним из самых драгоценных прав человека. Поэтому каждый гражданин обладает свободой слова, письма, печати, отвечая только за злоупотребление этой свободой в случаях, предусмотренных законом». Неудивительно, что к концу 1789 года в Париже насчитывалось уже более 140 газет; все они были связаны с политическими партиями, подчинены злобе дня, по большей части неумеренны в выражениях и неразборчивы в средствах воздействия на общественное мнение. Один из современников имел все основания писать: «Сегодня газетчики взяли на себя роль прокурорского надзора; они разоблачают, постановляют, руководят, как никогда; им дано разрешать и запрещать. Изо дня в день они ораторствуют, и встречаются среди них громовые глотки, заставляющие слышать себя в восьмидесяти трех департаментах. Плата, чтобы послушать оратора, всего два су. Каждое утро газеты сыплются на нас как манна небесная...» И действительно, читатель был буквально погребен под извержением ежемесячных, еженедельных, ежедневных листков самой различной политической направленности — от роялистской до эгалитаристской и самой различной тональности — от

элегической до площадной, фарсово-сатирической. Каждое из этих изданий стремилось любыми средствами завоевать читателя, не чуждаясь ни ядовитых намеков, ни прямых оскорблений, прибегая к передержкам, а подчас и к клевете, заигрывая с аудиторией, а иногда и прямо льстя ей. Если газеты не покупали, их раздавали бесплатно, если их не брали даром, то их расклеивали на стенах, как это делал жирондист Луве со своим «Часовым».

В целом французская печать с начала революции и до упразднения монархии 10 августа 1792 года дает весьма широкий спектр политических убеждений. Это время первого расцвета свободы печати с присущим ему идеологическим плюрализмом. В прессе представлены приверженцы всех партий, всех мнений. Сторонники старого режима не составляют в этом смысле исключения. Так, защитники королевской власти основали в ноябре 1789 года газету «Деяния апостолов», в которой Ривароль преследовал своими насмешками «апостолов» революции, издевался над Национальным собранием, «этой смрадной шайкой адвокатов», но, случалось, не щадил даже особу самого короля. Не уступала «Деяниям апостолов» в ненависти к революции газета «Друг короля французов», начавшая выходить 1 июня 1790 года, хотя политическая агитация велась в ней на более серьезном уровне. Общим для обеих газет были постоянные призывы к государственному перевороту, требования голов шестисот главных революционеров и конфискации их имущества, советы армиям контрреволюционной коалиции относительно путей наилучшего проникновения во Францию.

Органом жирондистов была газета «Французский патриот», издаваемая Бриссо. После неудачной попытки, предпринятой весной, Бриссо возобновил ее выпуск 28 июля 1789 года. Плодовитый публицист, дважды заключавшийся при старом режиме в Бастилию, побывавший в Англии и в Соединенных Штатах, Бриссо склонялся к республиканизму на самом раннем этапе революции, а это было тогда еще довольно редким явлением. «Французский патриот» активно нападал на «партию двора» и старые учреждения, что сразу принесло ему большую известность. После бегства короля в Варенн и его возвращения в Париж, когда летом 1791 года дебатировалось упразднение монархии, Бриссо во «Французском патриоте» одним из первых выдвинул идею республики. Как это ни странно, против него выступил Робеспьер, заявивший, что своим лозунгом Бриссо «вносит раскол в среду патриотов, подает подлинных друзей свободы как бунтовщиков и, возможно, заставляет отступить революцию на полвека назад». С легкой руки Робеспьера обвинения в преждевременности, а то и провокационности политических лозунгов Бриссо стали постоянной темой якобинских нападок на этого деятеля Жиронды (К. Демулен объявил несвоевременным требование освобождения негров в колониях, а Фукье-Тенвиль в своей прокурорской речи на процессе жирондистов утверждал, что призыв Бриссо к установлению республики имел целью вызвать избиение патриотов; соответственно, то отвергался, то брался на вооружение, в зависимости от обстоятельств, жирондистский призыв к «революционной войне», и, как можно судить по вышедшей в 1988 году книжке Е. Б. Черняка «Вековые конфликты», полемика по этому вопросу не утратила своей актуальности и по сей день).

Став в 1792 году депутатом Конвента, Бриссо постепенно отошел от редактирования «Французского патриота» и передал его своему последователю и сотруднику Жире-Дюпре. Для газеты и в целом для жирондистской партии, вступившей в это время в заключительную фазу своей борьбы с якобинцами за власть, это было весомой потерей: остроумный и резкий Жире-Дюпре уступал Бриссо в ведении ежедневной политической полемики.

«Французский патриот» издавался вплоть до падения жирондистов; последний, 1388-й, номер газеты вышел в свет 2 июня 1793 года. Вначале «Французский патриот» ограничивался почти только изложением прений в Национальном собрании, хотя был далек от сухого протоколизма и широко прибегал к разбору и оценке дебатов. Затем в газете стали появляться статьи на различные общественно-политические темы. Среди сотрудников «Французского патриота» были крупные политические деятели, философы, публицисты — Петион, Грегуар, Кондорсе, Т. Пейн, г-жа Ролан и другие.

Кроме «Французского патриота» с жирондистской партией были связаны также газеты «Парижская хроника» с довольно разнообразными рубриками — от литературного фельетона и театральной критики до курса государственных ценных бумаг — и «Месячная хроника», основанная видным ученым и философом Кондорсе.

Один из главных противников жирондистов, Робеспьер, основал в мае 1792 года газету «Защита конституции». В первом номере этого издания заявлялось о необходимости защищать «принципы равенства и

священные права, предоставленные народу конституцией». Пользуясь уже в это время большим влиянием на Якобинский клуб, Робеспьер вел на страницах своей газеты кампанию в пользу всеобщего избирательного права, надеясь, что этот лозунг привлечет на сторону якобинцев широкие народные массы. Близкого к органу Робеспьера направления придерживались «Газета якобинцев» и «Газета друзей конституции», которую издавал автор знаменитых «Опасных связей» Шодерло де Лакло. Несмотря на полную якобинскую ортодоксию, эти газеты в силу своего доктринерства и педантства не имели в народе и малой степени той популярности, которую с самого начала революции завоевали издания Ж.-П. Марата, К. Демулена и Ж.-Р. Эбера.

Одной из самых неистовых, гневных, непримиримых к противникам газет революции была газета Марата «Друг народа», начавшая выходить под названием «Парижский публицист» 12 сентября 1789 года. С первых же номеров Марат повел яростную атаку на королевский двор, министров, большую часть Национального собрания, парижский муниципалитет, национальную гвардию. Выступая от имени городского и сельского плебса, Марат ратовал за дальнейшее углубление революционного процесса. Особую ненависть вызывал в нем начальник национальной гвардии Лафайет, которого он называл изменником, подлецом, плутом, ловким хамелеоном, раболепным лакеем, убийцей.

Уже с 1790 года Марат стал призывать в «Друге народа» к революционному террору. Так, в номере от 17 декабря 1790 года он писал: «Год тому назад достаточно было бы снести пять или шесть сотен голов, чтобы навсегда сделать вас свободными и счастливыми. Сегодня потребовалось бы десять тысяч. Через несколько месяцев вы, возможно, снесете сто тысяч, и чудесно: мира у вас не будет, если вы до конца не выкорчуете заклятых врагов родины». На следующий день, 18 декабря, следовали призывы в том же духе: «Перестаньте терять время на раздумья о средствах защиты. У вас есть всего одно — то, которое я вам столько раз рекомендовал: всеобщее восстание и народные казни. Даже если понадобится снести двадцать тысяч голов, не следует колебаться ни мгновения».

С лета 1792 года основным объектом инвектив Марата становятся жирондисты. После начала военных действий между Францией и контрреволюционной коалицией «Друг народа» сосредоточивает огонь своих разоблачений также на деятельности французских военачальников, которых он обвиняет в измене, намеренных поражениях и истреблении своих войск руками противника. В одной из статей Марат убеждал войска в необходимости расправы с командирами, которые, по его словам, «ведут их на бойню».

В своей газетной практике Марат часто возвращался к одной и той же теме, рассчитывая на ее лучшее усвоение читателем путем повторения. Однако содержание «Друга народа» не исчерпывалось только постоянной пристрастной критикой политических противников или яростными агитационными призывами; в газете Марата было и немало «спокойных», даже проницательных статей.

Кроме «Друга народа» левая французская пресса начального этапа развития революции была представлена газетой К. Демулена «Революции Франции и Брабанта», издававшейся с 28 ноября 1789 по июль 1791 года (всего вышло 86 номеров). Даже по понятиям того времени это издание мало походило на газету и было, в сущности, периодическим памфлетом, направленным против двора и правых членов Национального собрания. Весьма язвительный и нередко грубый в насмешках, Демулен заметно уступал Марату в постановке общих вопросов, сводя свою полемику к «личностям».

Одной из наиболее содержательных газет периода революции была газета «Парижские революции», выходившая с июля 1789 по 28 февраля 1794 года. Газета была еженедельной, представляла собой брошюру в 8-ю долю листа из 48 страниц, напечатанную весьма компактно и убористо. «Парижские революции» имели громадный по тем временам успех: тираж некоторых номеров достигал 200 000 экземпляров. Кроме отчетов о заседаниях Национального собрания и последних известий газета помещала основательные статьи по всем актуальным вопросам; много внимания уделялось в ней чисто парижским обстоятельствам. Издавал «Парижские революции» типографщик Прюдом, но подлинным вдохновителем ее, редактором и автором большинства статей был радикальный публицист Элизе Лустало, уже осенью 1789 года выступивший против «новой аристократии богачей», а в начале 1790-го заговоривший о праве «каждого бедняка потребовать для себя клочка земли и хижины». После преждевременной смерти Лустало в 1790 году и прихода в газету А. Шомета она постепенно превратилась в орган монтаньяров-якобинцев, что окончательно обозначилось после падения монархии, когда

Шомет стал прокурором Парижской Коммуны. Это не помешало «Парижским революциям» сохранять большую степень объективности в освещении событий. Один из первых историков французской прессы Э. Атен имел все основания писать в середине XIX века, что газета дает «наиболее полную, точную и беспристрастную картину столичных волнений в первые, самые драматические годы революции» (подразумеваются 1789—1794 гг.).

Особое место среди левой французской периодики занимала газета «Папаша Дюшен», издававшаяся Ж.-Р. Эбером с конца 1790 года. Освещение событий, агитация и пропаганда велись в ней от лица папаши Дюшена, насмешника и говоруна, ставшего излюбленным типом массовой, лубочной литературы еще до революции, в конце 80-х годов. Газета изобиловала площадными шутками, жаргонизмами, площадными ругательствами, что немало способствовало ее успеху в плебейской среде.

Панорама политической прессы 1789—1792 годов была бы неполной, если не упомянуть кроме роялистских и разного толка республиканских газет такие органы конституционалистов, как «Французский Меркурий», «Газета Общества 1789 года» и особенно «Регулятор», в котором сотрудничали видные литераторы Мармонтель, Лагарп, Шамфор, Андре Шенье. И наконец, почти с самого начала революции заявила о себе газета, в силу своей угодливости и приспособляемости выступавшая то полуофициальным, то официальным органом всех правящих режимов вплоть до 1869 года: ею стал «Всеобщий наставник» («Монитёр юниверсель»), первый номер которого был выпущен издателем Ж. Панкуком 24 ноября 1789 года.

Падение монархии 10 августа 1792 года привело к резкой поляризации сил французской прессы, и это было началом конца для свободы печати. 12 августа генеральный совет Парижской Коммуны постановляет: «Пусть отравители общественного мнения... будут подвергнуты тюремному заключению, а их станки, литеры и инструмент переданы издателям-патриотам». Пришел роковой момент, который в любой революции, при любом общественном строе наступает тогда, когда запрещается тот или иной орган печати или группа органов. Раз начавшись, процесс этот уже не может остановиться. Пока со сцены общественной жизни были устранены роялистские газеты; правда, отдельным из них удавалось еще некоторое время выходить в условиях подполья, и во время процесса Людовика XVI «Утренний листок» вел кампанию в пользу короля, а после его казни в январе 1793 года взывал к отмщению. Закрытие роялистских газет явилось одним из предвестников террора, первой вспышкой которого были «сентябрьские убийства» 1792 года — расправы над «бывшими» в парижских тюрьмах.

Борьба за власть между группировками победивших республиканцев проходила в условиях сужения диапазона свободы печати и спектра допустимых мнений. Основная схватка в прессе за общественное мнение по вопросу дальнейшего развития революции с осени 1792-го завязалась между умеренными — жирондистами и крайними — монтаньярами (якобинцами). Главными газетами жирондистов были «Французский патриот» Бриссо, «Курьер» Горса́, «Патриотические и литературные анналы» Карра́, «Часовой» Луве, «Газета друзей» Фоше. Этим издателям противостояли «Друг народа» Марата, «Газета Горы» Ш. Лаво и Т. Руссо, «Антибриссотинец», «Антифедералист» и другие. Неистовость газетной полемики соответствовала накалу политической борьбы, закончившейся победой якобинцев. За устранением жирондистов от власти в результате восстания 31 мая — 2 июня 1793 года последовало закрытие их газет.

Едва закончилась борьба между жирондистами и монтаньярами, как в рядах победителей обозначилось два течения — одно крайне левое, представленное Эбером, Шометом, Клоотсом, приверженцами эгалитаризма и атеизма, другое — умеренное, главными фигурами которого были Дантон, К. Демулен, Фабр д'Эглантин и другие. Комитет общественного спасения, фактически якобинское правительство, до поры до времени держался в стороне от этой борьбы, намереваясь поочередно устранить обе группы. Оба крыла монтаньяров активно выражают свои взгляды в газетах; так, Эбер и Шомет в «Папаше Дюшене» и «Парижских революциях» яро ополчались не только против спекулянтов, но и против торговцев вообще, призывали к увеличению заработной платы рабочим; со своей стороны, Камиль Демулен, выпускавший зимой 1793—1794 годов газету «Старый Кордельер» (вышло шесть номеров), подвергал в ней критике политику Комитета общественного спасения. За устранением весной 1794 года робеспьеристами с политической арены обеих групп последовало прекращение их изданий.

В целом время якобинской диктатуры знаменовало отказ от принципа свободы печати. 17 сентября 1793 года Конвент без

обсуждения принял «Закон о подозрительных». Революция вступила в свою завершающую фазу: террор, направленный раньше против роялистов и эмигрантов, обращался теперь против всех, кто не разделял взглядов Горы. Согласно «Закону о подозрительных» «писания» контрреволюционеров (то есть противников якобинцев) карались смертной казнью. Так 12 июля 1794 года на эшафоте погиб вместе со своей женой журналист Рок Маркандье, бывший в прошлом одним из самых активных членов клуба Кордельеров. Потрясенный сентябрьскими убийствами 1792 года, Маркандье порвал со своими единомышленниками и 10 мая 1793 года стал издавать газету «Подлинный Друг народа», в которой уже после падения жирондистов называл Робеспьера «лисой», «тартюфом» и даже «якобинским королем».

В результате репрессивных мер во время якобинской диктатуры свобода печати оказалась на несравненно более низком уровне, чем до начала революции. Переворот 9 термидора (27 июля) 1794 года и установившийся с 1795 года режим Директории не привели к подлинному оживлению политической прессы. Понимая, что «журналисты полновластно руководят общественным мнением», как выразился один из членов Директории, правительство поспешило, с одной стороны, с помощью особого закона поставить печать под наблюдение полиции, с другой, благодаря субсидиям сделать небольшое количество газет проводниками своей политики, что с еще большей последовательностью осуществил затем Бонапарт, истребивший всякий дух независимости во французской прессе.

Таким образом, провозгласив принцип свободы печати, Великая французская революция в ходе своего развития смогла реализовать его только на очень небольшом временном отрезке. Углубление революционного процесса привело к диктатуре, неизбежно вызвавшей ликвидацию свободы печати. Поэтому якобинский террор имел своим неизбежным духовным последствием общественный индифферентизм, подготовивший сначала коррумпированный режим Директории, а затем милитаристскую диктатуру Наполеона. В сущности, революция только поставила на повестку дня вопрос о свободе печати, как и вопрос о свободе личности. Практически решать эти проблемы предстояло послереволюционной эпохе.

В. М. СЕРГЕЕВ

ДЕСПОТИЗМ СВОБОДЫ

Свобода вкоренена не в бытие, а в «ничто».
Н. Бердяев. Самопознание

В диалоге Платона «Горгий» сталкиваются две точки зрения на ораторское искусство, или, если говорить шире, на искусство убеждения. Софист Горгий считает, что тот, кто учит красноречию, не несет ответственности за зло, причиненное использованием этого искусства. Сократ, в противоположность этому, отрицает возможность существования универсальных способов убеждения, не основанных на знании истины. Для него использование приемов убеждения при отсутствии подлинного знания — это просто умение выдавать ложь за истину.

Столкновение этих двух точек зрения в европейской культуре — явление поистине драматическое и наиболее яркое выражение находит в революционные эпохи. В период социальных катаклизмов возникает острая необходимость в использовании средств убеждения для «мобилизации масс». Всегда ли те, кто подобной мобилизацией занимается, могут обосновать свой взгляд на события, свою политическую платформу с точки зрения подлинно научного знания, «истины»? В эпохи социальных бурь ответ нужно дать немедленно, для политиков важнейшей проблемой становится, как простыми словами объяснить народу очень сложные проблемы, побудить людей к действию.

И в этой ситуации точка зрения Горгия неизменно побеждает, порождая причудливые «политические культуры» убеждения. Один из самых интересных примеров — это риторика периода Великой французской революции, оказавшая огромное влияние на политическую культуру Европы XIX—XX вв.

Деятели этого периода, состязаясь в красноречии, создали совершенно особый стиль восприятия действительности.

Мы живем, постоянно концептуализируя действительность. «Дерево», «звезда», «друг», «враг» — эти понятия имеют определенную структуру, использование их

подкрепляется определенными примерами, и от того, как мы понятия используем, зависит весь ход нашей жизни, то, как мы свою жизнь строим, какие решения принимаем.

Риторика выработала особую культуру управления внутренними механизмами мышления, а следовательно, и убеждениями людей — часто не понимая самих этих механизмов, идя ощупью, давая чисто практические советы. Но именно отсутствие понимания этих механизмов сделало такой затруднительной борьбу со злоупотреблениями риторикой — со злоупотреблениями, с которыми мы сталкиваемся каждый день в газетах, читая ведомственные отписки или статьи, содержащие политическую демагогию. Только выявление и описание тех механизмов, благодаря которым риторическое убеждение в принципе возможно, способно сделать человека свободным от «порабощения словом».

Риторика эпохи Великой французской революции создала свой особый мир, мир сильно мифологизированный, населенный необычными существами, иногда гротескный, напоминающий вселенную Босха. Это многоликий, ипостасный мир светлых символов, внезапно переходящих в кошмары, праведников с оскалом чудовищ, плодов, начиненных ядовитыми гадами.

Этот мир продолжает существовать и сейчас. Риторическая культура не только определила во многом политические события своего времени, но и создала своеобразную перспективу исторического взгляда на революционные события.

Один из наиболее известных историков, исследовавших этот период, Альбер Матьез, оценивая революционный террор, продолжал использовать те же риторические схемы, которые использовались для обоснования террора. Вот один из наиболее ярких примеров: «Если это преступление — организовать деспотизм свободы, чтобы победить деспотизм короля, то Робеспьер совершил преступление, вместе со всеми монтаньярами».

Это высказывание завораживает, трансформирует мир, лишая оппонента самых, казалось бы, надежных аргументов. Преступление ли — казнь невинных людей? Но это — результат «деспотизма свободы». А разве свобода не является высшей ценностью? Даже если она совершает преступления, преступления эти оправданы самим фактом ее существования.

Да полноте, скажет современный аналитик. «Деспотизм» — это политика, политика может осуществляться только политическими субъектами, то есть личностью или организацией, а разве свобода — это политический субъект? Здесь использована метафора, понятие одушевлено, превращено в субъект. Еще один шаг — и Свобода превращается в богиню, на алтарь которой можно приносить жертвы.

Примеров такого рода, когда абстрактные понятия одушевляются с помощью метафор, в политическом дискурсе Великой французской революции великое множество:

«Народ, помни, что если справедливость не царит полновластно, если это слово не означает любовь к равенству и к родине — свобода является пустым звуком» (М. Робеспьер).

«Республика чтит искусства и талант. Она призывает граждан блюсти добрые нравы; она призывает их посвящать свои богатства общественному благу...» (Л. Сен-Жюст).

Мы настолько привыкли к таким метафорам, как «царство справедливости» или «Республика призывает», что не видим в них ничего особенно интересного. Между тем метафоры эти отнюдь не безобидны. Что означает «царствование справедливости»? Может ли справедливость принимать законы, издавать распоряжения, наказывать и казнить людей? История показывает, что может, и еще как! Только в том случае, когда перестает быть понятием и становится Справедливостью (с большой буквы), мифом, божеством. Только используя метафору «царство справедливости», можно прийти к странному выводу, полностью противоречащему словарному толкованию этого слова, что справедливость — это любовь к родине. Что касается республики, призывающей что-то делать,— это уже совершенно освоенное нами клише. Но и оно очень не безопасно. Республика или ее правительство? Можно ли отождествлять эти понятия? О том, куда такое отождествление может завести, ясно свидетельствует наш опыт последних десятилетий.

Мифологизация абстрактных понятий имеет глубокие корни в европейской культуре. Увлечение античностью не прошло даром для деятелей революции. Именно в культуре античности широко использовалось обожествление абстрактных понятий, где Сон и Смерть, Заря и Победа — очеловеченные боги. Риторика революции одушевляет и другие понятия.

Становятся субъектами и мифологизируются Революция, Родина, Гильотина. Использование метафор дает необычайные

возможности. С помощью конструирования политических псевдосубъектов можно оправдать и объяснить такие действия, которые иначе нельзя было бы ни объяснить, ни оправдать. Такие псевдосубъекты, как Родина, Свобода и Революция, являются одновременно и ценностями. Используя субъектную метафору, можно непосредственно связать политические действия с ценностями, минуя анализ интересов и целей социальных групп или лиц, совершающих эти действия. Так, любое выступление, например, против действий Комитета общественного спасения, то есть против действий конкретного политического института, очень легко превращается в «действия против Революции», или в «действия против Свободы», или в «действия против Родины» — в зависимости от того, с чем отождествляется Комитет общественного спасения. Становится возможным без реального политического анализа наклеивать ярлыки — «враг Свободы» или «враг Революции» на каждого, кто попытается посягнуть на власть Комитета. Вот как затыкает рот оппонентам Робеспьер, обвиняя Дантона:

«Моя жизнь — это отечество... Я тоже был другом Петиона, но как только он снял с себя маску, я его покинул; я был связан также с Роланом, он стал изменником, и я разоблачил его. Дантон хочет занять их место, а он в моих глазах только враг отечества.

Нам несомненно нужно теперь какое-то мужество, какое-то величие души. Обыкновенные или преступные души всегда боятся быть свидетелями падения им подобных, потому что, не имея перед собой барьера из преступников, они остаются больше на виду правды...

Впрочем, начавшаяся дискуссия опасна для отечества, она уже является преступным покушением на свободу; ибо свобода оскорблена тем, что поставлен вопрос об оказании одному лицу больше благосклонности, чем другому».

В этих цитатах из речи Робеспьера виден целый букет приемов революционной риторики. Свобода одушевлена. Робеспьер обладает каким-то мистическим даром сообщаться с ней и проникать в ее мысли. Так, например, он почему-то знает, что свобода оскорблена начавшейся дискуссией. Став одушевленной, свобода, как и «справедливость» в цитированном ранее примере, перестает быть понятием. Становясь мифологическим субъектом, понятие превращается в чистое имя, лишаясь смысла. Это — первый шаг к построению оруэлловского «новояза», в котором понятие превращается в противоположность: «свобода — это рабство». В речи Робеспьера хорошо видно, как происходит этот переход. Свобода как политическое понятие — это во многом, и может быть прежде всего, свобода дискуссий. Но для «свободы», ставшей мифологическим субъектом, дискуссия — покушение на свободу. Свобода оскорблена дискуссией, свобода начинает проявлять деспотизм, свобода осуществляет террор, свобода — это рабство — вот как мифологизация понятия последовательно приводит к замене его смысла на противоположный.

Подмена смысла — это второй важнейший прием революционной риторики. Мы не будем здесь заниматься детальным исследованием данного способа влияния на умы, это замечательно сделано Дж. Оруэллом в романе «1984 год» — но один яркий пример хотелось бы привести. В декрете о создании «Чрезвычайного революционного трибунала» от 9—10 марта 1793 года Конвент постановляет, в частности: «Лица, изобличенные в преступлениях или правонарушениях, не предусмотренных Уголовным кодексом и последующими законами или не подведенных под определенную меру наказания, которые своим антигражданским поведением и пребыванием на территории Республики вызвали бы общественные смуты и беспорядки, будут приговариваться к высылке».

Постойте, что же это за «преступления», которых нет в Уголовном кодексе и других законодательных актах? В чем же тогда смысл слова «преступление»? Ответ дается — это «антигражданское поведение». Что это такое, остается только гадать, но пища для размышления есть.

Как тут не вспомнить иные формулировки нашего законодательства? И здесь, как мы видим, наша традиция имеет глубокие исторические корни.

Итак, мы рассмотрели два существующих приема революционной риторики, тесно связанных между собой,— мифологизация понятий и замена смысла. Третий важнейший прием — использование универсальных объяснительных схем.

Что же такое «универсальная объяснительная схема»? Это — космологическая конструкция, которая не может быть подтверждена или опровергнута экспериментально. Например: «В мире существуют две силы — Сила Добра и Сила Зла, которые постоянно борются друг с другом». Или: «После смерти праведники будут вознаграждены помещением в Рай». Или: «Вен-

цом человеческой истории явится создание царства Справедливости».

В эпоху Великой французской революции важным элементом революционной политической культуры стала универсальная объяснительная схема, согласно которой все трудности и неудачи являются результатом козней врагов революции. Эта схема неопровержима. Чрезвычайно трудно доказать, что те или иные неприятности не являются следствием чьего-то субъективного замысла. После того, как эта схема действительно стала неотъемлемой частью коллективного сознания — на это понадобится около двух лет,— любой донос приобретает абсолютную силу, он лишь подставляет того или иного субъекта в готовую рамку, применимую в любых обстоятельствах, и потому неопровержим.

Вся деятельность Марата — это сплошные поиски заговоров и предательств. Любое политическое несогласие с его точкой зрения — заговор против Революции.

«Партия государственных людей, почти состоящая из развращенных членов двух первых собраний, является не только решительным защитником контрреволюционеров, но и сама представляет открытую контрреволюцию».

«Я сорвал маску с клики...»

«Еще сегодня гнусные придворные стоят во главе армий республики, бывшие лакеи тирана командуют солдатами свободы...»

Вот образцы подобного красноречия. И почти полное отсутствие фактов. Одни оценки. Не напоминает ли этот риторический стиль кое-что из нашей жизни?

Марат последовательно создает своими статьями и выступлениями чисто манихейскую картину борьбы Добра и Зла, Друзей народа и Врагов народа, защитников Свободы и ее предателей:

«Когда вечные измены коварного двора и его ставленников, когда беспрестанно возобновлявшиеся заговоры врагов революции, когда кровавые козни приспешников деспотизма угрожали уничтожению свободы...

Кто из вас осмелился считать преступным то, что я рекомендовал последнее оставшееся у нас средство общественного спасения?...

Если бы эта спасительная мера была применена сейчас же, после взятия Бастилии, сколько бедствий было бы предотвращено!

Если бы тогда срубили пятьсот изменнических голов, сто тысяч патриотов не были бы убиты, сотне тысяч патриотов не угрожала бы смерть, различные клики не раздирали бы государство, его не сотрясали бы мятежом, оно не было бы предано смутам, анархии, нищете, голоду, гражданской войне».

Именно в силу своей неопровержимой схемы борьба «добра» и «зла» приобретает огромную политическую значимость. Она становится как бы скелетом понимания действительности. Достаточно подставить конкретное лицо в эту схему (например, обвинив в заговоре) — и тяжесть доказательства невиновности перекладывается на обвиненного.

Хорошо известное «наклеивание ярлыков» — как правило, просто подстановка в эту схему конкретного лица. «Эффективность» подобного метода социальной борьбы была доказана еще средневековой инквизицией.

Революционная риторика успешно освоила этот прием. Из цитированного выше отрывка речи Робеспьера против Дантона хорошо видно, что никаких конкретных доказательств вины Робеспьер не приводит — он просто называет Дантона врагом революции и свободы, этого достаточно. Теперь дело Дантона — оправдываться. Но оправдываться ему не дадут — дискуссии «оскорбляют свободу».

Здесь нет возможности приводить большое число примеров использования рассмотренных выше приемов — желающие легко обнаружат их практически в любом выступлении крупных деятелей Великой французской революции.

Глубоко антирационалистический, антиинтеллектуальный риторический стиль французской революции — это результат превращения борьбы идей в борьбу личностей, отказа от признания права на свободу мнения во имя свободы политического террора.

Революция разбудила воображение масс. Действительность наполнилась мифами. Смысл новых ценностей — Свободы, Демократии, Справедливости — еще долго оставался неясным. Торжество мифа превращает действительность в сон. Разум засыпает, а «сон разума рождает чудовищ».

Периоды разрушения старых ценностей и рождения новых — реальность исторического процесса, они были и будут. И сейчас мы переживаем именно такой период. Ломка старых ценностей — это, конечно, освобождение, но «Свобода вкоренена не в бытие, а в «ничто», и она может произвести на свет монстров. В бытии укоренены новые ценности, ограничивающие свободу, и эти новые ограничения не так страшны, как ее деспотизм.

◆

Резонанс

На анкету «ИЛ» отвечают зарубежные русисты

Вопросы

1. Как Вы оцениваете перемены, происходящие в общественной жизни нашей страны, и воздействие гласности на культурную ситуацию в Советском Союзе? Происходят ли в этой связи какие-либо изменения Вашей концепции развития советской литературы?

2. Удовлетворены ли Вы развитием культурно-политического диалога между Вашей страной и СССР?

3. Остались ли еще, на Ваш взгляд, сейчас, в эпоху гласности, белые пятна в нашей истории и литературе?

4. Что Вы думаете о преобладании публицистического начала в современной советской литературе? Каково, с Вашей точки зрения, значение полемики, развернувшейся в нашем обществе вокруг личности и исторической роли Сталина?

5. Как Вы оцениваете феномен русскоязычного литературного зарубежья и место этого явления в русской и мировой культуре?

6. Над какой темой Вы работаете в настоящее время?

К. С. КАРОЛЬ (Франция). Родился в 1924 году в Польше. В 1939—1946 гг. жил в СССР. Публицист, советолог, постоянный автор журнала «Нувель обсерватёр», печатается также в итальянской «Манифесто» и испанской «Паис». Автор книг: «Хрущев и Запад» (1961), «Китай: другой коммунизм» (1965), «Партизаны у власти. Политический путь кубинской революции» (1968), «Вторая китайская революция» (1972), «Приключения молодого поляка в России во время войны» (1983); составитель сборников «Советский Союз как он есть» (1987) и «СССР-89» (1989; на итальянском языке).

1. То, что стало происходить в вашей стране с марта 1985 года, не вызвало у меня такого большого удивления, как у многих других. У меня были связи с советскими писателями, учеными, которые приезжали в Париж, и, когда я с ними разговаривал, я чувствовал, что нет совершенно ничего общего между тем, как разговаривали и рассуждали они, и тем что писала в те времена «Правда». Перед пражской весной, когда к нам стали приходить книги Мнячко, Кундеры, фильмы Милоша Формана, было ясно, что в чехословацком обществе что-то назревает. Точно так же, читая Федора Абрамова, Юрия Трифонова, смотря фильмы Эльдара Рязанова — ведь все это было до Горбачева,— я понимал, что в советском обществе готовятся большие перемены, что так дальше не может продолжаться. Это, конечно, не значит, что я предвидел приход к руководству в партии М. Горбачева, который заговорит о перестройке, гласности, то есть фактически о мирной революции.

Однако не могу сказать, что события последних лет изменили мою концепцию развития советского общества, советской литературы. Я всегда спорил с теми, кто говорил: «Это общество, в котором ничего не происходит, там ничего не может измениться». Неизменяющихся обществ, по-моему, вообще не существует. А советское общество я знал достаточно хорошо. Сожалею лишь о том, что некоторые писатели — например, Ю. Трифонов, самый крупный, на мой взгляд, из советских прозаиков,— не дожили до этих времен. Сейчас, наверное, их большой талант мог бы развернуться еще шире, чем прежде.

2. Развитием диалога между Францией и СССР я, безусловно, удовлетворен. Радуюсь, что он существует, хотя еще удачнее он проходит у вас с итальянцами — у тех меньше предрассудков. Но и во Франции многое сейчас меняется, и люди относятся к вам по-другому, чем раньше, благодаря чему культурно-политический диалог развива-

Продолжение. Начало см. в № 6.

ется. Мы все, включая лично меня, этим пользуемся. Еще в 1984, 1985 годах я приезжал в Советский Союз только как турист, потому что журналисту приходилось дожидаться визы по полгода, а сейчас побывал и на партконференции, и на «круглом столе» журналистов, и на выборах. Так что улучшение отношений ощущаю на себе

3. Белые пятна, естественно, остаются. Невозможно было бы все их устранить за каких-то четыре года. История Советского Союза необъятна, и как наука она в вашей стране почти не существовала. У вас грамотнее писали, скажем, об отмене крепостного права, чем о событиях советского периода. На Западе же существует большая историография, которая не переведена на русский язык. Достаточно назвать труды Карра, Дойчера.

Есть белые пятна и в литературе. Сейчас печатается многое, что писалось безо всякой надежды на опубликование, но из-за слабой издательской деятельности этот процесс происходит медленно. Существует проблема «Архипелага ГУЛАГ». Это, конечно, белое пятно. Я не согласен со взглядами А. Солженицына, но не подлежит сомнению, что это крупный писатель и что эта книга — часть мировой культуры. «Архипелаг» оказал большое влияние на Запад. Есть и другие лакуны. По-моему, у вас до сих пор не издана полностью книга Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» [1]. В общем, разом восполнить все что было пропущено за столько лет, безусловно, очень трудно.

4. Преобладание публицистического начала в современной советской литературе — явление положительное. Накопилось множество вещей, о которых раньше нельзя было говорить. Вплоть до сегодняшнего дня существует некоторая самоцензура, кое на какие темы высказываться все еще трудно. Многое выходит наружу — это хорошо, но не могу сказать, чтобы мне все безоговорочно нравилось. Впрочем, это вполне естественно. Мне не нравится, что в произведениях с выраженной публицистичностью продолжает существовать эзопов язык. Все как будто бы ссылаются на социализм, на Ленина, а в то же время совершенно ясно, что у части печатающихся весьма своеобразные представления о социалистических ценностях и Октябрьской революции; они, похоже, недолюбливают и «левых» на Западе. Чтобы убедиться в этом, достаточно читать «Наш современник», «Молодую гвардию» или «Москву». Там говорят о социализме, но по сути — это возрождение великорусского, славянофильского течения, которое несимпатично лично мне и вообще не может нравиться западному интеллигенту.

Что касается полемики, которая развернулась вокруг личности Сталина, то полемика эта часто поверхностна. Конечно, хорошо, что выявляются факты, давно известные на Западе, но прежде отрицавшиеся в Советском Союзе. Это большой прогресс. Однако уровень политической и исторической дискуссии об Октябрьской революции и последующем периоде, к сожалению, не очень высок. Иногда возникает ассоциация с маятником, который просто взял и качнулся в другую сторону. Одни мифы заменяются другими. До действительного знания еще очень далеко. Да, сейчас говорят правду, но единой правды не существует, всегда есть различный взгляд на одни и те же вещи. Прежде была карикатурная критика Запада, а сейчас получается карикатурное обожание западной демократии, как будто это общество, в котором нет проблем и все идет прекрасно. Но мы-то, живущие там, знаем, насколько это не соответствует действительности. Это новая мифология. Наверное, такую стадию нужно пройти. Когда связи станут теснее, когда повысится уровень дискуссии, когда придет понимание наших социальных проблем, тогда мы найдем общий язык. Пока же не могу сказать, чтобы ваша публицистика удовлетворяла меня полностью. Хочется чего-то большего — равноправного диалога, чтобы мы говорили об одних и тех же вещах на одном и том же языке.

Вот, например, явление, которое в вашей стране игнорируется. На Западе очень актуальна проблема женской культуры, а у вас о феминистках пишут как о группе истеричек. С нашей точки зрения, это просто глупо. То, что «Второй пол» Симоны де Бовуар не переведен на русский язык,— это тоже большое белое пятно, если уж говорить о белых пятнах.

Впрочем, не хочу, чтобы вы сочли мою позицию негативной. Четыре года в историческом масштабе — одна секунда. Наверное, нужно не сетовать на то, чего не хватает, а радоваться тому, что есть хорошего.

5. Я не такой уж специалист по русскому зарубежью. Высоко ценю творчество А. Синявского (хоть и не во всем с ним согласен), Е. Эткинда, Л. Копелева. К группе же, связанной с журналом «Континент», отношусь отрицательно. Для меня, как человека левых взглядов, это течение совершенно неприемлемо, оно представляется мне крайне реакционным.

6. Главная тема для меня — жизнь вашей страны. Занимаюсь также Польшей. Я начал писать книгу, отчасти автобиографическую, отчасти художественную, о разных русских людях, с которыми мне довелось встречаться. Написал первую главу — и отложил, потому что события у вас развиваются слишком быстро. Нужно подождать. Книга ведь пишется довольно долго и издается не быстро. Пока она выйдет, многое может измениться.

Мне как профессиональному советологу очень жаль, что многие тексты из советской печати не доходят до западного читателя. Поэтому я сейчас сосредоточил свои усилия на подготовке сборников перепечаток из вашей прессы. Один такой сборник я издал в «Тан модерн», другой — в Италии. С помощью этих изданий французы и итальянцы могут познакомиться с наиболее интересными советскими публикациями. Дается там и моя оценка.

САЙМОН КАРЛИНСКИ (Семен Карлинский) (США). Родился в 1924 году в Харбине. Профессор Калифорнийского университета

[1] Трехтомник «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера выходит в издательстве «Московский рабочий» в 1989 году. *(Прим. ред.)*

в Беркли. Автор книг: «Марина Цветаева. Ее жизнь и творчество» (1966), «Сексуальный лабиринт Николая Гоголя» (1976), «Русская драма от ее истоков до Пушкина» (1985), «Марина Цветаева: ее жизнь, ее мир, ее поэзия» (1986).

1. Перемены, происходящие в культурной жизни Советского Союза, я, как человек посвятивший жизнь изучению этой культуры, могу только приветствовать. Как я смог убедиться во время недавнего посещения СССР, литературная и театральная жизнь страны переживает период расцвета. Новые издания М. Цветаевой, постановки «Мелкого беса» (по Сологубу), «Бесов» А. Камю (по Достоевскому) и «Млады» Римского-Корсакова (в режиссуре Б. Покровского), виденные мною в Москве, поражают широтой воображения и смелостью мысли — тем, что отсутствовало в мой прошлый приезд в 1973 году.

Что же касается изменения моей концепции развития советской литературы, она не изменилась. Наоборот, я с удовольствием констатирую тот факт, что авторы и течения, которые я поднимал на щит на Западе лет 30—40 назад, понемногу занимают командные высоты в советской прессе и критике: В. Набоков (о нем я писал, когда он еще не был известен на Западе), М. Цветаева, Н. Заболоцкий и обэриуты. Ждет своей очереди признание Бориса Поплавского, Арсения Несмелова, Валерия Перелешина, Николая Моршена и других талантливых русских поэтов зарубежья.

2. В области диалога между советской и американской культурами достигнуто много нового: приезд видных советских славистов для преподавания в наших университетах; свобода и приветливость в беседах с советскими чеховедами и цветаеведами (целью моей поездки было общение с коллегами); откровенные признания ошибок, совершенных правительствами обеих стран. Хочется верить, что в будущем советские слависты будут регулярно участвовать в международных съездах и симпозиумах — их отсутствие было разительно на Цветаевском съезде в Лозанне (1982), а также и на Пастернаковском съезде в Иерусалиме (1984). Желательны были бы приезды в США советских театральных и оперных коллективов (а то все балет и балет, и притом в репертуаре дореволюционной эпохи).

3. Да, белые пятна остались, и притом значительные. Например, книга Л. Троцкого «Литература и революция» имела огромное влияние на советскую культуру и дала западным интеллектуалам представление (большею частью ложное) о таких авторах, как В. Розанов, З. Гиппиус, Н. Клюев, А. Ахматова и пр. Я лично с этой книгой почти полностью не согласен, но нельзя изучать литературную жизнь 1920-х годов, не учитывая значения авторитета Л. Троцкого.

Затем, на Западе есть издания тех же В. Розанова, З. Гиппиус, а также М. Кузмина, Л. Шестова, Н. Клюева, и о них написаны книги и защищены диссертации. Что-то не видно ничего подобного в СССР. Я считаю, что следовало бы перевести на русский язык такие основные тексты, как два тома истории русской литературы, изданные в Англии в 1920-х годах Д. Мирским, книгу «Русский футуризм» В. Маркова, историю русской зарубежной литературы Глеба Струве и прочие значительные книги, написанные русскими авторами на иностранных языках.

Кроме того, в советских издательствах продолжает главенствовать унаследованный от сталинской эпохи пуританизм. На мой взгляд, нельзя полностью оценить и понять наследие Н. Гоголя, П. Чайковского, Н. Пржевальского, Н. Клюева и М. Кузмина, если не принимать в расчет и продолжать замалчивать гомосексуализм, сыгравший ключевую роль в их биографиях и отразившийся в их деятельности. То же самое можно сказать и о бисексуализме С. Есенина М. Цветаевой, и о бисексуальных элементах в дневниках молодого Л. Толстого.

Наконец, где новые издания авторов, считавшихся прежде «несозвучными»? Это — большая группа, простирающаяся от К. Леонтьева до А. Крученых и М. Кузмина.

4. «Публицистическое начало» вполне закономерно в эпоху, когда переоцениваются ценности. Думается, за дебатами об исторической роли Сталина должны последовать аналогичные дебаты о В. Ленине, Л. Троцком, Н. Бухарине и т. д.

5. Я всегда считал разделение русской литературы на советскую и эмигрантскую искусственным и преходящим явлением. Русские писатели зарубежья создали произведения непреходящей ценности (их творчеству была посвящена редактированная мною антология «Изгнания воздух горький» (1977). Эти две литературы должны слиться в одну — русскую литературу XX столетия — и чем скорее, тем лучше.

6. После опубликования моих книг о русской драме допушкинской эпохи и биографии М. Цветаевой я готовлю комментарии к новому переводу драм А. Чехова. Кроме того, я подготовил несколько статей и лекций о биографии и деятельности Сергея Дягилева.

ФРИДРИХ ХИТЦЕР (ФРГ). Родился в 1935 году. Учился в Оклахомском, Мюнхенском, Московском университетах. Один из создателей и издателей, постоянный редактор журнала «Кюрбискерн» (1969—1987). Драматург, прозаик, публицист, переводчик. Основные книги: «Ленин в Мюнхене. Документы и повествование» (1977), «Сибирское лето» (1982), «О конце и начале второй мировой войны» (1985), «Из старых школьных тетрадей. 1941—1951» (1985) и др.

1. Процесс, происходящий в СССР, касается всего человечества и находит отклик в душах миллионов людей.

Я отозвался на перемены очень быстро, я читал и переводил день за днем, и уже к осени 1987 года подготовил книгу — сборник «Знаки времени — взгляд издалека. Гласность — новое мышление в Советском Союзе» (600 страниц!): заинтересованных читателей в моей стране я хотел возможно

скорее познакомить с тем, что волновало меня самого, даже не представляя себе, насколько живым будет интерес. В этой книге, где собраны, как мне кажется, лучшие эссе и интервью советских писателей и деятелей различных национальных культур, речь шла об осмыслении эпохи после кошмаров 30-х годов, после истребительной войны, развязанной немцами, после победы над фашизмом, ставшей величайшим триумфом человечности и в то же время послужившей упрочению сталинской системы террора, после первого подъема в период «оттепели» и срыва в двадцатилетие псевдореволюционного культа умолчания и самообмана. Итог переведенных и изданных мною статей беспощаден, но вселяет надежду. В книгу я включил запись обстоятельной беседы, которую мы вели в 1965 году с Михаилом Роммом о его фильме «Обыкновенный фашизм»,— мы тогда затронули вопрос о различиях и сходстве фашизма и сталинизма. Вошел в книгу также и разговор 1974 года с Юрием Трифоновым о проблеме террора в период революционных переломов. Мы говорили о его романе «Нетерпение», но вскоре коснулись и сути насилия, абсолютизации насилия, которая обнаруживает себя в методах как левого, так и правого радикализма.

Сейчас я издаю вторую книгу о переменах в Советском Союзе. Она называется «Великий беспорядок. Гласность и немцы». В этой книге мне хотелось бы в литературно-публицистической форме обратиться к драме и трагедиям, связанным с историей взаимоотношений немцев и русских в первой половине XX века. Вопросы, заданные в 1965 году Михаилу Ромму, теперь обретают все большую глубину. Это относится и к самой мучительной теме, к теме, которую, быть может, никогда нельзя будет понять до конца: почему Сталину и его сторонникам удалось победить в Коминтерне, почему начиная с 1929 года социализм тоталитарного государства удалось провозгласить социализмом свободы и тем самым ослепить и духовно поработить самое могучее освободительное движение этого столетия? Почему Гитлеру и его движению удалось овладеть диктаторской властью, создать свое тоталитарное государство и — на глазах всего мира — развязать войну за мировое господство, втянуть в нее и уничтожить миллионы и миллионы людей?

Оба явления проникли во все сферы жизни, и пусть на первый взгляд кажется, что мы ушли от многого, но это вовсе не значит, что мы на долгое время распрощались с этими народными трагедиями.

Гласность поколебала общепринятые до сих пор взгляды и концепцию того, что обычно рассматривалось как советская литература. Для меня лично это не означает, что я лишь теперь открываю для себя отдельных авторов или их произведения; там, где я живу и работаю, книги, объявленные в Советском Союзе вне закона или обойденные молчанием, были доступнее. Я всегда высоко ценил Ахматову, Цветаеву и Пастернака, Хлебникова, Клюева, Замятина, Пильняка, Платонова, Булгакова, Мандельштама... Но с кем я мог говорить о них? Духовный мир был расколот точно так же, как и мир реальный. В начале 60-х годов, пока был еще жив мой «отец в науке» — Федор Степун, высланный из Москвы в начале 20-х годов вместе с другими «профессорами-идеалистами»,—русская литературная эмиграция была мне ближе, чем к концу 60-х или в 70-е годы, когда идеологические сомнения в правильности советского пути были несовместимы с прогрессивным мировоззрением. Не пример ли это того, что политика и искусство никогда не смогут прийти к согласию? Именно здесь и зародилась странная идеологизация, которая была одним из последствий «холодной войны»: переход многих людей на позиции левых был протестом против умолчаний и лжи многих представителей — ах, столь преуспевшего старшего поколения немцев; переход этот был очень непосредственным, так сказать, публицистическим. Более умеренный подход отошел на задний план: значимость литературы определялась политикой. Теория тянет к идеям и абстракциям, под которые подгоняется жизнь. Любовь к литературе сходит на нет. Мало того, в какой-то степени даже начинаешь верить, что те или иные поэты, творения которых стали частью твоей души, хотя и были великими художниками слова, но просто не желали видеть прогрессивные свершения рабочих и крестьян. На примере такого романа, как «Доктор Живаго» Пастернака, романа, осужденного по политическим мотивам в СССР и по политическим же мотивам с восторгом встреченного на Западе, становится очевидным, насколько так называемое классовое мышление — важное для осознания эпохальных перемен — обедняет мышление вообще и эмоциональное восприятие в особенности. Прекрасное подменяется непреложностью идей, что всегда предшествует подавлению и насилию. Это происходит на основе идеологии, и не случайно звучит вопрос Горького: «С кем вы, мастера культуры?» Чего только не рекомендовали, чего только не навязывали при помощи этой формулировки! Ею можно мобилизовать искусство, превратить его в раба политики. Лишь теперь стало возможным определить, какую опасность таит всеобъемлющая идеологизация жизни, претендующая на исключительность в воплощении идей. И вот что важно: этот удобный девиз навязал Горькому вовсе не Сталин, тот лишь продолжил традицию, берущую начало в старых боях, которые еще отнюдь не закончены, их следствием стала «партийность» литературы — и превратилась в намордник, который из лучших побуждений надевали многие и даже гордились им.

Драматические и трагические события, происходившие в Советском Союзе и во всех связанных с ним движениях и государствах, являются наглядным материалом, с помощью которого можно извлечь уроки. Я не убежден, помогут ли они избежать повторения старых ошибок и преступлений: когда разгорается смертельная борьба за власть и влияние, всегда есть питательная среда для фанатизма и догматизма, для затыкания рта и добровольного отказа художника от свободы творчества (сюда же относятся его политические взгляды). В моем понимании сейчас горы книг о социалистическом реализме аналогичны тем спорам, которые разгорелись в средневековой

Европе: там философы и теологи вели словесные баталии за единственно истинного Бога и отправляли еретиков гореть на кострах инквизиции; здесь «марксисты-ленинцы» бились за единственно истинный соцреализм, не обращая внимания на то, что гибли люди — ведь то были всего-навсего кулаки, враги народа, декаденты-вредители и т. д. Но кто сейчас, за исключением немногих специалистов, еще читает эти писания схоластов, в полемике которых я и сам порой весьма активно участвовал? Я убежден в правильности мысли Шиллера: «Там, где человечество теряло достоинство, его спасало искусство» — и не хотел бы утратить ни того, ни другого. И я благодарен тем, кто знакомил меня с такой литературой, которую не втиснешь ни в один корсет.

2. Диалог между Федеративной Республикой Германией и СССР никогда не сможет прекратиться, но положение останется неудовлетворительным, пока — по обе стороны — будут стоять ядерные ракеты, которые за несколько минут могут уничтожить наши страны и народы, обратить весь мир в преисподнюю.

Условия для продолжения диалога значительно улучшились, и это — также следствие постоянного обмена последних лет; гласность и перестройка дополняют его еще и тем, что разговоры становятся, как правило, открытыми, и в них уже не слышно старых опасений. Но если раньше диалог вели узкие, зачастую разобщенные друг с другом круги, то теперь в него вступают самые широкие массы, самые разные люди. Иронически преувеличивая, некоторые американцы говорят о «горбомании» немцев. Но это не так, в общественном сознании нашей страны, созданной некогда как оплот «холодной войны», исчезает страх перед «советской угрозой» — в значительной степени этому способствовал и культурный обмен. Вероятность принципиального поворота в отношениях наших народов и государств чрезвычайно возросла со времени избрания Михаила С. Горбачева лидером вашей страны.

При этом я желаю себе иногда, чтобы наши средства массовой информации взяли бы себе в пример советскую прессу эпохи гласности.

3. Вероятно, белые пятна все еще остаются. Это касается, в частности, отношений между нашими народами и государствами в 30-х годах и в первые послевоенные десятилетия. Особенно важная глава — роль коммунистов в Коминтерне (я пытаюсь обрисовать период между 1925 и 1929 годами), отношение Сталина к Гитлеру до 1933 года, далее — словно расплата за промахи и заблуждения этого периода — год 1939-й, когда Гитлер начинает делать авансы Сталину, ловит его в свои сети, организует «договор о дружбе», который до сих пор не опубликован. Прежде всего недостает изображения действий, сопутствовавших подписанию этих договоров. Мне представляется, что здесь — одна из задач для совместных исследований. Важной предпосылкой таких исследований было бы законное упорядочивание архивных изысканий, а также открытый доступ для всех исследователей в архивы, включая и материалы органов государственной безопасности. (Кстати, в этом — важный элемент демократизации: если должностные лица будут знать, что, скажем, лет через сорок документация их ведомств станет общедоступной, это, вероятно, удержит от злоупотреблений властью.) Все сказанное касается и созданной в те времена литературы. Полностью ли она нам известна? Не требуется ли тут своего рода археология духа? Не будут ли такие раскопки постоянным источником неожиданных открытий?

4. Я не совсем понимаю этот вопрос. Что имеется в виду? Касается ли он выбора материала? Отнесем-ка этот вопрос к более удаленным от нас во времени произведениям мировой литературы. К примеру — Гомер, Шекспир, Сервантес, Данте, Гёте, Пушкин, Флобер, Мелвилл и прежде всего — Толстой и Достоевский. В каком произведении мировой литературы нельзя найти того, что модно теперь называть «публицистическим началом»? Быть может, имеется в виду, что некоторые персонажи пьес, романов и рассказов говорят как политики, журналисты, пасторы или торговцы, когда они, желая привлечь внимание публики, специально для нее сочиняют речи, статьи, проповеди и рекламные тексты? Должно ли это значить, что каких-то обстоятельств уже не нужно касаться в беллетристике, если о них можно прочесть в газетах? Хотя я понимаю, что во времена цензуры и самоцензуры (как бы она ни называлась — даже в Федеративной Республике Германии, где свобода мнений гарантируется конституцией, существует «цензура», которая по другому называется и абсолютно несравнима с деятельностью Главлита в СССР) часто, а может быть, и как правило, случается так, что в художественных произведениях приходится публиковать намеки и сведения, распространять которые открытым текстом не представляется возможным.

А теперь — к моему «публицистическому кредо»: прежде всего я считаю необходимым выяснение роли Сталина в любой форме — будь то драматургия факта или художественный образ. Это относится и к тому Сталину, за которого сам он лично не несет ответственности,— а именно, к Сталину в каждом из тех, кто верил в вождя полностью или хотя бы наполовину. Почему это важно? Речь идет об очищении идеалов, в которые маленький Сосо когда-то, может быть, и сам верил и которые он, охваченный жаждой власти, потом коварно использовал в преступных целях. Сталин — это шифр всего того, что постоянно проявлялось в существовавших до сих пор моделях реального социализма и что невозможно свести к одной личности Иосифа Виссарионовича. Без своих помощников и своих противников, без восторженных сторонников и соперников он не добился бы ничего. Он смог опереться и на определенные традиции, Сталин был так коварен, что «перехитрял» и самых хитрых людей. Мне кажется, лишь с одним диктатором он просчитался — с Гитлером. В конечном счете дискуссия о Сталине упирается в главный вопрос: что сделало его возможным? В конце концов нужно прийти к выводу: Сталин сегодня уже не столь интересен, речь идет

о структурах и о людях, как ты и я, которые однажды дали возможность ему осуществиться. Поэтому необходимо знать симптомы, которые не связаны с именем Сталина, но могут привести к повторению пройденного. Нашими школами и нашей общественностью я был воспитан в убеждении, что Сталин и Гитлер являли собой один и тот же феномен при всей противоположности взглядов и систем. Из этого следовало: коммунизм и фашизм суть две стороны одной и той же медали. Я никогда этому особенно не верил, позднее я долгое время считал, что это лишь уловка реакции, направленная против социализма и его решительных поборников — коммунистов. Теперь я придерживаюсь той точки зрения — ее я, в частности, излагаю в книге «Великий беспорядок»,— что вырождение коммунистического движения вследствие того образа действий, явственнее всего выразившегося в личности Сталина, ужасающим образом ослабило все силы, противостоящие фашизму. Это побудило Эрнста Генри, одного из серьезнейших исследователей германского фашизма (в его книге «Гитлер над Европой» уже в 1934 году было достаточно точно предсказано развитие событий в тридцатых годах), спросить Илью Эренбурга в письме, датированном 1965 годом: «Был бы возможен Гитлер без Сталина?»

Да, Эрнст Генри имеет право ставить вопрос так. Но это нисколько не оправдывает ни немцев, ни других, пошедших за Гитлером. Неотъемлемый принцип обновления — каждый должен наводить порядок в своем доме, судить себя самого; не другие обязаны перемениться — ты должен начать с самого себя...

Именно этому некоторым немцам нужно было бы поучиться у тех, кто сейчас перед многомиллионной аудиторией в Советском Союзе проводит анализ роли и личности Сталина и его окружения. У нас подобное обращение к нашему прошлому такого распространения не получило. Наши экономические успехи в какой-то мере заглушили голос совести.

5. Русскоязычная литература эмиграций — ведь существует несколько волн — имеет большое значение, которое до сих пор (за исключением нескольких специалистов) не признано полностью ни на родине эмигрировавших, ни в странах, куда они переселились. Этот, как сказано в вопросе, «феномен» — не литературного, но политического и идеологического характера. И на политике, виновной в том, что появилась литература в изгнании, лежит ответственность за изгнание, за лишение гражданства, за гибель талантов вдали от истоков своей фантазии, своего языка, вдали от родины. То, что случилось с этими людьми,— потеря не только для русской национальной литературы, но и невозвратимая потеря для литературы мировой. И тем значительнее заслуга тех, кто возвращает читателям то, что еще осталось,— а это совсем не просто. Старая политика раскола разъединяла не только своих, но и чужих: я ищу ответа в самом себе как могло случиться, что к некоторым вещам я был просто слеп или, говоря точнее, я видел и осуждал то, что видел, потому что, к примеру, определенные люди, которых называли диссидентами, были друзьями тех, кого я считал самыми ярыми реакционерами. Здесь я довольно типичен для левых моего поколения — «холодная война» посеяла раздор среди всех, кому следовало бы прийти к согласию. Эта война за «правильные идеи» привела к тому, что никого особенно уже не интересовало: «Что написал этот человек?» Реакция напоминала, скорее, павловские рефлексы: на чьей стороне этот человек, в каком он стане? То была своего рода интеллектуальная война, в которой стремились не лишать противника жизни — мишенью была его голова. Это ужасно. Почему люди снова и снова склоняются к этому? Ведь если началась рукопашная схватка, становится не до обсуждений. Нужно выстоять, или тебя затопчут.

Больше всего сегодня меня тревожит следующее: некая политическая инстанция, то есть облеченные властью люди лишали других людей, не обладающих средствами насилия, но непреклонных в убеждениях, их основного права — жить на родине — лишь потому, что те критиковали сложившуюся в своей стране ситуацию. Людей этих лишали гражданства, проблемы же оставались.

В 70-х годах, когда начались высылки, я, к сожалению, не протестовал публично, но часто задумывался: «А что ты будешь делать, если тебя лишат гражданства и вышлют из страны, которую ты сам довольно часто критикуешь?»

Поэтому теперь я хочу заявить открыто: я считаю необходимым, чтобы всем бывшим советским гражданам, изгнанным из страны, было возвращено их право жить на родине. «Закон», предписывавший это, должен быть отменен как несправедливый. Лишение гражданства несправедливо всегда. Право на оппозицию должно быть гарантировано так же, как и обязанности граждан перед законом, основывающимся на демократических началах. Государство, лишающее гражданства, поступает несправедливо даже по отношению к «самым неблагодарным». Закон должен вступать в действие, если граждане нарушают свои обязанности. И каждый человек должен иметь право решать самостоятельно, воспользуется ли он своим основным правом на гражданство.

Ответственность за практику изгнания из страны в двадцатом столетии лежит на многих, но тяжелее всего — на сталинистах и германских фашистах. Был лишен гражданства Томас Манн, как и многие лучшие представители нашей национальной литературы. Я уже не говорю об Альберте Эйнштейне.

Я считаю необходимым, чтобы компетентные органы юстиции СССР аннулировали все акты о лишении гражданства. Мне хотелось бы здесь особо упомянуть четырех человек. Раньше мне было достаточно услышать их политические высказывания, чтобы их дальнейшая судьба перестала меня интересовать — они казались мне лишь друзьями врагов... Речь идет о Владимире Войновиче и его жене Ирине, о Льве Копелеве и его жене Раисе Орловой. На страдание, причиненное им, они не ответили не-

нависть. Своей работой они способствовали усилению интереса к своей стране, к ее культуре и литературе, они служили делу взаимопонимания и мира между нашими народами, они остались верны себе и страдают от вынужденной разлуки с родиной. И я признаюсь, что молчал в то время, когда написанное сейчас для выходящего в Москве журнала было бы им, пожалуй, нужнее, чем теперь; тогда я верил, что такова необходимость борьбы, что этого требует моя верность делу, ведь эти диссиденты лишь помогают силам реакции (хотя я никогда не мог взять в толк, почему такое огромное государство, как Советский Союз, пугали отдельные критически настроенные люди).

6. Я пишу собственные работы и перевожу с русского (прозу и драматургию): оба занятия связаны с моими ответами на вопросы 1—5.

Так как я никогда не смогу отказаться от проблем теории, упомяну и об одном эссе, которое стоило мне усилий и радости. Эссе называется «Прекрасное и точное», в нем я пытаюсь судить о законном месте эстетики, которое, по соображениям некоторых великих физиков нашего века, она уже давно бы должна занять вновь.

АНДЖЕЙ ДРАВИЧ (Польша). Родился в 1932 году. Доктор филологии, критик, историк литературы, публицист, переводчик, преподаватель Ягеллонского университета в Кракове. Автор книг: «Советская литература 1917—1967» (1968), «Приглашение к путешествию. Очерки о советской литературе (В. Хлебников, Н. Заболоцкий, Ю. Олеша, М. Булгаков)» (1974).

1. Как поляк, друг народов, населяющих Советский Союз, как человек, живущий в той же самой системе, наконец, как европеец, как обитатель планеты Земля я не могу не оценивать эти перемены иначе чем с величайшей радостью. Они были необходимы, я мечтал о том дне, когда это произойдет, и лишь боялся, что это может случиться «не на моем веку». Итак, одно слово: наконец-то! Похоже, заканчивающийся двадцатый век успеет разрешить одну из своих сложнейших проблем и Россия вновь окажется в мире ценностей и критериев, созданных человеческой цивилизацией и христианской культурой, в мире, связи с которым она пыталась разорвать в течение семидесяти с лишним лет. Если все это удастся, весь мир вздохнет с облегчением. Речь идет о том, чтобы процесс возвращения к себе, своим корням и истокам стал необратимым. А процесс этот очень непрост, поскольку прецедентов не существует, и поэтому нынешнюю ситуацию со всеми ее завихрениями следует считать нормальной — иной в ближайшее время не предвидится.

Никаких существенных изменений в свою концепцию советской литературы мне вносить не пришлось, поскольку — и в Ягеллонском университете, где я преподаю, и вне его стен — я всегда старался обращаться к непреходящим, безотносительным ценностям этой литературы. Выглядит это обычно и даже весьма примитивно: на первый план выдвигается хорошая литература, хорошие книги вне зависимости от того, где они изданы и где в настоящее время пребывают их авторы. Это как бы требование элементарной порядочности по отношению как к студентам, так и к читателям, кстати, и те и другие в Польше чрезвычайно требовательны. В то же время меня не может не радовать тот факт, что под воздействием последних перемен официальные советские критерии (которые мы вынуждены были частично игнорировать) начинают как бы сближаться с нашими. Вот так бы и дальше!

2. Диалог и сотрудничество между Польшей и СССР принесли немало хороших плодов, однако до сих пор над нами довлели те же самые аномалии, которые наложили отпечаток на все области и аспекты нашей общественной и политической жизни. Необходимо кардинально изменить сам стиль, отказаться от «показухи», вернуться к обычным, общечеловеческим меркам, к приоритету уже упоминавшихся непреходящих ценностей, причем это касается обеих сторон — как польской, так и советской. Это — самые общие моменты, поскольку затронутая тема неисчерпаема, как море, и охватить все ее аспекты в одной фразе невозможно. Во всяком случае нам следует стремиться к искренности, деловитости и подлинному взаимоуважению, а не скалить зубы в вымученных официальных улыбках. И еще одно: необходимо всячески содействовать тому, чтобы наши контакты развивались при минимальном присутствии любого официоза и связывали бы человека с человеком. Это должно помочь нам в преодолении тяжелого груза прошлого, в разъяснении и искоренении взаимных претензий, на которые в эпоху гласности не следует закрывать глаза.

3. Процесс только начался, поэтому вопрос представляется мне несколько наивным. Вы провели лишь первое зондирование своей новейшей истории, затронули наиболее мучительные вопросы — все это очень хорошо. Однако теперь вас ожидает к о м п л е к с н о е исследование всего по порядку: российского марксизма и его действительной роли, причин неизбежности русской революции и ее подлинной цены, особой роли СССР как страны, имеющей опыт тоталитаризма, последствия этого опыта для всего мира и т. д. Я уж не говорю о таких существеннейших вещах, как, например, непредвзятая оценка феномена русской духовной жизни на переломе нашего и прошедшего столетий, так называемого «серебряного века».

Что же касается литературы, то нужно просто-напросто издать всё, что представляет ценность в словесности русского зарубежья — а имя этим произведениям: легион,— и лишь после этого спокойно создавать иерархическую систему ценностей русской литературы — единой, хотя и многослойной. Я думаю, что подобная ситуация характерна и для других советских литератур, однако некомпетентность не позволяет мне делать обобщения.

4. В переломные моменты русской истории публицистика всегда выдвиталась на первый план, играя своеобразную роль общественной разведки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что нечто похожее происходит и сейчас,— иначе и быть не может, не должно. Громкие же всхлипы и сожаления по поводу отсутствия сиюминутно созданных литературных шедевров следует отнести за счет недопонимания «всхлипывающих» или просто к недоразумениям. У литературы свой собственный ритм, отличающийся от ежегодных сроков посевной и уборочной кампаний в сельском хозяйстве, и подгонять литературу не следует; с тем, чем живет и дышит советское общество сегодня, писатели будут производить свои расчеты, возможно, в течение десятилетий.

Полемика вокруг Сталина и сталинизма имеет огромное, фундаментальное познавательное значение; роль этой полемики как очистительной и убеждающей силы очень велика, в ее результате создаются предпосылки для ответа на вопрос, который поставил перед вашим обществом Шукшин: «Что с нами происходит?» Однако — здесь я вернусь к предыдущему вопросу — сталинизм это только лишь часть, хотя и чрезвычайно важная, целого комплекса проблем, ожидающих вашего углубленного изучения.

5. Литература русского зарубежья, эмигрантская литература — это очень важная составная часть вашей культуры, в которой она сохраняла свое присутствие, некое скрытое, тайное присутствие, даже тогда, когда она официально была «отлучена от церкви»; она сосуществовала с литературой «на материке» по принципу «скрыто сообщающихся сосудов». В этом видна природная самозащитная мудрость культуры, так как «сосуды» взаимодополняются, взаимообогащаются и друг без друга не существуют. Я предпринимаю попытки доказать, что литература зарубежья впитывала в себя и концентрировала в себе те вещества и первоосновы, которых недоставало литературе «в стране» (плохо ли, хорошо ли — это уже дело другое) и которые при подведении итогов, некоего культурного баланса, вы уже сегодня или завтра будете оценивать как важные и необходимые. Для остального же мира вы — в России или вне ее — являетесь неразрывным единым целым, хотите вы того или нет.

То, что представляет несомненную художественную ценность из русской литературы «на Западе», должно уже сегодня, широко и фундаментально, быть введено в вашу культурную орбиту. Немало предстоит еще сделать в области открытия и изучения литературы первой русской эмиграции, хотя ее основные достижения и крупнейшие имена довольно хорошо известны, во всяком случае в узком кругу. «Освоения» требует, например, все художественное наследие Набокова, одного из величайших писателей нашего столетия. Необходимо провести спокойную «инвентаризацию» творчества литераторов второй волны эмиграции, оставив в стороне ожесточенную запальчивость, а также все ярлыки и этикетки типа «предатели», «военные преступники» и «коллаборационисты» (кстати, при так называемом «широком» подходе к этим проблемам неизбежно встает вопрос о «власовцах», да и вообще всех, кто по тем или иным причинам после войны остался на Западе. Это один из основных вопросов, который вы при пересмотре собственной истории должны безотлагательно решить,— см. пункт 3). Возможно, «вторая эмиграция» и не смогла создать художественные ценности, общая сумма которых равнялась бы выдающемуся вкладу первой русской эмиграции, однако и здесь можно назвать свои достижения: ну, например, чрезвычайно ценные исследования советолога Абдурахмана Авторханова. И наконец, следует спокойно и по возможности полно представить современникам творчество «третьей эмиграции»: Солженицына, Синявского, Бродского, Максимова, Некрасова, Войновича, Владимова, Аксенова, Зиновьева, Горбаневской, Копелева, Эткинда и всех других, заслуживающих внимания. То же самое следует сказать и о наиболее ярких достижениях русской зарубежной публицистики, истории и историософии, журналистики, издательского дела. Подобное «представительство» вовсе не исключает полемических акцентов, это не должно быть немедленным и абсолютным приятием всего, что создано русскими писателями за рубежом, однако их творчество должно быть подано настолько репрезентативно, чтобы в нашем сознании сложилась некая объективно устоявшаяся система ценностей в современной русскоязычной литературе. Здесь я сознательно избегаю разговора об эмигрантской литературе других народов СССР, поскольку эта проблема представляется мне чрезвычайно сложной и требующей специальных знаний; однако с уверенностью можно сказать, что и такие работы в ближайшее время будут написаны — этого требует фундаментальное исследование всех форм существования и функционирования советской литературы как литературы многонациональной, разноязычной — в духе нового времени.

6. Я занимаюсь подготовкой нового издания своей работы по истории русской литературы XX века (первое, охватывающее период с 1917 по 1967 год, вышло в свет двадцать лет назад). Кроме того, я работаю над антологией русской поэзии двадцатого века.

ЖОРЖ НИВА (Швейцария). Родился в 1935 году во Франции. Учился в Париже, Москве, Оксфорде. Профессор, заведующий кафедрой славистики Женевского университета. Автор книг: «О Солженицыне» (1974), «Солженицын» (1981), «К концу русского мифа» (1983). Перевел на французский язык произведения А. Белого, Б. Пастернака, А. Солженицына, О. Мандельштама, И. Бродского, Б. Окуджавы. Главный редактор «Славянских коллекций» в издательстве «Л'аж д'ом» (совместно с Ж. Като).

1. Я давно пытался объяснить в своих статьях, что культурная жизнь в России — продукт своеобразной смеси культуры и «антикультуры». Западное общественное мнение, как мне казалось, грешило упрощением: то безмерно увлекалось Маяковским (не видя его целиком), но было слепо к преследованиям, к цензуре, к диссидентст-

ву, то смотрело на все глазами сатирика Александра Зиновьева (которого мы первые издали в Лозанне), но не видело скрытых богатств «официальной», то есть публиковавшейся у вас литературы. (Зиновьева надо принять как сатирика, а не как социолога, хотя сам он себя считает прежде всего социологом).

У вас в культурной сфере произошло землетрясение. Это землетрясение не изменило мою концепцию вашей литературы, поскольку Домбровского и Гроссмана, Набокова и Ходасевича я уже давно знал и читал, писал о них, издавал или переводил. Гроссман был опубликован в Лозанне в издательстве, где я руковожу «Славянскими коллекциями» совместно с Жаном Като и с Владимиром Димитриевичем (он же — основатель и хозяин этого издательства).

Я всегда ратовал, чтобы здесь переводили и читали ваши опальные тексты. Но как можно было предвидеть это культурное землетрясение?! Я писал, что Домбровский и Евгения Гинзбург — честь и слава русской литературы, я надеялся, что они вернутся к русскому читателю. Они написали свои шедевры — «Факультет ненужных вещей» и «Крутой маршрут» — конечно, в первую очередь для русского читателя, но не только. Великие книги написаны для всего человечества, и они принадлежат нам всем.

Всему, что происходит у вас, я глубоко радуюсь, я знаю, что перемены еще хрупкие, что это лишь начало длинного пути, на котором пока еще не видно, каким образом за культурной свободой последуют остальные — политическая, экономическая. Я уверен, что, даже если будет сделан шаг назад, главные перемены останутся, общество будет другим. Я верю в это, потому что я верю в литературу. Нельзя читать Домбровского и не меняться интеллектуально, морально.

Однако на своем месте западного наблюдателя я пытаюсь сохранить прежние критерии: независимость, поиски правды и любовь к русской культуре. Безусловно, для меня лично феномен «перестройки» изменил многое: раньше профессия русиста порождала некую шизофрению, какое-то раздвоение. Я, например, многое написал об Александре Солженицыне, переводил его, сочинил две книги о его творчестве (одна переведена на русский и издана в Лондоне). Солженицын изменил мою карьеру и меня самого. Писать о Солженицыне и сотрудничать в советских изданиях исключало друг друга. Я писал о Солженицыне. Теперь с огромным облегчением констатирую, что одно не совсем исключает другое, хотя Солженицын, увы, еще не печатается...

Другими словами: я радуюсь, что вернулся к России «дар речи» (как пишет Мария Аввакумова), для меня, русиста, это огромное облегчение. Но мои критерии работы по сути дела не изменились.

2. Да, конечно, если «перестройка» будет продолжаться, отношения между СССР и Западом, в особенности Швейцарией и Францией, станут богаче. Я мечтаю о том дне, когда они станут такими же естественными, легкими, обоюдно обогащающими, как между Францией и Англией или вот Францией, где я живу, и Швейцарией, где я работаю... Прошлым летом в Авиньоне на театральном фестивале я смотрел спектакли А. Васильева (по Пиранделло), выступал вместе с ним и с Витезом, директором Комеди Франсез, во Дворце Пап перед многочисленной и оживленной публикой, и думал: скоро ли Россия станет органической, естественной частью нашей европейской жизни? То есть будет ли возможно организовывать фестивали, свободно ездить, выступать, участвовать во всех культурных центрах Европы без официальных приглашений. Пока еще остаются ограничения, связанные с прежними навыками и подозрительностью. Настоящий культурный обмен должен состоять из тысяч индивидуальных обменов, не так ли? Однако в ходе этой эволюции, возможно, мы столкнемся с такой трудностью: ваш «голод» окажется больше, острее нашего «голода». Мы избалованы изобилием. Это и хорошо и плохо...

3. Конечно, белые пятна еще остались! На мой взгляд, это прежде всего отсутствие критического подхода к самой перестройке (в печати), к нынешнему руководству и к темпам, определяемым сверху. Я понимаю, что люди у вас боятся, как бы не сглазить. На мой взгляд, России необходимо привыкать к разногласию в общественном мнении. Даже политическому. Меня огорчил запрет на публикации Солженицына, ведь без Солженицына, без «Архипелага ГУЛАГ», мне кажется, перестройка еще не достигла необратимости.

Ждет своих исследователей история КПСС, роль Ленина, корни тоталитаризма. И хорошо было бы начать с публикации многочисленных хороших западных книг, книг таких авторов, как Борис Суварин (его «Сталин», написанный в 1935 г., дает поразительно ясный анализ), как английский историк Леонард Шапиро или американец Мартин Малиа. Я знаю, что уже начали писать о некоторых, например о Роберте Конквесте. Но не пора ли приступить ко второму серьезному этапу: дать советскому читателю самый широкий выбор западных работ на те темы, которые его особенно волнуют. Не потому, что в них изложена окончательная «правда». А потому, что без них нет серьезных поисков правды.

Я не говорю о многочисленных мемуарах, которые все еще недоступны этому читателю: кроме Троцкого, Сержа и многих других есть еще Чернов, Макланов, Слоним. И четыре тома «Русского дневника» моего первого учителя по русской литературе, Пьера Паскаля, «католика-большевика», проведшего семнадцать лет в России с 16-го по 33-й год.

4. Преобладание публицистического момента, наверное, весьма естественно. Без Н. Шмелева, Клямкина, Карякина, И. Виноградова, да и Солоухина и Распутина, нельзя себе представить то, что ныне происходит. Это подготовительный курс. Это момент рождения тезисов. Они должны вступать во взаимодействие друг с другом.

Я не могу не сказать о том, что иные называют ростками новой гражданской войны. У меня есть свои привязанности.

Мне, например, близок в своих публицистических статьях Игорь Виноградов. Я очень ценю смелость, порой весьма вызывающий тон Натальи Ивановой. Но также я ценю и даже очень Валентина Распутина. Наболевшее должно высказаться, и все наболевшее должно выразиться. Где границы? В уважении к другому, в том минимуме терпимости, которое нужно в демократическом обществе. Терпимость не мешает убеждениям. Я бы даже сказал так: убежденность делает человека более терпимым.

Иногда меня просто ранят некоторые обвинения одного лагеря по адресу другого. В Женеве в июне 1988 года я собрал международный симпозиум о роли христианства в русской культуре XIX и XX вв. В нем принимали участие Валентин Распутин с одной стороны и Андрей Синявский с другой. Оба говорили чрезвычайно эмоционально, в особенности Распутин. Мне бы не хотелось, чтобы это была их последняя встреча. По-моему, сегодня еще остались при гораздо большей свободе выражения навыки предыдущего этапа: подозрительность, моральные «вето» и лакуны.

А между прочим, поводов разделиться на враждующие лагеря в дальнейшем станет все больше. Что касается истории, придется переосмыслить революцию, роль Ленина, роль жертв, роль церкви. Но важно— воевать допустимым оружием: текстами, документами, сопоставлением разных источников, а не при помощи ругательств и инсинуаций. Чтобы быть кратким, скажу следующее: меня равно неприятно поражают и Вас. Белов (писатель, которого я люблю), когда он так ехидно намекает и гипертрофирует роль Кагановича, и хулители В. Распутина, когда они видят в нем «фашистскую» опасность.

5. Мой первый учитель русского языка — поэт Николай Оцуп, эмигрант (участник 2-го «Цеха поэтов» Н. Гумилева). Я был знаком с Борисом Зайцевым, с Георгием Адамовичем, с Александром Кумковым; однажды имел честь быть принятым Владимиром Набоковым. Литература русской эмиграции — целое сокровище. Ее надо издать полностью в России. Это само собой. Но и в зарубежье также. Нельзя замолчать или приуменьшить роль самой эмиграции в творчестве этих авторов. Надо изучать их творчество, их среду, их органы печати, их связи с западными коллегами. А не довольствоваться поверхностным суждением, что, мол, они в изгнании страдали, их не печатали и т. д. Марину Цветаеву печатали. Ремизов был оценен французским писателем Жаном Поланом. В действительности все сложнее, чем обычно пишут. И пора подумать о возврате русскому читателю писателей второй волны эмиграции: Поплавского или Варшавского (автора «Незамеченного поколения»). Пора понять, что русская диаспора придала русской словесности всемирное значение, что она дала ей некое «экуменическое» задание. И поэтому «репатриация» этой литературы не решение проблемы. Она принадлежит не только России. Порой раздражает настроение (которому не совсем чуждо «Наше наследие»), что следовало бы привезти обратно мебель И. С. Тургенева, все письма Пушкина, весь архив Ремизова. Почему бы не перевезти библиотеку Вольтера обратно во Францию, обелиск на площади Согласия в Париже в Египет и т. д. Мир от этого только обеднеет, по-моему.

И последнее размышление: о публикации в России нынешних эмигрантов. На мой взгляд, надо не только печатать Бродского и Войновича в советских журналах и изданиях, но также ввозить в Россию книги, напечатанные в эмиграции. Пусть «ИМКА — ПРЕСС», «Синтаксис», «Эрмитаж» свободно продают свои книги в Москве, Киеве, Ленинграде... Мы же свободно покупаем ваши книги в Париже, Женеве или Нью-Йорке. И счастливы этим, поверьте мне.

6. Сейчас я работаю над дальнейшими томами многотомной «Истории русской литературы», которую редактирую вместе с коллегами Витторио Страда, Ильей Серманом и Ефимом Эткиндом. Когда есть свободное время, пишу книгу об истории русского национального самосознания в литературе и искусствах. В последнее время также перевожу пьесу И. Бродского.

(Окончание в следующем номере)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ

В год 110-летия со дня смерти Ж.-Ж. Руссо появилась целая серия интересных публикаций о нем, среди которых — книги Реймона Труссона «Жан-Жак Руссо» и Ги Бесса «Жан-Жак Руссо: изучение человечества», пишет на страницах журнала «Кензен литтерер» обозреватель Жан Гульмо.

Исследование Р. Труссона можно отнести к классическим биографическим работам, считает обозреватель. Оно содержит обширный фактический материал, «написано живым, энергичным языком». В нем прослеживается буквально с рождения жизненный путь великого просветителя, ярко воссоздается неоднозначный образ человека, чьи характеристики упрощены в школьных учебниках до ярлыков — «добродушный дикарь» или «маньяк». «Хочется, чтобы читатели непременно полюбили эту книгу»,— высказывает пожелание Ж. Гульмо.

Литературоведческий труд Ги Бесса заслуживает особого внимания, как одно из редких в последнее время критических исследований творческого наследия Руссо. Автор анализирует все произведения писателя-философа, от всемирно известных («Общественный договор», «Исповедь», «Эмиль», «Новая Элоиза») до знакомых лишь немногим. При этом, поясняет рецензент, он рассматривает их в совокупности и в одном ракурсе — с точки зрения вопроса, всегда волновавшего Руссо: что значит «быть человеком» и как им быть в том мире, который его окружает. Ги Бесс наглядно показывает, что философская мысль Руссо подчинена двум неизменным принципам: в методике это — «умение использовать даже то, что им, кажется, отвергнуто», в тематике исследований — «изучение человечества».

«В кратком обзоре, увы, нельзя рассказать о всех достоинствах этой книги,— отмечает в заключение «Кензен литтерер».— Но убедить читателя в ее увлекательности, пожалуй, можно».

Ж.-Ж. Руссо

(Журнал «Кензен литтерер»)

АМАЗОНКА РЕВОЛЮЦИИ

В парижском издательстве «Сёй» вышла книга Элизабет Рудинесно «Теруань де Мерикур», посвященная жизни и деятельности «прекрасной Теруань» — героини Великой французской революции. Журнал «Кензен литтерер» в статье «Легенда о Теруань» отмечает парадоксальное, на первый взгляд, обстоятельство: «Книга включена в серию «Фантастик», хотя усилия автора направлены на то, чтобы, насколько это возможно, установить истину».

Настоящее имя героини — Анн-Жозеф Теруань (1762—1817). Революция превратила девушку-крестьянку из местечка Маркур неподалеку от Льежа в парижанку, блистающую на заседаниях первой Национальной ассамблеи. Теруань принадлежала к основателям и идеологам так называемого «революционного феминизма», о ней восторженно писали Ламартин, Луи Блан, Эдгар Кине, знаменитая Сара Бернар исполняла ее роль в одной из драм Ж. Мишле.

Книга Э. Рудинесно представляет собой попытку проследить процесс становления феминистского движения через судьбу героини, разделявшей взгляды жирондистов. Женская репутация Теруань далеко не безупречна, и, кроме того, ее биограф знакомит читателя с чудовищным эпизодом: возвратившись в Париж из заточения в тирольской крепости Куфштейн, Теруань участвует в убийстве безоружного роялиста, дабы оросить его кровью ниву революции, как сказано в припеве «Марсельезы». Пропасть, разделявшая «идеальную» мораль верхушки республиканцев и ее нравы,—

Теруань де Мерикур. Портрет работы Никола Селля (1793).

(Журнал «Кензен литтерер»)

вот, по мнению писательницы, подлинная причина гибели революции и, в частности, трагического конца «амазонки» Теруань де Мерикур: почти утратив человеческий облик, она скончалась в приюте для умалишенных «Сальпетриер», где провела последние 23 года жизни.

Известный литератор Жан-Жозе Маршан в журнале «Магазин литтерер» определяет жанр произведения Э. Рудинеско как «политический роман, чье начало напоминает водевиль, а финал вырастает в подлинную трагедию». Появление книги в серии «Фантастик» объясняется, по-видимому, тем, что в последней ее части содержится «взгляд в неведомое» — скрупулезный анализ истории душевной болезни героини, проливающий свет на судьбу загадочной «амазонки революции».

КАЗАНОВА 200 ЛЕТ СПУСТЯ

«Сколько ложных представлений бытует о Казанове! — восклицает писатель Доминик Фернандез на страницах журнала «Нувель обсерватёр».— Его считают лишь дамским угодником, а между тем этот наблюдатель и критик современной ему эпохи бесконечно далек от простого «юбочника». Его считают автором одного произведения — «Мемуаров», хотя ему принадлежит немало книг, в том числе написанный по-французски большой приключенческий роман «Икосамерон», который он создавал уже стариком, в уединенной тишине старинного замка». В 1788 году книга вышла в свет в Праге, однако тогда успеха не имела — возможно, из-за затронутых ею «смелых» тем, полагает Д. Фернандез. И вот, двести лет спустя,— новая публикация.

Действие в романе занимает двадцать дней (на что, кстати, указывает его название), в течение которых главные герои Эдуард и Элизабет рассказывают родителям, уже потерявшим надежду вновь увидеть своих отпрысков, как после кораблекрушения они попали в центр Земли, где обитает удивительный народ — мегамикры. Мегамикры — андрогины, появляются на свет только парами близнецов и сами кормят друг друга. У них весьма необычная структура общества, напоминающая о великих утопиях эпохи Просвещения. Язык состоит исключительно из гласных, которые они модулируют по семи различным тонам и воспринимают эту мелодию не только ушами, но и всеми порами кожи, а для записи на бумаге используются вариации цветового спектра.

«Эта необыкновенная книга поражает каскадом находок, она настолько увлекательна, своеобразна, настолько полна неожиданных, оригинальных идей, что ее не портит даже некоторая растянутость повествования»,— пишет рецензент. Кроме того, удивительна современность Казановы, на два столетия опередившего свою эпоху и провозглашавшего естественность любого из влечений, причисляемых в ту пору к так называемым «половым извращениям», если оно продиктовано внутренней потребностью: «Разве можно оскорбить Природу каким-либо желанием, если в нас говорит ее же голос?»

По мнению «Нувель обсерватёр», в романе «Икосамерон» Казанова предвосхитил и поэзию А. Рембо, и научную фантастику Ж. Верна, и теорию цвета импрессионистов, и «метафизические ловушки» новейшей книги У. Эко «Маятник Фуко»... Немудрено, ведь еще для современников Казанова нередко являл собой «Горация, Монтеня и Жана-Жака Руссо в одном лице». Все это в полной мере подтверждает «Икосамерон» — подлинный «праздник фантазии».

Джакомо Казанова. Портрет выполнен братом автора «Икосамерона»

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

КИНЕМАТОГРАФ — РЕВОЛЮЦИИ

В юбилейных торжествах, посвященных 200-летию Французской революции, далеко не последнее место отведено киноискусству. И это неудивительно, ибо «десятая муза» с самого начала обратила пристальное внимание на эту историческую тему, пишет в рекламном проспекте МИД Франции «Кинематограф о Французской революции» критик Ж.-Н. Жаннене. Фильм Жоржа Ато «Смерть Марата» (1897) стал первой «трактовкой революционных событий на пленке». Сегодня насчитывается уже около 350 подобных работ, сделанных режиссерами разных стран.

Организацию ретроспективного показа фильмов о революции взяли на себя во Франции — Культурный центр г. Монтрё, а в международных рамках — Отдел кинематографии министерства иностранных дел Франции. Для проката в 80 странах были отобраны 23 киноленты (с субтитрами на шести языках) из числа созданных за последние семьдесят лет.

Среди представленных работ есть и известная картина немецкого режиссера Э. Любича «Мадам Дюбарри» (1919). Это первый фильм его исторического сериала, вызвавшего бурную полемику в прессе. Журналисты и эксперты окрестили автора «гуманизатором истории» за приоритет психологического начала в его картинах, изображение внутренних «душевных движений» героев в кризисной общественной ситуации.

Совершенно иную творческую манеру обнаруживает американский режиссер Д. У. Гриффит в фильме «Две сиротки» (1921), снятом по книге А. Деннери и Э. Кормона. По оценке критиков, в своем «более идеологическом киноварианте» Д. У. Гриффит «расширил рамки мелодрамы», вместив в нее события и дореволюционного и революционного периодов.

«Самой близкой оригиналу» назвали киноведы экранизацию романа Ч. Диккенса «Повесть о двух городах», которую осуществил другой американский режиссер Дж. Конвей. Фильм удостоен премии «Оскар» за 1935 год. Специалисты отметили высокий технический уровень работы и, в частности, — великолепную постановку массовых сцен с участием около 17 000 статистов.

«Подлинным историческим документом» считают эксперты киноленту известного польского режиссера А. Вайды «Дантон» (1982), снятую во Франции по пьесе С. Пшибышевского «Дело Дантона». Основу этой политической драмы составляет борьба между двумя крупными деятелями революции — Дантоном (Ж. Депардьё) и Робеспьером (В. Пшоняк).

Картина «Шуаны» (1988) французского режиссера Ф. де Брока — одна из последних по времени выхода на экраны. Вот что говорит о своем фильме автор: «В нем много приключений, трюков, смешных эпизодов. Но много и мрачного, например — сцена казни Людовика XVI. События исторически достоверны, но назвать фильм историческим нельзя, даже место действия в нем вымышлено...»

Подлинность поведанных киноисторий сама по себе не столь важна, заключает Ж.-Н. Жаннене. Важно то, что в них выражены взгляды следующих поколений на события той эпохи, в которую переносит зрителя творческое воображение кинематографистов.

«ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ГЛАЗАМИ ПАЛАЧА»

Так называется опубликованная издательством «Л'Эн-стан» весьма необычная книга — она выделяется среди множества новинок, приуроченных к 200-летию Французской революции. «Смесь подлинных свидетельств с приемами исторического романа дает яркую и отталкивающую картину событий эпохи террора», — пишет журнал «Лир».

В середине прошлого века Анри-Клеман Сансон, внук известного палача и сам потомственный палач, обработал огромное количество документов и мемуаров членов своей семьи и опубликовал историю рода Сансонов под названием «Семь поколений палачей (1688—1847)». И вот теперь из этого шеститомного труда редактор Моника Лебайи выделила часть, относящуюся к периоду революции и представляющую собой как бы разговор двух рассказчиков: автора и его деда, Шарля-Анри Сансона (1740—1793), который вел подробный учет дел всех своих «клиентов» в «невероятном», по определению журнала, дневнике.

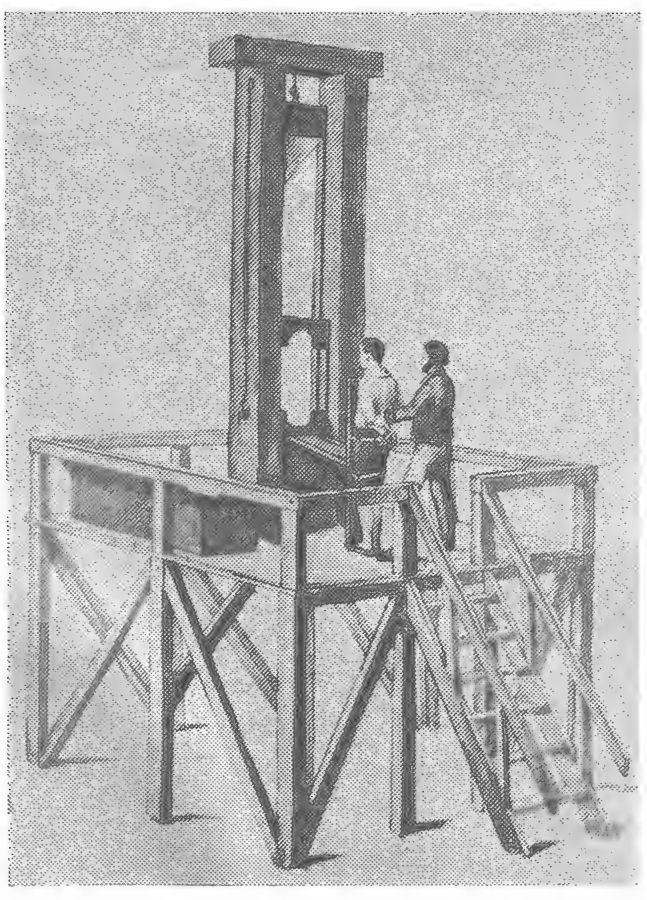
Как ни странно, но даже в столь жуткой книге нашлось место юмору. В качестве примера упоминается история создания гильотины. «Теоретики» доктор Луи и доктор Гийотен вместе с «практиком» Сансоном обратились к Людовику XVI, известному своей тягой к механике, с просьбой рассмотреть «изобретение». Король с интересом отнесся к новшеству и даже предложил усовершенствовать форму ножа... «Десять месяцев спустя Людовику XVI представилась возможность на себе испытать действие оригинального устройства...» — по законам «черного юмора» комментирует журнал «Лир».

Дневник Сансона — своего рода уникальный исторический документ, в котором описаны последние минуты жизни многих известных людей: это король, королева, убийца Марата Шарлотта Корде, герцог Орлеанский Филипп Эгалите, мадам Ролан, Байи, Дантон, Демулен, Робеспьер, Сен-Жюст... Но Сансон не только тщательнейшим образом записывает последние слова осужденных на казнь, не только оценивает их поведение. Он — палач, но ведь он — и человек, потому он восхищается мужеством и самообладанием одних, преисполнен жалости к другим, особенно к старикам, женщинам и детям, гибнущим «из-за несправедливости законов».

В отрывке из книги, помещенном на страницах журнала «Лир», приведен такой душераздирающий рассказ: когда Дантону уже на эшафоте не дали обнять на прощание одного из друзей, он воскликнул: «Глупцы. Наши головы все равно поцелуются на дне корзины!»

Гильотина. Рисунок XVIII века.

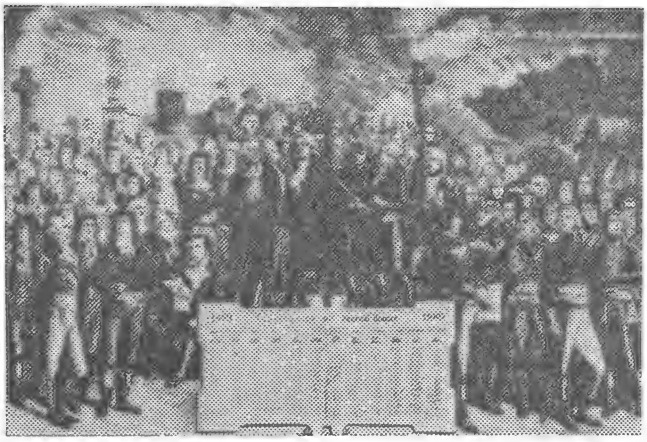
(Журнал «Лир»)



«РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ И ПОНЫНЕ»

«Великая французская революция продолжается и поныне»,— такую идею высказал исследователь Франсуа Фюре в своей новой историографической работе «Революция: 1770—1880», рецензируемой журналом «Нувель обсерватёр».

Необычность трактовки отражена уже в названии книги, где указан расширенный хронологический период вместо общепринятого (1789—1795 или 1789—1799), отмечает рецензент журнала. Основой для такого подхода служит обширный исторический анализ, в котором Ф. Фюре прежде всего выявляет революционные умонастроения в обществе, предшествующие событиям. Согласно его концепции, фактическое начало переворота («похожего на начало листопада с приходом осени») — август 1789 года, когда представители дворянства добровольно отказались от своих привилегий и выступили со знаменитой «Декларацией прав человека». Затем последовал «Великий век» бурной политической борьбы монархистов и республиканцев, приведший к провозглашению республики в 1880 году. Но история революционных традиций на этом не закончилась, подчеркивает Ф. Фюре. Цепь последующих кризисов, тор-



Страница из «Большого календаря к 100-летию Великой французской революции» (1889).

(Журнал «Лир»)

жество реакции в 1940 году, победа сил освободительного движения во второй мировой войне, создание в 1958-м Конституционного совета и, наконец, всеобщие выборы президента республики в 1962 году — «все это ответы на поставленные два столетия назад вопросы о свободе, равенстве и братстве».

По мнению рецензента, Ф. Фюре весьма кстати напомнил читателям, что республиканская система и есть тот институт, в котором здравое политическое мышление, политическая ответственность становятся делом всех и каждого.

«В последние годы «политический вкус» французов притупился. Именно поэтому Франсуа Фюре взялся за историю политики: он показал на фактах, что́ происходит при быстрых переменах в обществе и что́ — при медленном переходе к демократии, — подытоживает «Нувель обсерватёр».— Так, может, надо взглянуть на Великую французскую революцию глазами Фюре, расширив тем самым наши представления о демократии?»

ПИСЬМА ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЁ

Имя Жерара Депардьё стоит в титрах многих прекрасных фильмов. У себя на родине он признан самым блистательным актером своего поколения. Знаменитости такого масштаба всегда окружены ореолом легенд, биография же Депардьё дает для них на редкость обильную пищу. Отец Жерара был уличным босяком, да и сам он до известного времени был популярен разве что среди дворовой шпаны. Не желая становиться «объектом спекуляции», Депардьё взялся рассказать о себе сам. Недавно в издательстве «Жюль Латтес» вышел в свет том его «Украденных писем», обращенных к родным, друзьям, коллегам по искусству.

Откликаясь на выход книги в свет, литературный обозреватель журнала «Нувель обсерватёр» Жан-Франсуа Жослен рассказывает: «Жерар Депардьё не писатель; во всяком случае, он не считает себя таковым. Его книга — не душещипательная исповедь и не мемуары с претензией на остроумие, это просто-напросто письма на самые обыденные темы». Адресаты писем — люди самые разные: от родителей Жерара, Лилетты и Деде, до президента Франции Ф. Миттерана. Среди них, конечно же, и те, кто «помог» удивительному превращению «дворового короля» в звезду французского кино: режиссеры Морис Пиала, Франсуа Трюффо, Клод Зиди, актрисы Катрин Денёв и Изабель Аджани, писатели Маргерит Дюра и Петер Хандке. По собственному признанию Депардьё, ему хотелось воспроизвести «поэзию повседневности, не впадая в примитивный натурализм», и это удалось ему в полной мере.

«Украденные письма» — не роман, это самая жизнь. Жизнь в словах. Депардьё не писатель? О нет, он писатель и притом превосходный. И именно потому, что сам, к счастью, об этом не догадывается», — заключает свою статью французский критик.

Жерар Депардьё.

«РОМАН — ЭТО ВСЕГДА ЖИЗНЬ»

Известный философ и писатель Бернар-Анри Леви выпустил новую книгу, озаглавленную «Последние дни Шарля Бодлера». Обозреватель журнала «Нувель обсерватёр» Жан-Франсуа Жослен отмечает оригинальность этой «биографии, написанной как бы самим Бодлером». В ней один из величайших поэтов Франции от первого лица «вспоминает» свою жизнь, но события следуют не в хронологическом порядке, а по их «личной значимости» для Бодлера. «Получается настоящий роман — с рассказчиком, сюжетом, интригой, а действие происходит в 1866 году в Брюсселе»,— размышляет на страницах журнала известный исследователь жизни и творчества поэта Клод Пишуа. Выбор такого «художественного изложения биографии» вполне

(Журнал «Магазин литтерер»)

Шарль Бодлер. Редкая фотография.

(Журнал «Лир»)

оправдан, считает Ж.-Ф. Жосслен: «Что ж, если жизнь — это роман, то и роман — это всегда жизнь».

Критики выделяют необычность новой книги Б.-А. Леви, которую населяет множество персонажей. «Читатель словно попадает в театр»,— говорит рецензент. Автор «незаметен и нейтрален», он как бы «остается за кадром» в этом «романе-биографии», который Ж.-Ф. Жосслен сравнивает с телевизионной передачей: «Зритель смотрит ее, не замечая телекамер».

Рецензент напоминает, что подобная смесь жанров — повествование, дневниковые записи, переписка — отличает и первый роман Б.-А. Леви «Мысли о дьяволе». В новом произведении ощущается присутствие и Леви-философа, знакомого читателям по книгам «Варварство с человеческим лицом» и «Французская идеология». «Просто на сей раз для выражения своих идей он выбрал форму романа»,— пишет журнал.

В «Последних днях Шарля Бодлера» личности автора и самого поэта предстают как одно целое, и в размышлениях о роли денег в писательском труде, о литературных приемах, об искусстве поэзии уже трудно сказать наверняка, «где кончается Шарль Бодлер и начинается Бернар-Анри Леви... И в «романе-биографии», по словам К. Пишуа, «внутренний монолог автора внезапно возрождает живую душу поэта».

«АГЕНТЫ МОСКВЫ»

Так называется выпущенная издательством «Галлимар» хроникально - документальная книга, автор которой, Ален Бросса, по-своему пытается разгадать загадку сталинизма. Он анализирует деятельность сотрудников разведывательных служб — людей, которые с конца двадцатых годов, перед лицом возраставшей угрозы нацизма, стали «агентами Москвы», активными сторонниками «родины революции и ее безупречного лидера», по определению журнала «Лир». Многие из них были выходцами из немецкого, австрийского, японского и других «высших обществ» (журнал приводит здесь, в частности, имена Одзаки и Зорге, казненных в 1944 году), однако порвали со своей средой и по убеждению вступили в ряды Отдела международной связи и другие отделы Коминтерна.

Эти «солдаты невидимого фронта» выполняли различные поручения — передачу шифровок и донесений, переправку чемоданов с двойным дном и людей — например, интернационалистов-добровольцев из Испании. Большинство «агентов Москвы» сгинуло во время развернутых Сталиным преследований «троцкистов» и в период репрессий 1937—1938 годов. Ален Бросса проследил их путь, причем не только работая с многочисленными архивными документами и воспоминаниями, но и беседуя с немногими оставшимися в живых, пишет журнал.

Среди них — Рут фон Майенбург, знаменитая «красная графиня», завербованная в Праге. И хотя ее потрясли проходящие в Москве чистки среди товарищей, она не отказалась от веры в Сталина. По словам Антонии Лер, еще одной бывшей «рабочей пчелы» Коминтерна в Вене, «в этой системе, если хорошенько поискать, всегда можно найти благовидный предлог для уничтожения человека». В помещенном на страницах журнала «Лир» отрывке из книги она утверждает, что вся ее деятельность была «чисто политической»: «Я боролась за интересы моей партии. Шпионажем или разведкой мы никогда не занимались».

«Воссоздавая эти головоломные, одновременно абсурдные и трагические судьбы, Ален Бросса дает читателям возможность проникнуть в самую глубь почти исчезнувшего мира убежденных «борцов-сталинистов», который по-прежнему ставит больше вопросов, чем дает ответов на них», — заключает журнал.

В издательстве «Галлимар» вышла книга Селина «Путешествие на край ночи», богато иллюстрированная художником Тарди, который много лет мечтал создать серию рисунков к этому произведению. По словам Тарди, текст Селина настолько интересен, что «хотелось изобразить каждую главу, каждый абзац, каждую фразу». И вот после года работы художник создал около 500 (!) иллюстраций — «удивительное, уникальное, яркое и монументальное творение», по оценке журнала «Нувель обсерватёр». Эпиграф к книге гласит: «Путешествовать весьма полезно, это заставляет работать воображение». У Тарди оно поработало прекрасно, считает журнал.

На снимке: иллюстрация Тарди к книге Селина «Путешествие на край ночи».

Авторы этого номера

ЖАН-ПОЛЬ САРТР (JEAN-PAUL SARTRE; 1905—1980) — французский писатель, философ, публицист, драматург. Автор трилогии «Дороги свободы», куда вошли романы «Возмужание» («L'âge de raison», 1945), «Отсрочка» («Le sursis», 1945), «Смерть в душе» («La mort dans l'âme», 1949), автобиографической повести «Слова» («Les mots», 1964; русский перевод, 1966), сборника рассказов «Стена» («Le mur», 1939), ряда пьес, философских трудов «Бытие и ничто» («L'être et le néant», 1943), «Критика диалектического разума» («Critique de la raison dialectique», 1960), книг «Бодлер» («Baudelaire», 1947), «В семье не без урода. Гюстав Флобер» («L'Idiot de la famille. Gustave Flaubert, 1821—1837», 1971), книги критических и публицистических статей «Ситуации» («Situations», v. 1—7, 1947—1965) и др. произведений.

В «Иностранной литературе» напечатаны пьесы Сартра «Лиззи» (1955, № 1), «Дьявол и Господь Бог» (1966, № 1), рассказ «Стена» из одноименного сборника (1987, № 11), статьи и выступления. На русском вышел также сборник «Пьесы» (М., 1967). Роман «Тошнота» издан во Франции в 1938 г. («La nausée». Paris, Gallimard, 1938).

СЕН-ЖОН ПЕРС (SAINT-JOHN PERSE; настоящее имя Алексис Сен-Леже Леже (Alexis Saint-Léger Léger; 1887—1975) — французский поэт, лауреат Нобелевской премии. О нем и его творчестве см. в разделе «Критика» статьи М. Ваксмахера и Р. Гароди «Мир темных пророчеств и добрых напутствий» (стр. 213).

Публикуемые главы поэм Сен-Жон Перса взяты из двухтомного собрания сочинений поэта (Saint-John Perse. Oeuvre poétique. Paris, Gallimard, 1960).

ЖАН ЖИРОДУ (JEAN GIRAUDOUX; 1882—1944) — французский писатель и драматург. Его перу принадлежат сборники рассказов «Провинциалки» («Les Provinciales», 1908), «Школа равнодушных» («L'école des indifférents», 1911; рус. пер. 1927), романы «Зигфрид и Лимузэн» («Siegfried et le Limousin», 1922; рус. пер. 1927), «Белла» («Bella», 1926) и др., много пьес, в том числе «Троянской войны не будет» («La guerre de Troie n'aura pas lieu», 1935; рус. пер. 1937), «Электра» («Electre», 1937) «Бесноватая из Шайо» («La folle de Chaillot», 1946). В русском переводе издан сборник «Пьесы» (1981). Публикуемый рассказ переведен по книге Ж. Жироду «Утренние сказки» («Les contes d'un matin». Paris, Gallimard, 1952).

АНДРЕ ШЕНЬЕ (ANDRÉ de CHÉNIER; 1762—1794) — французский поэт и публицист. О нем и его творчестве — в предисловии А. Михайлова. Публикуемые стихи взяты из полного собрания сочинений Андре Шенье, вышедшего в Париже в серии «Библиотека Плеяды» (André Chénier. Oeuvres complètes. Paris, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard 1950).

МАКС ГАЛЛО (MAX GALLO; род. в 1932 г.) — французский писатель, историк, публицист, общественный деятель, доктор исторических и филологических наук. Автор многих романов, историко-публицистических книг и биографий, среди них «Кортеж победителей» («Le Cortège des vainqueurs», 1972), трилогия «Залив ангелов» («La Baie des anges», 1975—1976), «Вполне заурядное преступление» («Le crime très ordinaire», 1982), «Италия Муссолини» («L'Italie de Mussolini», 1964), «История франкистской Испании» («Histoire de l'Espagne franquiste», 1969), «Максимилиан Робеспьер, история одного одиночества» («Maximilien Robespierre, histoire d'une solitude», 1968), «Великий Жорес» («Le Grand Jaurès», 1985), «Жюль Валлес» («Jules Vallès», 1989). «Открытое письмо Максимилиану Робеспьеру» было опубликовано во Франции в 1986 г. (Max Gallo. «Lettre ouverte à Maximilien Robespierre sur les nouveaux muscadins». Paris, Albin Michel, 1986).

КАГРАМАНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.) — советский публицист и критик. Автор книг «Без знамени» (1979), «Метаморфозы нигилизма» (1986), «Кто готовит апокалипсис» (1988), «Америка похищает Европу» (изд. АПН на англ., франц. и нем. языках).

РОЖЕ ГАРОДИ (ROGER GARAUDY; род. в 1913 г.) — французский писатель, публицист, философ, общественный деятель. Автор романов «Антей» («Anthée», 1946), «Восьмой день творения» («Le huitième jour de la création», 1947), драмы «Весна народов» («Le printemps des peuples», 1948), трагедии «Прометей 1848 года» («Prométhée-48» 1957; рус. пер. 1961), философских, публицистических, литературоведческих работ «Литература могильщиков» («Une littérature de

fossoyeurs», 1947), «Грамматика свободы» («Grammaire de la liberté, 1950), «Марксистский гуманизм» («Humanisme marxiste», 1957, рус. пер. 1959), «Путь Арагона» («L'itinéraire d'Aragon», 1961), «О реализме без берегов!» («D'un réalisme san rivages», 1963), «Марксизм» XX века» («Marxisme du XXe siècle», 1966) и др.

ВАКСМАХЕР МОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1926 г.) — советский переводчик и литературовед, кандидат филологических наук. Автор книги очерков «Французская литература наших дней» (1967), сборников переводов «Поль Элюар. Стихи» (1971), «Страницы европейской поэзии. XX век» (1976), «Страницы африканской поэзии. XX век» (1980). Переводил романы Роже Мартен дю Гара «Семья Тибо», Антуана де Сент-Экзюпери «Ночной полет» и главы из «Цитадели», Маргерит Юрсенар «Воспоминания Адриана», Робера Андре «Взгляд египтянки» («ИЛ», 1977, № 1) и «Дитя-зеркало» («ИЛ», 1984, № 1), Катеба Ясина «Неджма», стихи Аполлинера, Арагона, Рене Шара, Андре Френо, Алена Боске, Жака Бреля, Янниса Рицоса, Пабло Неруды и др.

Переводчики

ЯХНИНА ЮЛИАНА ЯКОВЛЕВНА — советский переводчик с французского и скандинавских языков. В ее переводе издавались произведения французских писателей XX века — Ж.-П. Сартра «Слова» (совместно с Л. Зониной), Ф. Саган «Здравствуй, грусть», М. Юрсенар «Философский камень», М. Бютора «Изменение» («ИЛ», 1970, № 8, 9; совместно с С. Тархановой), Веркора «Плот Медузы» (Библиотека «ИЛ», 1988), скандинавских писателей — Ю. Боргена «Маленький лорд», К. Гамсуна «Виктория», Э. Юнсона — «Прибой и берега»; новеллы А. Моруа, Я. Седерберга, Я. Бергмана и др.

РУСАКОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1938 г.) — советский поэт и переводчик. Автор сборников стихов «Горластые ветры» (1960), «Длина дыхания» (1980), «Время птицы» (1985). Переводил с французского стихи Луи Арагона, Алена Боске, Жан-Пьера Фая, с английского — Томаса Мура, Дж. Донна, Томаса Кэмпиона, сонеты современников Шекспира, с итальянского — Тонино Гуэрры, Чезаре Павезе и др.

АДАМОВИЧ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ (1892—1972) — русский поэт-акмеист, литературный критик, переводчик. С 1923 г. жил во Франции. Автор поэтических сборников «Облака» (Москва-Петроград, 1916), «Чистилище» (Петроград, 1922), «Единство. Стихи разных лет» (Нью-Йорк, 1967), поэмы «Вологодский ангел» (журнал «Северные записки», 1917, № 1) и ряда стихотворений, публиковавшихся в дореволюционной периодике. Его перу принадлежат также книги «Одиночество и свобода. Литературные очерки» (Нью-Йорк, 1955), «О книгах и авторах. Заметки из литературного дневника» (Мюнхен-Париж, 1966). Переводил Вольтера, Бодлера, Эредиа и др. французских поэтов; перевел повесть А. Камю «Посторонний».

ИВАНОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1894—1958) — русский поэт-акмеист. В 1923 г. эмигрировал за границу. Автор поэтических сборников «Отплытие на остров Цитеру» (Петербург, 1912), «Горница. Книга стихов» (Петроград, 1914), «Памятник славы» (Петроград, 1915), «Вереск. Вторая книга стихов» (Петроград, 1916), «Сады. Третья книга стихов» (Петроград 1921), «Лампада. Собрание стихотворений», кн. 1—2 (Петроград, 1922), «Розы» (Париж, 1931), «Распад атома» (Париж, 1938) и др. Написал книгу воспоминаний «Петербургские зимы» (Нью-Йорк, 1928).

СТРИЖЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ИОСИФОВНА — советский поэт и переводчик французской поэзии. В ее переводах публиковались произведения Вийона, Рембо, Лотреамона, Нерваля, Малларме, Бодлера, Аполлинера, Бретона, Арагона, Превера, а также современных французских поэтов.

ТОКАРЕВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1938 г.) — советский публицист-международник, литературный критик и переводчик с французского. В его переводе изданы романы Робера Мерля «Разумное животное» (совместно с Н. Разговоровым), Эрве Базена «Счастливцы с острова Отчаяния», Франсуазы Малле-Жорис «Дикки-Король» (совместно с В. Жуковой), книга Жана Ренуара «Моя жизнь и мои фильмы», эссе Эрве Базена «Во что я верю» (Библиотека «ИЛ», 1984), а также произведения Л. Арагона, А. Боске, А. Мальро, М. Юрсенар, Ж. Сименона и др.

◆

С 1 августа открывается подписка на книжное обозрение **«СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ»**, которое публикует рецензии, статьи и обзоры иностранных новинок поэзии, прозы, драматургии, критики и публицистики, информацию о новинках книжного рынка, литературно-издательскую хронику, а также подготавливает специальные тематические номера (детективная и приключенческая литература, фантастика, документальная проза, литература и кинематограф или — как № 4 за 1989 год — «белые пятна» в советском литературоведении, занимающемся проблемами зарубежных литератур).

Год издания — 29-й. Выходит раз в два месяца.

Цена годовой подписки 3 руб. 60 коп. Индекс 70931.

Триумф парижской армии, присоединившейся к народу 6 октября 1789 года. Эстамп XVIII века. Деталь.

Цена 1 руб. 80 коп.

Индекс 70394

ISSN 0130 6545. Иностранная литература № 7, 1989, 1 256